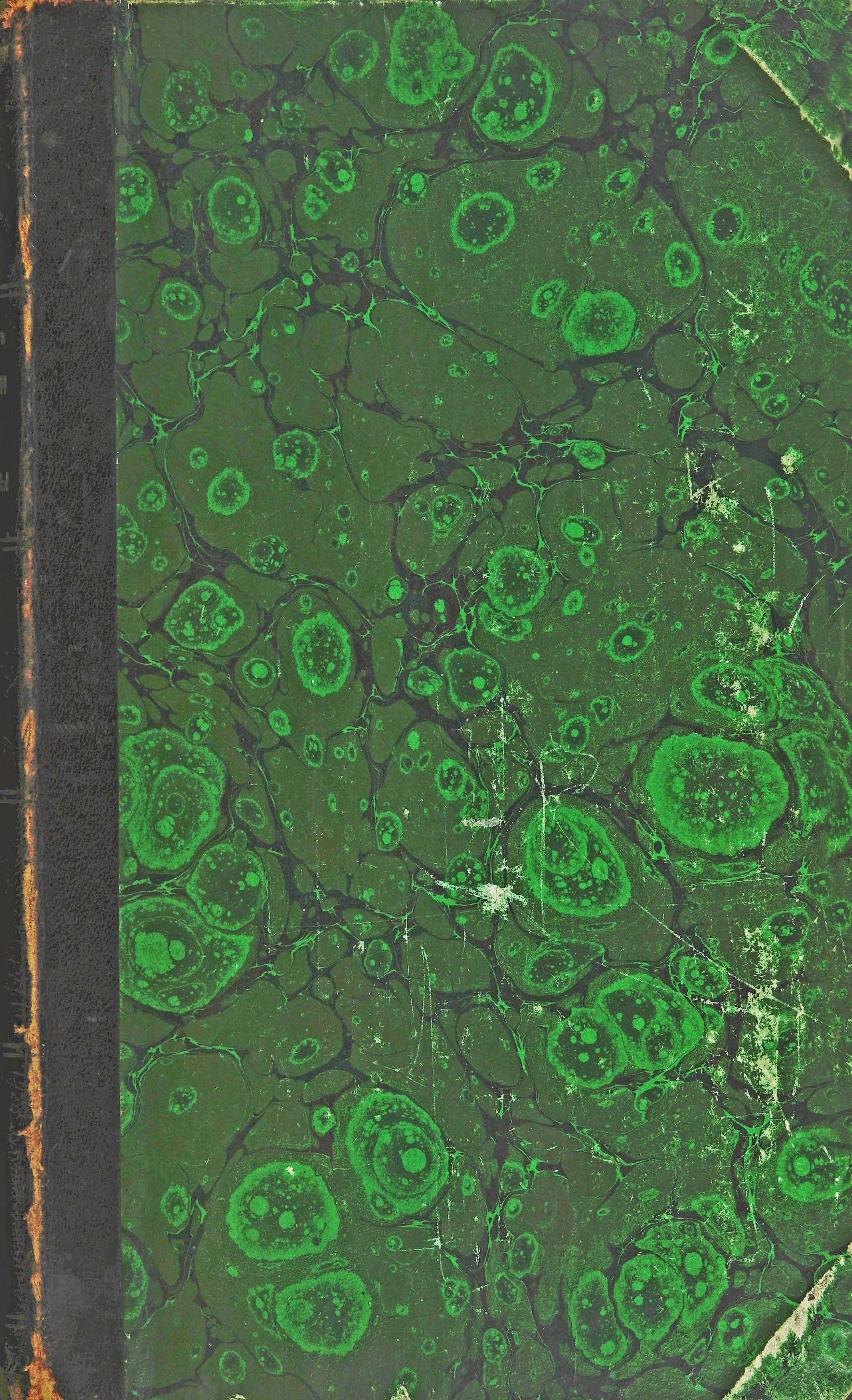


П. Милюковъ.





ОЧЕРКИ

по исторіи

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Націонализмъ и общественное мнѣніе.

Выпускъ второй.

Изданіе редакціи журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1903.

ОГЛАВЛЕНIЕ.

Очеркъ восьмой. Націонализмъ и общественное мнѣніе.

II.

Наслѣдство Петра Великаго въ рукахъ его фаворитовъ, аристократической оппозиціи и дѣльцовъ-иностранцевъ. — Новая культура становится соціальнымъ признакомъ высшаго общественнаго слоя.—Ея успѣхи при дворѣ: ихъ значеніе и послѣдствія. — Служебное положеніе и чинъ, какъ средство опредѣлить соціальное положеніе лица. — Чиновная аристократія. — Табель о рангахъ, какъ носитель новой культуры.—Медленность распространенія этой культуры изъ столицы въ провинцію—въ рядовомъ дворянствѣ.—Иллюстраціи Болотова. — «Завѣщаніе» Посошкова, какъ матеріалъ для характеристики отживающаго міровоззрѣнія «подлыхъ людей».—Критика лютеранства, какъ главнаго источника новаго «свѣтскаго житія».—Проектъ искорененія раскола.—Препятствія для осуществленія евангельской морали въ собственномъ складѣ воззрѣній Посошкова и въ окружающей средѣ. — Житейскій компромиссъ, какъ основаніе его морали.—Житейскій кодексъ шляхетства по руководствамъ для свѣтскаго обращенія.—Курсъ шляхетскихъ наукъ.—Слабость критическихъ элементовъ въ новой культурной средѣ и ея послѣдствія для будущаго.—Теорія «естественнаго закона», какъ первое міровоззрѣніе, послужившее теоретическимъ оправданіемъ «свѣтскаго житія». — «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ» Татищева, какъ первый опытъ такого оправданія и первая проба русской интеллигентной мысли.—Счастье—цѣль жизни; удовлетвореніе потребностей — средство къ ея достиженію.—Отношеніе церковнаго закона къ естественному.—Роль науки, какъ средства познанія естественнаго закона.—Возраженія противъ нея. — Естественная теорія общественныхъ союзовъ.—Требованіе сознательнаго отношенія къ вѣрѣ и жизни въ «Духовной».—Неблагопріятныя условія для распространенія такого отношенія въ шляхетской средѣ. — Политическая идеологія «естественнаго права» въ примѣненіи къ борьбѣ русскихъ общественныхъ группъ при воцареніи императрицы Анны.

Въ 1728 г. саксонскій посланникъ Лефортъ сравнивалъ оставленное Петромъ наслѣдство съ кораблемъ, который носится по волѣ вѣтровъ, угрожаемый бурей, тогда какъ капитанъ, и экипажъ корабля спятъ или пьянствуютъ. «Непостижимо, какъ такой обширный механизмъ можетъ дѣйствовать безъ всякой помощи и усилій со стороны. Всякій стремится только свалить съ себя тяжесть, никто не хочетъ принять на себя ни малѣйшей отвѣтственности, всѣ жмутся къ сторонкѣ»... «Огромная машина пущена на удачу; никто не думаетъ о будущемъ; экипажъ ждетъ, кажется, перваго урагана, чтобы подѣлить между собой добычу послѣ кораблекрушенія».

Въ этой яркой картинѣ иностранный дипломатъ забылъ одну существенную черту: это то могучее подводное теченіе, которое на-

правило корабль Петра въ опредѣленный фарватеръ и которое теперь по тому же фарватеру продолжало нести покинутое капитаномъ судно, несмотря на всю панику, охватившую экипажъ, несмотря даже на явное желаніе части экипажа—повернуть корабль противъ теченія. Мы,—которые знаемъ, что руль и компасъ совсѣмъ не оказали Петру такихъ огромныхъ услугъ, какъ думали его поклонники,—легко можемъ понять, какъ преувеличены были опасенія за судьбу корабля, осужденнаго двигаться нѣкоторое время безъ руля и компаса.

Конечно, этихъ опасеній не могла не вызывать разнузданная борьба аппетитовъ и честолюбій, которая происходила на глазахъ дипломатовъ и поражала ихъ пестротой, неожиданностью и непрочностью результатовъ. Но, въ сущности, и самая эта борьба совсѣмъ не была такъ безтолкова, какъ могло показаться со стороны: въ ней былъ свой внутренній смыслъ. Несомнѣнно, смерть Петра застала Россію врасплохъ: и это дорисовываетъ намъ его реформу. Такова, какова она была, она и не могла быть завѣщана никому другому. Петръ слишкомъ отожествлялъ самого себя съ своимъ дѣломъ, чтобы подумать о замѣстителѣ, и слишкомъ погруженъ былъ всегда въ интересы текущей минуты, чтобы останавливаться еще на мысли о будущемъ. Вотъ почему, умирая, онъ оставилъ на первыхъ мѣстахъ только покорныхъ исполнителей, неспособныхъ, а чаще всего и не желавшихъ принять на себя никакой инициативы въ государственныхъ дѣлахъ. Въ интересахъ самосохраненія, эти лично близкіе къ Петру люди должны были ухватиться за власть, которая была въ ихъ рукахъ въ моментъ смерти ихъ покровителя. Но у нихъ не было ни умственныхъ, ни образовательныхъ, ни моральныхъ средствъ, необходимыхъ для того, чтобы удержать захваченную власть за собою надолго. Вотъ почему,—независимо отъ всякихъ случайностей придворной борьбы,—рядомъ съ ними, а потомъ и надъ ними должны были выдвинуться другія наличныя силы, уже знакомыя намъ изъ петровскаго времени: съ одной стороны иностранцы-дѣльцы, заслоненные петровскими ничтожностями, съ другой—отодвинутая Петромъ на второй планъ аристократическая оппозиція. Послѣдняя, къ тому же, представляла и извѣстную соціальную силу, а ея отношеніе къ реформѣ, какъ мы знаемъ, совпадало въ значительной степени съ настроеніемъ средняго дворянства. Естественно, что аристократическая оппозиція—и сознательно, и самою силой вещей—должна была первая замѣнить во власти петровскихъ фаворитовъ. Таковъ, дѣйствительно, и былъ смыслъ и исходъ первой партійной борьбы по смерти преобразователя. Послѣ короткаго торжества людей, державшихъ власть въ моментъ смерти Петра, оппозиціи удалось заставить ихъ подѣлиться властью съ собою: фавориты и оппозиціонеры заняли мѣста рядомъ другъ съ другомъ во вновь учрежденномъ Верховномъ совѣтѣ. Затѣмъ, оппозиція провела своего кандидата на престолъ, сына своего злосчастнаго вождя, царевича Алексѣя, и обезпечила себѣ зако-

номъ верховныя права и полную равноправность членовъ въ верховномъ правительствѣ *). Наконецъ, та же оппозиція безпрепятственно провела совершенно уже искусственную кандидатуру (Анны Ивановны), съ единственною цѣлью закрѣпить навсегда свое участіе въ верховной власти путемъ органическаго закона. Только сопротивленіе новаго вліятельнаго общественнаго слоя помѣшало осуществленію этой попытки, къ которой мы еще вернемся, и вмѣстѣ съ тѣмъ положило конецъ политическому преобладанію аристократической оппозиціи.

Какъ же воспользовалась оппозиція этими нѣсколькими годами своей сравнительной силы? У нея была, какъ мы знаемъ, своя программа, правда, больше отрицательная, чѣмъ положительная. Обстоятельства и личности государей (Екатерины I и Петра II) не особенно благопріятствовали энергическому проведенію этой программы, но они и не препятствовали ея предъявленію, тѣмъ больше, что значительная часть ея какъ разъ и заключалась въ *прекращеніи* энергической дѣятельности правительства по извѣстнымъ отдѣламъ управленія. Дѣйствительно, заботы о войскѣ и особенно о флотѣ были тотчасъ же ослаблены или вовсе прекращены. Интересъ къ иностранной политикѣ сохранился чуть не у одного Остермана, тщетно старавшагося поддержать хоть внѣшній видъ регулярности въ дипломатическихъ сношеніяхъ. Мысль объ облегченіи податного бремени легче было высказать, чѣмъ осуществить: вотъ почему, въ ожиданіи податной реформы, эта часть оппозиціонной программы была осуществлена лишь въ своеобразной формѣ—накопленія недоимокъ; мѣстныя власти просто воспользовались ослабленіемъ контроля надъ ними и стали продавать отсрочки во взысканіи податей съ плательщиковъ за чистыя деньги, которыя клали, разумѣется, въ собственный карманъ. Зато радикально пресѣченъ былъ новый расходъ, который долженъ былъ лечь на населеніе—на содержаніе цѣлой арміи проектированныхъ Петромъ областныхъ чиновниковъ; эта реформа просто была зачеркнута, и русская провинція вернулась къ до-петровскому воеводскому управленію (ср. Оч. I, 166—7). Та же судьба постигла и предпринятую Петромъ расквартировку арміи. Еще усерднѣе проводилась та часть оппозиціонной программы, которая вытекала прямо изъ интересовъ служилаго сословія. Уже въ 1726 г. разрѣшено было отпустить по домамъ двѣ трети офицеровъ и рядовыхъ изъ шляхетства, «чтобы могли привести свои деревни въ порядокъ», а оставить при полкахъ треть, «иноземцевъ и безпомѣстныхъ,

*) Въ завѣщаніи Екатерины I было сказано, что во время малолѣтства Петра II Верховный Совѣтъ будетъ «имѣть полную власть правительствующаго самодержавнаго государя», и что онъ долженъ «множествомъ голосовъ вершать всегда, и никто одинъ повелѣвать не имѣетъ и не можетъ». Послѣдними словами у Меншикова отнималось право, которымъ онъ пользовался со времени Петра,—издавать распоряженія, равносильныя царскимъ указамъ.

которые безъ жалованья прожить не могутъ». Дворянство спѣшило воспользоваться этимъ условнымъ разрѣшеніемъ, не дожидаясь, «когда конъюнктуры допустятъ», какъ сказано было въ указѣ. Наконецъ, и ненависть къ Петербургу нашла свое выраженіе въ предположеніяхъ—вернуть внѣшнюю торговлю опять въ Архангельскъ, а дворъ—переселить въ Москву. Послѣдній планъ и былъ осуществленъ съ воцареніемъ Петра II: въ Москву переселялись съ 1728 года навсегда, и на стѣнахъ старой столицы красовались объявленія, грозившія «бить кнутомъ нещадно» всякаго, кто заговоритъ о возвращеніи въ С.-Петербургъ. Переселяясь въ 1732 г. обратно въ Петербургъ, имп. Анна принуждена была притвориться, что это дѣлается только на время. Даже въ самомъ образѣ жизни двора замѣчалась реакція: отъ «тяжелыхъ забавъ» Петра дворъ возвращался снова къ «легкимъ забавамъ» царя Алексѣя и Ѳеодора:—къ всевозможнымъ видамъ охоты, къ лошадиному спорту; въ покояхъ Анны появились снова дураки и сказочники - бахари царя Алексѣя. Поговаривали и о возстановленіи патріаршества; можетъ быть, только отсутствіе подходящаго кандидата и политическая ловкость Ѳеофана Прокоповича помѣшали перейти отъ словъ къ дѣлу. Какъ бы то ни было, Анна дала оппозиціи обязательство—особенно позаботиться о православіи: и послѣ побѣды надъ нею, набожная по старинному царица не позабыла объ этомъ своемъ обязательствѣ. Первымъ пріѣздомъ своимъ въ сенатъ она воспользовалась, чтобы объявить свой демонстративный указъ 17-го марта 1730 г., которымъ предписывалось аккуратное посѣщеніе церковныхъ службъ, обновленіе запущенныхъ храмовъ и богадѣленъ, возстановленіе крестныхъ ходовъ, благодарственныхъ молебновъ въ царскіе дни и панихидъ по усопшимъ предкамъ, молебствій и постовъ по случаю разныхъ общественныхъ бѣдствій, словомъ, всего, «какъ прежде при *дѣдѣ и отцѣ* нашемъ было». Упоминая Алексѣя и Ивана и тщательно умалчивая о Петрѣ, Анна какъ бы подчеркивала реакціонную тенденцію указа: а требуя присутствія архіереевъ во всѣхъ процессіяхъ, какъ бы формально отрекалась отъ солидарности съ протестантскими тенденціями любимца Петра и своего политическаго единомышленника, Ѳеофана.

Однако же эти и нѣкоторыя другія (см. ниже) уступки оппозиціонной программѣ никого не могли ввести въ заблужденіе: въ тотъ моментъ, когда онѣ дѣлались, роль аристократической оппозиціи была уже сыграна. Мѣсто фаворитовъ и оппозиціонеровъ Петра заняли его дѣльцы: правительство Анны было дѣловымъ правительствомъ иностранцевъ; его программа была дѣловой программой, имѣвшей цѣлью не столько новое политическое творчество, сколько реставрацію всего упущеннаго и запущеннаго при двухъ предыдущихъ правительствахъ: и въ войскѣ, и во флотѣ, и въ податяхъ, и въ иностранныхъ сношеніяхъ.

Болѣе энергичная дѣятельность во всѣхъ этихъ сферахъ государственной жизни, также какъ и ликвидація областной реформы Петра, вызывалась соображеніями государственной необходимости. Соображенія эти были тѣ же, которыя вызвали и самую реформу Петра. Потолкавшись о берега и посидѣвъ немного на мели, громоздкій государственный «корабль» двинулся потихоньку дальше, внизъ по теченію.

Въ сферѣ собственно культурной *внѣшности* реформы, которая насъ теперь преимущественно интересуетъ, даже и эти боковые толчки и остановки прошли совершенно незамѣтно. Аристократическая оппозиція ничего противъ этой внѣшности не имѣла; а установившаяся уже при Петрѣ придворная рутина послужила первымъ надежнымъ проводникомъ для этого рода культурныхъ заимствованій, измѣнившихъ мало-по-малу всю житейскую обстановку верхняго общественнаго слоя.

Дѣйствительно, уже въ послѣдніе годы Петра петербургскій дворъ, по отзыву иностранныхъ наблюдателей, не уступалъ по внѣшности любому германскому. Прошли тѣ недавнія времена, когда полъ въ пріемныхъ покояхъ приходилось устилать на полъ-аршина сѣномъ, чтобы спасти его отъ вольныхъ и невольныхъ человѣческихъ остатковъ пира. Смолкли десятки дураковъ и шутовъ, оглушавшихъ гостей своимъ крикомъ, свистомъ, визгомъ и пѣніемъ, плевавшихъ и сморкавшихся другъ другу въ лицо. Кабакъ, въ которомъ еще Юль засталъ (1710 г.) примитивныя попойки Петра, превратился въ церемонный придворный званый столъ, съ болѣе или менѣе строгимъ этикетомъ, и въ оффиціозный jour-fixe, поочередно назначавшійся у болѣе видныхъ членовъ петербургскаго общества,—въ петровскую «ассамблею» двадцатыхъ годовъ. Случалось, правда, и въ это время Петру, по старой привычкѣ, проплясать по столамъ подъ пьяную руку, или старику Бутурлину, «князю-папѣ», съ высоты своего Бахусоваго трона открыть не тотъ кранъ, который слѣдовало: но эти милыя неожиданности уже являлись исключеніемъ, не подходившимъ къ установившемуся общему тону *). Молодежь спѣшила отъ стола къ танцамъ и состязалась во всевозможныхъ галантностяхъ. Съ этого времени, по выраженію кн. Щербатова, «страсть любовная, до того почти въ грубыхъ нравахъ незнаемая, начала чувствительными сердцами овладѣвать» (Ср. «Оч.», II, 191—193). Голштинскій камеръ-юнкеръ Берхгольцъ, побывавшій и въ Парижѣ, и въ Берлинѣ, находилъ, что петербургскія придворныя дамы двадцатыхъ годовъ не уступаютъ ни нѣмкамъ, ни француженкамъ—ни въ свѣтскихъ манерахъ, ни въ умѣньѣ одѣваться, краситься и причесываться. Вѣроятно, имъ уже не

---

*) Исключеніе составляла и пьяная толпа «славильщиковъ», «неусыпаемая обитель» Петра, набранная изъ людей всякаго происхожденія, ѣздившая съ Петромъ попрежнему каждыя святки славить Христа по Петербургу и совершавшая всевозможныя безчинства.

приходилось въ это время по три ночи спать сидя, чтобы не испортить прически, какъ это случалось въ старой столицѣ, гдѣ на весь петровскій бомондъ была одна только «убирательница волосъ». Старинная кичка царицы Прасковьи при петербургскомъ дворѣ бросалась въ глаза, какъ исключеніе; а чтобы встрѣтить молодую и знатную даму безъ модной прически, нужно было ѣхать въ Москву. Въ Петербургѣ русскій костюмъ употреблялся только для маскарадовъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше новые придворные костюмы прогрессировали въ роскоши и дороговизнѣ, и тѣмъ чаще приходилось мѣнять фасоны. Простая обшивка галунами скоро стала казаться черезчуръ бѣдной; явилось золотое и серебряное шитье, все болѣе заполнявшее костюмъ; сукно было замѣнено шелкомъ, бархатомъ и даже парчей; для манжетъ стали употребляться дорогія кружева, для отдѣлки платья—жемчугъ, для пуговицъ—брилліанты. Являться часто ко двору въ одномъ костюмѣ стало считаться неловкимъ. Немудрено, при этихъ условіяхъ, что уже въ срединѣ XVIII вѣка «часто гардеробъ составлялъ почти равный капиталъ съ прочимъ достаткомъ» придворныхъ людей (Щербатовъ).

Но требованія новой «людскости» шли гораздо далѣе простой перемѣны манеръ и костюма. Люди, желавшіе играть роль, не могли ограничиться тѣмъ, что являлись сами при дворѣ; они должны были быть готовы принять дворъ у себя. Петръ, у котораго лично не было никакого двора и который не любилъ расходовъ на представительство, переложилъ эти расходы на окружающихъ: принимать и угощать его и его компанію—для извѣстнаго круга лицъ было обязательно. Въ Петербургѣ двадцатыхъ годовъ—это обязательство было регулировано и регламентировано (правилами объ «ассамблеяхъ»). Такимъ образомъ, старинный русскій домъ, открытый прежде безъ зову только для близкихъ родственниковъ и никогда не видавшій даже званыхъ гостей въ часы семейнаго обѣда и ужина *), теперь долженъ былъ открыть свои двери для всѣхъ лицъ извѣстнаго общественнаго круга. Знаменитое хлѣбосольство русскихъ баръ—при всей его національной своеобразности — есть, такимъ образомъ, продуктъ нововведенной «людскости» эпохи реформы, наравнѣ съ домашними оркестрами, тѣшившими гостей за столомъ, картами, составлявшими послѣобѣденное развлеченіе гостей постарше, и танцами, занимавшими гостей помоложе и сдѣлавшимися главной страстью петербургскихъ дамъ и барышенъ.

Для того, чтобы «держать открытый столъ», нужно было имѣть соотвѣтственный погребъ, кухню и обстановку. «Простой» домашней

---

*) Традиціонное угощеніе почетнаго гостя чаркой вина съ поцѣлуемъ хозяйки дома только подчеркиваетъ замкнутость старой семьи. Такъ теперь у христіанъ Балканскаго полуострова женщина молча подноситъ гостю на подносѣ ракію, кофе или варенье во время церемоннаго визита и молча удаляется, поцѣловавъ ему руку, если онъ старикъ.

водкой уже Петра нельзя было удовлетворить; онъ требовалъ «приказной» (голландской анисовой) или «гданской». Приходилось выписывать изъ-за границы и вина, «эрмитажное», «венгерское»; вскорѣ появилось и «бургонское» и, наконецъ, «шампанское». Иностранное вино подавалось, конечно, на первыхъ порахъ только для гостей: хозяинъ приказывалъ принести запечатанную четвертную бутыль, наливалъ гостямъ по рюмкѣ и, тщательно запечатавъ, отсылалъ опять бутыль на погребъ. Однако, эта старомодная бережливость уцѣлѣла не надолго. Уже на петровскихъ праздникахъ иностранное вино лилось рѣкой. Въ серединѣ вѣка шикъ состоялъ въ томъ, что подъ приборы на званомъ обѣдѣ клались цѣлые списки винъ, и каждый спрашивалъ изъ хозяйскаго погреба, какое хотѣлъ. Одновременно съ этимъ прогрессировала и кухня. Хозяева старались перещеголять другъ друга «чужестранными приправами» и дессертомъ. Кабинетъ-министръ Елизаветы, Черкасовъ, первый полакомилъ Петербургъ свѣжимъ виноградомъ; но гр. П. И. Шуваловъ поразилъ придворную публику ананасами и бананами. Поварамъ платили въ срединѣ вѣка по 500 р. въ годъ, кромѣ содержанія ($3^1/_2$ тысячи на наши деньги). Измѣнилось и убранство комнатъ. Оставлять стѣны безъ обоевъ, довольствоваться самодѣльной мебелью изъ простого дерева и освѣщать комнаты сальными свѣчами считалось уже неприличнымъ. Для обоевъ стали употребляться штофныя и шелковыя матеріи; на стѣнахъ явились зеркала, двери и потолокъ украшались позолотою. Мебель обязательно должна была быть англійская, краснаго дерева. Свѣчи употреблялись восковыя, и притомъ не желтаго, а бѣлаго воска. Соотвѣтствующія измѣненія видимъ и въ прислугѣ, и въ выѣздныхъ экипажахъ.

Разъ заведенная, вся эта новая обстановка поддерживалась и прогрессировала вовсе не вслѣдствіе одной только потребности въ комфортѣ. Обстановка отражала соціальное положеніе лица, если оно уже было составлено, закрѣпляла это положеніе, если его еще не было или если требовалось его создать. «Человѣкъ дѣлался почтенъ по мѣрѣ великолѣпности его житія и уборовъ», какъ выразился Щербатовъ. Другими словами, соперничество въ роскоши было своего рода мѣстничествомъ, въ которомъ, однако, побѣждали далеко не самые родовитые. При цѣломъ рядѣ женскихъ правленій, какъ слѣдствіе фаворитизма и родственныхъ связей, появилось множество новыхъ шальныхъ состояній, цѣликомъ употреблявшихся на поддержаніе той придворной жизни, изъ которой они возникли. Сынъ знаменитаго фельдмаршала Б. П. Шереметева, одного изъ членовъ молчаливой петровской оппозиціи и перваго богача въ Россіи, могъ еще держаться на высотѣ положенія и даже заслужить «особливое уваженіе» Елизаветы своею роскошью, которую онъ поддерживалъ поневолѣ, и своей готовностью—во всякое время угостить императрицу съ какой угодно свитой. Но и ему при-

ходилось пасовать передъ новымъ аристократомъ, какимъ-нибудь «графомъ» И. Г. Чернышевымъ, насаждавшимъ con amore новыя заграничныя моды на счетъ жены, родственницы императрицы и тоже «графини» Ефимовской, и на счетъ казны, продавшей ему за 90 тысячъ мѣдные заводы, имъ же перепроданные казнѣ обратно, въ разоренномъ видѣ, за 700 тысячъ. Другой графъ императрицы Елизаветы, П. И. Шуваловъ—не имѣлъ открытаго стола и поддерживалъ свое положеніе инымъ способомъ, «находя нужныя суммы для удовлетворенія роскоши императрицы»,—въ качествѣ перваго финансиста того времени. Но и онъ, имѣя 400 тысячъ руб. ежегоднаго дохода, ухитрился накопить на себѣ больше милліона казеннаго долга. Очевидно, что старая знать никакой «домашней экономіей» не могла добыть средствъ на подобныя безумныя траты. Принужденная тянуться за случайными людьми, она только «изнуряла свое состояніе» и зачастую кончала полнымъ разореніемъ. Такимъ образомъ, естественнымъ послѣдствіемъ колоссальныхъ затратъ на эту новую обстановку, «превосходившую», по компетентному свидѣтельству герцога де-Лиріа (1729), «своей роскошью и великолѣпіемъ даже самые богатѣйшіе дворы» Европы, — была полная перетасовка въ составѣ высшей придворной аристократіи, а также и необходимость постоянно подновлять ее случайными людьми и подкрѣплять случайными состояніями.

Новаго тутъ, въ сущности, не было ничего. Это было только болѣе широкимъ, чѣмъ прежде, примѣненіемъ стараго, извѣстнаго намъ принципа, по которому всякій человѣкъ на Москвѣ «великъ и малъ живетъ (т.-е. бываетъ) государевымъ жалованьемъ». Послѣ самаго дворянскаго изъ русскихъ царствованій, имп. Павелъ еще могъ выразить эту же самую мысль въ утрированной формѣ: «у меня тотъ великъ, съ кѣмъ я говорю и пока я съ нимъ говорю». Петру Великому только удалось найти средство точно измѣрять «государево жалованье», сообразуя съ этимъ и мѣру личнаго достоинства каждаго, и мѣру его участія въ благахъ новой культуры. Этимъ изобрѣтеніемъ была петровская «табель о рангахъ».

Иностранцевъ, привыкшихъ къ твердой соціальной группировкѣ, къ рѣзко проведеннымъ соціальнымъ гранямъ, всегда смущало и удивляло отсутствіе общественныхъ перегородокъ (кромѣ установленныхъ самою властью) въ русскомъ обществѣ. «Русскіе сановники», замѣчаетъ Юль (1709), «весьма невыдержанны въ соблюденіи своей чести и достоинства. То ихъ офицеры, до бригадировъ включительно, ухаживаютъ за ними, какъ лакеи, прислуживаютъ и наливаютъ имъ вино, то они обращаются съ ними за панибрата, какъ съ товарищами... Отъ обѣда до поздней ночи сановники могутъ съ самыми младшими своими подчиненными курить, пить и играть въ карты на деньги, что у насъ считалось бы неприличнымъ и для простого капрала». Это безразличіе въ общественныхъ сношеніяхъ между людьми разнаго соціаль-

наго положенія было и осталось источникомъ простоты и человѣчности отношеній. Но оно имѣло, однако же, и свою обратную сторону, особенно чувствовавшуюся въ тогдашней Россіи. За отсутствіемъ выработаннаго кодекса соціальныхъ отношеній, каждому члену этого безформеннаго общества приходилось самому создавать свое личное положеніе, измѣряя при этомъ степень высоты или низменности своего мѣста на общественной лѣстницѣ—тою степенью надменности или низкопоклонства, которую онъ могъ или долженъ былъ обнаружить въ своихъ сношеніяхъ съ другими. При этомъ, самая необходимость быстрыхъ переходовъ отъ надменности къ низкопоклонству лишала всякой возможности выработать въ себѣ ту «выдержанность», «ровность» обращенія, которая для всякаго иностранца была чѣмъ-то само собой разумѣющимся, необходимымъ ингредіентомъ культурности. Чувство личнаго достоинства, которое могло бы служить общественной гарантіей противъ насилія, едва-ли можно считать выработаннымъ и въ наше время. Замѣнявшее его чувство сословной чести, какъ скоро увидимъ, выработалось у насъ только ко второй половинѣ XVIII в. и только въ привилегированномъ сословіи. За отсутствіемъ того и другого, служебное положеніе лица оставалось единственнымъ основаніемъ для опредѣленія степени его «чести». На этомъ основаніи классифицировалась «честь» и таксировалось «безчестье» старыхъ «чиновъ» московскаго государства; къ нему же сводилось и «утягиванье» другъ друга мѣстническими «случаями». Но классификація по московскимъ классовымъ группамъ была черезчуръ обща и ничего не могла дать для опредѣленія взаимныхъ отношеній людей *одного и того же* «чина», а это-то и было особенно нужно. Оцѣнка же мѣстническихъ «случаевъ» всегда могла оказаться болѣе или менѣе случайной и субъективной. Въ виду этого, являлась необходимость найти какое-нибудь объективное основаніе для опредѣленія взаимныхъ отношеній, особенно между членами высшаго общественнаго слоя. Но что могло быть объективнѣе и нагляднѣе самой занимаемой должности? Естественно было придти къ мысли о замѣнѣ іерархіи лицъ—іерархіей должностей. Любопытно, что первая попытка установить такую іерархію должностей сдѣлана была вмѣстѣ съ отмѣной мѣстничества (1680 г.); очевидно, на это смотрѣли, какъ на лучшій, болѣе совершенный способъ достигнуть той же самой цѣли. Іерархія устанавливалась только для тѣхъ высшихъ должностей, которыя могли быть доступны людямъ высшихъ, думныхъ чиновъ: боярамъ, окольничимъ и думнымъ дворянамъ. Но вѣдь только здѣсь и сосредоточивались мѣстничавшіеся между собой «родословные» люди. Всѣ возможныя должности, которыя эти люди могли занимать, были раздѣлены на 34 «степени», и каждой должности присвоенъ особый титулъ, феодальнаго или византійскаго происхожденія. Двѣнадцать первыхъ мѣстъ въ Боярской Думѣ должны были принадлежать «намѣстникамъ» важнѣйшихъ городовъ: при этомъ, намѣстникъ

владимірскій считался въ 3-й степени, новгородскій—въ 5-й, казанскій—въ 7-й и т. д. Промежуточныя степени распредѣлены были между важнѣйшими придворными чинами, получавшими византійскіе титулы «доместиковъ», «стратопедарховъ» и т. д., а также между начальниками военныхъ округовъ. Попытка осуществить этотъ проектъ не удалась, такъ какъ патріархъ увидалъ въ немъ опасность для монархической власти. Онъ опасался, что намѣстники главныхъ городовъ, «великородные люди», со временемъ «обогатѣютъ и огордѣютъ», отступятъ отъ московскаго самодержавства, разорятъ единовластіе и раздѣлятъ Россію «себѣ въ особенность».

Мы знаемъ отношеніе Петра къ «великороднымъ людямъ». Когда, 42 года спустя, появилась его табель о рангахъ, она, на первый взглядъ, преслѣдовала совершенно другія и даже прямо противоположныя цѣли сравнительно съ проектомъ 1680 г. «Стали не роды почтенны, но чины и заслуги и выслуги», съ горечью замѣчаетъ кн. Щербатовъ о дѣйствіи табели. Какъ извѣстно, по этой табели всѣ, дослужившіеся до первыхъ восьми «ранговъ», «въ вѣчныя времена лучшему старшему дворянству во всѣхъ достоинствахъ и авантажахъ равно почтены быть имѣютъ, хотя бы они и низкой породы были». И однако, не смотря на этотъ бросающійся въ глаза контрастъ между подвижной, открытой снизу для всѣхъ лѣстницей петровскихъ «ранговъ» и замкнутымъ кругомъ 34 «ступеней», предоставленныхъ однимъ «родословнымъ людямъ», несомнѣнно, что, въ сущности, цѣль тѣхъ и другихъ одна и та же: опредѣлить взаимное положеніе членовъ ближайшаго къ правительству общественнаго слоя. Составъ этого слоя могъ очень рѣзко перемѣниться: Петръ могъ набрать себѣ въ «царедворцы», кого угодно; но кругъ «царедворцевъ» продолжалъ, однако же, существовать, и чѣмъ необычайнѣе былъ его составъ, тѣмъ онъ болѣе нуждался въ новой правительственной санкціи; тѣмъ въ большей степени онъ былъ продуктомъ «государева жалованья», тѣмъ необходимѣе становилось привести результаты отдѣльныхъ мѣръ въ одну цѣльную систему *). Табелью

*) Соціальный составъ петровскаго придворнаго круга мы можемъ прослѣдить напр. по списку участвовавшихъ въ маскарадѣ 1723 г., длившемся цѣлую недѣлю. Изъ 138 участвующихъ можно насчитать всего около десятка старыхъ титулованныхъ аристократовъ и столько же членовъ старыхъ дворянскихъ фамилій, частью пожалованныхъ новымъ титуломъ «графовъ». Обѣ группы вмѣстѣ равняются числу иностранцевъ, достигшихъ высшихъ чиновъ на русской службѣ. Вся остальная масса (97)—авантюристы, дѣльцы и служаки, сдѣлавшіе карьеру при Петрѣ и, можетъ быть, на цѣлую треть вышедшіе не изъ дворянства, а изъ приказныхъ (секретари; съ 1724 года велѣно и ихъ набирать изъ дворянъ). Напротивъ, по табели о рангахъ составъ масокъ оказывается вовсе не такимъ пестрымъ. За исключеніемъ нѣсколькихъ молодыхъ людей знатныхъ фамилій (доступъ которыхъ ко двору тоже предусмотрѣнъ табелью) всѣ остальныя маски облечены болѣе или менѣе высокимъ «характеромъ», сообразно которому и занимаютъ мѣсто въ маскарадной процессіи и въ отдѣльныхъ группахъ масокъ. Это—президенты, совѣтники, ассесоры и секре-

о рангахъ Петръ санкціонировалъ совершившійся фактъ, а о томъ, насколько демократизируются его «ранги»—и само «лучшее старшее дворянство»—дальнѣйшимъ автоматическимъ дѣйствіемъ табели, едва ли онъ особенно задумывался.

О чемъ Петръ заботился и что дѣйствительно было нужно въ тотъ моментъ, это созданіе такого общаго знаменателя, къ которому можно было бы легко привести каждаго изъ выдвинутыхъ имъ сотрудниковъ. За отсутствіемъ такого общеобязательнаго масштаба, петровскіе карьеристы мѣстничались ничуть не менѣе «великородныхъ людей» XVII в. Еще въ годъ изданія табели о рангахъ оберъ-прокуроръ сената, Скорняковъ-Писаревъ, попрекалъ сенатора М. Шафирова тѣмъ, что тотъ «жидовской породы, холопа боярскаго сынъ», а послѣдній отвѣчалъ ему, что онъ потомокъ «площаднаго писаря и скорняка», а отецъ его пахалъ землю. Теперь «рангъ» все покрылъ. Обиженный братомъ Шафирова, вице-канцлеромъ, совѣтникъ Степановъ въ томъ самомъ году (1722) уже заявлялъ: «я о моей персонѣ не говорю, только характеръ канцеляріи совѣтника не допускаетъ не токмо побои, но и брани терпѣть». Правда, житейская практика скоро показала, что и петровскій «чинъ» возвышаетъ только надъ младшими, но не мѣшаетъ самоуправству старшихъ. Дворянинъ въ чинахъ могъ, сколько угодно, бить простого дворянина и безчинствовать въ собственномъ дворцѣ имп. Анны, и самъ московскій главнокомандующій и родственникъ царицы, П. Салтыковъ, «не смѣлъ ничего сдѣлать» съ нимъ—«для того, что онъ имѣетъ чинъ генералъ-поручика». Кабинетъ-министръ могъ невозбранно избить простого секретаря, но отвѣчалъ за то, что избилъ его въ домѣ герцога курляндскаго, чѣмъ нанесъ «безчестье» послѣднему.

Какъ бы то ни было, за неимѣніемъ лучшаго, масштабъ соціальнаго положенія «служителей» былъ найденъ и Петръ могъ предписать имъ—при всѣхъ придворныхъ церемоніалахъ и богослуженіяхъ каждому знать свое мѣсто: а кто займетъ мѣсто выше своего ранга или уступитъ его лицу низшаго ранга, подвергается штрафу въ размѣрѣ двухмѣсячнаго жалованья. Петръ, правда, оговорился въ табели, что эти новыя правила мѣстничества устанавливаются лишь для оффиціальныхъ собраній, «но не въ такихъ оказіяхъ, когда нѣкоторые яко добрые друзья и сосѣди съѣдутся», или въ публичныхъ ассамблеяхъ. Но нововведеніе слишкомъ хорошо отвѣчало на этотъ разъ общественной потребности: «чинъ» надолго сдѣлался основой, на которой строились всѣ общественныя отношенія.

«Чинъ» не былъ, конечно, самостоятельной силой, способной доставить или преградить доступъ ко двору. Табель о рангахъ была достаточно демократична, чтобы допустить пожалованіе генеральскимъ чи-

---

тари коллегій и другихъ высшихъ присутственныхъ мѣстъ (около 85): генералъ-лейтенанты, генералъ-маіоры, бригадиры, полковники, поручики и подпоручики гвардіи)—около 45 ч.

номъ повара имп. Елизаветы, но не настолько демократична, чтобы открыть путь ко двору всякому честному служакѣ. При дѣйствіи табели, какъ при всякомъ другомъ порядкѣ, можно было служить и не дослужиться, и можно было выслужиться, не служивши. Но, послѣ личныхъ связей при дворѣ, чинъ былъ, несомнѣнно, вторымъ проводникомъ новой культурной обстановки. Онъ соединялъ дворъ съ ближайшимъ ко двору соціальнымъ слоемъ. То соціальное значеніе, которое новая обстановка имѣла для придворнаго круга, она скоро пріобрѣла и здѣсь. Уже Петръ заботится о томъ, чтобы культурная внѣшность соотвѣтствовала соціальному положенію, создаваемому рангомъ, — «понеже знатность и достоинство чина какой особы часто тѣмъ умаляется, когда уборъ и прочій поступокъ тѣмъ не сходствуетъ». Аргументъ этотъ былъ такъ хорошо усвоенъ, что отъ поощреній правительство скоро перешло къ цѣлой системѣ ограниченій. При Елизаветѣ было опредѣлено, въ какую цѣну матеріи имѣютъ право носить лица различныхъ ранговъ (1742): первые пять ранговъ — не дороже 4 р. за аршинъ, слѣдующіе три—не дороже 3 р., остальные—не дороже 2 р. Манифестъ 1775 г. регламентировалъ еще детальнѣе характеръ выѣздныхъ экипажей. Только первые два классамогли ѣздить шестеркой съ двумя форрейторами, слѣдующіе три безъ форрейторовъ, дальнѣйшіе три—только четверкой, остальные парой, а простые дворяне—верхомъ или въ одноколкѣ и саняхъ на одной лошади.

Итакъ, въ придворныхъ и близкихъ къ придворнымъ, чиновныхъ кругахъ общества первое употребленіе, сдѣланное изъ европейской культурной внѣшности, было узко-практическое. Успѣхъ новой обстановки гарантированъ былъ здѣсь тѣмъ соціальнымъ значеніемъ, которое она пріобрѣла, какъ показатель извѣстнаго общественнаго положенія. Но за предѣлами этого круга стояло все столичное дворянство, участіе котораго въ придворной жизни Петра сводилось къ угощенію высшаго общества гвардейской сивухой, отъ которой бѣгали фешенебельные посѣтители Лѣтняго сада. Какова была судьба новыхъ культурныхъ элементовъ въ этой рядовой дворянской средѣ?

Въ первые полвѣка реформы русское рядовое дворянство очень медленно входило во вкусъ европейской культуры. Кое-кому изъ этихъ дворянъ поневолѣ пришлось побывать и за границей, по царскому наряду. Они возвращались, слегка обчищенные и обтесанные; но, попавъ въ старую среду, въ прежнюю семейную обстановку, быстро отдѣлывались отъ культурныхъ привычекъ и погружались въ «прежнее свинство». «Кто видѣлъ ихъ за границей, черезъ годъ не могъ бы уже узнать ихъ», замѣчаетъ Фокеродтъ. Не оставляла прочныхъ слѣдовъ даже и служба въ русскомъ «регулярствѣ», отъ которой такъ страдали дворяне. Изъ одного указа 1726 г. мы узнаемъ, что едва вернувшись по домамъ, они спѣшили запустить бороду и надѣвали старое русское платье. Указъ предписываетъ всѣмъ такимъ отставнымъ и

отпускнымъ дворянамъ «содержать себя всегда въ чистотѣ, какъ въ полкахъ служили»; платье носить нѣмецкое, со шпагой; «буде же кто нѣмецкаго сукна за скудостью купить не можетъ, чтобы дѣлали, хотя изъ русскаго сермяжнаго сукна съ обшлагами другого цвѣта, окрася какою похочетъ краскою». Таково начало дворянскихъ мундировъ. Бороду также приказывалось брить; «а ежели гдѣ въ деревняхъ», предусмотрительно прибавлялъ указъ, «такихъ людей, кто брить умѣетъ, не случится, то подстригать ножницами до плоти въ каждую недѣлю по дважды».

Несмотря на угрозы штрафами и батогами, указъ плохо исполнялся. Впрочемъ, скоро, при Аннѣ, разбредшихся по деревнямъ дворянъ вернули опять въ полки; усадьбы стояли пустыя; въ уѣздахъ остались лишь дряхлые и больные старики, да женщины: ни тѣ, ни другія, конечно, не могли насадить въ уѣздахъ новую дворянскую культуру. Условія кореннымъ образомъ измѣнились лишь во второй половинѣ вѣка.

Въ ожиданіи этого времени, только въ столичномъ дворянствѣ начало появляться сознаніе, что европейская внѣшность можетъ имѣть и для него никакъ не меньшее соціальное значеніе, чѣмъ она имѣла для правящихъ круговъ. На самомъ дѣлѣ значеніе это должно было быть огромно. Новой культурѣ суждено было положить ту рѣзкую грань между «благородствомъ» и «подлостью», которая послужила основой и санкціей дворянскаго сословнаго самосознанія. Но, оригинальнымъ образомъ, къ этому самосознанію привело русское дворянство не его положеніе въ деревнѣ, а его положеніе въ столицѣ. Оно сперва почувствовало себя политически сильнымъ, а потомъ употребило эту силу для закрѣпленія своего экономическаго преобладанія и сословной солидарности. Его культурное положеніе, такимъ образомъ, явилось лишь послѣдствіемъ той роли, которую оно сыграло, какъ «опора власти».

Извѣстно, какъ эта роль была сыграна. Въ первые же 16 лѣтъ по смерти Петра дворянство четыре раза участвовало въ государственныхъ переворотахъ, каждый разъ являясь все въ болѣе и болѣе активной роли. Изъ роли простыхъ статистовъ (при воцареніи Екатерины I) дворянская гвардія переходитъ въ роль возстановителей самодержавія (при воцареніи Анны), затѣмъ, даетъ свою помощь для сверженія регента (Бирона) и сама свергаетъ, наконецъ, правящаго государя-младенца, въ ожиданіи, пока свергнетъ взрослаго. О плодахъ этой дѣятельности рѣчь будетъ ниже.

Поскольку вліяніе столичнаго дворянства могло проникать въ провинцію, — уже и въ первой половинѣ вѣка мы замѣчаемъ кое-какіе признаки усвоенія европейской культурной внѣшности. Извѣстный мемуаристъ Болотовъ оставилъ намъ изображеніе двухъ провинціальныхъ дворянскихъ обществъ 1750-хъ годовъ, которое какъ нельзя лучше можетъ иллюстрировать послѣдовательный ходъ культурныхъ заимствованій въ первой половинѣ XVIII вѣка. Въ псковской деревнѣ своего зятя Не-

клюдова, Опанкинѣ, Болотовъ встрѣчаетъ общество, «которому свѣтское обхожденіе не менѣе знакомо, какъ и петербургскимъ жителямъ». Сестра гордится его свѣтскими талантами, его костюмомъ, его разговорами, когда онъ пріѣзжаетъ къ ней изъ Петербурга, и приходитъ въ ужасъ, когда онъ, одичалый, растерявши всѣ свои «поступки, и поведеніе, и обхожденіе», въ «смѣшномъ, неловкомъ и непристойномъ» платьѣ является къ ней изъ своего каширскаго захолустья, Дворяниннова. Ей «стыдно показать сосѣдямъ»—«деревенскаго пентюха». Сосѣди эти проводятъ деревенскій досугъ въ томъ, что поочередно ѣздятъ другъ къ другу всей компаніей въ гости. Одинъ изъ сосѣдей возитъ съ собой и музыку,—двѣ-три скрипки, на которыхъ его собственные лакеи изображаютъ польскіе, менуэты и контрадансы. Послѣ обѣда, продолжающагося нѣсколько часовъ, съ обильными возліяніями,—«хотя бы и не въ деревнѣ»,—барыни засаживаются играть въ карты, въ модную игру «памфелъ», барышни и кавалеры весь вечеръ танцуютъ, а отцы семействъ, «держа въ рукахъ то и дѣло подносимыя рюмки, упражняются въ разговорахъ». Но, начавшись по-петербургски,—если не по-европейски,—вечеръ кончается чисто по-русски. Подгулявшіе господа хотятъ плясать сами, и деликатные «менуэты» и «контрадансы» молодежи смѣняются болѣе знакомой зрѣлому поколѣнію русской плясовой, въ которой принимаютъ участіе и дамы, бросивъ свой «памфелъ». Когда истощается и этотъ рессурсъ, компанія переходитъ къ русскимъ пѣснямъ: зовутъ дѣвокъ и лакеевъ, которые и занимаютъ господъ до самаго ужина, шокируя молодежь, у которой теперь свои модныя любовныя пѣсенки, еще не перешедшія въ распоряженіе лакеевъ и горничныхъ.

До такого «свѣтскаго» образа жизни далеко мелкопомѣстнымъ сосѣдямъ каширской деревни Болотова,—доживающимъ свой вѣкъ сверстникамъ его отца и матери. Ходятъ они въ старинномъ платьѣ, «долгополыхъ кафтанахъ» съ «ужасной величины обшлагами», другъ къ другу почти не ѣздятъ, да и не къ кому ѣздить, потому что все мѣстное дворянство—на службѣ; а когда соберутся, то только пьютъ или ведутъ практическій разговоръ про мѣстныя тяжбы, причемъ самымъ ловкимъ сутягой и и знатокомъ приказнаго крючкотворства оказывается мѣстный батюшка. За то двѣнадцатилѣтній Болотовъ, съ своимъ знаніемъ нѣмецкаго языка и ариѳметики, съ начатками французскаго и географіи, кажется всѣмъ въ этой компаніи чудомъ учености. И самое жилье здѣсь остается, какимъ было до реформы. Семья ютится въ двухъ теплыхъ комнатахъ огромнаго дома; холодный залъ, съ почернѣвшими отъ времени деревянными стѣнами, потолками и корявымъ дубовымъ поломъ, съ цѣлымъ иконостасомъ у одной стѣны, съ деревянными лавками по стѣнамъ и простымъ деревяннымъ столомъ вмѣсто всякой мебели — открывается только для молебновъ по большимъ праздникамъ. А между тѣмъ у псковскаго зятя уже есть и мебель а стѣны покрыты холстомъ, разрисованнымъ масляными красками.

Такъ намѣчаются предѣлы и степень распространенія новой культурной внѣшности въ первой половинѣ XVIII в. Въ предѣлы эти входятъ: дворъ, высшее чиновничество, столичное и отчасти провинціальное дворянство. Внѣ предѣловъ остается духовенство и приказные, горожане и крестьяне. Всѣмъ этимъ общественнымъ слоямъ суждено надолго остаться чуждыми новой культурѣ,—и не потому только, что міровоззрѣніе этихъ «подлыхъ» людей принципіально противорѣчитъ міровоззрѣнію «благородныхъ», а также и потому, что одни «подлы», а другіе «благородны»: другими словами, потому что вскорѣ послѣ своего водворенія на Руси новая культура становится соціальнымъ признакомъ привилегированнаго сословія.

Въ моментъ этого рѣшительнаго культурнаго и соціальнаго разрыва между «благородствомъ» и «подлостью», не лишнее будетъ остановиться и разсмотрѣть внимательнѣе, въ чемъ именно состоитъ разница обоихъ міровоззрѣній. Для характеристики того и другого мы выберемъ два литературныхъ произведенія, относящіяся къ одному и тому же времени: «Завѣщаніе отеческое» Посошкова, оконченное, повидимому, въ 1719 г., и «Юности честное зерцало», появившееся первымъ изданіемъ въ 1717 г.

Какой соціальный кругъ имѣется въ виду Посошковымъ въ его «Завѣщаніи», видно изъ перечня тѣхъ общественныхъ положеній, въ которыя ставитъ поочередно отецъ своего сына, чтобы преподать ему соотвѣтственные совѣты. Сынъ Посошкова (или его читателя) можетъ сдѣлаться купцомъ, крестьяниномъ, работникомъ, нищимъ, можетъ пойти въ причетники, попы, монахи, удостоиться архіерейства и даже патріаршества, попасть въ приказные и сдѣлаться судьей, поступить въ солдаты и выслужиться до офицерскаго чина. Одного онъ не можетъ: сдѣлаться помѣщикомъ и дворяниномъ. Итакъ, авторъ, — самъ дворцовый крестьянинъ, пишетъ свои правила добродѣтельной жизни для «подлаго состоянія». Однако, и этотъ кругъ настолько широкъ, что въ началѣ XVIII в. и въ немъ уже не существуетъ полнаго единства міровоззрѣнія. Возстановить это единство—является самымъ горячимъ желаніемъ автора, которое, однако, уже тогда оказывается неосуществимой мечтой. Въ предѣлахъ соціальнаго кругозора Посошкова оказываются на лицо всѣ возможные виды и оттѣнки религіознаго міровоззрѣнія. Масса погружена въ двоевѣріе, недалеко ушедшее отъ язычества; изъ вѣрующаго меньшинства—многіе ушли въ расколъ; среди приказныхъ и горожанъ начинаетъ распространяться протестантизмъ и сектантство («лжехристовщина» и «лжемоисѣевщина» ср. «Оч.», II, 110, 104—105). Наконецъ, на крайнемъ предѣлѣ доступнаго Посошкову круга наблюденій возникаетъ призракъ «свѣтскаго житія», совсѣмъ уже ничего не имѣющаго общаго съ «евангельскимъ»: люди «проводятъ время до полуночи, а то и до свѣта въ скаканіи и танцованіи безъ сна; пьютъ съ музыками и въ карты играютъ». Среди всѣхъ

этихъ уклоненій православному человѣку предстоитъ трудная задача проложить себѣ средній путь, не увлекаясь ни «на шую страну» народнаго язычества, ни на «мнимое десно» раскола и сектантства.

Какъ видимъ, «свѣтское житіе», собственно, вовсе выходитъ изъ строго-религіознаго кругозора Посошкова, такъ какъ не опирается ни на какое религіозное міровоззрѣніе. Хотя онъ и формулируетъ въ одномъ мѣстѣ своихъ писаній тотъ практическій «атеизмъ» (нѣтъ ни Бога, ни души, ни безсмертія, ни вѣчныхъ мукъ), на который могло бы опереться «свѣтское житіе», — но эта формулировка такъ чужда его складу мысли, что съ ней онъ не находитъ ни средствъ, ни желанія бороться. Для него этотъ «атеизмъ» есть скорѣе логическій выводъ, своего рода reductio ad absurdum, которымъ онъ грозитъ протестантству, чѣмъ дѣйствительный противникъ, съ которымъ онъ считалъ бы нужнымъ полемизировать. Настоящаго противника онъ видитъ въ породившемъ подобный выводъ, но все же *религіозномъ* міровоззрѣніи. За «атеизмъ», какъ и за «свѣтское житіе» отвѣчаетъ Посошкову Мартинъ Лютеръ. Это онъ, сугубый еретикъ, ища оправданія своему «скверному житію», «отъ презѣльной ярости въ блудѣ» изобрѣлъ широкій, «легкостный» путь жизни и увлекъ на него «сластолюбцевъ». Все, что есть хорошаго у лютеранъ, всѣ ихъ «житейскіе уставы» — изобрѣтены до Лютера: «издревле, до Мартинова бытія, нѣкто былъ у нихъ пришлецъ или изъ нихъ выродокъ; онъ уставилъ у нихъ гражданскіе уставы, какъ купеческіе, такъ и ремесленные, и воинскіе, и судейскіе». Весь же строй жизни основанъ Лютеромъ — на «свѣтскомъ разумѣ», а не на «духовномъ»: подражать ему—значитъ идти прямымъ путемъ къ погибели. «Святые апостольскіе послѣдователи жить по вашему не умѣли», заявляетъ онъ противникамъ, — «вмѣсто ренскаго пили воду мутную; вмѣсто златотканныхъ одеждъ носили рубища; вмѣсто постелей пуховыхъ спали на голой землѣ; вмѣсто свѣтлыхъ свѣтлицъ жили въ темныхъ вертепахъ; вмѣсто французскихъ танцевъ проводили ночи во всенощномъ бдѣніи; вмѣсто множества денегъ имѣли множество вшей; вмѣсто музыкъ и веселія — плакали день и ночь о грѣхахъ».

Оставаясь на почвѣ религіозной, какія доказательства можно привести въ пользу «свѣтскаго житія?» Посошковъ знаетъ только одно— не вычитанное, а подслушанное у иноземцевъ — и обрушивается на него со всѣмъ жаромъ своего православнаго негодованія. «По Мартинову толкованію: еже есть на свѣтѣ, то все чисто и свято, и они всѣ святы, и грѣха ни въ чемъ нѣтъ»; «всѣ свои грѣхи причитаютъ къ Божіей винѣ, а не къ своей, говоря: таковыхъ-де насъ Богъ сотворилъ». О, безуміе, о безстрашіе, протестуетъ Посошковъ противъ лютеранскаго фатализма; значитъ, «по вашему люторскому высокоумію ни за какую вину наказанія чинить не слѣдуетъ?» Неправда, настаиваетъ онъ: «Богъ сотворилъ человѣка самовластнымъ; идти

скорбнымъ или веселымъ путемъ,—въ томъ воля наша»; «хотимъ здѣсь веселиться,—тамъ возрыдаемъ; а хотимъ тамъ веселиться, подобаетъ намъ здѣсь нужду претерпѣти» (ср. споръ Ѳеофана съ Стефаномъ Яворскимъ, «Оч.» II, 167). Въ связи съ этимъ взглядомъ на свободу воли, очевидно, находится и вражда Посошкова къ астрономіи, служившей у насъ первымъ проводникомъ детерминизма (Оч. II, 273—74, 279—80). Особенно ненавистно автору ученіе «проклятаго Коперника, Богу соперника», хотящаго быть мудрѣе самого Соломона, превратившаго «солнце въ Бога», «а землѣ съ людьми» повелѣвшаго «служить солнцу» ежедневнымъ обхожденіемъ.

Подобно московскимъ начетчикамъ XVII в. Посошковъ признаетъ одну науку или, что то же, одно искусство: «какъ жить душеполезно», чтобы достигнуть вѣчнаго спасенія (Оч. II, 255—257). Но на этомъ пути встрѣчаетъ его другая опасность, другой видъ «мнимаго десна» или «ложнаго благочестія»—расколъ. Уже изъ сдѣланныхъ выписокъ можно было бы заключить, что Посошковъ не чуждъ самъ «недугу раскольничьей болѣзни»,—и онъ откровенно признается, что «изначала хромалъ» ею (въ концѣ XVII в.; Посошковъ родился въ 1652 г.). Нѣкоторыя раскольничьи мнѣнія онъ удержалъ и впослѣдствіи, но, отказавшись отъ главныхъ, сталъ отчаяннымъ врагомъ раскола, тѣмъ болѣе непримиримымъ, чѣмъ яснѣе понималъ силу раскола надъ современными умами и чѣмъ ближе самъ стоялъ къ духу раскола. По его мнѣнію, если этихъ «плевелъ» не «истребить безъ замедленія», то можно опасаться, какъ бы они «и остатковъ доброй пшеницы не подавили и въ конецъ безъ вѣсти бы не учинили». А такъ какъ раскольниковъ «никогда добромъ не научить» и «наукой съ ними и въ двадцать лѣтъ нельзя столько добра сдѣлать, сколько за одинъ годъ жестокостью», и такъ какъ дѣло идетъ о спасеніи или погибели душъ христіанскихъ,—то Посошковъ предлагаетъ драконовскій способъ обращенія раскольниковъ въ православіе. Надо переписать подворно всѣ епархіи, описать всѣ дворы и задворки, и завести книги для записей крещенныхъ, причащенныхъ и вѣнчанныхъ прихожанъ. Всѣ возможныя лазейки, которыми можно было бы уйти отъ этихъ записей и переписи, артистически предусмотрѣны авторомъ; при малѣйшемъ сомнѣніи—духовенству является на помощь полиція, слѣдуетъ обыскъ, дознаніе, пытка, и не могущіе оправдаться, объяснить, напр., у какого священника они состоятъ прихожанами и отправляютъ требы и таинства,—немедленно отсылаются на костеръ. Сожженіе грозитъ и укрывшимъ ихъ изъ корысти православнымъ священникамъ, «понеже раскольниковъ ни отъ чего такъ не умножается, какъ отъ потачки поповской».

По мѣрѣ того, какъ развиваются детали этого невѣроятнаго плана, самому автору онъ начинаетъ казаться «диковатымъ и противноватымъ». Но, какъ человѣкъ практическій, Посошковъ правильно разсуждаетъ, что *если* ужъ задаться цѣлью искоренить расколъ, то болѣе мягкія средства тутъ ни къ чему не поведутъ.

Это только доказываетъ, конечно, что искорененіе раскола было такой же безнадежной и неосуществимой мечтой, какъ и искорененіе «свѣтскаго житія». Предложенныя противъ раскола мѣры были похоронены въ синодѣ, вмѣстѣ съ этой частью рукописи «Завѣщанія»; а относительно «свѣтскаго житія» Посошковъ не могъ даже рѣшиться предлагать никакихъ мѣръ и ограничился безсильнымъ и безполезнымъ протестомъ, дѣлая при этомъ видъ, что протестуетъ противъ иностранцевъ и что не прошло еще время «заткнуть диру», черезъ которую они проникли въ Россію. Можно подумать, читая эти выходки Посошкова противъ иностранцевъ, что мы имѣемъ дѣло съ современникомъ Крижанича. На самомъ дѣлѣ, позиція, на которой продолжалъ стоять шестидесятилѣтній старикъ, логически вытекала изъ стараго міровоззрѣнія; но занимать ее было уже поздно: она взята была жизнью.

Трагизмъ положенія Посошкова этимъ не ограничивался. Дѣло въ томъ, что и его собственный идеалъ—жизни, согласной съ евангельской моралью,—встрѣчалъ неодолимыя препятствія и въ собственномъ міровоззрѣніи Посошкова и въ окружающихъ условіяхъ. Не желая склониться на «мнимое десно», онъ часто, не замѣчая того самъ, отклонялся слишкомъ далеко на «шуюю страну». Желаніе освѣтить и согрѣть жизнь вѣрой постоянно вступаетъ у него въ безсознательный компромиссъ съ житейской практикой Домостроя и съ религіознымъ міровоззрѣніемъ кіевскаго Патерика. Говоря о брачной жизни, онъ находитъ, что «то добро и свято, еже бы оба изъ воли и изъ любви сошлись», какъ уже и требовалъ петровскій законъ; онъ находитъ, что невѣсты—«не лошади», чтобы ихъ сватать по нѣскольку одновременно. Но, однако, знакомиться съ невѣстой онъ не дозволяетъ, а разрѣшаетъ только взглянуть на нее ненарокомъ, гдѣ-нибудь «у церкви или на переходѣ». Онъ знаетъ, что «Богъ нарекъ жену помощницей, а не работницей», но совѣтоваться съ ней о дѣлахъ рекомендуетъ не столько для пользы, сколько изъ принципа: вѣдь иной разъ «Богъ черезъ малосмысленныхъ, паче мудрыхъ, открываетъ сокровенный совѣтъ». Въ воспитаніи дѣтей онъ безусловно становится на сторону ветхозавѣтной педагогіи: дѣтей надо держать «въ великой грозѣ», чтобы «взгляду вашего боялись»: нельзя не только смѣяться съ ними, но и позволять имъ играть. Даже грудныхъ младенцевъ не надо забавлять, учить матери «кукуши казать и по щекамъ бить»; вмѣсто «папа» и «мама» надо имъ показывать «Богъ на небѣ», «Богъ съ неба смотритъ», «Богъ за то тебя убьетъ». Посошковъ видитъ «Бога на небѣ» такъ же ясно, какъ Аввакумъ и Лазарь въ своихъ богословскихъ теоріяхъ *). На

*) «Троица рядкомъ сидитъ,—писалъ, напр., Лазарь,—Сынъ одесную, а Духъ Святый—ошуюю Отца на небеси на разныхъ престолахъ—яко царь съ дѣтьми сидитъ Богъ Отецъ, а Христосъ на четвертомъ престолѣ особномъ сидитъ предъ Отцемъ небеснымъ». Посошковъ при словахъ: «Яко Спаса родила еси» совѣтовалъ: «Умными своими очами въ той часъ зри его ясно, Господа Іисуса Христа, на небесѣхъ суща».

землѣ, напротивъ, повсюду и всегда сторожитъ человѣка дьяволъ, который, впрочемъ, «аще и вельми естествомъ тонокъ и проницателенъ есть, иже и сквозь желѣзо проходитъ, а въ человѣка безъ диры внити не можетъ». Но малѣйшая оплошность, малѣйшее отвлеченіе мысли отъ Бога могутъ открыть дьяволу эту «диру». Поэтому необходимо постоянно твердить въ умѣ молитву и всякое дѣло начинать крестнымъ знаменіемъ, прогоняющимъ дьявола. «Острая молитва всѣ небеса пробиваетъ и престола Божія касается», но невнимательную молитву перехватываютъ у ангела-хранителя летающіе между землей и небомъ «воздушные демоны». Тѣ же демоны стерегутъ на пути къ небу грѣшную душу и не даютъ ей «свободно дойти до царствія небеснаго». Посошковъ убѣждаетъ сына не вѣрить въ примѣты; но самъ очень боится колдуновъ и волхвовъ, въ которыхъ видитъ агентовъ «дьявольской силы», и совѣтуетъ принимать всяческія мѣры противъ «порчи». На сосудъ съ питьемъ надо дунуть крестообразно; входя въ незнакомый или давно не посѣщавшійся домъ, необходимо перекреститься: тогда дьяволъ не сдѣлаетъ никакой «пакости». Дьяволъ дѣйствуетъ въ домѣ, главнымъ образомъ, «изъ запечья, или изъ задняго угла, или изъ бани,—гдѣ нѣтъ святыхъ образовъ». Лѣчиться у колдуна или проглотить письменный заговоръ противъ болѣзни—значитъ прямо «съѣсть прикровеннаго въ такомъ письмѣ дьявола» и самому сдѣлаться его пищей. Безъ сомнѣнія, такое лѣченіе *можетъ* помочь,—но только вражьей силой; вотъ почему Посошковъ предпочитаетъ лѣчиться у доктора, травами: въ травахъ «лѣчебную силу *Богъ* положилъ».

Естественно, что и въ своихъ протестахъ противъ народнаго фетишизма, Посошковъ не могъ быть послѣдователенъ. Онъ запрещаетъ называть иконы «богами», отдавать Николѣ чудотворцу или другимъ излюбленнымъ святымъ предпочтеніе передъ Спасителемъ и Богоматерью, молиться своимъ иконамъ въ церкви. Но онъ твердо вѣритъ, что именно Варварѣ великомученицѣ надо молиться объ избавленіи отъ внезапной смерти и болѣзни, а св. Власію—«о благополученіи»; что Іоаннъ Предтеча научаетъ «цѣломудренному житію», а св. Спиридонъ «утверждаетъ въ православіи». Онъ разрѣшаетъ пожертвовать въ церковь свою икону съ тѣмъ, чтобы передъ ней усиленно ставить свѣчи. Чтобы «образовъ святыхъ не почитать всѣхъ за едино равенство», онъ придумываетъ цѣлую систему своеобразнаго мѣстничества между ними: степень почитанія измѣряется при этомъ глубиной поклоновъ (Посошковъ различаетъ цѣлыхъ пять видовъ ихъ), толщиной свѣчей и мѣстомъ, къ которому нужно прикладываться. Когда дѣло касается обряда, Посошковъ неистощимъ въ своей изобрѣтательности и въ мелочности своей регламентаціи. Онъ увѣренъ, что ветхозавѣтный «законъ» не только не отмѣненъ, но, напротивъ, подкрѣпленъ новой «благодатью», и потому Христовъ законъ долженъ быть гораздо «тяжелоноснѣе» Моисеева. «Книжниковъ и фарисеевъ» необходимо

«превзойти» не только евангельской нравственностью, но и обрядомъ. «Фарисей дважды въ недѣлю постился, а ты, кромѣ среды и пятницы, постись еще всѣ четыре поста: тогда и въ постѣ превзойдешь фарисеевъ». Отдѣливъ Богу положенную десятину отъ своего имѣнія, «приложи рублевъ пять (къ сотнѣ), дабы тебѣ превысить фарисеево подаяніе».

Такимъ же препятствіемъ для осуществленія евангельскихъ совѣтовъ Посошкова, какъ его собственное міровоззрѣніе, оказывается и окружающая его среда. Въ современной ему дѣйствительности эти совѣты или не находятъ себѣ никакого приложенія, или получаютъ неожиданно-низменный, утилитарный смыслъ. И Посошковъ очень хорошо понимаетъ самъ, что до-петровская старина нисколько не помогаетъ, а только мѣшаетъ его благимъ намѣреніямъ. Какъ бы ни грозило будущее его идеаламъ, ему не приходитъ еще и въ голову искать спасенія въ прошломъ. Онъ не приглашаетъ никуда «вернуться», потому что самъ видитъ, что возвращаться некуда и незачѣмъ. Прошлое еще и не ушло никуда; оно тутъ, оно окружаетъ со всѣхъ сторонъ человѣка; оно даже со стороны такого націоналиста, какъ Посошковъ, вызываетъ только борьбу и обличеніе, а отнюдь не прикрашиваніе и не идеализацію. Развивая свои идеалы «евангельскаго житія» для всевозможныхъ общественныхъ положеній, Посошковъ вмѣстѣ съ тѣмъ развертываетъ передъ нами яркую картину тѣхъ нравственныхъ недостатковъ и соціальныхъ золъ стараго русскаго общества, которые полагали этому житію непреодолимыя препятствія. За искусственно-огражденной твердыней старой русской семьи—ничѣмъ не сдерживаемая, звѣрская страсть кипитъ и клокочетъ кругомъ. Ребенку шагу нельзя сдѣлать изъ отцовскаго дома: ежеминутно грозитъ ему «содомскій грѣхъ», отъ котораго можно спастись только «воплемъ, елико сможетъ воскричать». Юношу—лишняя минута разговора съ женщиной, лишняя улыбка или даже родственный поцѣлуй грозятъ сдѣлать «внѣ ума». Мужчина—«звѣрски» удовлетворяетъ свою похоть. Особенно опасны для женъ «иноки», и для мужчинъ—молодыя монахини. Посошковъ нисколько не скрываетъ отъ себя низкаго культурнаго уровня и жалкаго общественнаго положенія того сословія, которое призвано проводить въ жизнь его идеалы. Попы «валяются пьяные на улицѣ» и «пьянствуютъ въ кабакахъ», паству посѣщаютъ ради угощенья, службу отправляютъ кое-какъ и сокращаютъ въ угоду «сильнымъ людямъ»; посвящаются, не только не зная «грамматическаго разума», но даже «не разумѣя чтомаго», а иногда и вовсе не умѣя читать; «торгуютъ церквами», покупая священническія мѣста исключительно ради доходовъ; берутъ взятки съ раскольниковъ и показываютъ ихъ православными; о собственной паствѣ небрегутъ, не только не поучая ихъ въ вѣрѣ, но даже не пріучая и къ требамъ: «многіе крестьяне, и близъ Москвы живущіе, лѣтъ до шестидесяти не прича-

щаются и не исповѣдуются; многіе и умираютъ безо всего». Никто и не церемонится съ подобными пастырями. Архіерейскіе чиновники «ни во что ихъ ставятъ» и «обираютъ кругомъ». «Дворяне пресвитеровъ сельскихъ ведутъ хуже холопей своихъ; боясь ихъ, тѣ пресвитеры служатъ у нихъ всякую работу рабью, паче послѣдняго челядинца» *).

При этихъ условіяхъ, требованіе евангельскаго «смиренія» оказывалось въ неожиданно-полномъ согласіи съ русской дѣйствительностью. Что значило человѣку «подлаго состоянія» подставить другую ланиту— въ томъ обществѣ, гдѣ аристократъ, князь Шаховской, при дворѣ за червонецъ давалъ себя бить по щекѣ всякому желающему? Что могъ значить совѣтъ Посошкова—притворяться, будто не слышишь брани, когда отвѣтить обидчику—зачастую значило рисковать гораздо худшей обидой, когда и сама народная мудрость учила, что «брань на вороту не виснетъ». Въ концѣ концовъ «жить по евангельски» оказывалось иной разъ очень выгодно, и самъ Посошковъ не упускаетъ случая указать на это преимущество. Конечно, онъ совѣтуетъ «смиреніе творить не того ради, дабы тебя люди хвалили»; но на той же страницѣ поощряетъ услужливаго человѣка соображеніемъ: «тако творя, отъ всѣхъ похваленъ будеши и добрымъ человѣкомъ прослывеши». Однако, выгода отъ добраго поведенія можетъ быть и болѣе реальная. Если ты молодой подъячій, «выбѣги и встрѣть судью» «у саней»; «судья тебя будетъ любить: кому батоги, а тебѣ будетъ доброе слово и милость,— и дѣлами тебя прибыточными наполнятъ». Если ты работникъ, и хозяинъ «станетъ тебя посылать (дѣло обыкновенное въ то время) на разбой, на воровство или на убійство, отвѣчай кротко, чтобы его не озлобить: благоволи де послать кого посмѣлѣй, а я человѣкъ несмѣлый и несловесный», или какъ-нибудь въ этомъ родѣ, «только бы тебѣ себя поберечь, а его не оскорбить». Даже заповѣдь евангельской нищеты превращается въ рукахъ разбогатѣвшаго коммерческими операціями

*) Горячо относясь къ «дворянскимъ обидамъ», Посошковъ приводитъ и примѣръ. Къ помѣщику Ханыкову пришелъ на Пасху съ крестомъ попъ, «не въ ихъ вотчинѣ служащій»—побывавъ по дорогѣ на винокуренномъ заводѣ у Посошкова. Ханыковъ, «вышедъ на крыльцо, ударилъ того пресвитера по щекѣ и крестъ святый изъ рукъ у него вышибъ и, съ крыльца его спихнувъ, началъ его во всемъ облаченіи съ людьми своими бить и по грязи волочить и топтать: ты де меня промѣнялъ на Посошкова». Не смѣя жаловаться архіерею, «дабы послѣ больше того не пострадать отъ него», попъ самъ же просилъ у помѣщика прощенія «и едва умолилъ, что святый крестъ и иконы отдалъ имъ назадъ». Другой примѣръ, изъ близкаго времени (1733): поручикъ Болотовъ, посадивъ пріѣхавшаго къ нему попа за столъ и «наливъ вина, сталъ ему подносить, а за непитье вина (т.-е. какъ разъ за то, чего требовалъ въ такихъ случаяхъ Посошковъ) ударилъ въ щеку, а потомъ билъ палкой», затѣмъ вторично сталъ угощать. Послѣ новаго отказа помѣщикъ велѣлъ солдатамъ принести батоги, «и раздѣвъ, оные солдаты били (попа) батожьемъ съ четверть часа». Помѣщикъ оправдывался тѣмъ, что сельскій попъ долженъ ему во всемъ повиноваться и что онъ имѣлъ право наказать попа за непослушаніе. Ср. Оч. II, 151—153.

крестьянина въ ловкій практическій совѣтъ: «если не будешь страстно желать богатства, то оно и само не побѣжитъ отъ тебя, только ты умѣй его держать: не давайся ему подъ власть, но ты имъ господствуй». А, разбогатѣвъ, «если будешь пить хорошіе напитки, вспомни мыслью своей бѣдныхъ людей, которые и чистой воды не имѣютъ, а пьютъ, черпая изъ болота, мутную, съ мухами и червями; а когда ѣшь жирную и сладкую пищу, вспомни убогихъ, которые и хлѣба чистаго не имѣютъ, а ѣдятъ гнилой и съ мякиной. И подумай, что вотъ тебя Богъ наполнилъ и удовлетворилъ такимъ изобиліемъ, а другіе, такіе же какъ ты, люди—страдаютъ. И вспомнивъ про такое ихъ страданіе, воздай Богу благодареніе объ изобиліи твоемъ». Такимъ образомъ, смиреніе и богатому человѣку можетъ послужить на пользу, помогая пищеваренію и становясь источникомъ своеобразнаго наслажденія, такъ хорошо знакомаго русскому кулаку.

Какъ видимъ, въ этой покладливой морали немного осталось «аскетическаго», или «византійскаго». Она является вполнѣ національнымъ продуктомъ національныхъ условій существованія. Это—мораль практическаго человѣка, поставившаго задачей—сохранить душевное равновѣсіе среди всевозможныхъ случайностей окружающей дѣйствительности, готоваго добиться своей цѣли цѣной какого-угодно компромисса, а чаще всего и не сознающаго вовсе, въ какіе компромиссы онъ вступаетъ. Мораль Посошкова, какъ и его міровоззрѣніе, такъ же «простосложны» и «удобопоемны» для огромной массы «подлыхъ людей», какъ и языкъ, которымъ онъ говоритъ съ нею, какъ и его полемическіе пріемы.

Совершенно иные интересы, иныя житейскія задачи и иной складъ воззрѣній мы найдемъ въ томъ соціальномъ кругѣ, который извѣстенъ Посошкову лишь въ качествѣ «обидчиковъ». Этотъ кругъ, какъ мы видѣли, систематически исключенъ Посошковымъ изъ числа всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ и многочисленныхъ общественныхъ положеній, съ которыми онъ имѣетъ дѣло и къ которымъ обращаетъ свои совѣты. Онъ чувствуетъ, очевидно, что для дворянства его совѣты уже не годятся; что здѣсь окончательно возобладало то самое «свѣтское житіе», для котораго, даже съ точки зрѣнія своего услужливаго міросозерцанія, онъ не можетъ найти въ своей головѣ никакого оправданія *).

Но, можетъ быть, и за «свѣтскимъ житіемъ» стояло какое-нибудь

---

*) Впрочемъ, оговоримся: Посошковъ обнаруживаетъ, въ крайнемъ случаѣ, склонность оправдать и новую моду—ея *соціальнымъ значеніемъ*. «Паруки» составляютъ предметъ его особой ненависти, но онъ допускаетъ, что «ради офицерскаго украшенія и *ради отмѣны отъ простого народа*, по чину» ихъ «надлежитъ носити»; однако и тутъ онъ совѣтуетъ—отростить, вмѣсто парика, собственные волосы. О новомъ платьѣ онъ говоритъ только одинъ разъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ—въ этомъ же смыслѣ—*классоваго отличія*, которое предлагаетъ распространить и на купечество, и даже проектируетъ фасонъ.

другое, свое міровоззрѣніе,—хотя бы тотъ «атеизмъ», на которомъ «нѣцыи стояли», по утвержденію Посошкова, говоря, что «сей свѣтъ самъ о себѣ стоитъ, нѣсть у него ни создателя, ни владѣтеля, но мы де сами собою и всѣмъ свѣтомъ владѣемъ» и т. д.? Изъ того, что мы уже знаемъ о новой культурѣ, не трудно вывести заключеніе, что «свѣтское житіе» не было какой-нибудь теоріей или системой: это былъ новый соціальный фактъ, явившійся самъ собою, какъ стихійное послѣдствіе стихійной реформы. Люди, подчинившіеся этому факту добровольно или невольно, съ охотой или съ отвращеніемъ, чаще всего вовсе не думали, что измѣняютъ старому міровоззрѣнію и являются выразителями какого-то новаго. Извѣстныя уже намъ обстоятельства — слабость и низменность религіознаго сознанія въ древней Руси, ослабленіе его уходомъ усерднѣйшихъ въ расколъ — еще болѣе облегчили этотъ переходъ. Соединяющимъ звеномъ между старымъ и новымъ міровоззрѣніями явился религіозный индифферентизмъ, т.-е. отсутствіе потребности въ какомъ бы то ни было цѣльномъ религіозномъ міровоззрѣніи, слѣдовательно и въ атеизмѣ (ср. Оч. II, 397 и ниже).

При такомъ положеніи дѣла, вовлеченная въ новое культурное движеніе общественная среда нуждалась вовсе не въ какомъ-либо особомъ міровоззрѣніи, а въ скорѣйшей выработкѣ и усвоеніи новаго кодекса жизни, правилъ «житейскаго обхожденія», которыя помогли бы ей выдѣлиться изъ остальной массы и войти въ роль привилегированнаго общественнаго слоя, какимъ сдѣлалъ ее историческій процессъ. Для этой цѣли появился цѣлый рядъ практическихъ руководствъ, по большей части переводныхъ; нѣкоторыя изъ нихъ сдѣлались очень популярными и распродавались въ большомъ количествѣ, не смотря на довольно ничтожное содержаніе и совершенно нескладное изложеніе. «Юности честное зерцало или показаніе къ житейскому обхожденію» въ первые же два года (1717—18) разошлось въ 189 экземплярахъ: успѣхъ для того времени совершенно исключительный. Въ 1767 г. вышло уже пятое изданіе «Зерцала». «Совершенное воспитаніе дѣтей, содержащее правила о благопристойномъ поведеніи молодыхъ знатнаго рода и шляхетнаго достоинства людей», аббата Бельгарда, разошлось въ трехъ изданіяхъ (1747, 1759, 1778) *).

Главная задача всѣхъ этихъ руководствъ—научить молодого дворянина «не быть подобнымъ деревенскому мужику» и, по возможности, приблизить его къ идеалу «придворнаго человѣка». Чтобы уничтожить сходство съ мужикомъ, руководства даютъ самыя подробныя наставленія, какъ вести себя въ порядочномъ обществѣ. Для русскаго «шляхтича» эти наставленія надо было начинать съ азовъ: надо было научить его сидѣть за столомъ, стоять, ходить, кланяться, разговаривать,

*) Нѣсколько позже характеризуемаго времени появился въ печати и русскій переводъ знаменитаго Cortegiano графа Кастильоне, итальянскаго гуманиста, подъ заглавіемъ: «Придворный человѣкъ» Граціана Бальтазара (1760).

не причинять безпокойства сосѣдямъ своимъ носомъ, ртомъ, руками и ногами, умѣть обходиться съ ножомъ и вилкой, съ тарелкой, съ носовымъ платкомъ, съ шляпой. Всѣмъ этимъ обстоятельно занимается «Зерцало». Затѣмъ надо было внушить правила свѣтскаго обращенія. «Говоря о печальныхъ вещахъ, надо имѣть видъ печальный и имѣть сожалѣніе; въ радостномъ случаѣ быть радостну и являть себя веселымъ съ веселыми» («Зерцало»). Собесѣднику не противорѣчить рѣзко, по возможности соглашаться, свое мнѣніе высказывать осторожно, правду говорить не всегда («Зерцало» и «Совершенное воспитаніе»). «Скупому надо говорить, что онъ бережливъ и хорошій хозяинъ; расточителю—что онъ щедръ, лицемѣру—что онъ богобоязненъ» и т. д. (рукописное «Наставленіе о хорошемъ поведеніи при государевомъ дворѣ»). При дворѣ надо быть «смѣлымъ», самому объявлять о своихъ заслугахъ и искать награды. «Кто при дворѣ стыдливъ бываетъ, съ порожними руками отъ двора отходитъ». Между тѣмъ *даромъ* служатъ только Богу. Государю же надо «служить ради чести и прибыли» («Зерцало»), показывая, однако, при этомъ видъ, «будто вы дѣлаете все токмо для услугъ отечеству» («Наставленіе»). Не слѣдуетъ никому раскрывать своихъ цѣлей, чтобы ими не воспользовались другіе («Зерцало»); не надо также содѣйствовать возвышенію человѣка «искуснѣе и способнѣе» себя — на мѣсто, гдѣ онъ можетъ оказаться конкурентомъ («Наставленіе»). Для полнаго успѣха при дворѣ или въ хорошемъ обществѣ необходимы и нѣкоторыя познанія, или, точнѣе говоря, искусства. «Прямымъ придворнымъ человѣкомъ» можетъ быть лишь тотъ «младый шляхтичъ или дворянинъ», который «въ эксерциціи своей совершенъ, а наипаче въ языкахъ, въ конной ѣздѣ, танцованіи, въ шпажной битвѣ и можетъ добрый разговоръ учинить, къ тому жъ красноглаголивъ и въ книгахъ наученъ». Особенно важны, какъ признакъ хорошаго тона, иностранные языки; на нихъ надо говорить всегда «между собою», во-первыхъ, «дабы тѣмъ навыкнуть могли», во-вторыхъ, «чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтобъ можно» было порядочнаго человѣка «отъ другихъ незнающихъ болвановъ распознать» («Зерцало»). Извѣстенъ разсказъ Фонвизина, какъ сынъ одного аристократа, познакомясь съ нимъ, тогда еще четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, на елизаветинскомъ спектаклѣ, сразу перемѣнилъ обращеніе, какъ только узналъ, что Фонвизинъ не говоритъ по-французски. «Чтобы не забыть языковъ», необходимо, помимо разговоровъ, поддерживать это знаніе «чтеніемъ полезныхъ книгъ» («Зерцало»). Но, вообще говоря, не слѣдуетъ «прилѣпляться много къ читанію книгъ» («Наставленіе»). «Обходительство съ двумя, тремя умными людьми—лучше науки всѣхъ школьныхъ мастеровъ и педантовъ» (переведено въ скобкахъ: «вралей»). «Откровенные такихъ мудрыхъ людей разговоры отворяютъ у человѣка умъ, запертой природнымъ невѣдѣніемъ въ темнотѣ незнанія, и въ одинъ часъ больше покажутъ, не-

жели человѣкъ въ три дня изъ книгъ научиться можетъ» («Совершенное воспитаніе»).

Итакъ, наука нужна лишь постольку, поскольку она можетъ пригодиться все для той же цѣли, для «людскости», для пріобрѣтенія необходимыхъ въ свѣтскомъ обиходѣ знаній, привычекъ, вкусовъ; самое большее—для того, чтобы вести занимательный разговоръ. Мы знаемъ, что такимъ образомъ создалось представленіе объ особомъ кругѣ наукъ и искусствъ, необходимыхъ шляхетству, и что дворянство долго лишь постольку цѣнило казенныя учебныя заведенія, поскольку тамъ преподавались именно эти, нужныя для молодого шляхтича знанія и техническіе навыки (Оч. II, 304—5, 310—11, 342). Не находя этого въ существовавшихъ школахъ, дворяне предпочитали воспитывать дѣтей въ частныхъ пансіонахъ или посредствомъ гувернеровъ, причемъ часто иностранные языки оказывались единственнымъ предметомъ преподаванія. Но очень скоро потребность въ особомъ курсѣ шляхетскихъ наукъ была удовлетворена Анной въ открытомъ ею, по желанію дворянства, для подготовки офицеровъ — сухопутномъ шляхетскомъ корпусѣ. И здѣсь тотчасъ же обнаружилось, къ какого рода предметамъ дворянство тяготѣетъ всего болѣе. Изъ 245 русскихъ кадетъ, воспитывавшихся въ корпусѣ въ 1733 году, обучались:

нѣмецкому языку	237	челов.
танцамъ	110	»
французскому	51	»
фехтованію	47	»
музыкѣ	39	»
геометріи	36	»
рисованію	34	»
исторіи	28	»
верховой ѣздѣ	20	»
русскому	18	»
географіи	17	»
латинскому	15	»
юриспруденціи	11	»

Верховая ѣзда, очевидно, лишь потому стоитъ такъ низко, что это искусство пріобрѣталось и помимо ученія въ корпусѣ. Съ этой поправкой, програма «Зерцала» выполнялась въ корпусѣ гораздо усерднѣе, чѣмъ курсъ петровскихъ наукъ. Нѣмецкій языкъ необходимъ былъ при Аннѣ, но послѣ нея онъ долженъ былъ навсегда уступить мѣсто французскому, какъ неотъемлемому признаку шляхетскаго хорошаго тона.

Послѣ всего сказаннаго, приходится констатировать, что въ новой русской культурной средѣ, въ первое время ея существованія, было очень немного того, что мы назвали «критическими элементами»; а то, что въ ней было на лицо,—совсѣмъ не благопріятствовало развитію этихъ

элементовъ и въ ближайшемъ будущемъ. Мы пока еще не встрѣтили въ этой средѣ достаточно сознательнаго отношенія къ самой себѣ и къ окружающему. За отсутствіемъ такого отношенія, «свѣтское житіе» начинало складываться въ такую же безсознательную традицію, какою было «духовное житіе» дореформенной Руси. Оно даже лишено было одного важнаго преимущества, которое давала старому «житію» его, такъ сказать, психологическая непрерывность. Изъ другихъ мѣстъ «Очерковъ» мы знаемъ, что въ той, старой средѣ—назрѣвали нѣкоторыя самостоятельныя движенія въ вѣрѣ и творчествѣ, которыя теперь, когда надъ ней вдругъ поднялся новый культурный пластъ, спустились сразу внизъ и продолжали развиваться въ низшихъ слояхъ, конечно, уже далеко не въ тѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ они находились бы, если бы остались наверху. (См. Оч. II, 183—184, 189, 227—230, 240, 398—399). Напротивъ, къ вновь введенному въ жизнь культурному матеріалу—отношеніе новой культурной среды было вначалѣ совершенно пассивное (Оч. II, 140, 219, 230—231, 268).

Это должно было отразиться какъ на содержаніи, такъ и на характерѣ развитія критическихъ элементовъ въ будущемъ. Не предупреждая дальнѣйшаго изложенія, мы, однако, должны теперь же намѣтить отличительныя черты, вытекавшія для будущаго изъ только-что сдѣланнаго изображенія того, какъ стояло дѣло въ началѣ XVIII в.

Во-первыхъ,—и объ этомъ почти не нужно говорить,—ясно, что въ будущемъ культурномъ движеніи отодвинутые внизъ пласты общественной жизни и мысли никакой дальнѣйшей роли играть не будутъ. У нихъ была съ этихъ поръ *своя* культурная исторія, которую мы и старались прослѣдить во II т. «Очерковъ».

Во-вторыхъ, что касается *новой* культурной среды, ясно, что при ея общей неподготовленности къ доставшейся ей роли, при полномъ отсутствіи какого-либо связующаго ее общаго міровоззрѣнія, при разладѣ ея мысли и жизни, всякія попытки мыслить сознательно въ ея средѣ — по необходимости будутъ *индивидуальными* попытками отдѣльныхъ ея членовъ, не связанныхъ въ этихъ своихъ попыткахъ ни прошлымъ, котораго у новой культурной среды нѣтъ, ни настоящимъ, которое еще не успѣло кристаллизоваться въ культурныя формы.

Въ-третьихъ, именно благодаря послѣднему условію, критическая мысль отдѣльныхъ, стремящихся къ сознательному мышленію, членовъ новой культурной среды будетъ въ состояніи болѣе или менѣе свободно отнестись къ *этой самой* средѣ. Другими словами, вмѣсто идейнаго оправданія и обоснованія культурныхъ и сословныхъ основъ, на которыхъ зиждется соціальное положеніе этой среды, она сдѣлаетъ своимъ предметомъ *критику* тѣхъ и другихъ основъ. Она раскритикуетъ культурныя основы потому, что найдетъ ихъ недостаточно сознательными, т.-е. обвинитъ ихъ въ безсознательномъ подражаніи, въ слѣпомъ заимствованіи. Она даже попытается, въ видѣ протеста

противъ безсознательной европеизаціи, со свойственной ей утрировкой подражанія,—идеализировать русскую старину. Но это будетъ протестъ не во имя традиціоннаго націонализма, навсегда спустившагося въ низы общества, а во имя большей сознательности національной жизни, то-есть, во имя настоящихъ критическихъ элементовъ, противъ элементовъ, кристаллизовавшихся въ новую безсознательную традицію, въ простой символъ привилегированной общественной группы. Это будетъ первый шагъ къ дѣйствительной, а не оффиціальной только, побѣдѣ критическихъ элементовъ. Вторымъ шагомъ будетъ критика, обращенная на сословныя основы новаго культурнаго быта.

Наконецъ, въ-четвертыхъ, такъ какъ вся эта работа критической мысли имѣетъ отчасти безсословный, отчасти прямо антисословный характеръ, хотя и совершается отчасти въ дворянской средѣ, то выработка и усвоеніе ея результатовъ будетъ идти параллельно развитію новой безсословной или, точнѣе, *междусословной* культурной среды, такъ наз. «интеллигенціи». Чтобы уяснить ея происхожденіе, напомнимъ пока одинъ только извѣстный уже намъ фактъ: именно, присутствіе въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за все время ихъ существованія, весьма значительнаго недворянскаго элемента (Оч. II, 263, 297, 304, 308—313, 323, 334, 342, 350, 353, 369—372).

Свободная отъ какой бы то ни было національной культурной традиціи, русская критическая мысль получила возможность черпать полными руками изъ богатаго запаса европейской критической мысли. О «слѣпомъ» и «безсознательномъ» заимствованіи здѣсь не можетъ быть рѣчи уже потому, что въ данномъ случаѣ заимствованіе имѣло цѣлью именно выработку сознательнаго отношенія къ окружающему. Русская мысль воспринимала европейскую, разумѣется, въ той формѣ, въ какой та имѣлась на лицо въ данное время; но она брала изъ нея только то, что могла понять и что ей было нужно;—она дѣлала изъ воспринятой мысли болѣе или менѣе оригинальное употребленіе, чтобы разобраться съ ея помощью въ собственномъ матеріалѣ. Такимъ образомъ, не оригинальная въ своемъ источникѣ, русская критическая мысль была до извѣстной степени самостоятельна какъ въ процессѣ усвоенія, такъ и въ процессѣ приложенія усвоеннаго къ русской дѣйствительности.

Для начала, тамъ, на западѣ, не было недостатка, конечно, и въ *теоретическомъ* оправданіи «свѣтскаго житія». Соотвѣтствующее общее міровоззрѣніе выражалось въ той самой формулѣ—«все созданное Богомъ чисто и свято»,—которую Посошковъ слышалъ отъ иноземцевъ въ Москвѣ. Но мотивировка этого тезиса далеко ушла отъ богословской теоріи лютеранства и кальвинизма (о предопредѣленной и фаталистически дѣйствующей «благодати»),—не разрывая въ то же самое время окончательно съ старой религіозной традиціей. Это былъ не только не «атеизмъ», но даже и не философскій деизмъ. Это была теорія «естественнаго закона» вѣры и жизни, самымъ мирнымъ обра-

зомъ укладывавшаяся въ головахъ протестантскихъ богослововъ и пасторовъ.

Главное свое примѣненіе теорія «естественнаго закона» нашла въ юридической наукѣ, вмѣстѣ съ которой и перешла въ Россію. Руководствами для преподаванія юриспруденціи должны были служить сочиненія двухъ главныхъ теоретиковъ «естественнаго права», Гуго Гроція и Пуффендорфа, переведенныя и изданныя по приказанію Петра. Въ шляхетскомъ корпусѣ «юсъ натурале» даже введено было въ число предметовъ, обязательно преподававшихся тѣмъ, кто хотѣлъ идти въ гражданскую службу,—хотя такихъ и было, какъ мы знаемъ, очень немного («Оч.» II, 305). Еще при Петрѣ «естественное право» съиграло политическую роль, послуживъ Θеофану Прокоповичу для оффиціальнаго доказательства «Правды воли монаршей» относительно престолонаслѣдія. По своему общественному положенію, Θеофанъ и не могъ сдѣлать изъ философской теоріи болѣе широкаго употребленія: о деликатныхъ вопросахъ онъ позволялъ себѣ лишь разговаривать въ тѣсномъ кругу земляковъ. Но такое употребленіе сдѣлалъ публицистъ и полигисторъ В. Н. Татищевъ, отчасти именно подъ вліяніемъ разговоровъ съ Θеофаномъ. Въ сочиненіи подъ скромнымъ заглавіемъ «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ», распространявшемся анонимно, въ рукописныхъ спискахъ, Татищевъ,—дѣлая все время видъ, что говоритъ не объ этомъ, а совсѣмъ о другомъ,—представилъ первую въ Россіи принципіальную защиту «свѣтскаго житія». Онъ совсѣмъ не отвергалъ и «житія духовнаго», по крайней мѣрѣ открыто: онъ только защищалъ право свѣтскаго житія на совмѣстное съ нимъ существованіе. Въ этихъ предѣлахъ, однако, вопросъ былъ поставленъ ребромъ. Если духовное житіе ставитъ цѣлью спасеніе души, то свѣтское имѣетъ полное право рядомъ съ нимъ поставить стремленіе къ земному счастью. Если для перваго—удовлетвореніе природныхъ склонностей человѣка есть грѣхъ, то для второго—это есть только выполненіе «естественнаго закона».

Дѣло въ томъ, что «естественный законъ» человѣческой природы—есть такой же «божественный законъ», какъ и тотъ, который записанъ въ священномъ писаніи. Только первый вложенъ Богомъ въ человѣка при самомъ его сотвореніи: онъ вездѣ, всегда и для всѣхъ людей одинаковъ, какъ ихъ натура; тогда какъ писанный законъ «словесно отъ Бога преданъ»—первоначально однимъ евреямъ. Оба закона никакъ не могутъ противорѣчить одинъ другому, хотя каждый имѣетъ свою независимую область. Но какъ же не противорѣчатъ они, спрашиваетъ собесѣдникъ, выведенный Татищевымъ въ его «Разговорѣ»? Вѣдь человѣку вкоренено «желаніе благополучія», т.-е. *эгоизмъ*; между тѣмъ писанный законъ основанъ на *любви* къ Богу и ближнему? Тутъ противорѣчія нѣтъ, отвѣчаетъ Татищевъ; разумный эгоизмъ обязательно включаетъ въ себя любовь къ Богу и ближнему, такъ какъ это—необходимыя условія человѣческаго «благополучія». Чело-

вѣкъ «взаимодательно» будетъ любить, потому что нуждается въ чужой любви для своего счастья.—Но вѣдь церковь требуетъ, чтобы человѣкъ отрекся отъ своего счастья, а не стремился къ нему: воздержаніе отъ потребности есть добродѣтель; удовлетвореніе ея есть грѣхъ,—продолжаются возраженія. Напротивъ, утверждаетъ Татищевъ: излишнее воздержаніе есть сокращеніе жизни, самоубійство, т.-е., дѣйствительно, величайшій грѣхъ. «Любочестіе, любоимѣніе и плотоугодіе намъ отъ Творца всѣхъ вмѣстѣ съ душой вкоренены, а такъ какъ Богъ есть творецъ добра, то и все, что онъ сотворилъ, не иначе какъ добромъ именовать можемъ». Если удовлетвореніе всѣхъ этихъ потребностей совершается разумно, т.-е. «порядочно и умѣренно», то оно есть добродѣтель; если «безпорядочно и чрезмѣрно», то обращается въ преступленіе. И притомъ природа человѣческая устроена такъ премудро, что она сама указываетъ мѣру, награждая удовольствіемъ за соблюденіе этой мѣры, и страданіемъ за ея нарушеніе. «Богъ во всѣ оныя противоприродныя преступленія вложилъ наказанія, дабы каждому преступленію естественныя и наказанія послѣдовали». Грѣхъ есть то, что вредно натурѣ человѣка, добродѣтель—то, что ей полезно. Но вредное и полезное можно и нужно *знать*: слѣдовательно, знаніе себя, своей натуры—вотъ необходимое условіе всякаго разумнаго поступка, всякой добродѣтели. Извращеніе человѣческой природы послѣ грѣхопаденія Адама состояло именно въ затрудненіи самопознанія. «Воля, страсть надъ умомъ власть возымѣла; черезъ это не всякъ въ состояніи истинное благо различить отъ мнимаго». Но наука, знаніе должны вернуть человѣчеству это равновѣсіе души, нарушенное адамовымъ грѣхомъ.

Какъ же, однако, быть съ положительными предписаніями «церковнаго закона»? Татищевъ отвѣчаетъ: церковный законъ—не то, что «естественный» или что священное писаніе. Это законъ «не божескій, а самовольный человѣческій», наравнѣ съ «закономъ гражданскимъ». Молитва, напр., есть законъ божескій,—законъ любви (естественный) и долга (письменный); но «время и мѣра», «когда и какъ молиться», это божескимъ «закономъ оставлено на нашу возможность», а церковнымъ закономъ регламентировано. Или постъ: «по божественному онъ весьма полезенъ»—для сохраненія здравія (по естественному закону) и для укрощенія страстей (по писанію); но онъ «состоитъ въ волѣ человѣка», и по человѣческому соглашенію опредѣлены скоромные и постные дни и пища. Бракъ — необходимъ: но дѣло «человѣческихъ законовъ» церкви опредѣлить чинъ брака, возрастъ и другія условія для брачущихся; когда же она «запрещаетъ то, что человѣку закономъ божественнымъ опредѣлено» и, какъ въ католицизмѣ (Татищевъ часто имъ пользуется), требуетъ безбрачія молодыхъ священниковъ, то это уже явное злоупотребленіе. Поэтому-то «мнится пристойнѣе», чтобы «законы церковные» «состояли подъ властію высшаго мірскаго правленія», какъ это существуетъ въ Англіи, Швеціи, Даніи, Голландіи, Германіи, и

какъ отчасти хотѣлъ сдѣлать Петръ. Какъ «самоизвольный», «законъ церковный есть разный—по разности церквей». Между тѣмъ, законъ естественный одинъ для всѣхъ. Даже «если бъ кто думалъ, что не отъ одного Адама люди начались», все-таки онъ долженъ признать, что «*всѣ* люди равное принужденіе къ пріобрѣтенію благополучія въ сердцѣ имѣютъ», хотя бы и не имѣли «никакого письменнаго закона»: это законъ «человѣческой природы», «познаваемый помощью здраваго ума»; его не лишены даже животныя *).

Прямой выводъ отсюда—требованіе полной вѣротерпимости. Татищевъ всецѣло принимаетъ его, маскируя только логическую связь, изъ которой оно вытекаетъ, и обсуждая вопросъ о вѣротерпимости исключительно «свѣтски», т.-е. съ точки зрѣнія государственныхъ соображеній. Вопреки мнѣнію «папистовъ», онъ утверждаетъ, что «разность вѣръ великой въ государствѣ бѣды не наноситъ», и въ Россіи «отъ разности вѣръ вреда не имѣли, но еще пользу видѣли». Писаніе прямо запрещаетъ «силою въ соединеніе приводить», несогласныхъ мучить, казнить или изгонять (Ефес. 6, 12; 9, 56); и Татищевъ рѣзко обрушивается на «Никона и его наслѣдниковъ», которые «надъ безумными раскольниками свирѣпость свою исполняя, многія тысячи пожгли и порубили или изъ государства выгнали»; онъ восхваляетъ Петра, прекратившаго безполезныя жестокости. Только для іезуитовъ, по ихъ «коварству», и для евреевъ—«не для вѣры, но паче для ихъ злой природы» — Татищевъ склоненъ сдѣлать исключеніе изъ общаго правила о терпимости.

Таково міровоззрѣніе, котораго, навѣрное, не подозрѣвалъ Посошковъ, когда опровергалъ мнѣніе, что «все чисто», — необходимостью омовеній отъ плотской скверны и проектировалъ инквизицію для раскольниковъ.

Право на свѣтскую жизнь, какъ ее понимаетъ Татищевъ, само собой предполагаетъ право свободнаго изслѣдованія и необходимость свѣтской науки. Дѣло въ томъ, что это — «разумная», сознательная жизнь, основанная на «знаніи правилъ естественнаго закона», т.-е. того, «что человѣку полезно и нужно, и что вредно и не нужно». Невѣжественный человѣкъ «настоящаго страха не боится, а гдѣ нѣтъ страха—трепещетъ, въ печали и радости неумѣренъ, въ счастьѣ и несчастьи—непостояненъ и во всемъ, вмѣсто пользы, наноситъ себѣ вредъ». Не

---

*) Припомнимъ, кстати, разсужденія о душѣ животныхъ Ѳеофана Прокоповича, записанныя его землякомъ Марковичемъ: «Оное мнѣніе Картезія («всякое чувство отъ животныхъ всѣхъ отнимающаго, а только единому человѣку, имущему умъ, причитающаго» и поэтому называющаго животныхъ «автоматами») есть не крѣпкое, ибо явственно споритъ противъ повседневныхъ экспериментовъ». Сущность духа—«не въ самомъ помышленіи, но есть особливѣйшее нѣчто, чего мы не видимъ». Поэтому «можно нѣкоторый видъ дебелаго и весьма скуднаго помышленія животнымъ причесть, однако онаго безсмертнымъ назвать невозможно, а какое оно есть, неизвѣстно, для того, что (мы) *не знаемъ существъ не только духа, но и тѣла.*

понимая силы знанія, онъ, какъ ребенокъ, подчиняется шарлатанамъ и обманщикамъ, умышленно «содержавшимъ народъ въ темнотѣ и суевѣріи»; онъ вѣритъ вмѣшательству сверхъестественныхъ силъ и «мнитъ черезъ дьявола сдѣлать» себѣ пользу, тогда какъ «многіе ученые физически и богословски доказали, что человѣкъ черезъ дьявола ничего учинить не можетъ». Только наука вывела человѣчество изъ этого младенческаго состоянія. Рѣшающими моментами въ исторіи человѣчества Татищевъ считаетъ, помимо пришествія Христа,—изобрѣтеніе *письма*, составляющаго для младенческаго общества то, что для новорожденнаго младенца составляетъ языкъ,— средство «собственныя приключенія въ памяти всѣ сохранить», и—изобрѣтеніе *книгопечатанія*. Благодаря послѣднему, сразу умножилось число ученыхъ и училищъ, и открытъ былъ «свѣтъ истиннаго разума въ богословіи, философіи, юриспруденціи, медицинѣ, математикѣ, физикѣ, исторіи и пр.»; «обрѣтены многіе способы къ испытанію и дознанію недознанныхъ прежде свойствъ, яко трубы зрительныя, микроскопіи, зеркала зажигательныя, насосы водяные, трубы воздушныя, антліа пневматика» и т. д. «Папа и его сообщники» «противъ быстроты онаго теченія постоять не могъ»; «плотина прорвалась»; за Виклефомъ и Гусомъ явились Лютеръ и Кальвинъ, которые «довольно престолъ оный назадъ подвигнули»; а затѣмъ «въ нравоученіи Гуго Гроцій, потомъ Пуфендорфъ, въ физикѣ или всей философіи Картезій, въ маѳематикѣ, а паче астрономіи Коперникъ иГалилей, яко же и Араго, несмотря на папежскія пресѣченія и не боясь проклятія его, истину доказали и такъ утвердили, что, наконецъ, и сами написты со стыдомъ принуждены истину оныхъ признать». Но они отмстили имъ клеветой и проклятіями, огласили ихъ «аѳеистами», какъ всегда говорили невѣжды объ «умныхъ и ученыхъ людяхъ», «которые наивящше о Богѣ учили»: судьба Эпикура и Сократа была такова же, какъ Коперника, Декарта и Пуффендорфа. Если авторъ «Камня вѣры» (Яворскій, см. Оч. II, 166) повторяетъ эти клеветы папистовъ противъ протестантовъ и обвиняетъ ихъ въ «безбожіи», то этимъ онъ только обнаруживаетъ подобную же недобросовѣстность.

Воображаемый собесѣдникъ Татищева отъ имени стараго русскаго міровоззрѣнія выставляетъ цѣлый рядъ возраженій противъ такого необычнаго преклоненія передъ свѣтомъ науки. «Въ старину меньше учились, но больше благополучія видѣли»; «въ тѣ древнія времена столько было святыхъ отцовъ и праведниковъ, сколько теперь и въ тысячу лѣтъ не увидимъ». Подобныя утвержденія, отвѣчаетъ Татищевъ, только показываютъ незнаніе исторіи и лишній разъ подтверждаютъ тотъ психологическій фактъ,—то «отъ природы во всѣхъ насъ вкорененное,—что мы мимошедшее хвалимъ, наставшему дивимся». «Златого времени» древнихъ поэтовъ не надо искать назади, гдѣ встрѣтимъ только одно варварство и мракъ. Такъ какъ «въ темнотѣ малая искра болѣе видима, нежели въ свѣтлое время великій огонь», то не-

мудрено, что «мы въ слабомъ—малому совершенству удивляемся», какъ въ ребенкѣ, а въ сильномъ и зрѣломъ—гораздо болѣе крупныхъ достоинствъ не замѣчаемъ. Однако же «многіе духовные и богобоязненные люди» говорятъ,— продолжаетъ собесѣдникъ развивать древнерусскія «сумнѣнія»,—«что науки человѣку вредны и пагубны»; что изъ-за нихъ многіе отъ Бога отстали и въ ересь впали»? Татищевъ соглашается: дѣйствительно, *есть* философія, «отвращающая отъ Бога», какъ, напр., ученія *древнихъ* философовъ, что «тварь самобытна», что «душа человѣческая отъ души міра часть есть и по смерти туда же возвращается,—чѣмъ воскресеніе отрѣшается» и т. п. Вѣрно также и то, что измыслить ересь можетъ только человѣкъ «ученый» и остроумный, «а по малой мѣрѣ—читатель книгъ (т.-е. начетчикъ)». Но вѣдь злоупотребить можно и священнымъ писаніемъ,—изъ чего вовсе не слѣдуетъ, какъ утверждаютъ «паписты», что Библію можно читать только духовнымъ. «Истинная» философія,—та, которая «нужна къ познанію Бога и къ пользѣ человѣка», — не только «не грѣшна», но полезна и необходима. Сами святые отцы «другихъ языковъ и многіе—философіи научены были». Истощивши религіозныя возраженія противъ науки, собесѣдникъ Татищева, наконецъ, прибѣгаетъ къ «политическому», яко бы слышанному имъ отъ «людей искусныхъ въ гражданствѣ»: «въ государствѣ чѣмъ народъ простѣе, тѣмъ покорнѣе и къ правленію способнѣе, а отъ бунтовъ и смятеній безопаснѣе; и для того науки распространять за полезное не почитаютъ». Татищевъ отвѣчаетъ, что въ Россіи, какъ и въ Турціи, бунтовала именно безграмотная «подлость», а не цивилизуемое теперь дворянство, что въ обученіи послѣдняго—правительство нуждается для собственныхъ цѣлей; что и изъ «подлости» теперь человѣкъ можетъ дослужиться хоть до полковничьяго чина, такъ что и здѣсь нужна наука; что «отъ неученія *народа*», въ собственномъ смыслѣ, происходитъ тотъ «вредъ», что народъ не знаетъ ни естественнаго, ни божественнаго закона; вмѣсто «внутреннихъ добродѣтелей» его учатъ духовные пастыри «человѣческимъ преданіямъ и внѣшнимъ благочестіямъ», что не мѣшаетъ ему впадать въ самыя грубыя преступленія, подвергающія его карѣ гражданскаго закона. «Противъ онаго маккіавелиста вкратцѣ скажу, — кончаетъ Татищевъ, — если бы ему всѣхъ служителей, лакеевъ, конюховъ, поваровъ и дровосѣковъ всѣхъ опредѣлить дураковъ, а въ дворецкіе, конюшіе, стряпчіе и въ деревни прикащиковъ безграмотныхъ, то онъ бы узналъ, какой порядокъ и польза въ его домѣ явятся; я же радъ и крестьянъ имѣть умныхъ и ученыхъ». Нельзя не замѣтить, что, при всей силѣ отвѣта, *суть* возраженія обойдена Татищевымъ, и центръ тяжести вопроса,—надо думать, сознательно,—перенесенъ на пользу науки *для государственныхъ «служителей»* и для выясненія «подлому народу» его общественныхъ *обязанностей*, диктуемыхъ ему естественнымъ закономъ.

Обязанности эти, вполнѣ послѣдовательно, выводятся Татищевымъ изъ принципа разумнаго эгоизма, какъ и любовь къ ближнему. «Волѣ человѣка положена узда неволи для его же пользы, чтобы чрезъ это онъ могъ прочія благополучія въ уравненіи возможномъ имѣть и въ лучшемъ благополучіи пребывать». Но, однако, эта «неволя» не должна идти дальше, чѣмъ требуетъ личное «благополучіе». «Воля, по естеству, человѣку толико нужна и полезна, что ни едино благополучіе ей сравниться не можетъ и ни что ей достойно есть, ибо кто воли лишаемъ, тотъ купно всѣхъ благополучій лишается». «Весьма нужна» лишь та «узда неволи», которая налагается *«по природѣ»,* по недостатку собственнаго разума, напр., въ младенчествѣ власть «отеческая», изъ которой происходитъ, по Татищеву, и «власть монаршеская». Отъ этой власти «свободы иной нѣтъ, какъ природное разрѣшеніе». «Полезна» также и другая узда—«своевольной неволи», возлагаемой на себя самимъ человѣкомъ *«по договору»*: сюда относится и то «общественное согласіе, гдѣ для защищенія своего отъ нападенія сильнаго многіе совокупляются», составляя «общенародія или республики». Эта «неволя» разрушается нарушеніемъ договора. Наконецъ, «третіе лишеніе воли есть *насильное,* именуемое рабство»; оно «ничѣмъ кончиться не можетъ, какъ милостивымъ освобожденіемъ или собственнымъ невольника избавленіемъ». «Понеже человѣкъ по естеству имѣетъ свободу въ защищеніи и охраненіи себя, то онъ такое лишеніе своей воли терпѣть болѣе не долженъ, какъ до возможнаго къ освобожденію случая: зане естество намъ опредѣлило здравіе и вольность или свое собственное благополучіе защищать, а учиненныя обиды—отмщать, дабы не имущій страха отмщенія на большія обиды не дерзалъ». Въ другомъ мѣстѣ «Разговора» Татищевъ не останавливается передъ приложеніемъ этихъ общихъ разсужденій къ русскому крѣпостному праву. «Премѣненіемъ древнихъ обычаевъ иногда не малый вредъ наносился», говоритъ онъ; «напримѣръ, до царства Борисова въ Руссіи крестьянство было все вольное; но онъ слугъ, холопей и крестьянъ сдѣлалъ крѣпостными; за которое холопи Пронской, Боловня, собравъ свою братью и крестьянства немалое войско, великія пакости подѣлалъ». Съ точки зрѣнія естественнаго права—это было только «неразумно»: «ибо, если бы я былъ въ неволѣ у разбойниковъ или въ плѣнѣ у непріятеля, и дерзнулъ несравненно малою моею силою имъ отмщать и себя освобождать, тобѣ я самъ своей погибели причиною былъ». Впрочемъ, при наличныхъ условіяхъ, Татищевъ обнаруживаетъ, повидимому, склонность отнести положеніе крѣпостныхъ къ «неволѣ по природѣ», т. е. къ первой категоріи. «Шляхтичъ всякій *по природѣ* судья надъ своими холопи и рабами и крестьяны». Такимъ образомъ, полагается начало теоріи, по которой власть помѣщика занимаетъ средину между отеческой и монархической. Рисуя въ своихъ «Экономическихъ запискахъ» идеалъ помѣщика, Татищевъ уже не углубляется въ принципіальный разборъ вопроса.

Но онъ остается вѣренъ себѣ, повторяя идеи «Разговора» объ относительности понятія «богатства» и ставя цѣлью помѣщичьяго хозяйства—не удовлетвореніе «ненасытныхъ желаній» обогащенія, а возможность «по препорціи своего состоянія безъ долгу вѣкъ прожить». «Познать законъ» крестьяне должны, учась читать и писать, отъ 5 до 10 лѣтъ; но это не устраняетъ необходимости самой строгой опеки надъ ними со стороны помѣщика, чтобы они не привыкли къ праздности и не разорились: очевидно, ихъ «неволя» вызывается, по первой категоріи, «недостаткомъ собственнаго разума».

Въ своей «Духовной» сыну (1734), предназначавшейся, очевидно, для болѣе широкой публики, чѣмъ «Разговоръ», и дѣйствительно распространившейся и въ рукописныхъ спискахъ, и въ печатномъ изданіи 1773 г., Татищевъ обнаруживаетъ еще больше уклончивости въ выраженіи своихъ мнѣній. Претерпѣвъ самъ «немало невиннаго поношенія и бѣдъ» за свое вольномысліе, онъ и сыну совѣтуетъ крайнюю осторожность и сдержанность въ разговорахъ, особенно съ «папистами» и «лицемѣрными ханжами», подъ которыми, очевидно, разумѣются враги направленія Ѳеофана Прокоповича. «Не обличай безумнаго, да не возненавидитъ тя»: это правило Соломоновой премудрости онъ самъ практикуетъ въ «Духовной», и потому ея содержаніе выходитъ гораздо ординарнѣе, чѣмъ могло бы быть при иныхъ обстоятельствахъ. Но свой главный принципъ—свободнаго изслѣдованія и сознательно-критическаго отношенія къ жизни—Татищевъ рѣзко подчеркиваетъ и здѣсь; и этого одного достаточно, чтобы сдѣлать изъ его «Духовной» полную противоположность «Завѣщанію» Посошкова, несмотря на частыя совпаденія обоихъ памятниковъ въ правилахъ прописной морали и совѣтахъ житейской опытности. «Главнѣйшее есть вѣра»,—провозглашаетъ Татищевъ,—но «главное» въ этомъ главнѣйшемъ дѣлѣ жизни есть—«охраняться» отъ «лицемѣрныхъ поступковъ и фарисейскихъ ученій», для чего необходимо критическое отношеніе къ «избыткамъ, законами человѣческими въ тягость положеннымъ». Татищевъ предвидитъ, что при такой критикѣ его сынъ «и подлинно» найдетъ «нѣкоторыя погрѣшности и неисправы или излишки въ своей церкви»; онъ только требуетъ, чтобы тотъ «никогда *явно* отъ церкви не отставалъ и вѣры не перемѣнялъ». Политическое вольномысліе, конечно, было еще опаснѣе религіознаго,—и Татищевъ совѣтуетъ сыну «съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда не соглашаться... какъ то нѣкоторые и предъ немногими лѣты безумно начинали». Мы сейчасъ увидимъ, однако, что къ числу этихъ «нѣкоторыхъ» принадлежалъ одинъ моментъ и самъ Татищевъ, оставаясь, впрочемъ, въ то же время убѣжденнымъ монархистомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ настаиваетъ на сознательномъ отношеніи и къ общественной дѣятельности, требуя при этомъ — вопреки наставленіямъ разобранныхъ выше шляхетскихъ руководствъ,—чтобы сынъ его «при-

лежалъ о пользѣ общей, какъ о своей собственной». Не надѣясь провести этотъ принципъ въ придворной службѣ, «понеже тутъ лицемѣрство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва ли не всѣмъ добродѣлямъ предходятъ», онъ рекомендуетъ сыну гражданскую службу, такъ какъ она—вопреки мнѣнію большинства—«въ государствѣ есть главная, ибо безъ добраго и порядочнаго внутренняго правленія ничто въ добромъ порядкѣ содержимо быть не можетъ, и во ономъ гораздо болѣе памяти, смысла и разсужденія, нежели въ воинствѣ, потребно». Именно поэтому необходима для такого рода службы—какъ, впрочемъ, и вообще для сознательнаго отношенія къ окружающему—серьезная научная подготовка. Когда Посошковъ говоритъ о «чтеніи книгъ», онъ разумѣетъ только священныя; необходимая наука для него одна—грамматика, признанная таковою еще въ XVII вѣкѣ, а идеалъ учености—курсъ славяно-греко-латинской академіи. Татищеву ясно, что этотъ максимумъ Посошкова есть лишь устарѣлая средневѣковая схоластика. «Шляхетскія науки», рекомендуемыя Зерцаломъ, онъ не отвергаетъ; но для его сына «необходимый» курсъ наукъ долженъ состоять частью изъ наукъ, введенныхъ Петромъ: «ариѳметики, геометріи и части инженерства», частью же,—для правильнаго пониманія окружающей дѣйствительности—изъ русской исторіи, русской географіи и русскихъ законовъ, гражданскихъ и военныхъ. Это—минимумъ, такъ какъ «Разговоръ» требуетъ гораздо бо́льшаго.

Какъ видимъ, Татищевъ сдѣлалъ все, что могъ, для того, чтобы примирить результаты своей критики съ традиціонными формами вѣры и жизни. Если не его теорія, то *какая-нибудь* подобная теорія была нужна для принципіальнаго оправданія новаго «свѣтскаго житія». «Подлымъ людямъ» не было нужды въ новомъ міровоззрѣніи; имъ легко было сохранить гармонію жизни и вѣры, хотя и мнимую, какъ мы видѣли у Посошкова, но тѣмъ не менѣе освященную традиціей. Новая жизнь необходимо требовала новой вѣры, такъ какъ со старой посошковской вѣрой ее *дѣйствительно* нельзя было примирить, а отказаться отъ нея, перемѣнить жизнь—было еще невозможнѣе. Русское шляхетство спаслось изъ этого затрудненія совершенно своеобразно: оно просто не сознавало ясно противорѣчія между старой вѣрой и новой жизнью, а потому и не спѣшило изъ него выходить. Жизнь была для него нѣчто вполнѣ наглядное, конкретное; а чѣмъ была для него вѣра? Она и прежде такъ мало занимала фактическаго мѣста въ жизни этого общественнаго слоя, такъ сводилась къ простой формальности—притомъ, весьма неаккуратно выполняемой (Посошковъ убѣждалъ своего образцоваго архіерея принуждать не только крестьянъ, но и дворянъ хоть разъ въ годъ говѣть),—что изъ отношенія къ ней большинство вовсе и не думало дѣлать вопроса совѣсти. Придумывать для «спокойствія души и совѣсти» новую теорію, какъ дѣлалъ Татищевъ,—никому не могло придти въ голову просто потому, что въ этомъ не было никакой

внутренней потребности. Церковная обрядность никому не мѣшала и могла оставаться; а если она прикрывала иной разъ трупъ, лишенный жизни,—объ этомъ никто не тревожился, такъ какъ это происходило не отъ излишка, а отъ недостатка религіознаго чувства. При этихъ условіяхъ, дѣйствительно, страдалъ и подвергался упрекамъ въ «безбожіи» и «ереси» тотъ, кто «наивящше училъ о Богѣ», а кто объ этомъ вовсе не думалъ, могъ оставаться совершенно спокоенъ.

Такимъ образомъ, въ цѣломъ общественномъ слоѣ традиціонныя формы вѣры, неприспособленныя къ новымъ формамъ жизни, отмирали мало-по-малу, оставляя одну пустоту, нечувствительную для большинства и поэтому не заполненную своевременно никакими новыми формами. Татищевъ пытался сохранить вѣру, своевременно отбросивъ изъ нея то, что его поколѣніе считало «суевѣріемъ». Большинство не рѣшалось и не чувствовало особой потребности отдѣлять вѣру отъ «суевѣрія». Зато, сохранивъ формально то и другое, оно фактически то и другое заразъ рисковало утратить. При посредствѣ дядекъ оба элемента усваивались нераздѣльно въ деревнѣ. При посредствѣ товарищей-офицеровъ оба выбрасывались изъ головы, въ вихрѣ свѣтскихъ увеселеній, въ столицѣ. Легкость, съ какой они выбрасывались, конечно, столько же объяснялась силой свѣтскихъ соблазновъ, сколько и слабостью деревенской морали. Чаще всего, деревенское времяпрепровожденіе уже являлось подготовкой къ столичному. По замѣчанію Татищева, «понеже все шляхетство... во отлученіи домовъ своихъ пребываютъ, а дѣти подъ призрѣніемъ матерей и холоповъ воспитываются, (то) обхожденіе дѣтей въ домѣ съ бабами, дѣвками и рабскими дѣтьми есть весьма вредное»; а именно, молодежь въ деревнѣ, «научается только нѣгѣ, спѣси, лѣности и свирѣпству»; напротивъ, «нужнѣйшее, именно знаніе исповѣданія вѣры, законовъ гражданскихъ и состоянія собственнаго отечества—назади въ забвеніи остается». Поэтому, «вмѣсто благонравнаго... часто развращенное воспитаніе въ дѣтяхъ знатныхъ людей примѣчено». И кн. Щербатовъ, совсѣмъ съ другой точки зрѣнія (см. о ней далѣе), приходитъ къ подобному же заключенію, оплакивая упадокъ традиціоннаго міровоззрѣнія, не замѣненнаго никакимъ другимъ. «Уменьшились суевѣрія, но уменьшилась и вѣра», замѣчаетъ онъ объ интересующемъ насъ настроеніи столичнаго шляхетства въ ближайшее къ Петру время; «исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь къ Богу и къ святому его закону: и нравы, за недостаткомъ другого просвѣщенія исправляемые вѣрою, потерявъ сію подпору, въ развратъ стали приходить».

Итакъ, почва была неблагопріятна для распространенія сознательнаго отношенія къ вопросамъ вѣры и нравственности въ шляхетской средѣ. Шляхетство не могло усвоить себѣ новаго міровоззрѣнія, которое бы *на религіозныхъ началахъ* устраивало его отношеніе къ новымъ основамъ жизни. Отъ безсознательной вѣры ему гораздо легче было перейти къ безсознательному невѣрію.

Повидимому, иначе и благопріятнѣе складывались условія для выработки сознательнаго отношенія къ *политическимъ* вопросамъ въ средѣ шляхетства. Та же жизнь, которая заглушала въ немъ религіозное чувство, являлась для него школой политической мысли. Обстоятельства сложились, наконецъ, такъ, что столичному шляхетству пришлось формально высказать свое мнѣніе по важнѣйшему вопросу государственнаго строя (1730, при воцареніи императрицы Анны). Какую же степень сознательности оно при этомъ обнаружило?

Въ этомъ любопытномъ эпизодѣ ярко и рельефно обрисовались всѣ общественныя и интеллектуальныя силы тогдашней Россіи. Старая родовая аристократическая оппозиція сдѣлала послѣднее усиліе вернуть себѣ ту политическую роль, которую, по ея мнѣнію, отнялъ у ней Петръ Великій. Поставивъ все на карту, она все сразу проиграла. Главнымъ соперникомъ, помѣшавшимъ успѣху родовой аристократіи и ничего не выигравшимъ для себя, явилась новая чиновная аристократія петровской табели о рангахъ. Настоящимъ господиномъ положенія, спутавшимъ всѣ разсчеты знати и чина, была новая — и единственная дѣйствительная—соціальная сила, благородное шляхетство. Вмѣсто того, чтобы дожидаться подачки отъ одного изъ спорящихъ и одинаково безсильныхъ соперниковъ, которые наперерывъ принялись ухаживать за шляхетствомъ, какъ только увидѣли свою слабость,—и все-таки предлагали ему за союзъ, по его мнѣнію, недостаточно много,—шляхетство предпочло обратиться за привилегіями непосредственно къ монаршей власти, и не ошиблось въ разсчетѣ. Наконецъ, новая государственная теорія поочередно служила для оправданія притязаній всѣхъ трехъ общественныхъ группъ, чтобы въ концѣ концовъ раствориться и потонуть въ традиціонныхъ чувствахъ рядоваго шляхетства. Прослѣдимъ же судьбу этой теоріи, которая насъ здѣсь главнымъ образомъ интересуетъ.

Въ рядахъ начавшей дѣло родовой аристократіи единственнымъ представителемъ европейской государственной теоріи явился кн. Дм. Мих. Голицынъ. Въ то время, какъ Долгорукіе при малолѣтнемъ Петрѣ II играли роль Шуйскихъ при царѣ Иванѣ IV—вплоть до разграбленія царскихъ драгоцѣнностей включительно,—Голицына скорѣе можно было бы уподобить кн. Курбскому, съ его теоріей «избранной рады» и «совѣта всенародныхъ человѣкъ». Теперь эта теорія двухъ палатъ, верхней и нижней, явилась въ шведскомъ костюмѣ. «Избранная рада»—это былъ теперь «Верховный совѣтъ», дѣлившій, подобно шведскому «государственному совѣту», съ государемъ его прерогативу. «Совѣтъ всенародныхъ человѣкъ» это были, — на подобіе шведскаго риксдага, т.-е. представительства государственныхъ сословій, — двѣ сословныя палаты депутатовъ: отъ шляхетства и горожанъ (въ Швеціи были еще двѣ—отъ крестьянства и духовенства).

Дѣлежъ прерогативы съ «совѣтомъ» былъ утвержденъ имп. Анной

въ формѣ посланныхъ ей «кондицій». Это было захватомъ верховной власти въ руки «знатнѣйшихъ фамилій»,—такъ какъ своимъ сословнымъ палатамъ Голицынъ не предоставлялъ участія въ верховныхъ правахъ, а только охрану интересовъ соотвѣтствующихъ сословій; притомъ же и вся эта часть проекта Голицына еще находилась въ процессѣ разработки и обсужденія тѣмъ же Верховнымъ совѣтомъ. Но главное: проектъ вовсе обошелъ чиновную аристократію, которая со времени смерти Петра составляла особую политическую группу «генералитета»: это были высшіе четыре ранга, по табели соотвѣтствовавшіе «думнымъ чинамъ» XVII столѣтія (генералы, тайные и дѣйствительные статскіе совѣтники). Ни въ совѣтѣ, ни въ сословныхъ палатахъ голицынскаго проекта для нея не было мѣста, какъ для отдѣльной общественной группы. Между тѣмъ, помимо совѣта, она только одна и имѣла право оффиціально высказаться по вопросу. Она и воспользовалась этимъ, чтобы немедленно протестовать противъ проекта Голицына, расчитывая при этомъ опереться на собравшееся въ Москву къ свадьбѣ Петра II шляхетство. Послѣднее уже негодовало на «тиранію» совѣта, ничего еще не зная въ большинствѣ о сословныхъ палатахъ голицынскаго проекта. Но «генералитетъ» протестовалъ не во имя своихъ собственныхъ интересовъ, а во имя принципа, во имя теоріи «естественнаго права». Выразителемъ—и чуть не иниціаторомъ—этого протеста явился Татищевъ, сдѣлавшись, такимъ образомъ, невольнымъ орудіемъ чиновной группы. Что гласило «естественное право» по поводу даннаго случая? Случай былъ предвидѣнъ и приложеніе къ нему теоріи — сдѣлано уже Ѳеофаномъ Прокоповичемъ въ упомянутой выше защитѣ «Правды воли монаршей». По «законамъ естественнымъ», подъ которыми и Ѳеофанъ разумѣетъ тѣ, которые «сами собою крѣпки» и основаны на томъ, что «не можетъ здравый разумъ человѣческій инако разсуждати», — по этимъ законамъ «единственная цѣль установленія какой бы то ни было формы правленія есть всенародная польза». «Всякій образъ правленія, и сама наслѣдственная монархія происходитъ отъ первоначальнаго соглашенія въ томъ или другомъ народѣ» (ср. стр. 215). Заключивъ между собой договоръ и, такимъ образомъ, «совлекшись общей своей воли», народъ, однако, уже обязанъ безусловно повиноваться избранной имъ государственной власти и «не оставляетъ самому себѣ никакой свободности къ общимъ опредѣленіямъ». Но отъ народа зависитъ опредѣлить, на какой срокъ онъ отказывается отъ своей «общей воли» и передаетъ ее власти. Если народъ предпочтетъ монархію избирательную, то воля возвращается народу по смерти избраннаго монарха. Если же народъ установитъ монархію наслѣдственную, то тѣмъ самымъ онъ разъ навсегда «совлекается своей воли». Однако и тутъ, если «оскудѣетъ вся ближайшая фамилія» государя и не останется ни наслѣдниковъ, ни завѣщанія, «тогда воля, бывшимъ монархамъ отданная, возвращается къ народу».

Вотъ этотъ-то послѣдній случай и представился по смерти Петра II: дочери Петра I и Екатерины I устранялись, какъ незаконныя, другихъ «ближайшихъ» наслѣдниковъ и завѣщанія не было; слѣдовательно, народная воля возвращалась къ «общенародію», и «народъ» могъ на основаніи естественнаго права, свободно выбирать себѣ ту или другую форму правленія. Но «народъ», а не Верховный совѣтъ. Рѣшеніе, каково бы оно ни было, по утвержденію Татищева, «должно быть согласіемъ всѣхъ подданныхъ, — нѣкоторыхъ персонально, другихъ черезъ повѣренныхъ». Вмѣсто того, «четыре или пять человѣкъ» навязали «общенародію» новаго государя и новую форму правленія. По извѣстной намъ классификаціи Татищева, это будетъ «насильственная неволя», противъ которой необходимо протестовать «и оное право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснѣть», чтобы обидчики «на большій безпорядокъ не дерзнули» (ср. стр. 215). Въ виду этого, Татищевъ предложилъ «требовать» отъ совѣта немедленнаго созыва представителей отъ шляхетства для перерѣшенія незаконно рѣшенныхъ вопросовъ. Онъ не сомнѣвался, что личность выбранной государыни эти депутаты «общенародія» утвердятъ, новую форму правленія забракуютъ, такъ какъ для блага Россіи необходимо самодержавіе,—но въ то же время выработаютъ «на время, доколѣ намъ Всевышній мужскую персону на престолъ даруетъ», особую организацію законодательной власти. Новый органъ законодательства, временно учреждаемый «въ помощь ея величеству», долженъ состоять изъ двухъ палатъ, «вышняго (21)» и «нижняго (100 чл.) правительства», которыя *сами себя пополняютъ* и въ сущности являются органами чиновной аристократіи, съ упраздненіемъ Верховнаго совѣта.

Итакъ, голосъ шляхетскаго «общенародія» предполагалось эксплуатировать въ интересахъ «генералитета», лишивъ шляхетство даже и той доли постояннаго участія въ правительствѣ, которая давалась ему сословными палатами Голицына. Этимъ воспользовался Верховный совѣтъ и предложилъ шляхетству высказать свои желанія прямо, безъ посредства «генералитета». Естественно, что оно пожелало осуществить права «общенародія» полнѣе и непосредственнѣе — и потребовало *постояннаго* участія выборныхъ отъ шляхетства (100) при обсужденіи новыхъ законовъ и назначеніи на высшія должности. Насколько заинтересовалось собравшееся въ Москвѣ «общенародіе» неожиданнымъ примѣненіемъ теоріи «естественнаго права» къ русской государственной практикѣ, видно будетъ изъ слѣдующихъ цифръ. Изъ 2000 присутствовавшихъ въ Москвѣ офицеровъ около половины участвовали своими подписями въ заявленіяхъ шляхетства. Татищевскій проектъ, передававшій власть руками шляхетства генералитету, второпяхъ былъ подписанъ 288 лицами *). Но, получивъ предложеніе подать прямо

*) Изъ генералитета (170) присутствовало въ Москвѣ 87 чел.

отъ шляхетства оффиціальное заявленіе, шляхетство собрало въ $2^1/_2$ раза болѣе голосовъ (743) подъ заявленіемъ, которымъ требовало себѣ самому права постояннаго представительства.

На это Верховный совѣтъ точно такъ же не хотѣлъ согласиться, какъ и на собственное упраздненіе въ проектѣ генералитета. Шляхетству оставалось обратиться съ просьбой о выработкѣ новаго государственнаго устройства «по большинству голосовъ»—къ самой императрицѣ. Извѣстно, что это заявленіе передоваго кружка, вновь растаявшаго до 87 человѣкъ (въ ихъ числѣ Татищевъ), хотя и было подписано императрицей, но тотчасъ же стушевалось передъ раздраженными криками гвардейскихъ офицеровъ. Молчавшая до сихъ поръ половина шляхетства оказалась противъ всякаго примѣненія къ Россіи теорій «естественнаго права».

И она, однако же, не прочь была воспользоваться тѣми сословными льготами, которыя требовались всѣми проектами и общественными группами безъ различія: и Голицынымъ, и генералитетомъ, и конституціонной частью шляхетства. И всѣ эти требованія въ продолженіе тѣхъ же тридцатыхъ годовъ были удовлетворены правительствомъ: и отмѣна совѣта, и переустройство сената въ нѣкотораго рода «вышнее правительство» изъ 21 члена, куда введены были главные представители движенія—изъ болѣе чиновныхъ, и возстановленіе дворянскихъ баллотировокъ въ должности, и возстановленіе стараго порядка наслѣдованія, съ отмѣной закона о майоратѣ, и учрежденіе шляхетнаго корпуса, и наконецъ важныя льготы по военной службѣ, съ сокращеніемъ срока службы до 25 лѣтъ. Такимъ образомъ, на первый разъ, примѣненіе политической теоріи къ русской дѣйствительности только дало лишній толчокъ стихійному процессу развитія сословныхъ привилегій, не имѣвшему, конечно, съ теоріей ничего общаго, кромѣ случайнаго хронологическаго совпаденія.

Для общей исторіи времени пособія: Исторія Соловьева, т. XVIII—XX (IV компактнаго изданія); *Waliszewski*. L'héritage de Pierre le Grand, régne des femmes, gouvernement des favoris (1725—1741), Paris, 1900. На этой книгѣ невыгодно отразилось недостаточное изученіе эпохи въ русской литературѣ. *Brückner*, Die Europäisirung Russlands, Gotha, 1888. О развитіи роскоши при дворѣ см. *кн. Щербатова*, О поврежденіи нравовъ въ Россіи, въ его сочиненіяхъ, т. II, Спб. 1898 (также въ «Русской Старинѣ» 1870). О провинціальномъ дворянствѣ см. Записки Болотова ч. I, изд. «Русск. Старины» (3 изд. 1875). Матеріалъ этихъ Записокъ обработанъ въ книгѣ *Е. Н. Щепкиной*: Старинные помѣщики на службѣ и дома. «Завѣщаніе отеческое» Посошкова впервые издано въ полномъ видѣ подъ ред. Е. Прилежаева. Спб. 1893. Помимо «Завѣщанія» для характеристики употреблено спеціальное сочиненіе Посошкова противъ раскола и протестантства: его «Зеркало», изд. въ сочененіяхъ Посошкова, ч. II, М. 1863, кромѣ 23 главы, трактующей о протестантствѣ и до сихъ поръ неизданной: ея изложеніе см. въ книгѣ *А. Царевскаго*: Посошковъ и его сочиненія М. 1883. Юности честное зерцало. Спб. 1767 (5 изд.). Совершенное воспитаніе дѣтей *Беллегарда*, пер. С. Волчкова. 1747. Выписки изъ того и другого а также и изъ

двухъ рукописныхъ руководствъ, цитированныхъ въ текстѣ, см. въ Исторіи русской педагогики *М. И. Демкова*, ч. II, Спб. 1897. «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ» Татищева изданъ *Н. А. Поповымъ* въ Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей россійскихъ. 1887, I. Изложеніе его у *Бестужева-Рюмина*: Біографіи и характеристики, Спб. 1882, слабо характеризуетъ этотъ замѣчательный памятникъ. Объ источникахъ теоріи Татищева, см. мои Главныя теченія русской исторической мысли, 2-е изд. М. 1898. «Краткія экономическія до деревни слѣдующія записки» Татищева изданы въ Временникѣ Общ. ист. и древ., книга XII, М. 1852. «Духовная» издана *А. Островскимъ* въ Извѣстіяхъ археологіи, исторіи и этнографіи при Имп. Казанскомъ унив. т. IV, Каз. 1884 (1885). Правда воли монаршей Ѳеофана см. въ собраніи записокъ и т. д. *Туманскаго*, ч. X. Спб., 1788. О попыткѣ верховниковъ см. Воцареніе имп. Анны Іоанновны *Д. А. Корсакова*, Казань, 1880 и моя статья: Попытка государственной реформы при воцареніи имп. Анны Іоанновны въ сборникѣ «Въ пользу воскресныхъ школъ», М. 1894.

III.

Отношеніе елизаветинскаго поколѣнія къ реформѣ и просвѣщенію.—Среда и формы, въ которыхъ совершалось просвѣтительное движеніе той эпохи. — Книгоиздательство петровскаго времени и причина его неудачи.—Новое направленіе издательства съ 1748 года. — Переводный романъ, его культурная роль. — Малая распространенность книги. — Культурная дѣятельность учащейся молодежи. — Петровскій театръ и причина его неудачи. — Роль шляхетскаго корпуса при началѣ новаго театра. — Театръ, какъ арена борьбы новаго направленія съ ложноклассическимъ. — Побѣда мѣщанской драмы, бытовой комедіи и политической пьесы въ московскомъ театрѣ. — Первый русскій журналъ при академіи; журналы молодежи шляхетскаго корпуса и московскаго университета.—Миллеровскій журналъ устанавливаетъ типъ и источники.—Шляхетская молодежь доставляетъ перевѣсъ нравоучительно-психологическому элементу и намѣчаетъ задачи и темы сатиры, Сумароковъ вноситъ элементъ любовной лирики; московскіе студенты подчеркиваютъ принципіальную основу нравоучительныхъ статей (естественное право) и сводятъ ее къ идеямъ масонства. — Ограниченный кругъ вліянія первой русской періодической прессы.

Изъ трехъ типовъ общественной мысли, съ которыми мы познакомились въ предыдущемъ отдѣлѣ, одинъ принадлежалъ прошедшему, другой настоящему и третій будущему. Естественно, что главное наше вниманіе будетъ обращено теперь на развитіе третьяго типа. Это—то́ критическое воззрѣніе, первую пробу котораго мы видѣли въ теоріяхъ Татищева и которое одинаково шло въ разрѣзъ и съ архаическимъ міровоззрѣніемъ «подлаго состоянія», и съ практикой «свѣтскаго житія», усвоенной благороднымъ шляхетствомъ. Опору въ своей борьбѣ противъ новыхъ модъ и старыхъ суевѣрій—это направленіе нашло въ образовательныхъ средствахъ, созданныхъ реформой. Но отношеніе къ образованію было у поколѣнія, выросшаго въ преобразованной Россіи, уже совсѣмъ другое, нежели у поколѣнія преобразователей. Тѣ ловили кое-какъ, на ходу, обрывки западной культуры и поневолѣ пріобрѣли сноровку сразу вылавливать практически-нужное и непосредственно-приложимое. Молодое поколѣніе очень скоро эманципировалось отъ такого утилитарно-техническаго характера заимствованій. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно на время утратило и то сознаніе связи между заимствованіями и ближайшими жизненными задачами, которое поневолѣ оказывалось налицо у піонеровъ новой культуры. Какъ жильцы новаго

дома пользуются его удобствами, не зная, какъ онъ построенъ, и не чувствуя еще нужды приступать къ ремонту, къ надстройкамъ и перестройкамъ, такъ точно чувствовало себя поколѣніе, родившееся во второмъ десятилѣтіи XVIII вѣка. Главные вопросы казались навсегда рѣшенными; оставались детали и орнаменты. Принципіальная оппозиція противъ Петра уже настолько отошла въ прошлое, что сыновья націоналистовъ-оппозиціонеровъ могли выступить подъ знаменемъ петровской реформы противъ иностранныхъ дѣльцовъ, остававшихся полтора десятка лѣтъ ея главными исполнителями. Это оригинальное возвращеніе къ Петру подъ знаменемъ націонализма само по себѣ показывало, какъ далеко елизаветинское поколѣніе отошло отъ пониманія жизненныхъ противорѣчій, вызванныхъ реформой, и какъ скоро оно забыло о прошломъ. Реформа стояла передъ этимъ поколѣніемъ, какъ непререкаемый, окончательный фактъ. За нее нечего было и не съ кѣмъ было бороться; ее предстояло эксплуатировать, т.-е. прежде всего прогнать «эксплуататоровъ»-иностранцевъ и занять ихъ мѣста, а затѣмъ извлечь изъ новаго положенія какъ можно больше жизненныхъ наслажденій. Одинъ изъ прогнанныхъ, Минихъ, приноровляясь къ настроенію минуты, пробовалъ вымолить себѣ пощаду Елизаветы вотъ какого рода проектомъ «шествованія по стопамъ» преобразователя. Петръ, по его словамъ, разсчитывалъ все пространство между Ораніенбаумомъ и Ладогой, на протяженіи 220 верстъ, застроить увеселительными домами, парками, фонтанами и каскадами, бассейнами и резервуарами, садами и звѣринцами; каждый годъ онъ предполагалъ съ министрами, генералами и дипломатическимъ корпусомъ совершать увеселительную прогулку по Невѣ и каналу, среди всѣхъ этихъ чудесъ искусства. Минихъ предлагалъ все это осуществить къ удовольствію Елизаветы. Приманка была, конечно, черезчуръ уже груба, но за то очень характерна для всего поколѣнія сверстниковъ императрицы. Дѣйствительно, гораздо доступнѣе, понятнѣе, вразумительнѣе, чѣмъ «польза» новой культуры, было для этого поколѣнія то «увеселеніе», которое можно было почерпнуть изъ этого источника.

Мы видѣли, въ чемъ находили удовольствіе въ срединѣ вѣка любители «свѣтскаго житія». Теперь мы должны прибавить, что и лучшіе люди того же поколѣнія,—враждебные свѣтскимъ излишествамъ и разсѣяніямъ,—всетаки искали удовлетворенія въ удовольствіяхъ же, только болѣе тонкихъ и культурныхъ. Новую ноту вноситъ здѣсь лишь поколѣніе, родившееся въ самомъ началѣ царствованія Елизаветы и выступившее въ литературѣ въ самомъ его концѣ. Но и оно стоитъ на только что подготовленной почвѣ. Культъ утонченныхъ удовольствій сердца послужилъ и для него основаніемъ, на которомъ оно создало свое болѣе отвлеченное, болѣе далекое отъ жизни, но за то и болѣе идеальное представленіе о цѣляхъ и о сущности новаго просвѣщенія.

Съ такимъ условнымъ, безпредметнымъ идеализмомъ, культурное движеніе елизаветинской эпохи составляетъ естественный переходъ отъ безыдейнаго реализма петровскаго времени къ первымъ попыткамъ сблизить реальность съ идеей и ввести въ литературу обсужденіе жизненныхъ вопросовъ — въ вѣкъ Екатерины II. Какъ нельзя лучше этому переходному характеру Елизаветинской литературы соотвѣтствуетъ и характеръ среды, въ которой она развивалась. Это были не практическіе дѣльцы петровскаго времени и не «философы»-просвѣтители екатерининскаго. Движеніе все еще совершалось въ непосредственной близости къ двору и правительству, но уже вышло изъ тѣснаго круга правительственныхъ лицъ. Главный матеріалъ для этого культурнаго движенія дала подроставшая молодежь новооткрытыхъ высшихъ учебныхъ заведеній: сперва академическаго университета, потомъ—и въ гораздо большей степени—сухопутнаго шляхетскаго корпуса и, наконецъ, въ самомъ концѣ эпохи—московскаго университета. Въ тѣхъ предѣлахъ—чисто ученическихъ «добрыхъ намѣреній» и «невинныхъ упражненій», изъ которыхъ пока еще не выходило движеніе тогдашней учащейся молодежи,—оно нисколько не противорѣчило настроенію двора, нашло даже точки соприкосновенія съ нимъ въ своемъ стремленіи — соединить пріятное съ полезнымъ и, въ такихъ случаяхъ, встрѣчало со стороны двора и императрицы прямую поддержку.

Простодушная, привыкшая окружать себя мужской молодежью, жадная до развлеченій и наслажденій императрица, сама дебютировавшая нѣсколькими стихотвореніями въ модномъ тогда сентиментально-любовномъ жанрѣ (II, 192; III, 196), была довольно подходящей центральной фигурой для характеризуемаго культурнаго момента. Конечно, и при ней искусство и литература продолжали—и даже въ усиленной степени—служить аксессуаромъ и орнаментомъ придворной обстановки. Но это выходило какъ-то искреннѣе, естественнѣе, безъ той чопорности и церемоннаго формализма, въ которые такъ неумѣло рядился неуклюжій дворъ имп. Анны, безъ того крикливаго противорѣчія съ окружающими нравами, которое чувствовалось на каждомъ шагу въ маскарадахъ, тріумфальныхъ шествіяхъ и школьныхъ спектакляхъ петровскаго времени. «Педантство», въ лицѣ Тредьяковскаго, уступило мѣсто «хорошему вкусу», въ лицѣ новаго придворнаго поэта Сумарокова, «посвятившаго всю жизнь на увеселеніе двора». Мы увидимъ, однако, что къ концу царствованія литературное движеніе рѣшительно выростаетъ изъ этихъ придворныхъ рамокъ, продолжая все время оставаться въ рукахъ учащейся молодежи.

Помимо школы, главнымъ образовательнымъ средствомъ служила книга; къ этому присоединился еще теперь любительскій спектакль и, въ концѣ періода, книжка періодическаго журнала. На всемъ этомъ,—на книгѣ, театрѣ и періодической прессѣ отразился самымъ рѣшительнымъ образомъ переходъ просвѣтительной роли изъ рукъ власти

въ руки молодого поколѣнія и соотвѣтственная перемѣна во взглядахъ на самыя задачи просвѣщенія.

Благодаря Петру Великому, русскій читатель впервые получилъ свѣтскую книгу, напечатанную (съ 1708) «новоизобрѣтенными амстердамскими литерами», т.-е. гражданскимъ шрифтомъ. Но на первый разъ ни содержаніе, ни языкъ этой книги не могли привлечь къ ней симпатіи читателя. Въ учрежденныхъ Петромъ казенныхъ типографіяхъ печатались произведенія, составленныя, или чаще всего переведенныя по личному выбору и распоряженію императора. Выборъ этотъ соотвѣтствовалъ цѣлямъ Петра, но нисколько не соотвѣтствовалъ вкусамъ тогдашняго читателя. Читатель стараго покроя интересовался, кромѣ священнаго писанія и житій святыхъ, духовно-нравственными произведеніями вродѣ «Великаго Зерцала» (II, 189). Читатель новаго типа увлекался произведеніями повѣствовательной литературы, составившейся къ концу XVII в. изъ переводовъ съ польскаго,—повѣстями «умильными», или «потѣшными», или «чудными» (II, 190). А Петръ спѣшилъ обогатить русскую литературу переводными учебниками по артиллеріи и фортификаціи, по инженерству и военной архитектурѣ, по «художествамъ—математическому, механическому, хирургическому, архитектурѣ—цивилисъ, анатомическому, ботаническому, милитарисъ и прочимъ тому подобнымъ». Царь строго наблюдалъ при этомъ, чтобы переводилось только дѣло, а не разговоры, «чтобы не праздной ради красоты, а для вразумленія и наставленія чтущему было», «понеже нѣмцы обыкли многими разсказами негодными книги свои наполнять только для того, чтобы велики казались,—чего, кромѣ самаго дѣла и краткаго передъ всякою вещью разговора, переводить не надлежитъ». Въ довершеніе всего, выборъ дѣлался наудачу, по заглавіямъ, и иногда оказывались переведенными руководства, трудныя даже и для спеціалистовъ (напр., Кугорна). А такъ какъ переводчики почти всегда, «которые умѣли языки,—художествъ не умѣли, а которые умѣли художества, языку не умѣли»,—то естественно, что зачастую изъ печати выходила макулатура, ни для кого не понятная и ни къ чему не пригодная. При этихъ условіяхъ русскій читатель просто на просто игнорировалъ произведенія новой гражданской печати и продолжалъ пробавляться, по старому, рукописной литературой. Уже въ 1703 г. голландскій купецъ, торговавшій русскими книгами, напечатанными по порученію Петра въ Голландіи, жаловался царю на то, что его книги не продаются и что онъ терпитъ убытокъ, «понеже купцовъ и охотниковъ въ земляхъ вашего величества зѣло мало». Однако, въ то же время синодальная типографія торговала бойко своими церковнослужебными книгами и букварями, печатавшимися и расходившимися въ тысячахъ и десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Изъ произведеній новой печати тысячами распродавались только указы (съ 1714), сотнями—мѣсяцесловы и десятками—нѣкоторыя любимыя

произведенія средняго читателя, къ которымъ онъ уже привыкъ въ рукописныхъ спискахъ. Положеніе оставалось такимъ до второй половины вѣка, по наблюденію такого знатока русской читающей публики, какимъ былъ Новиковъ. «У насъ, говорилъ онъ, только тѣ книги третьими, четвертыми и пятыми изданіями издаются, которыя симъ простосердечнымъ людямъ (мѣщанамъ нашимъ) нравятся. Въ подтвержденіе сего мнѣнія служатъ тѣ книги, кои отъ просвѣщенныхъ людей (екатерининскаго времени) никакого уваженія не заслуживаютъ и читаются одними только мѣщанами. Сіи книги суть: «Троянская исторія», «Синопсисъ», «Юности честное зерцало», «Совершенное воспитаніе дѣтей», «Азовская исторія» и нѣкоторыя другія. Напротивъ того, книги, на вкусъ такихъ мѣщанъ не попавшія, весьма спокойно лежатъ въ хранилищахъ, почти вѣчною для нихъ темницею назначенныхъ».

Такова именно и была судьба петровскихъ переводовъ. Въ 1743 г. академія наукъ представила сенату оригинальный проектъ обязательной распродажи залежавшихся изданій петровскаго времени. Каждый чиновникъ, какъ по военной такъ и по гражданской части, во всѣхъ учрежденіяхъ и присутственныхъ мѣстахъ всей Россіи, долженъ былъ по этому проекту купить въ академіи книгъ на 5—6 р. съ каждой сотни получаемаго имъ жалованья. Купцовъ тоже предполагалось привлечь къ уплатѣ этого курьезнаго налога «по пропорціи ихъ торгу». Еще рѣшительнѣе поступила съ петровскими изданіями синодальная типографія. Она прямо пустила ихъ на обложки для вновь выходящихъ книгъ (1752, 1769 и 1779).

Въ концѣ концовъ, книгоиздательство должно было уступить «мѣщанскому» вкусу, тѣмъ болѣе, что до Екатерины этотъ вкусъ вовсе нельзя было бы назвать исключительно вкусомъ «мѣщанъ». Его раздѣляла и «благородная» публика, безспорно предпочитавшая «умильный» и «потѣшный» элементъ въ литературѣ сухимъ и неудобоваримымъ петровскимъ учебникамъ. Какъ только реформирована была академія введеніемъ новаго устава, — новый президентъ ея гр. Разумовскій передалъ ей (27 янв. 1748) изустный указъ Елизаветы — «стараться при Академіи переводить и печатать на русскомъ языкѣ книги гражданскія различнаго содержанія, въ которыхъ бы *польза и забава соединены были съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ*». Во исполненіе указа академія приглашала черезъ «С.-Петербургскія Вѣдомости» желающихъ переводить книги съ иностранныхъ языковъ и обѣщала переводчикамъ, въ видѣ гонорара—по 100 экземпляровъ переведенной книги. Это былъ одинъ изъ первыхъ случаевъ непосредственнаго привлеченія молодежи высшихъ учебныхъ заведеній къ участію въ просвѣтительной дѣятельности. Очерченный въ указѣ характеръ желательныхъ переводовъ такъ же хорошо совпадалъ съ интересами этой молодежи, какъ и со вкусами читающей публики. Объявившіеся по публикаціи переводчики оказались большею частью

учениками академической гимназіи и университета или же служащими при академіи. Въ результатѣ новаго направленія издательства и книжное дѣло значительно оживилось. Издательская дѣятельность такъ возросла въ 50-хъ годахъ, что старая академическая типографія оказалась не въ состояніи выполнять всѣхъ заказовъ. Заведена была «новая» типографія, съ прямой цѣлью «умножить въ оной печатаніе книгъ, какъ для удовольствія народнаго, такъ и для прибыли казенной». Дѣйствительно, новая типографія печатала въ огромномъ количествѣ экземпляровъ книги, удовлетворявшія «мѣщанскому» вкусу вродѣ перечисленныхъ Новиковымъ: «Троянской исторіи», «Повѣсти о разореніи Іерусалима», «Синопсиса» и т. п. При такомъ направленіи дѣла обѣ поставленныя цѣли, т.-е. и «удовольствіе народное», и «казенная прибыль», были вполнѣ достигнуты.

Но, сдѣлавшись выгоднымъ промышленнымъ предпріятіемъ, книжное издательство и торговля немного принесли бы пользы просвѣщенію, если бы ограничились перепечаткой старыхъ продуктовъ популярной литературы, распространявшихся и безъ того въ рукописныхъ спискахъ. Приглашенная къ сотрудничеству интеллигентная молодежь принялась искать свѣжаго матеріала для переводовъ въ популярныхъ произведеніяхъ заграничной литературы. Скоро она нашла литературный жанръ, одинаково привлекательный и для интеллигентнаго читателя, и для сѣрой публики. Этимъ жанромъ, дѣйствительно соединявшимъ, какъ требовалъ указъ 1748 г., «пользу и забаву съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ»,—былъ переводный романъ. Роману скоро суждено было сдѣлаться самымъ популярнымъ, если не самымъ моднымъ видомъ литературы XVIII в. Въ смыслѣ развитія первыхъ отвлеченныхъ чувствъ, на которыхъ сходились полуобразованный верхъ и вовсе необразованный низъ русскаго общества,—переводный романъ сыгралъ еще болѣе важную культурную роль, чѣмъ оригинальная любовная лирика (II, 193). Что давалъ переводный романъ русскому читателю, объ этомъ пусть скажетъ намъ, впрочемъ, самъ этотъ читатель. «Обыкновенно обвиняютъ романы»,—говоритъ Болотовъ, зачитывавшійся романами въ срединѣ XVIII в.,—въ томъ, что чтеніе ихъ не столько пользы, сколько вреда производитъ и что они нерѣдко ядомъ и отравою молодымъ людямъ почестъся могутъ. Однако, я торжественно о себѣ скажу, что мнѣ не сдѣлали они ничего дурного. Сколько я ихъ ни читалъ, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце.., но чтеніе оныхъ, напротивъ того, произвело для меня безчисленныя выгоды и пользы... Читая описываемыя происшествія во всѣхъ государствахъ и во всѣхъ краяхъ свѣта, я нечувствительно узналъ и получилъ довольное понятіе о разныхъ нравахъ и обыкновеніяхъ народовъ и обо всемъ томъ, что во всѣхъ государствахъ есть хорошаго и худого и какъ люди въ томъ и другомъ государствѣ живутъ и что у нихъ тамъ водится... Не меньшее понятіе получилъ я и о родѣ жизни разнаго со-

стоянія людей, начиная отъ владыкъ земныхъ до людей самаго низкаго состоянія. Самая житейская свѣтская жизнь во всѣхъ ея разныхъ видахъ и состояніяхъ и вообще весь свѣтъ сдѣлался мнѣ гораздо знакомѣе передъ прежнимъ... Что касается до моего сердца, то отъ многаго чтенія преисполнилось оно столь нѣжными и особыми чувствованіями, что я примѣтно ощущалъ въ себѣ великую перемѣну и самого себя точно какъ переродившимся. Я начиналъ смотрѣть на всѣ происшествія въ свѣтѣ какими-то иными и благонравнѣйшими глазами; а все сіе и вперяло въ меня нѣкое отвращеніе отъ грубаго и гнуснаго общества и сообщества съ порочными людьми... Что же касается до увеселенія, производимаго во мнѣ симъ чтеніемъ романовъ, то я не знаю уже, съ чѣмъ бы оное сравнить и какъ бы изобразить оное. А довольно, когда скажу, что оное было безпрерывно и такъ велико, что я и понынѣ (т.-е. около 40 лѣтъ спустя) еще не могу позабыть тогдашняго времени и того сколь оно было для меня пріятно и увеселительно». Подобныя признанія мы слышимъ отъ многихъ лицъ, юные годы которыхъ прошли во второй половинѣ XVIII в. *). Нельзя не заключить изъ нихъ, что переводный романъ дѣйствительно былъ серьезной культурной силой, облагороживавшей чувства и возбуждавшей умственные интересы. Чтеніе романовъ, на ряду съ затверживаніемъ любовныхъ пѣсенъ, было первой школой русскаго идеализма.

Однако же, въ теченіе всей первой половины вѣка кругъ вліянія романа былъ весьма ограниченъ уже просто потому, что печатная свѣтская книга оставалась большой рѣдкостью; книжныхъ лавокъ, кромѣ петербургской академической и московской синодальной, не существовало: въ провинціи добыть новую книгу было совершенно невозможно. Только-что упоминавшійся Болотовъ былъ страстнымъ охотникомъ до чтенія и, какъ сынъ полковника, принадлежалъ, повидимому къ средѣ, въ которой сравнительно легко было доставать книги. Тѣмъ не менѣе и въ его дѣтствѣ и юности каждая новая книга была важнымъ и рѣдкимъ событіемъ, которое онъ помнилъ до старости и черезъ нѣсколько десятилѣтій аккуратно занесъ въ свои записки. Одиннадцати лѣтъ, во французскомъ пансіонѣ, онъ наткнулся на «Похожденія Телемака», пробудившія у него вкусъ къ чтенію и послужившія для него «фундаментомъ всей будущей учености». На слѣдующій годъ онъ обревизовалъ книги своего отца и нашелъ среди нихъ двѣ по своему вкусу. Это были—жалкій учебникъ исторіи Гильмара Кураса и исторія походовъ принца Евгенія: первую Болотовъ перечиталъ трижды, вторую дважды. Заброшенный затѣмъ въ свою глухую деревню, онъ принужденъ былъ довольствоваться повтореніемъ своихъ учебниковъ нѣмецкой и французской грамматики и географіи. Только черезъ два года, вернувшись

*) Въ это время, какъ увидимъ, особенно усилилось чтеніе и издательство романовъ.

снова въ Петербургъ, напрактиковавшись нѣсколько во французскомъ разговорѣ у мосье Лаписса и перенявъ кое-что случайно изъ геометріи у товарища по занятіямъ, Болотовъ обогатилъ свой репертуаръ свѣтскихъ знаній нѣсколькими модными любовными пѣсенками и чтеніемъ печатной Сумароковской трагедіи «Артистоны» и рукописнаго любовнаго романа: «Эпаминондъ и Целеріана», перечитаннаго имъ дважды. Прошелъ еще годъ; умирая отъ скуки въ своей деревнѣ, Болотовъ раздобылся у сосѣдей «Камнемъ Вѣры» и Четьими-минеями, а у дяди рукописными курсами геометріи и фортификаціи, записанными когда-то подъ руководствомъ извѣстнаго Ганнибала. Богословскіе аргументы Яворскаго были скоро изучены, къ великому изумленію сельскихъ поповъ; чертежи Ганнибала перечерчены: по чертежамъ кое-какъ усвоенъ и математическій текстъ. Истощивъ всѣ эти рессурсы, Болотовъ принялся списывать Телемака съ печатнаго экземпляра и списалъ его всего; списалъ и любимыя житія святыхъ. Затѣмъ оставалось только вернуться къ двумъ иностраннымъ грамматикамъ и къ географіи, но этого даже терпѣніе Болотова не выдержало: повертѣвъ нѣсколько разъ въ рукахъ, онъ ихъ бросилъ. Дошла и до деревенскаго захолустья вѣсть о новомъ необыкновенно интересномъ романѣ, «Аргенидѣ» (Барклая, перев. Тредьяковскаго, въ отвѣтъ на извѣстный намъ вызовъ академіи), гдѣ «все можно найтить—и политику и нравоученіе и пріятность и все и все». Но этой заманчивой новинки въ деревнѣ получить было нельзя. На счастье Болотова, ему минуло шестнадцать лѣтъ: надо было собираться въ полкъ, на службу. По пріѣздѣ въ Петербургъ, первый выходъ Болотова былъ въ академическую книжную лавку, гдѣ онъ нашелъ не только вожделѣнную «Аргениду», но и только что вышедшаго тогда въ русскомъ переводѣ «Жиль-Блаза» Лесажа. Съ третьимъ знаменитымъ тогда романомъ, «Житіемъ Клевеланда, философа англійскаго» аббата Прево, Болотовъ познакомился вскорѣ уже въ нѣмецкомъ переводѣ не дожидаясь русскаго, вышедшаго въ 1760 г.

Эти шесть лѣтъ (1749 — 1755) изъ біографіи русскаго читателя новаго типа лучше всего могутъ объяснить намъ, почему современное литературное движеніе могло возникнуть только въ столицахъ и только въ той удобной для самообразованія обстановкѣ, какую создавало товарищеское общеніе между учениками высшихъ учебныхъ заведеній. Такой характеръ среды, въ которой совершалось новое движеніе, предопредѣлилъ и его формы. Формы эти были тѣ же, какія и теперь можно встрѣтить среди учащейся молодежи среднеучебныхъ заведеній: началось любительскими спектаклями, продолжалось литературными упражненіями въ кружкахъ самообразованія, кончилось созданіемъ литературныхъ журналовъ. Особенность момента была та, что эти ученическія упражненія оказались передовыми, піонерскими для цѣлой Россіи. При этомъ условіи ученическій спектакль послужилъ основой

на которой возникъ первый русскій театръ, а ученическій журналъ положилъ начало русской періодической прессѣ.

Правда, петровское время и здѣсь предупредило елизаветинское. Но петровскія попытки и въ данномъ случаѣ оказались безуспѣшными по той же причинѣ, по которой кончилось неудачей и его книгоиздательство. Черезчуръ еще неподготовленному обществу была предложена слишкомъ канцелярскимъ путемъ совершенно неудобоваримая пища.

Театръ царя Алексѣя былъ случайнымъ эпизодомъ, не оставившимъ по себѣ никакихъ слѣдовъ; притомъ московскіе спектакли XVII вѣка были доступны только царской семьѣ и немногимъ придворнымъ. Петръ Великій задумалъ создать общедоступный театръ и нашелъ для него мѣсто на Красной площади. Вопреки пассивному сопротивленію посольскихъ дьяковъ, въ 1702 г. отстроена была на площади помѣстительная «комедіальная храмина». Тогда же выписана была изъ Германіи труппа актеровъ, подъ управленіемъ Кунста, котораго замѣнилъ послѣ его смерти (1703) Фюрстъ. Два раза въ недѣлю давались представленія; указомъ 1705 г. приказывалось «смотрящимъ всякихъ чиновъ людямъ россійскаго народа и иноземцамъ ходить» на представленія «вольно и свободно безъ всякаго опасенія». Разрѣшено даже не запирать городскихъ воротъ въ день представленія до 9 часовъ; съ проходящихъ не бралось пошлины, для того, чтобы «смотрящіе того дѣйствія ѣздили въ комедію охотно». Уже въ 1704 году отданные для выучки Кунсту подъячіе и посадскіе (10 чел.) начали давать представленія по-русски, а въ 1705 г. только русскіе спектакли и давались. Все это, однако, не привлекло въ театръ значительной публики. Судя по цифрамъ сборовъ, въ самые удачные лѣтніе дни число посѣтителей не превышало 400, обыкновенно же эта цифра была гораздо ниже, а зимой спускалась иногда до 25. Уже въ 1707 г. спектакли прекратились; «комидійная храмина» на Красной площади была заброшена, а театральная обстановка взята царевной Натальей, для ея домашняго театра въ Преображенскомъ. Такое быстрое охлажденіе любопытства, не успѣвшаго развиться въ прочный интересъ къ театру, въ значительной степени объясняется самымъ характеромъ репертуара. Полтора десятка пьесъ, перешедшихъ на московскую сцену изъ репертуара нѣмецкихъ странствующихъ актеровъ, могли привлекать публику только шутовскими интермедіями да раздирательными сценами убійствъ и отравленій, которыми была такъ богата модная нѣмецкая пьеса того времени. Все, что выходило изъ этихъ рамокъ балагана,—высокія чувства и нѣжныя любовныя объясненія совершенно пропадали въ неуклюжемъ переводѣ посольскихъ подьячихъ. Эти невольные переводчики по служебной обязанности—терялись передъ непривычной и невозможной задачей—передать прозой посольскаго приказа вычурныя фразы нѣмецкой торжественной трагедіи и живой діалогъ Мольера. Какое, напр., впечатлѣніе на зрителя могло произвести страст-

ное любовное объясненіе, веденное въ такихъ выраженіяхъ, какъ слѣдующія: «Удовольствованія полное время, когда мы веселость весны безъ препятія и овощь любви безъ зазрѣнія употреблять могли. Пріиди, любовь моя! Поволь черезъ смотрѣніе нашихъ цвѣтовъ очеса и чрезъ изрядное волненіе чувствованія нашего наполнить» и т. д.? Или вотъ во что обращался въ подъяческихъ рукахъ игривый разговоръ Юпитера съ Алкменой (въ «Амфитріонѣ)»: «Во мнѣ, милая и любимая Алкмена, ты видишь мужа и любителя; кромѣ любительнаго имени не хочу я себѣ дати, хотя я съ тобою вмѣсто мужа пребывалъ. И той любитель твоей воли съ ревностію желаетъ, дабы твое сердце къ нему одному склонилось, а страданія того не хочетъ, что именемъ мужъ даетъ». Эти пудовыя фразы составляютъ плодъ безуспѣшной борьбы переводчика съ слѣдующими строками Мольера:

En moi, belle et charmante Alcmène,
Vous voyez un mari, vous voyez un amant;
Mais l'amant seul me touche, à parler franchement;
Et je sens, près de vous, que le mari le gêne.
Cet amant, de vos veux jaloux au dernier point,
Souhaite, qu'à lui seul votre coeur s'abandonne,
Et sa passion ne veut point
De ce que le mari lui donne.

Это сопоставленіе одно можетъ показать, насколько безжизненъ былъ русскій театръ петровскаго времени.

Въ полуиностранномъ Петербургѣ конца петровскаго царствованія кое-какъ влачила существованіе вольная нѣмецкая труппа, спектакли которой преимущественно посѣщались дворомъ; кромѣ придворныхъ «изъ русскихъ никто не ходилъ смотрѣть ихъ, а изъ иностранцевъ также бывали немногіе (Берхгольцъ)». Послѣ Петра придворный спектакль вошелъ въ обиходъ придворной жизни; но это была не трагедія и комедія, а опера и балетъ. Композиторъ — итальянецъ, Франческо Арайа, составилъ изъ придворныхъ пѣвчихъ оперный хоръ, а въ роли танцоровъ явились воспитанники шляхетскаго корпуса, гдѣ, какъ мы знаемъ, хореографическое искусство преподавалось успѣшнѣе всѣхъ наукъ въ рукахъ Landet. Maître Landet хвалился даже впослѣдствіи «что нигдѣ въ Европѣ не танцовали менуэта съ большей граціей, чѣмъ при петербургскомъ дворѣ». Въ концѣ царствованія Анны появилась, помимо итальянской оперы, и нѣмецкая драматическая труппа подъ дирекціей Нейбурга. Если вспомнимъ, что послѣ танцевъ всего больше учились въ корпусѣ нѣмецкому языку, то естественно будетъ предположить, что и представленія нѣмецкой труппы не прошли для кадетъ безслѣдно. При Елизаветѣ Арайа и Ландé сохранили свое положеніе, но на смѣну Нейбургу явилась французская драматическая труппа Сериньи, въ составѣ которой было нѣсколько актеровъ изъ Comédie française.

Это было послѣднимъ толчкомъ, вызвавшимъ подражаніе со стороны корпусной молодежи. Корпусъ далъ двору танцоровъ, ему предстояло теперь дать актеровъ и драматурговъ. Помимо интереса къ дѣлу, тутъ было замѣшано самолюбіе и выгода: за Чеглоковымъ, сдѣлавшимъ карьеру танцами при Аннѣ, слѣдовалъ Бекетовъ, впервые привлекшій вниманіе Елизаветы исполненіемъ роли «Хорева».

Въ 1749 г., какъ извѣстно, разыграны были въ корпусѣ, одна за другой, четыре оригинальныя пьесы Сумарокова: «Хоревъ», «Гамлетъ», «Синавъ» и «Артистона». Въ февралѣ слѣдующаго 1750 г. кадеты повторили «Хорева» на сценѣ Зимняго дворца; затѣмъ, въ теченіе года они дали еще пять придворныхъ спектаклей. Однако же, на постоянное профессіональное участіе въ спектакляхъ—такихъ любителей-кадетъ, какъ князь Мещерскій, графъ Бутурлинъ или баронъ Остервальдъ, разсчитывать было нельзя. Разъ забава становилась постоянною, надо было организовать спеціальную труппу. Въ ходъ были пущены старыя средства: въ мартѣ 1752 г. семеро придворныхъ пѣвчихъ отданы «для обученія наукамъ», т.-е. для пріобрѣтенія культурной внѣшности, въ шляхетскій корпусъ; за ними черезъ нѣсколько дней поступили въ корпусъ еще двое «ярославцевъ»,—посадскихъ изъ провинціальной любительской труппы, доставленной, волею императрицы, въ полномъ составѣ на казенный счетъ въ столицу. Это были Дмитревскій и Поповъ; братья Ѳ. и Григ. Волковы, повидимому, поѣхали съ дворомъ въ Москву (1753 г.) и только по возвращеніи оттуда тоже опредѣлены въ шляхетскій корпусъ (январь 1754). По сосѣдству съ корпусомъ, на мѣстѣ теперешней Академіи художествъ, въ домѣ Головина будущіе актеры должны были практиковаться въ представленіяхъ. Наконецъ, въ 1756 г. обученіе пѣвчихъ и «комедіантовъ», отданныхъ въ корпусъ, закончилось; осенью этого года русскій театръ былъ учрежденъ оффиціально, а 5 мая 1757 г. дано «первое представленіе для народа вольной трагедіи русской за деньги». Въ томъ же году учрежденъ русскій театръ въ Москвѣ подъ управленіемъ Хераскова—тоже воспитанника корпуса. Однако, свободное посѣщеніе театра петербургской публикой продолжалось не долго: въ 1761 г. возстановленъ былъ старый порядокъ раздачи мѣстъ по чинамъ. Только при Екатеринѣ, съ постройкой новаго зданія (на мѣстѣ теперешняго Большого театра) открылось въ Петербургѣ вновь «публичное русское комедіальное зрѣлище» (1783 г.). Такой длинный перерывъ (1761—83) далъ, какъ увидимъ, Москвѣ преимущество въ развитіи театральныхъ вкусовъ.

Шляхетскій корпусъ, такъ много сдѣлавшій для устройства русскаго театра, далъ ему и репертуаръ. Въ первое время игрались исключительно произведенія Сумарокова; съ 1757 года къ нимъ присоединились переводы, сдѣланные воспитанниками. Въ этомъ году поставлены были на сцену, въ переводахъ Кропотова, Нартова и Елагина, 6 комедій Мольера, по одной — Гольдберга, Лафона, Сенъ-Фуа;

въ 1758 еще двѣ комедіи Мольера (перев. Свистунова и Чаадаева), по одной Леграна (А. Волковъ) и Детуша (А. Нартовъ), двѣ итальянскихъ (Булатницкаго и Карина). Какъ видимъ, начало театра вызвало усиленную литературную работу въ корпусѣ. Продукты этой работы стояли несравненно выше переводовъ петровскихъ подъячихъ. Искусственность и приподнятость сумароковскихъ трагедій не только не мѣшали публикѣ наслаждаться ими, но вполнѣ соотвѣтствовали модному вкусу. Офицерская молодежь знала наизусть эффектные монологи и, подражая актерамъ, любила «прокрикивать стихи и съ жестами дѣлать декламаціи (Болотовъ)». Дмитревскій и Троепольская производили такого рода декламаціей огромное впечатлѣніе на публику въ пьесахъ Сумароковскаго репертуара. Трагическая коллизія у Сумарокова была всегда—любовнаго характера: даже «непросвѣщеннаго» Шекспира онъ передѣлалъ на свой ладъ, выдвинувъ на первый планъ въ числѣ психологическихъ мотивовъ гамлетовскаго колебанія—его страсть къ Офеліи, а изъ Полонія, отца возлюбленной, сдѣлавъ главнаго соучастника въ убійствѣ отца Гамлета и, слѣдовательно, предметъ его мщенія. Такъ было понятнѣе и чувствительнѣе въ глазахъ современной публики. Но увы, поклонникъ классической трагедіи, явившій театръ Расиновъ россамъ, не сознавалъ, что, выдвигая такъ сильно любовь, онъ уже измѣняетъ основному принципу классической трагедіи—выводить лишь исключительныхъ людей и исключительныя чувства. Положеніе было тѣмъ опаснѣе для Сумароковской теоріи, что ложноклассицизмъ водворялся у насъ на сценѣ въ то самое время, когда въ Европѣ онъ изгонялся съ нея, уступая мѣсто изображенію обыкновенныхъ людей и обыкновенныхъ чувствъ въ мѣщанской драмѣ. Произведенія этого рода попадали на русскую сцену одновременно съ сумароковскими подражаніями Корнелю и Расину, Естественно, что русская публика, непосвященная въ тонкости европейской литературной борьбы, смѣшала Сумарокова въ представителями новаго, болѣе живого направленія, а старое, формалистическое, мертвое направленіе ложнаго классицизма—олицетворила въ «одѣ», какъ литературномъ жанрѣ, и въ Ломоносовѣ, какъ его оффиціальномъ представителѣ. Споръ о томъ, кто выше, Ломоносовъ или Сумароковъ, и что лучше, ода или трагедія, — сдѣлался модной темой литературнаго разговора: разумѣется, молодое поколѣніе отдавало предпочтеніе трагедіи и Сумарокову. Въ Россіи, навѣрное, было извѣстно мѣсто изъ «La Critique de l'école des femmes», въ которомъ Мольеръ, одинъ изъ первыхъ, подвергъ рѣзкой критикѣ искусственность ложноклассической трагедіи. «Гораздо легче витать въ сферѣ высокихъ чувствъ, бросать въ стихахъ вызовъ счастью, осыпать обвиненіями судьбу, поносить боговъ, чѣмъ проникать въ смѣшныя стороны человѣческой природы и заинтересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героевъ, вы дѣлаете это, какъ вамъ вздумается. Это совершенно произвольные образы

въ которыхъ нечего искать сходства съ чѣмъ-нибудь дѣйствительнымъ... Но когда вы беретесь изображать дѣйствительныхъ людей, вы должны ихъ брать, какими они являются въ жизни. Необходимо, чтобы ваши созданія походили на дѣйствительность; ваша работа утратитъ всякое значеніе, если въ ней не узнаютъ типовъ современности». То что здѣсь говорится о преимуществахъ комедіи передъ трагедіей, въ Россіи повторялось относительно преимуществъ трагедіи надъ одой: при оффиціальности и, еще недавно, полной безсмысленности придворнаго одопѣнія,—даже классическая трагедія казалась самóй жизнью и дѣйствительностью въ сравненіи съ одой. «Одистъ на своей лирѣ», говорилось въ «Адской Почтѣ» (1769), «говоритъ обыкновенно съ одними героями, а трагикъ со всѣми человѣками. Одинъ наполняетъ свое сочиненіе вымыслами, а другой истинными разсужденіями; тотъ летаетъ по воздуху, по небесамъ, а другой остается на землѣ; тотъ выдумываетъ, чего нѣтъ и чему иногда быть не можно, а сей и то, что есть, тонкостію своей разбираетъ; и ежели теперь больше въ свѣтѣ людей, чѣмъ героевъ, — то смѣю сказать, что трагедія полезнѣе оды... Трагику... можно скорѣе и больше сдѣлать людей, хорошо мыслящихъ, нежели одисту героевъ; а изъ сего и большинство пользы видно». Какъ видимъ, критикъ защищаетъ трагедію такими аргументами, которые собственно относятся къ мѣщанской драмѣ; и выдвигаетъ противъ оды обвиненія, которыя падаютъ всей своей тяжестью на саму классическую трагедію. Это характерное смѣшеніе трагедіи съ драмою наглядно отразилось въ пестротѣ репертуара, особенно замѣтной въ Москвѣ, въ херасковскомъ театрѣ, доступномъ для публики и болѣе свободномъ отъ личнаго вліянія Сумарокова и его классическихъ теорій. Знаменитая пьеса Бомарше довершила здѣсь торжество мѣщанской драмы, и напрасны были всѣ протесты Сумарокова противъ «скареднаго вкуса москвичей»; напрасны были жалобы на новый жанръ самому Вольтеру; напрасенъ былъ даже авторитетный отвѣтъ старика, скрывшаго собственныя колебанія подъ не совсѣмъ искреннимъ осужденіемъ этихъ piéces bâtardes, этого genre larmoyant, который avilit le cothurne. Общество продолжало у самого Сумарокова и его продолжателей, Княжнина, Озерова, Крюковскаго — цѣнить ту самую живую струю, которая окончательно побѣдила въ новомъ направленіи: живое человѣческое чувство. Никогда не переживъ самó эпохи господства подлиннаго, строгаго классицизма, общество готово было къ воспріятію новѣйшихъ теченій драматургіи. Такимъ образомъ, на русскую сцену скоро и безпрепятственно проникла и бытовая пьеса, какъ «Мельникъ» Аблесимова (1779), и настоящая комедія «типовъ современности» (Фонъ-Визинъ), сравнительно съ которой сама мольеровская комедія отходила въ Европѣ на второй планъ, какъ комедія абстрактныхъ общечеловѣческихъ типовъ: явилась и обличительная комедія имп. Екатерины и, наконецъ, пьеса съ политической тенденціей, при-

нятая одно время подъ личную защиту самой императрицей. 12 февраля 1785 г. въ Москвѣ дана была пьеса такого характера, принадлежавшая знаменитому нѣкогда писателю Николеву, «Сорена и Замиръ». Трагедія имѣла огромный успѣхъ; весь театръ плакалъ навзрыдъ о судьбѣ супруговъ, разлученныхъ злодѣемъ Мстиславомъ, россійскимъ царемъ, и погибшихъ насильственной смертью. Авторъ не пожалѣлъ красокъ для характеристики коварнаго Мстислава. Слѣдующіе стихи обратили на себя особенное вниманіе московскаго главнокомандующаго:

Изчезни навсегда, сей пагубный уставъ,
Который заключенъ въ одной монаршей волѣ;
Льзя-ль ждать блаженства тамъ, гдѣ гордость на престолѣ,
Гдѣ властью одного всѣ скованы сердца?
Въ монархѣ не всегда находимъ мы отца.

Главнокомандующій пріостановилъ дальнѣйшія представленія пьесы и отослалъ Екатеринѣ рукопись съ своими отмѣтками. «Удивляюсь,— отвѣчала Екатерина, — что вы остановили представленія трагедіи, какъ видно принятой съ удовольствіемъ всей публикой. Смыслъ такихъ стиховъ, которые вы замѣтили, никакого не имѣетъ отношенія къ вашей государынѣ. Авторъ возстаетъ противъ самовластія тирановъ, а Екатерину вы называете матерью».

Естественно, что теперь и отношеніе къ театру со стороны публики было совершенно иное, чѣмъ прежде. Пьесы новаго направленія дѣйствовали на нее въ томъ же духѣ, какъ и новые переводные романы, но только театръ былъ гораздо доступнѣе книги и впечатлѣніе зрѣлища сильнѣе, чѣмъ впечатлѣніе чтенія. Театръ содѣйствовалъ, такимъ образомъ, развитію той «чувствительности», которая все болѣе и болѣе становилась маркой истиннаго образованія. «Петиметры» и «щеголихи» посѣщали вначалѣ театръ изъ моды; потомъ это вошло въ привычку и, наконецъ, сдѣлалось потребностью культурной жизни. Конечно, особый успѣхъ все еще имѣли въ обширныхъ кругахъ публики пьесы, дѣйствовавшія не на чувствительность, а насмѣшливость, или пьесы изъ народнаго быта, доступныя для самыхъ низменныхъ слоевъ мѣщанства. Аблесимовскій «Мельникъ» выдержалъ, по сообщенію Крылова (въ «Зрителѣ»), болѣе 200 полныхъ представленій въ демократическомъ московскомъ театрѣ. Болѣе тонкая петербургская публика все же смотрѣла его 27 разъ подрядъ въ вольномъ театрѣ Книппера (начало 80-хъ гг.).

Мы вышли за предѣлы характеризуемаго періода, чтобы не возвращаться къ исторіи театра въ слѣдующую эпоху, когда наше вниманіе будетъ занято болѣе сложными проявленіями русской общественности. Подготовку къ этимъ болѣе сложнымъ явленіямъ мы найдемъ, въ предѣлахъ елизаветинскаго времени, не столько въ исторіи театра, сколько въ исторіи русской періодической печати. Первые рус-

скіе журналы (конца 50-хъ и начала 60-хъ гг.) покажутъ намъ русскую общественную мысль въ состояніи наибольшей зрѣлости, какой она могла достигнуть, оставаясь на школьной скамьѣ тогдашнихъ высшихъ учебныхъ заведеній или только-что сойдя съ этой скамьи.

Академическій университетъ и здѣсь, какъ въ дѣлѣ книгоиздательства, положилъ начало, и самый толчокъ къ изданію перваго популярнаго журнала данъ былъ тѣмъ же событіемъ академической жизни, которое вызвало оживленіе дѣятельности переводчиковъ въ новомъ, болѣе популярномъ направленіи: новымъ уставомъ и новымъ президентомъ. Для перваго редактора и первыхъ сотрудниковъ русскаго журнала—писательская дѣятельность была службой, которую они обязаны были отправлять по приказанію гр. Разумовскаго. Обязательные сотрудники назначены были изъ числа академическихъ студентовъ съ жалованьемъ 100—150 р. въ годъ. Обязательнымъ редакторомъ сдѣланъ былъ историкъ Миллеръ, отъ личной энергіи котораго и личныхъ знаній зависѣло и направленіе, и успѣхъ журнала. Когда Миллеръ переведенъ былъ на службу изъ Петербурга въ Москву, то и журналъ прекратился, послѣ десятилѣтняго существованія (1755—1764).

За этотъ промежутокъ времени «Ежемѣсячныя сочиненія» Миллера успѣли, однако, вызвать къ дѣятельности цѣлый кружокъ добровольныхъ сотрудниковъ. Добровольцами явились опять извѣстные намъ воспитанники шляхетскаго корпуса (Сумароковъ, Елагинъ, Нартовъ, Херасковъ, Порошинъ). Втянувшись, при посредствѣ спектаклей и театра, также и вообще въ литературные интересы, они составили между собой цѣлое общество любителей русской словесности. Здѣсь читались литературные опыты сочленовъ; отсюда они переходили въ редакцію «Ежемѣсячныхъ сочиненій». Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ начала миллеровскаго журнала молодежь рѣшила завести свой собственный органъ. Журналъ кадетъ («Праздное время, въ пользу употребленное»)—первый журналъ въ Россіи, заведенный частными лицами,—издавался въ типографіи корпуса и просуществовалъ два года (1759—1760), выходя еженедѣльно. Одновременно съ нимъ Сумароковъ издавалъ свой особый журналъ, «Трудолюбивую пчелу», прекратившійся на первомъ году (1759). Наконецъ, членъ того же кружка, Херасковъ, вмѣстѣ съ театромъ перенесъ въ Москву и изданіе литературныхъ журналовъ. Новый составъ сотрудниковъ скоро подобрался здѣсь изъ воспитанниковъ, только-что открытаго Московскаго университета. При дѣятельномъ участіи университетской молодежи Херасковъ издавалъ одинъ за другимъ два журнала: «Полезное увеселеніе» (дек. 1760—іюнь 1762) и «Свободные часы» (1763). Наконецъ, въ Москвѣ, какъ и въ Петербургѣ, отдѣльные сотрудники Хераскова дѣлали попытки выступить съ собственными журналами однороднаго характера («Невинное упражненіе» Богдановича въ 1763 и «Доброе намѣреніе» Санковскаго въ 1764).

Уже самыя заглавія сближаютъ перечисленные журналы въ одну общую семью. Характеръ ихъ, дѣйствительно, одинаковъ,—также какъ и стремленія, одушевлявшія ихъ участниковъ, несомнѣнно, одни и тѣ же. Но, всматриваясь внимательнѣе въ особенности отдѣльныхъ журналовъ, не трудно замѣтить въ смѣнѣ главныхъ изъ нихъ признаки быстраго внутренняго роста. На этомъ ростѣ еще важнѣе остановиться, чѣмъ на общей характеристикѣ названныхъ журналовъ.

«Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія» носятъ двойственный характеръ. Миллеръ является въ нихъ, съ одной стороны, спеціалистомъ-историкомъ, съ другой—посредникомъ между русскими читателями и современной ему европейской журналистикой. Какъ историкъ, онъ загромождаетъ свой журналъ массой сырого матеріала, сдѣлавшаго «Ежемѣсячныя сочиненія» слишкомъ тяжелымъ чтеніемъ для того времени и сохранившаго за ними до сихъ поръ нѣкоторый интересъ для спеціалистовъ. Какъ проводникъ европейской журналистики, Миллеръ даетъ точный сколокъ съ безчисленныхъ гамбургскихъ, ганноверскихъ, лейпцигскихъ и т. д. «сочиненій, къ пользѣ и увеселенію служащихъ». Прототипомъ всѣхъ ихъ были знаменитые журналы Аддисона и Стиля: «Болтунъ», «Зритель» и «Опекунъ». Число подражаній этимъ англійскимъ журналамъ доходило въ Германіи къ 1760 г. до 180.

Въ этихъ иностранныхъ образцахъ и источникахъ «Ежемѣсячныхъ сочиненій» типъ перваго русскаго журнала былъ уже предопредѣленъ. Это была отвлеченная и потому черезчуръ блѣдная мораль, улавливавшая только общіе психологическіе мотивы человѣческихъ страстей, бичевавшая только ярлыки пороковъ, претендовавшая на рѣшающій голосъ въ вопросахъ житейской мудрости и съ завидною самоувѣренностью хозяйничавшая въ сферѣ тѣхъ прописныхъ правилъ и наблюденій, тѣхъ «среднихъ аксіомъ», въ самой формулировкѣ которыхъ обыкновенно гнѣздится наибольшее количество логическихъ ошибокъ. Пословица и аллегорія были любимою формой этого нравоученія, удачно скрывавшей, даже и отъ самихъ авторовъ, грозившіе имъ на всякомъ шагу ихъ моралистическихъ разсужденій логическіе провалы. Впрочемъ, нравоучительные журналы и не хотѣли быть школой строгаго мышленія; ихъ цѣль была совсѣмъ другая—самосовершенствованіе, господство разума надъ страстями. Они ставили себѣ также цѣлью—исправленіе и воспитаніе нравовъ. Въ заключеніи одной изъ переводныхъ статей «Празднаго Времени» (I, 168) эти цѣли формулированы очень характерно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Разсужденія о нравоученіи и натурѣ человѣческой суть наилучшіе способы для приведенія ума нашего къ совершенству и для сисканія точнаго понятія о себѣ самомъ, слѣдовательно, и для освобожденія нашихъ душъ отъ пороковъ невѣжества и предразсужденій, которымъ они подвержены. Вотъ то намѣреніе, которое предпріялъ я въ моихъ разсужденіяхъ, и надѣюсь,

что они могутъ нѣсколько вспомоществовать къ исправленію нашихъ нравовъ. По крайнимъ образомъ должно признаться, что предпріятіе мое похвально, какимъ бы образомъ я оное ни исполнялъ».

Изъ переводныхъ «разсужденій» такого рода, на моральныя темы, и состоитъ исключительно проза «Ежемѣсячныхъ сочиненій», если оставить въ сторонѣ ихъ главное содержаніе: статьи и матеріалы спеціальнаго характера по русской и азіатской исторіи и географіи. 17 нравоучительныхъ статей переведено прямо изъ англійскихъ журналовъ, болѣе дюжины изъ нѣмецкихъ. Оригинальны въ первомъ русскомъ журналѣ только стихи. Ихъ въ изобиліи поставляетъ Сумароковъ (123 стихотворенія), за которымъ слѣдуютъ Херасковъ (21) и нѣсколько менѣе значительныхъ поэтовъ шляхетскаго корпуса (А. Нартовъ, А. Демидовъ, Сем. Нарышкинъ, И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ).

Изъ источниковъ, указанныхъ Миллеромъ, въ изобиліи черпалъ и первый самостоятельный журналъ молодежи, «Праздное время, на пользу употребленное». Исторія въ немъ безусловно отсутствовала, за исключеніемъ нѣсколькихъ страничекъ «Краткаго извѣстія о коммерціи между Россіей и Турціей», представлявшаго какъ бы визитную карточку Миллера въ молодую редакцію, и большой статьи о Донъ-Карлосѣ, но съ содержаніемъ совершенно романическимъ. Стиховъ тоже было очень мало. Корпусная молодежь «употребляла на пользу свое праздное время» исключительно въ видѣ переводовъ нравоучительныхъ статей: переводы не всегда свидѣтельствовали о полномъ знаніи языковъ (нѣмецкаго, французскаго, итальянскаго, англійскаго, датскаго, латинскаго и греческаго); стиль былъ иногда тяжелъ и запутанъ; но большей частью молодежь удачно разрѣшала нелегкую задачу: создать удобопонятный русскій философскій языкъ. При отсутствіи оригинальныхъ статей, объ интересахъ и взглядахъ переводчиковъ можетъ свидѣтельствовать только выборъ ими темъ для перевода. На пространствѣ четырехъ книжекъ «Празднаго времени» и двухъ лѣтъ изданія журнала можно замѣтить, какъ мало-по-малу вниманіе переводчиковъ, сперва разсѣянное въ обширномъ кругѣ нравственно-психологическихъ вопросовъ, мало-по-малу фиксируется на темахъ, имѣющихъ болѣе близкое отношеніе къ русской дѣйствительности. Въ первый годъ изданія молодежь занимаютъ темы обще и отвлеченно-этическія *). Во второй

*) Для наглядности приведемъ списокъ большинства этихъ статей 1759 года. О надеждѣ; о пространствѣ разума и предѣлахъ онаго (авторъ сходитъ на вопросъ объ умѣренности, какъ слѣдствіи самопознанія, и идеализируетъ довольство крестьянина); о чести (точка зрѣнія утилитарная); о ревности; о ученіи (практическая необходимость стоять на уровнѣ современнаго знанія); о душевномъ спокойствіи и о безумныхъ людскихъ желаніяхъ; о дѣйствіяхъ добраго и худого воспитанія (отношеніе разума къ страстямъ); о предѣлахъ дружества; о двухъ путяхъ, по которымъ человѣкъ въ сей временной жизни послѣдуетъ (пріятное здѣсь противополагается полезному); о излишнихъ желаніяхъ; о счастьи и несчастьи (слѣдуй своей природѣ); человѣческая жизнь подобна опасному путешествію; разсужденія

годъ встрѣчаемъ рядъ переводныхъ статей, которыя кажутся оригинальными: до такой степени они вводятъ насъ въ кругъ вопросовъ, извѣстныхъ изъ сатирическихъ журналовъ Екатерининскаго времени. Во главѣ ихъ стоитъ вопросъ «о позволеніи сатиры», такъ горячо дебатировавшійся въ Екатерининскихъ журналахъ; въ «Праздномъ времени» онъ рѣшается въ самомъ либеральномъ смыслѣ. Прежде всего, не всякое зубоскальство есть сатира. «Лизетта коситъ глазами»: надъ этимъ можетъ упражнять свое остроуміе какой-нибудь шутникъ въ веселой компаніи; но до этого «нѣтъ дѣла сатирѣ». Вотъ, когда «Лизетта бросаетъ косые свои взоры съ безстыдною дерзостію въ компаніяхъ», тогда она становится достойнымъ предметомъ сатиры, обязанность которой «представлять *пороки* смѣшными и причинять въ людяхъ омерзѣніе къ онымъ». Невѣрно, что сатира безполезна или опасна. «Хотя сатира не всегда поправляетъ порочнаго; однако, удерживаетъ другихъ быть порочными». Опасность же грозитъ только такому неосторожному безумцу, «кто сталъ бы говорить при всякомъ случаѣ правду». Рекомендуя осторожность, статья однако прямо допускаетъ возможность личностей въ сатирѣ. «Не почитаю я достойнымъ наказанія тѣхъ, кои при сочиненіи сатиры мысли свои на нѣкоторое лицо обращаютъ. Мысли, изъясненія и все сочиненіе бываетъ гораздо живѣе, имѣя предъ собою подлинникъ. Они не хулятъ тогда *лицо*, но порокъ, который онъ имѣетъ». Такъ подготовлялось, уже при Елизаветѣ, настроеніе, отразившееся въ сатирѣ новиковскихъ журналовъ.

Близко напоминаютъ русскую дѣйствительность и отдѣльныя темы сатиры въ выбираемыхъ теперь для перевода статьяхъ. Такова, напр., характеристика дворянина въ статьѣ, переведенной съ нѣмецкаго кадетомъ П. Пастуховымъ *). «Скажите мнѣ, г. дворянинъ,—обращается сатирикъ къ своей жертвѣ,—что вамъ милѣе, лошадь ли ваша или жена, лягавая ли собака или сынъ?... Я съ нижайшимъ моимъ почтеніемъ помню ту ярмарку, на которой вы купили сѣрую въ яблокахъ лошадь. Вы требовали полезныхъ совѣтовъ у всѣхъ вашихъ пріятелей и имѣли три дня сроку, прежде нежели могли вознамѣриться къ сей хорошей покупкѣ, и теперь такъ вы ей радуетесь, что нѣсколько

о молчаливости; хуже ли сталъ свѣтъ прежняго (отвѣтъ отрицательный, при чемъ особенно подчеркивается искорененіе суевѣрій); счастье не отъ насъ зависитъ; о честолюбіи; о порицаніи; о славѣ; о худыхъ слѣдствіяхъ злой и о прибыткахъ доброй совѣсти; о вкусѣ; о воспитаніи дочерей (передовая точка зрѣнія), о добромъ употребленіи страстей; о ненависти и враждѣ; о благодѣяніяхъ; о неблагодарности; о привидѣніяхъ («не смѣю отрѣшить всѣ такія исторіи»); о примиреніи; о избраніи сообщества; о человѣческой жизни (доказательства существованія будущей жизни); запрещенное охотнѣе исполняютъ; о жестокосердіи (съ декламаціей противъ тирановъ).

*) Будущимъ членомъ екатерининской коммиссіи училищъ, руководившимъ составленіемъ учебниковъ.

часовъ сряду говорите о свойствахъ своей лошади. О женѣ же вашей вы говорите тѣмъ менѣе и весьма довольны, когда и другіе вамъ про нее не напомнятъ. Вы женились на ней безъ дальняго размышленія, не зная ея точно,—да и по сіе время еще ея не знаете... (Сынъ вашъ) подростаетъ,... вамъ надобно содержать для него учителя. Ученъ чтобъ онъ не былъ,... ему надобно учиться языкамъ, фехтовать и танцовать; вамъ надобно отдать его въ чужіе люди, чтобы сложилъ онъ деревенскій свой обычай. О,... я, съ моей стороны, почитаю все сіе совсѣмъ за ненужное: я знаю довольно древнее ваше шляхетство. Ему въ самомъ дѣлѣ не надобно сихъ педантствъ. Но дворъ,...—конечно худо, да уже такъ сдѣлано, — дворъ хочетъ, чтобы дѣти наши еще къ важнѣйшему могли быть употреблены, кромѣ того, чтобы умѣли ловить только зайцевъ... (Тратя съ сожалѣніемъ деньги на обученіе сына, дворянинъ не жалѣетъ ихъ на дрессировку собакъ)... Истинно, я... отгадалъ, что лошадь и собака милѣе вамъ жены и сына. Какъ благородно думаете ваше благородіе! Сколь превосходно разсужденіе ваше предъ подлыми предразсужденіями нешляхетнаго народа!» Затѣмъ сатирикъ сообщаетъ біографію прототипа нашего «Недоросля». «У него все натура. Отецъ его—старикъ добрый и такъ же незнающъ, какъ и его родители, былъ истиннымъ украшеніемъ своей деревни, когда пивалъ съ своими сосѣдями. Нашему дворянину не недоставало ни пищи, ни питья, коими милосердое попеченіе неба такъ его благословило, что онъ уже на восьмомъ году былъ твердаго и крѣпкаго сложенія. Потомъ засадилъ его отецъ на лошадь. На девятомъ году застрѣлилъ сей надеждою преисполненный сынъ перваго зайца—къ увеселенію всей высокой фамиліи. Сіе кавалерское упражненіе продолжалъ онъ до двѣнадцатаго года, какъ отецъ вознамѣрился дать ему столько наставленія, чтобы умѣлъ онъ подписать свое имя и прочесть, что написано. Учитель мучился съ нимъ цѣлый годъ: онъ уже въ обѣихъ сихъ наукахъ далеко дошелъ, какъ отецъ умеръ. Теперь все педантство кончилось. Опекуны не хотѣли употреблять на то болѣе иждивенія, и въ самомъ дѣлѣ было уже непристойно ходить въ школу такому знатному дворянину. Что помѣщику знать надобно было, то зналъ уже онъ по ихъ мнѣнію. Онъ умѣлъ ѣсть, пить, спать, ѣздить, ходить на охоту, бить крестьянъ, повелѣвать попамъ, роптать на дворъ и спать съ дѣвушкою; и для того, назвавши себя взрослымъ, вступилъ самъ во владѣніе и женился. Думали ли, чтобы господинъ дворянинъ, при семъ воспитаніи, былъ тотъ, котораго сосѣди за хорошій столъ любятъ, удивляются, видя у него хорошихъ лошадей и собакъ, какъ разумному мужу, — и чтобы за неосторожность, съ которою онъ за столомъ противъ правительства негодуетъ, почитали его за сына отечества? Конечно бы не имѣлъ онъ всѣхъ сихъ преимуществъ, если бы родился побѣднѣе и воспитанъ былъ рачительнѣе!»

Переводчики нѣсколько разъ возвращаются къ подобнымъ темамъ,

какъ бы указывая этимъ, что выборъ не случаенъ *). Но, вообще говоря, такія темы составляютъ въ «Праздномъ времени» исключеніе изъ извѣстнаго намъ обычнаго типа.

«Трудолюбивая Пчела» Сумарокова (1759) несравненно богаче оригинальными статьями **), особенно стихотвореніями; выборъ переводовъ разнообразнѣе (много переводовъ изъ классиковъ: Овидія, Горація, Тита Ливія, Лукіана, Эсхина) и стиль переводовъ гораздо лучше. Но въ смыслѣ развитія общественной мысли, она стоитъ на одномъ уровнѣ съ «Празднымъ временемъ», прибавляя только новыя темы сатиры. Сумароковъ не избѣгаетъ нападенія на дворянскую смѣсь и невѣжество («Сатира»), но любимымъ предметомъ его сатирическихъ выходокъ служатъ взяточничество и крючкотворство приказныхъ, а затѣмъ щегольство «петиметровъ». Любопытно, однако, что самая яркая характеристика «петиметра», давшая матеріалъ и краски русской сатирѣ, является въ журналѣ переводомъ съ датскаго, «изъ Гольберговыхъ писемъ». Довольно естественно, что наибольшее сочувствіе дворянскихъ читателей «Пчелы» вызвали нападки на приказныхъ: въ журналѣ напечатано по этому поводу благодарственное письмо къ издателю отъ имени «нѣкотораго общества, которыхъ благородныя мысли отвѣтствуютъ знатости ихъ и благорожденію». Члены «благорожденнаго» общества «ненавидятъ порокъ лихоимства», и авторъ «не сомнѣвается», что «Сумароковъ устыдитъ и усовѣститъ тѣ подлыя души»,—«если въ нихъ еще какой-либо добродѣтели есть остатки», прибавляетъ онъ, впрочемъ, съ высоты «омерзѣнія честныхъ людей къ сему гнусному пороку».

Что касается поэзіи «Трудолюбивой Пчелы», она вся почти проникнута эротическимъ настроеніемъ, создавшимъ Сумарокову еще на школьной скамьѣ славу моднаго стихотворца любовныхъ романсовъ. Въ безчисленныхъ «элегіяхъ», «идилліяхъ» и «эклогахъ» воспѣваются игривыя похожденія пастуховъ и пастушекъ подъ тѣнью «сплетенныхъ древесъ», «на бережкахъ журчащихъ и по камышкамъ быстро текущихъ потоковъ». Нѣкоторые изъ романсовъ не лишены, впрочемъ, ни чувства, ни технической ловкости стиха ***).

---

*) О худомъ воспитаніи большихъ сыновей дворянъ, живущихъ въ деревнѣ; письмо слуги къ господину; о излишнемъ щегольствѣ и др.

**) Безразличнаго въ общественномъ смыслѣ содержанія: о пользѣ миѳологіи, о вопросахъ русскаго языка и грамматики.

***) Приведу для примѣра стихотвореніе дочери Сумарокова, напечатанное въ «Пчелѣ» отцомъ подъ своимъ именемъ и положенное еще раньше на музыку.

Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
Тщетно я спокойною кажусь:
Не могу спокойна быть я ни минуты,
Не могу, какъ много я ни тщусь.
Сердце тяжкимъ стономъ, очи токомъ слезнымъ
Извлекаютъ тайну муки сей:

Ты мое старанье сдѣлалъ безполезнымъ,
Ты, о хищникъ вольности моей!
Ввергнута тобою я въ сію злу долю;
Ты спокойный духъ мой возмутилъ,
Ты мою свободу превратилъ въ неволю,
Ты утѣхи въ горесть обратилъ.
И, къ лютѣйшей мукѣ, ты, того не зная,

Значительную разницу по содержанію и тону представляетъ первый органъ московской университетской молодежи, сгруппировавшейся около Хераскова, — «Полезное увеселеніе», издававшееся три года (1760—1762). Прежде всего, эротическому элементу здѣсь отводится совершенно второстепенное мѣсто. Стиховъ, правда, очень много въ журналѣ Хераскова; но эти стихи, въ особенномъ изобиліи доставляемые юными поэтами А. Нарышкинымъ и А. Ржевскимъ, — при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются просто риѳмованною прозой. Въ стихотворную форму передѣлываются здѣсь, одна за другой, тѣ самыя нравоучительныя разсужденія, съ которыми познакомили русскую публику предыдущіе журналы. Уже одно это переложеніе прозы въ стихи показываетъ, что сюжеты переводныхъ разсужденій начали сознательно восприниматься и перерабатываться въ умахъ только-что подросшаго поколѣнія молодежи. Сознательность видна и въ томъ особенномъ направленіи, съ которымъ эти старыя темы разрабатываются юношами. Во-первыхъ, у нихъ выдвигается на первый планъ та общая философско-этическая принципіальная подкладка, которая скорѣе предполагалась, чѣмъ прямо излагалась въ переводныхъ разсужденіяхъ. Московская молодежь разсказываетъ отъ себя въ стихахъ, со всей свѣжестью только что выученнаго урока, ту самую теорію естественнаго права, которую мы слышали отъ Татищева и которую одинъ изъ этихъ самыхъ студентовъ, сотрудниковъ Хераскова, изложилъ популярно въ первомъ русскомъ систематическомъ руководствѣ по естественному праву *). Юные поэты оправдываютъ человѣческія страсти и эгоизмъ, какъ вложенные въ человѣка высшею волей; считаютъ игру страстей залогомъ земного счастья и находятъ справедливымъ и законнымъ—пользоваться этимъ счастьемъ на землѣ; пессимизмъ кажется имъ грѣхомъ противъ Божества. Цѣлью жизни они готовы признать спокойствіе совѣсти на смертномъ одрѣ; а достиженіе этой цѣли зависитъ, по ихъ мнѣнію, отъ господства разума надъ страстями, отъ умѣреннаго пользованія радостями жизни, которое, въ свою очередь, вытекаетъ изъ познанія самого себя. Но вся

Можетъ быть, вздыхаешь о иной;
Можетъ быть, безплоднымъ пламенемъ сгорая,
Страждешь ею такъ, какъ я тобой.
Зрѣть тебя желаю, а, узрѣвъ, мятуся
И боюсь, чтобъ взоръ не измѣнилъ:
При тебѣ смущаюсь, безъ тебя крушуся,
Что не знаешь, сколько ты мнѣ милъ.
Стыдъ изъ сердца выгнать страсть мою стремится,
А любовь стремится выгнать стыдъ:
Въ сей жестокой брани мой разсудокъ тмится,
Сердце рвется, страждетъ и горитъ.
Такъ изъ муки въ муку я себя ввергаю,
И хочу открыться, и стыжусь,
И не знаю прямо я, чего желаю,
Только знаю то, что я крушусь:
Знаю что всемѣстно плѣнна мысль тобою
Воображаетъ мнѣ твой милый зракъ;
Знаю, что, вспаленной страстію презлою
Мнѣ забыть тебя нельзя никакъ.

*) Сокращеніе естественнаго права, выбранное изъ разныхъ авторовъ для пользы россійскаго общества Владиміромъ Золотницкимъ. Спб. 1764.

эта система благоразумной умѣренности и широкаго эгоизма развивается совершенно на новый ладъ. Оказывается, что, по сердечному убѣжденію юныхъ поэтовъ, міръ есть тлѣнъ и суета, что нетлѣнна лишь добродѣтель и что добродѣтель сводится къ любви къ ближнему, къ другу; что любовь есть единственный способъ борьбы съ порокомъ и что цѣль жизни—есть истребленіе зла въ мірѣ и въ обществѣ посредствомъ подвига любви. Такимъ образомъ, начавъ тезисомъ изъ теоріи естественнаго права, сотрудники Хераскова постоянно кончаютъ свои стихотворныя тирады евангельскими призывами. Для иллюстраціи можно было бы процитировать цѣликомъ стихотворныя посланія, которыми обмѣнялись Нарышкинъ и Ржевскій въ январской книжкѣ 1761 г., если бы эти посланія не были такъ длинны, тягучи и безцвѣтны. Вмѣсто того, мы ограничимся другой характерной цитатой. У супруговъ Херасковыхъ былъ литературный салонъ, въ которомъ собирались журнальные сотрудники. У m-me Херасковой была слабость къ стихотворной игрѣ въ bouts rimés. Навѣрное, въ одинъ изъ этихъ вечеровъ она задала своимъ гостямъ четыре риѳмы, на которыя каждый долженъ былъ импровизировать по стихотворенію. Результаты этого поэтическаго состязанія какъ нельзя лучше характеризуютъ идеи, бродившія въ умахъ посѣтителей любезной хозяйки. Гости написали:

1) Что есть всему Творецъ, сомнѣнья не... имѣю,
Мнѣ сердце говоритъ... о немъ:
Но иначе любить я Бога не... умѣю,
Какъ только въ ближнемъ лишь... моемъ.

2) Не мучуся, что я богатства не... имѣю,
И не пекусь... о немъ:
Довольно, если я спокойнымъ быть... умѣю
Въ несчастіи... моемъ.

3) Влюбяся я въ тебя, спокойства не... имѣю;
И потерявъ покой, хотя грущу... о немъ:
Но возвратить его, Клариса, не... умѣю,
Пріятность находя въ страданіи... моемъ.

Какъ видимъ, изъ трехъ поэтовъ только послѣдній вспомнилъ о любви; второй воспользовался моралью естественнаго права, а первый выразилъ совершенно масонскую мысль.

Къ серьезной сторонѣ московскаго идейнаго движенія мы еще вернемся. Теперь отмѣтимъ только, что несмотря на очевидную наивность и непосредственность, а, можетъ быть, и благодаря этимъ чертамъ,—это движеніе захватывало молодежь цѣликомъ,—совершенно въ иномъ родѣ, чѣмъ модные романсы захватывали два предыдущихъ поколѣнія.

Такова была та высшая точка, на которую смогла подняться русская общественная мысль въ елизаветинскую эпоху. Но и эта ступень была

достигнута лишь небольшимъ кружкомъ лицъ, которыхъ можно было бы всѣхъ пересчитать по спискамъ высшихъ учебныхъ заведеній того времени. Этотъ кружокъ писалъ и печаталъ почти исключительно для самого себя. Академическій журналъ Миллера требовалъ отъ читателя довольно значительной научной подготовки; послѣдовавшіе за нимъ литературные журналы требовали привычки къ условностямъ модныхъ литературныхъ вкусовъ и формъ, а также—интереса къ отвлеченнымъ темамъ и навыка въ философскомъ языкѣ, только что тогда создававшемся. Естественно, что всѣ эти журналы не могли имѣть вліянія за тѣсными предѣлами собственнаго литературнаго круга. Ихъ задачей было—поддерживать и укрѣплять интеллектуально-нравственные интересы въ тѣхъ кружкахъ, которыми они были созданы; а затѣмъ, когда общественная жизнь вышла на болѣе широкій просторъ, роль ихъ была сыграна, и они подверглись полному забвенію. Любопытно отмѣтить, что всѣ эти журналы никогда не переиздавались (за исключеніемъ сумароковской «Пчелы»), тогда какъ очень многіе журналы послѣдующаго періода перепечатывались по нѣскольку разъ. Ихъ кружковому характеру соотвѣтствовало и незначительное количество подписчиковъ, и взгляды издателей на свою роль. У «Ежемѣсячныхъ сочиненій», имѣвшихъ наибольшее распространеніе, никогда не было больше 700 подписчиковъ, а иногда эта цифра падала до 500. Остальные журналы имѣли и того меньше; очевидно, поэтому они составляютъ такую библіографическую рѣдкость, а уцѣлѣвшіе экземпляры часто носятъ надписи кого-нибудь изъ членовъ того же литературнаго круга. Издатель «Невиннаго Упражненія», объявляя о прекращеніи журнала послѣ полугодичнаго существованія, считаетъ это вполнѣ нормальнымъ и нисколько не думаетъ жаловаться на равнодушіе публики. Онъ просто ставитъ выходъ журнала въ тѣсную зависимость отъ удобствъ своего маленькаго круга сотрудниковъ и читателей. Журналъ прекращается потому, что наступило лѣто и «какъ издатели, такъ и тѣ, кои подписались брать нашъ журналъ, изъ Москвы разъѣхались». Издатели «сожалѣютъ, что далѣе полугода трудами своими жертвовать читателю не могутъ и съ чувствительной прискорбностью лишаются собственнаго своего утѣшенія». Такое отношеніе къ издательству какъ нельзя лучше подчеркиваетъ характеръ періода, когда русское просвѣщеніе ограничивалось кругомъ добрыхъ знакомыхъ, употреблявшимъ на пользу этого просвѣщенія лишь свои школьные годы и свое праздное время.

Пыпинъ, Исторія русской литературы, т. III, Спб. 1899. Проектъ Миниха въ «Русскомъ Архивѣ». 1865. О книгоиздательствѣ Петра и его времени см. *Пекарскаго*, Наука и литература при Петрѣ В. О новомъ направленіи издательства *его же*. Исторія Имп. Академіи Наукъ, Спб. 1870—1873. Тексты пьесъ петровскаго времени напечатаны *Тихонравовымъ*, Русскія драматическія произведенія 1672—725 гг. 1874, 2 тома. См. *его же* статью о русскомъ театрѣ во II т. Сочиненій.

П. Морозова. Исторія русскаго театра до половины XVIII столѣтія, Спб. 1890. О послѣдующемъ періодѣ исторіи русскаго театра, наиболѣе интересномъ, къ сожалѣнію, нѣтъ столь же обстоятельныхъ изслѣдованій. Le théatre en Russie depuis ses origines jusqu'à nos jours, par. Pierre de Corvin (Круковскаго). Paris, 1890 г., 2-е изд. не отличается критичностью и не носитъ характера изслѣдованія по первоисточникамъ. Документальная статья *Лонгинова*, Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ до 1774 г.) даетъ только хронологическій остовъ (Сборникъ II отдѣленія Академіи Наукъ, т. XI, 1875). Литература о Сумароковѣ указана въ Русской поэзіи *С. А. Венгерова*, гдѣ собраны и лирическія произведенія Сумарокова, а также образцы поэзіи мелкихъ поэтовъ того времени и біографическія данныя о нихъ. Наличный составъ литераторовъ елизаветинской эпохи перечисленъ и характеризованъ еще Дмитревскимъ, въ его Извѣстіи о русскихъ писателяхъ (перепечатано въ Матеріалахъ для исторіи русской литературы *П. Ефремова*). О борьбѣ мѣщанской драмы съ ложноклассической трагедіей во Франціи см. главу о драмѣ въ соч. *И. И. Иванова*, Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII вѣка, М. 1895. Библіографическое описаніе журналовъ XVIII в., съ перечнемъ статей и краткими свѣдѣніями о редакторахъ и сотрудникахъ см. въ Историческомъ разысканіи о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802 Спб. 1875. *А. Н. Неустроева* и Указатель къ русскимъ повременнымъ изданіямъ и къ предыдущему труду, *его же*. Спб. 1898. Содержаніе «Ежемѣсячныхъ сочиненій» обстоятельно изслѣдовано *В. А. Милютинымъ* въ трехъ статьяхъ «Очерки русской журналистики». «Современникъ» 1851 г., т. XXV и XXVI. См. также *Пекарскаго*, Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—1764 гг. (Сборникъ II отдѣленія, т. II, 1867). Къ сожалѣнію, другіе перечисленные въ текстѣ журналы до сихъ поръ очень мало обращали на себя вниманія изслѣдователей. Краткія замѣчанія о журналахъ Хераскова см. у *Незеленова* въ Литературныхъ направленіяхъ екатерининской эпохи Спб. 1889. Нѣкоторыя свѣдѣнія о театрѣ и журналистикѣ елизаветинскаго времени, можно найти также въ Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII в. *Н. Майкова*, Спб. 1889 г.

III.

Новая роль общественной критики и перемѣна отношенія къ ней власти.—Начало сознательной общественной жизни, какъ основная черта екатерининской эпохи.—Новое отношеніе власти къ общественному мнѣнію; дифференціація элементовъ націонализма и общественной критики. — Личное отношеніе Екатерины къ критическимъ элементамъ, какъ результатъ промежуточнаго положенія ея поколѣнія между эпохами Людовика XIV и французской революціи. —Философія и политика салоновъ, ея умѣренность.—Характеръ вліянія Вольтера на Екатерину: пессимистическій взглядъ на людей и искусство управлять ими.—Первоначальный оптимизмъ Екатерины по отношенію къ идеямъ и его предѣлы: политика гармоніи «принциповъ» съ «интересами»; исключенія въ главныхъ вопросахъ внутренней и внѣшней политики.—Увѣренность въ личной миссіи—какъ результатъ идей вѣка, положенія и темперамента.—Личный характеръ просвѣтительной дѣятельности.—Отношеніе къ цѣльнымъ міровоззрѣніямъ русскимъ и заграничнымъ.—Беккаріа и устраненіе «разрушительныхъ аксіомъ» изъ Наказа. — Прецеденты законодательной комиссіи Екатерины и отличіе послѣдней. — Дѣйствительность, обнаруженная наказами депутатовъ. — Положеніе провинціи; противорѣчіе между сословными требованіями дворянства и стремленіями императрицы въ крестьянскомъ вопросѣ и въ уголовномъ законодательствѣ. — Роль внѣшней политики въ измѣненіи настроенія Екатерины.—Задачи императрицы и положеніе партій въ комиссіи: интеллигентное дворянство, городскіе депутаты и разночинцы.—Оппозиція дворянства противъ намѣреній императрицы и оппозиція другихъ сословій противъ дворянства приводятъ къ закрытію комиссіи.

Екатерина и Петръ—эти два имени уже современниками сопоставлялись, какъ символъ двухъ послѣдовательныхъ эпохъ русской культурной исторіи. Современники поняли также и то, что екатерининская эпоха не только была *продолженіемъ* петровской, но и составляла съ ней въ то же время рѣзкій *контрастъ*. Чтобы характеризовать этотъ контрастъ, они даже придумали яркую метафору, которая сдѣлалась общимъ мѣстомъ у писателей екатерининскаго времени: «Петръ создалъ русскимъ тѣла, а Екатерина вложила въ нихъ душу».

Разумѣется, это наблюденіе сдѣлано грубо и отражаетъ на себѣ наивную персонификацію соціальныхъ явленій, свойственную тогдашнему міровоззрѣнію. Но въ грубой формѣ здѣсь формулированъ чрезвычайно важный соціологическій фактъ, который, дѣйствительно, соста-

вляетъ главную характерную черту эпохи и уже поэтому не могъ ускользнуть отъ вниманія современниковъ. Эпоха Екатерины является эрой въ исторіи русскаго общественнаго самосознанія. «Душа» новой русской общественности, дѣйствительно, начинаетъ помнить и сознавать себя съ этого времени. Именно тогда кончается доисторическій, третичный періодъ русской общественной жизни, и она принимаетъ тотъ видъ и тѣ формы, въ которыхъ извѣстна и нашему времени; старыя, допотопныя формы или окончательно вымираютъ, или, обреченныя на вымираніе, эмигрируютъ въ низшіе слои общественной атмосферы.

Мы знаемъ, что такова была въ самомъ дѣлѣ судьба стараго общественнаго самосознанія, сложившагося въ XV—XVII вв. и имѣвшаго по преимуществу націоналистическій характеръ. Отброшенное въ сторону побѣдой новой культуры, оно не сразу было замѣнено соотвѣтствующимъ новымъ сознаніемъ. Новая культура побѣдила, какъ извѣстно, прежде всего, своими техническими преимуществами, сдѣлавшими изъ нея необходимое орудіе новой государственности и неизбѣжное условіе болѣе развитой промышленной жизни. Побѣдивъ, эта культура на первыхъ же порахъ пріобрѣла симпатіи господствующаго класса, которому она дала самый удобный по своей наглядности признакъ, впервые проведшій рѣзкую внѣшнюю черту между «благородствомъ» и «подлостью». Наконецъ, опять-таки съ самаго начала, новая культура расположила въ свою пользу вліятельные классы, какъ источникъ особыхъ, доселѣ невѣдомыхъ наслажденій, матеріальныхъ, эстетическихъ и умственныхъ, начиная съ гастрономическаго обѣда и вольныхъ отношеній къ женщинѣ и кончая картами, музыкой, спектаклемъ и забавной книгой. Все это, однако, не давало еще достаточнаго матеріала для новаго, принципіально-различнаго отъ стараго, общественнаго самосознанія.

Матеріалъ этотъ дала книга, какъ только перестали искать въ ней простой забавы. Первоначально, правда, въ ней искали только правилъ для сознательнаго личнаго поведенія *). Но отъ этого перваго шага — отъ правилъ свѣтскаго обхожденія или предписаній индивидуальной морали — переходъ къ слѣдующему шагу, къ признанію важности общественной теоріи и необходимости сознательнаго общественнаго поведенія, былъ уже нечувствителенъ и совершился незамѣтно. Съ піонерами новыхъ воззрѣній мы уже знакомы. Извѣстно намъ также и то, что съ пятидесятыхъ годовъ вліяніе книжной морали и общественной теоріи перестаетъ ограничиваться отдѣльными личностями и захватываетъ цѣлый общественный кругъ,—правда, еще очень ограниченный: кругъ дворянской молодежи, прошедшей высшую

*) См. стр. 205—6, о руководствахъ «свѣтскаго житія»,—назовемъ еще, чтобы исчерпать всѣ темы этого рода, книгу Бельгарда, переведенную С. Волчковымъ въ 1762 г.: «Истинный христіанинъ и честный человѣкъ».

*

школу. Такимъ образомъ, императрицѣ Екатеринѣ посчастливилось взойти на престолъ въ такое время, когда почва была уже расчищена для воспріятія послѣдняго слова современной европейской литературы,— для усвоенія той основной мысли, пропагандировавшейся этой литературой, что общественный строй, въ интересахъ «человѣчества», можетъ и долженъ быть перестроенъ на «разумныхъ» началахъ.

Съ этого момента роль критическихъ идей, содержавшихся въ новой петровской культурѣ, становится совершенно иною, чѣмъ прежде. Въ общемъ широкомъ и мутномъ разливѣ новой культурной жизни отъ Петра до Екатерины слабо выдѣлялись элементы, враждебные между собою въ сущности — новой критики и новой привилегированной общественной традиціи. Не размежевавшись между собою, всѣ стороны новой культуры безъ разбора принимались подъ общее покровительство государственной власти, проводившей реформу. При Екатеринѣ и въ этомъ отношеніи совершается полный переворотъ. Элементы критики выдѣляются и составляютъ основу новаго общественнаго мнѣнія, которое сознательно и рѣзко противополагаетъ себя новой культурности, монополизированной привилегированнымъ классомъ. Новая культура, какъ санкція наличнаго соціальнаго строя, оказывается, такимъ образомъ, въ полнѣйшемъ противорѣчіи съ новой культурой, какъ основой сознательнаго отношенія къ жизни. Власть нѣкоторое время колеблется между этими двумя враждебными пониманіями новой культуры. Но колебанія продолжаются недолго: волей-неволей власть принимаетъ сторону соціальной силы противъ соціальнаго безсилія.

Тогда и представительство элементовъ критики переходитъ отъ власти къ интеллигентному общественному мнѣнію. Этой дифференціаціей враждебныхъ другъ другу элементовъ новой культуры кончается періодъ «оффиціальнаго торжества критическихъ элементовъ», какъ мы охарактеризовали періодъ отъ Петра до Екатерины. Русская общественная жизнь вступаетъ въ новый, еще и донынѣ не завершившійся фазисъ.

Только что указанный переломъ совершился въ русской жизни въ особенно яркихъ и рельефныхъ формахъ отчасти потому, что онъ произошелъ среди очень еще несложной обстановки, въ сравнительно ограниченномъ кругѣ людей, задѣтыхъ новой культурой; отчасти же и потому, что свое наглядное выраженіе этотъ переломъ нашелъ въ смѣнѣ настроеній самой императрицы. Сама проникнутая вначалѣ критическими идеями, Екатерина на первыхъ же порахъ убѣждается въ ихъ противорѣчіи съ существующимъ общественнымъ строемъ, который она принуждена взять подъ свою защиту. Противорѣчіе это ее не особенно безпокоитъ, потому что критическія идеи заразъ начинаютъ казаться ей и безполезными для практической жизни, и безсильными противъ русской дѣйствительности. Французская революція открываетъ ей глаза и

заставляетъ ее вступить въ борьбу съ мечтами своей юности, какъ дѣйствительно опасными для дальнѣйшаго существованія тѣхъ явленій жизни (прежде всего, крѣпостнаго права), противъ которыхъ протестовала критика. Въ этомъ признаніи критическихъ идей не просто лишними, но опасными для окружавшей дѣйствительности—заключается ихъ гражданское крещеніе. Съ этого момента начинается непрерывная традиція русской общественной критической мысли.

Превратившись изъ союзника въ принципіальнаго противника критическихъ элементовъ, власть, по самому духу времени, уже не могла ограничиться простой матеріальной, физической борьбой противъ этихъ элементовъ. Съ идеей нужно было бороться во имя идеи; нужно было найти принципіальную основу для положительной, а не отрицательной только программы дѣйствій. Эта основа найдена была, какъ скоро увидимъ, въ идеализаціи прошлаго. Считать эту идеализацію простымъ возстановленіемъ связи съ національнымъ самосознаніемъ XVI—XVII в. нѣтъ никакой возможности. Продукты того стараго національнаго самосознанія навсегда отсѣчены были отъ дальнѣйшаго историческаго процесса Никономъ и Петромъ: они кристаллизовались въ расколѣ. Такимъ образомъ, идеализація прошлаго въ екатерининское время оказывается совершенно новымъ явленіемъ, не опирающимся ни на какую традицію прошлаго. Напротивъ, пока жива была эта старая традиція, пока прошлое было слишкомъ близко, никакая идеализація его не была возможна (см. выше, стран. 202). Только *забвеніе* прошлаго могло лечь въ основу его *литературной* реставраціи. Мы увидимъ, что такая реставрація шла въ началѣ рука объ руку съ работой критической мысли и даже служила однимъ изъ ея пріемовъ. Только по мѣрѣ того, какъ критическая мысль отбрасывалась въ оппозицію, литературная идеализація прошлаго начинала служить матеріаломъ для охранительной политической теоріи. Такимъ образомъ, охранительная идеологія, такъ же какъ оппозиціонная, ведетъ свою непрерывную традицію отъ екатерининскаго времени. Для современнаго націонализма, какъ для современнаго общественнаго мнѣнія—екатерининская эпоха служитъ эрой, съ которой тотъ и другое считаютъ свое сознательное существованіе.

Уже изъ сказаннаго видно, что, если Екатерина, можетъ быть, и не вложила самолично «души» въ матеріальное тѣло петровской новой культуры, то все же въ исторіи этой души ей принадлежитъ очень большая роль. Екатерина, увлекающаяся критическими идеями, Екатерина охлажденная, Екатерина враждебная имъ—всѣ эти метаморфозы собственнаго настроенія императрицы тѣсно сплетаются съ первыми шагами сознательной общественной жизни въ Россіи. Чтобы разобраться, какъ слѣдуетъ, въ томъ и другомъ, необходимо слѣдить оба теченія параллельно.

Прежде всего, сдѣлаемъ нѣсколько хронологическихъ справокъ.

По своимъ годамъ, Екатерина (р. 1729) заняла въ Россіи среднее положеніе между двумя поколѣніями: елизаветинскимъ, которое родилось во второмъ десятилѣтіи XVIII в. и учебные годы котораго совпали приблизительно съ открытіемъ Шляхетскаго корпуса (1732),—и молодымъ поколѣніемъ, родившимся уже при Елизаветѣ и подросшимъ къ собственному воцаренію Екатерины: учебные годы этого послѣдняго поколѣнія совпадаютъ съ открытіемъ Московскаго университета (1755). Оба поколѣнія намъ уже отчасти извѣстны. Первое—насколько оно вообще жило культурной жизнью—жило идеями и вкусами эпохи Людовика XIV; интересы его были по преимуществу литературно-эстетическіе. Второе поколѣніе начало думать и чувствовать какъ разъ тогда, когда въ Европѣ совершился крутой переломъ настроенія, ознаменовавшій переходъ къ революціонной эпохѣ. Поколѣніе Екатерины—среднее между обоими. Оно выростаетъ въ тотъ промежутокъ сравнительно неопредѣленнаго общественнаго настроенія, когда переходъ отъ Людовика XIV къ революціи только назрѣвалъ въ лучшихъ умахъ и даже ими самими не былъ еще вполнѣ сознанъ. Литература и поэзія уже уступили мѣсто «философіи» и политикѣ, но новыя философскія и политическія идеи еще не были доведены до своихъ крайнихъ логическихъ послѣдствій. Руссо и Дидро, Гельвецій и Гольбахъ,—словомъ всѣ тѣ, кто поднялъ выше ноту общественнаго и философскаго протеста, еще не появлялись или не завоевали себѣ вниманія просвѣщенныхъ круговъ. Вольтеръ еще занятъ былъ по премуществу литературой. Въ философіи удовлетворялъ общему настроенію деизмъ, въ политикѣ конституціонализмъ: но достаточно вспомнить что представителями того и другаго были Вольтеръ и Монтескьё, чтобы видѣть, что и эти ученія не представлялись въ формѣ строгой, законченной доктрины. Никакой доктрины и не потерпѣла бы та общественная среда, въ которой распространялись модныя идеи модныхъ философовъ и политиковъ. Мысль проникала въ эту среду—свѣтскихъ аристократическихъ салоновъ—исключительно въ формѣ фривольной шутки, достаточно серьезной, чтобы имѣть видъ теоретической защиты разсѣянной свѣтской жизни отъ «педантизма» всевозможныхъ цѣльныхъ доктринъ и системъ,—и настолько все-таки легкой, чтобы не затруднять ума даже такихъ дамъ, которыя съ печатными книгами были знакомы только по молитвеннику.

Нуженъ былъ громадный литературный талантъ Вольтера и Монтескьё, въ соединеніи съ страстностью перваго и глубокомысліемъ второго, чтобы въ такія тѣсныя рамки втиснуть контрабанду новаго міровоззрѣнія. Но и при этихъ условіяхъ, новые взгляды могли найти благосклонный пріемъ, лишь сильно урѣзанные и, сознательно или безсознательно, искаженные по шаблону той самой соціальной среды, для которой предназначались. Литература позволяла себѣ потрясать лишь тѣ основы, которыя и безъ того были расшатаны въ этой средѣ. Под-

капывая силу однихъ предразсудковъ, уцѣлѣвшихъ отъ прошлаго, модные писатели слишкомъ часто искали себѣ поддержки—въ союзѣ съ другими предразсудками, еще болѣе сильными, и такимъ образомъ «кадили Люциферу, чтобы избавиться отъ Вельзевула», по остроумному выраженію Даламбера. Теоретикъ политическихъ формъ (Монтескьё) платонически восхищался «республикой» грековъ и римлянъ, не предвидя возможности встрѣтиться съ нею въ современной ему Европѣ, и такъ же платонически металъ свои стрѣлы противъ «деспотизма», отводя ему мѣсто исключительно въ Азіи. У себя дома онъ былъ доволенъ сословной монархіей, ограниченной привилегіями дворянства. Для того же дворянства, для «верхнихъ двухъ—трехъ тысячъ», оттачивалъ свои сарказмы проповѣдникъ терпимости (Вольтеръ), откровенно предпочитавшій фривольное вольнодумство знати убѣжденному фанатизму буржуазіи и янсенистскому «педантизму» парламентовъ. Человѣчество для него дѣлилось на «чернь» и «порядочныхъ людей», canaille и honnêtes gens,—дѣленіе очень похожее на наши русскіе «подлость» и «благородство». Свою миссію онъ сознательно ограничивалъ «хорошей компаніей». «Довольно съ насъ, если всѣ порядочные люди будутъ презирать суевѣріе». «Народъ всегда останется глупъ и невѣжественъ: это скотъ, которому нужно лишь ярмо, кнутъ да сѣно». Союзникомъ въ борьбѣ противъ духовенства и парламентовъ должна быть королевская власть. Необходимо убѣдить правительство, что «философы»—естественные союзники «королей» и дѣлаютъ съ ними одно и то же дѣло.

Тѣ, кто говоритъ о позднѣйшей «измѣнѣ» Екатерины либеральнымъ взглядамъ ея молодости, не должны забывать, что эти взгляды были впервые усвоены ею въ этой смягченной, ни къ чему не обязывавшей формѣ. «Измѣна» была притомъ же обыкновеннымъ житейскимъ дѣломъ для первыхъ провозвѣстниковъ «философскихъ» идей. Безпрестанно отказывавшійся отъ собственныхъ сочиненій, при каждой ссорѣ съ церковью спѣшившій исповѣдаться и причаститься, льстившій королямъ, папѣ и іезуитамъ, систематически сочинявшій мадригалы королевскимъ любовницамъ, вынудившій, наконецъ, на смертномъ одрѣ у собственнаго секретаря, протестанта и масона, послѣ двадцати-четырехлѣтней совмѣстной жизни, недоумѣнный вопросъ: во что же онъ, наконецъ, вѣритъ,—Вольтеръ не могъ быть особенно строгимъ учителемъ въ вопросахъ совѣсти. Не трудно догадаться даже, что именно это отсутствіе строгости и сдѣлало Екатерину «ученицей» Вольтера въ наукѣ «здраваго смысла» и житейскаго благоразумія. Что наука Вольтера была собственно другая, а здравый смыслъ былъ въ ней только орудіемъ и методомъ,—на это императрица какъ-то не обратила особаго вниманія. Она знала, конечно, что говоря съ Вольтеромъ, надо было почаще упоминать о терпимости и порицать суевѣріе. Но эти лозунги, опасные для ихъ защитниковъ въ странѣ католицизма,—въ петровской Россіи разумѣлись сами собой (ср. стр. 218): здѣсь гораздо труд-

нѣе было бы защищать нетерпимость и традиціонную вѣру. Такимъ образомъ, послѣ пятнадцатилѣтней переписки императрица все еще не совсѣмъ ясно понимала, съ кѣмъ она имѣла дѣло; смерть Вольтера лишила ее только «божества смѣха». Пораженная началомъ французской революціи, Екатерина упорно ставитъ революціонерамъ въ укоръ своего «учителя», такъ мило, такъ весело и беззаботно умѣвшаго шутить съ серьезными вещами въ хорошей компаніи: не безтактно ли было со стороны этихъ «сапожниковъ и башмачниковъ» вынести пикантные разговоры своихъ «лучшихъ писателей» изъ салона на улицу? И только убѣжденная, наконецъ, неумолимой логикой событій въ тожествѣ слова и дѣла, Екатерина велитъ вынести бюстъ своего «учителя»— послѣдній по очереди—изъ галлереи Эрмитажа.

Характеръ письменныхъ сношеній Екатерины съ Вольтеромъ ничѣмъ не предвѣщалъ такого плачевнаго конца. Это были отношенія самыя прочныя и ровныя, такъ какъ съ обѣихъ сторонъ были основаны на разсчетѣ. У семидесятилѣтняго философа и тридцатипятилѣтней дебютантки оказалось слишкомъ достаточно жизненнаго опыта и разочарованій въ прошломъ, чтобы не питать взаимныхъ иллюзій и съ полуслова понять, что каждому нужно отъ другого. Въ интимной перепискѣ съ Даламберомъ Вольтеръ признавалъ, что «философіи не приходится особенно хвалиться такими ученицами», какъ «прекрасная Катò». Но, что дѣлать, покровительство императрицы поднимало его престижъ въ Европѣ, и Вольтеръ безъ зазрѣнія совѣсти возвеличиваетъ Екатерину надъ Солономъ и Ликургомъ, превозноситъ ея душу и умъ, восторгается ея мудрыми законами и блестящими празднествами, даже воспѣваетъ ея ручки и ножки. Съ своей стороны. и Екатерина приходитъ въ страхъ при мысли, что Вольтеръ можетъ поймать ее на словѣ и пріѣхать къ ней въ гости въ Россію; она спѣшитъ увѣрить его, что «Катò хороша только издали». Но изъ этого прекраснаго далекà она искусно эксплуатируетъ перо Вольтера для оффиціозныхъ сообщеній по адресу Европы. Балансъ выгодъ скорѣе былъ на сторонѣ императрицы, чѣмъ на сторонѣ писателя.

Труднѣе рѣшить, была ли Екатерина *съ самаго начала* своей карьеры такимъ политикомъ въ своихъ отношеніяхъ къ представителямъ критическихъ идей? Косвенный отвѣтъ на это можно, правда, найти въ томъ обстоятельствѣ, что она вообще очень рано сдѣлалась политикомъ. Припомнимъ ея признанія въ «Мемуарахъ», что еще великой княгиней она поставила себѣ за правило за всѣми ухаживать, чтобы въ каждомъ имѣть союзника на случай нужды. Но именно къ Вольтеру ея отношеніе нѣсколько иное, такъ какъ ему она обязана отчасти и самымъ этимъ правиломъ. Прежде чѣмъ ей пришлось искать въ Вольтерѣ союзника, она нашла въ немъ учителя въ искусствѣ нравиться. На этомъ развился и ея интересъ къ серьезному чтенію. Въ Вольтерѣ и Тацитѣ ее увлекли, прежде всего, уроки эмпирической

психологіи, совпадавшей съ ея собственными наблюденіями надъ мотивами человѣческихъ поступковъ. «Я начала видѣть вещи въ болѣе мрачномъ свѣтѣ и научилась искать для всего, что проходило передъ моими глазами, болѣе глубокихъ объясненій въ различіи интересовъ». Такъ резюмируетъ сама императрица практическій итогъ своего серьезнаго чтенія. Изъ ироніи Вольтера и Тацита она, очевидно, вывела мораль Ларошфуко.

Несомнѣнно, Екатерина разумѣла именно это и была совершенно искренна, когда признавала, что Вольтеръ научилъ ее читать и думать и имѣлъ на нее огромное вліяніе въ періодъ, когда формировался ея умъ и характеръ. Вотъ почему въ свои отношенія къ Вольтеру—и только къ нему одному—она внесла на первыхъ порахъ робость и нерѣшительность ученицы и серьезно искала его одобренія. Только получивъ это одобреніе слишкомъ легко и незаслуженно, она поняла ему цѣну. Это былъ для нея первый урокъ презрѣнія къ «философіи» и философамъ. «Учитель» послѣ того пересталъ импонировать; но король европейскаго общественнаго мнѣнія и «забавникъ»—сохранилъ симпатіи императрицы.

Вопросъ о вліяніи на Екатерину самыхъ *идей* «просвѣтительной» философіи ея времени гораздо сложнѣе вопроса о ея личныхъ отношеніяхъ къ «философамъ». Несомнѣнно, прежде всего, что ранній пессимизмъ по отношенію къ людямъ у нея долгое время совмѣщается съ оптимизмомъ по отношенію къ идеямъ. Почему, изсвѣрившись въ людей, Екатерина продолжаетъ вѣрить въ идеи,—это намъ предстоитъ объяснить; но фактъ тотъ, что она въ нихъ, дѣйствительно, вѣритъ и готова сообразовать съ ними свое поведеніе. Возражать на это ссылкой на самый ранній примѣръ противорѣчія между «принципами» и поведеніемъ Екатерины,—на ея двусмысленное положеніе между Вольтеромъ и православной религіей, было бы совершенно неосновательно. Въ этомъ случаѣ противорѣчіе «интереса» съ принципами всего легче разрѣшалось самой усвоенной ею философіей. Развѣ не была самая перемѣна вѣры доказательствомъ свободы отъ «суевѣрія», въ которомъ погрязъ старый протестантъ, отецъ Екатерины? И развѣ не утверждалъ съ другой стороны самъ Вольтеръ, что всякій владѣлецъ пяти или шестисотъ крестьянъ долженъ признать необходимость религіи вѣчныхъ мукъ и воздаяній за гробомъ? Очевидно, учитель и ученица вполнѣ сходились въ оцѣнкѣ какъ соціальнаго значенія религіи, такъ и того, что на языкѣ Екатерины называлось «momeries».

Въ дѣлахъ государственнаго управленія было, конечно, не такъ легко привести въ гармонію «принципы» съ «интересами». Историки Екатерины обратили вниманіе на сентенцію въ словарѣ Бейля, которая, по ихъ соображеніямъ, должна была запасть въ душу будущей императрицѣ: «правила государственнаго искусства противоположны строгой честности». Изъ собственныхъ набросковъ Екатерины, когда

она была еще великой княгиней, мы знаемъ, однако, что съ этой сентенціей Екатерина не хотѣла мириться и поставила себѣ прямою цѣлью—примирить честность съ политикой. Средство для этого она нашла въ той идеѣ, что быть честнымъ — всего лучше для собственной выгоды государя. Идея о выгодности хорошихъ принциповъ проходитъ красной нитью въ этихъ интересныхъ замѣткахъ, рисующихъ намъ великую княгиню со всѣми ея сильными и слабыми сторонами, совершенно тѣми же, какія характеризуютъ впослѣдствіи императрицу. Тутъ находимъ въ совершенно отчетливой, сознательной формѣ и всѣ правила будущаго царствованія. Государь долженъ, по мнѣнію Екатерины въ этихъ замѣткахъ, дѣлать благодѣянія и любить истину, такъ какъ это «сдѣлаетъ его пріятнымъ для Бога и людей». Онъ долженъ заботиться о славѣ страны, потому что это его собственная слава. Онъ долженъ сдѣлать вельможъ и приближенныхъ довольными и богатыми, потому что отъ этого зависитъ его собственное величіе. Онъ долженъ открыто заявлять свои цѣли, «если правда и разумъ на его сторонѣ», такъ какъ эти резоны, навѣрное, «возьмутъ верхъ въ глазахъ толпы». Онъ долженъ заранѣе разгласить о законѣ, который собирается издать, и послѣ прислушаться къ общественнымъ толкамъ по этому поводу, чтобы законъ вышелъ удаченъ и не пришлось его отмѣнять. Придворныхъ надо заставить *изъ лести* говорить правду, сдѣлавъ ее выгодной, такъ какъ иначе государь рискуетъ быть обманутымъ: самое унизительное положеніе, какое только можетъ себѣ представить Екатерина.

Нельзя, однако, съ выбранной точки зрѣнія отрицать одного: *возможности*, что «принципы» съ «интересами» разойдутся и понадобится правило Бейля. Тѣ же наброски карандашомъ предвидятъ два такихъ случая,—какъ разъ тѣ самые, въ которыхъ Екатерину всего строже осудило потомство. Въ одномъ изъ нихъ, въ главномъ вопросѣ своей внутренней политики, Екатерина уже тогда ясно понимала всю трудность своего положенія, но еще надѣялась на возможность компромисса. «Противно христіанской религіи и справедливости дѣлать людей (которые всѣ родятся свободными) рабами. Соборъ освободилъ въ Германіи, Франціи, Испаніи и т. д. всѣхъ крестьянъ (прежде бывшихъ крѣпостными). Устроить подобный же крутой переворотъ было бы плохимъ способомъ заслужить любовь землевладѣльцевъ, которые полны упорства и предразсудковъ («къ тому же,—признается Екатерина,—хотя я и освободилась отъ предразсудковъ и обладаю складомъ ума отъ природы философскимъ, но чувствую, однако, сильную склонность уважать древнія фамиліи»). Но вотъ легкое (Екатерина еще мало знакома съ юриспруденціей) средство: постановить, что при всякой продажѣ помѣстья новому владѣльцу рабы объявляются свободными. Въ сто лѣтъ всѣ или бо̀льшая часть земель мѣняютъ владѣльцевъ: вотъ, народъ и свободенъ».

Въ другомъ затруднительномъ случаѣ — изъ области внѣшней политики, Екатерина, очевидно, скорѣе готова склониться въ сторону «интересовъ». «Говорятъ, что во всякомъ дѣлѣ бываетъ два возможныхъ исхода: справедливый или несправедливый; обыкновенно, выгода склоняетъ къ несправедливости. Въ курляндскомъ вопросѣ справедливость требовала отдать дѣтямъ Бирона то, что далъ имъ Богъ и природа. Если же хотѣли соблюсти выгоду, слѣдовало (конечно, несправедливо) оставить Курляндію за собой, отнять ее у Польши и присоединить къ Россіи. Кто бы могъ угадать, что найдется еще третій способъ: сдѣлать несправедливость безъ всякой выгоды? Курляндію отдали саксонскому принцу и тѣмъ усилили короля польскаго... Неужели, спрашивается, могущественный сосѣдъ выгоднѣе для Россіи, чѣмъ счастливая анархія, въ которой находится Польша и благодаря которой мы въ ней хозяйничаемъ, какъ хотимъ?.. Если ужъ хочешь быть несправедливымъ, такъ надо извлечь изъ этого выгоду».

Итакъ, вѣра въ «приложимость» общихъ принциповъ къ жизни основывалась у Екатерины на убѣжденіи, что, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ, приложеніе хорошихъ принциповъ—выгодно. Екатерина отдавалась идейному руководству, по ея собственному выраженію въ тѣхъ же набросках, «съ открытыми глазами» и подъ условіемъ, что это идейное руководство не только не противорѣчитъ, а, напротивъ, совпадаетъ съ ея личными «интересами». Не совпадетъ оно—и Екатерина заранѣе высказываетъ готовность отъ него отказаться. Такимъ образомъ, если трезвость въ отношеніяхъ къ идеямъ и измѣняла Екатеринѣ, то, во всякомъ случаѣ, не на этомъ пунктѣ, не въ разсчетѣ выгоды,— а въ вопросѣ объ «осуществимости» идеи, предполагая ее полезной.

Во взглядѣ на осуществимость идеи Екатерина оказывалась дочерью своего времени, фанатикомъ своего положенія и жертвой своего темперамента. Мысль о всемогуществѣ мудраго законодателя была одной изъ основныхъ аксіомъ просвѣтительнаго вѣка. Но у Екатерины эта мысль была не простою данью времени. Она неразрывно связана у ней съ увѣренностью во всемогуществѣ русскаго государя. «Что можетъ противиться безграничной власти абсолютнаго монарха, управляющаго воинственнымъ народомъ», спрашиваетъ она въ тѣхъ же набросках великой княгини. Съ этой идеей Екатерина пріѣхала въ Россію, съ нею она сознательно и терпѣливо пробивала себѣ путь къ престолу. Дойдя до цѣли, она смѣло положила руку на механизмъ, издалека манившій своей громадностью ея славолюбіе и властолюбіе.

Она надѣялась проводить на этомъ мѣстѣ «хорошіе и вѣрные принципы». Чтобы провести ихъ, ей нужно именно *это* мѣсто. Но на такомъ мѣстѣ такіе принципы могла осуществить лишь «натура одаренная отъ природы полезными дарованіями»; другой былъ бы только

«смѣшонъ» тамъ, гдѣ подобная натура могла бы себѣ составить «блестящую карьеру». Мы цитируемъ здѣсь все тѣ же летучіе наброски: Екатерина уже при Елизаветѣ только себя считаетъ достойной носительницей великихъ идей на высокомъ мѣстѣ. Вѣра въ силу идеи и въ безграничное могущество положенія, въ свою очередь, неразрывно связана у ней съ вѣрой въ себя: въ собственной психологіи она почерпнетъ то, чего не хватитъ въ другихъ источникахъ вѣры.

Французскій посланникъ Лопиталь еще при Елизаветѣ находилъ, что у Екатерины «горячая голова». Можно бы было подчеркнуть: именно «голова», а не «сердце», воображеніе, а не чувство. Екатерина, повидимому, и сама была совершенно согласна съ этимъ опредѣленіемъ своей «преобладающей способности». Разъ въ ея присутствіи зашелъ разговоръ, чѣмъ бы могла она быть, если бы была частнымъ человѣкомъ и мужчиной. Дипломаты наперерывъ прочили ее, кто въ министры, кто въ полководцы. Императрица рѣшила: «Всѣ вы ошибаетесь; я знаю свою горячую голову; я бы всѣмъ рискнула для славы и въ чинѣ поручика въ первую же кампанію не снесла бы головы». Вмѣсто всѣхъ достоинствъ, которыми надѣлялъ ее Гриммъ въ 1774 году, Екатерина признала за собой одно, благодаря которому она «чего-нибудь стоитъ»: «умѣнье страшно хотѣть того, чего она хочетъ». «Нужно быть твердой въ своихъ рѣшеніяхъ,—говоритъ она въ другой разъ,—лучше сдѣлать дурно, чѣмъ мѣнять мнѣніе: нерѣшительны бываютъ только дураки».

Нельзя сказать, чтобы Екатерина не сознавала опасности такого темперамента въ правителѣ. «Удача для ума то же, что молодость для темперамента, — находимъ мы въ тѣхъ же набросках: — она приводитъ въ дѣйствіе всѣ страсти. Счастливъ, кто не допуститъ себя увлечься этимъ потокомъ». Въ послѣднихъ словахъ слышится какъ бы опасеніе — весьма основательное, какъ показало время, — что сама Екатерина въ такомъ положеніи не сумѣетъ сдержаться. Но она знаетъ свои слабыя стороны—и, какъ политикъ, прежде всего, и *изъ нихъ* хочетъ извлечь выгоду, разъ невозможно ихъ уничтожить. Увлеченіе неизбѣжно, но увлеченіе есть тоже сила. За недостаткомъ подлинной силы, самоувѣренность можетъ ее до нѣкоторой степени замѣнить. «Могу поздравить себя съ началомъ популярности»,—записываетъ она при Елизаветѣ.—«Я не должна, конечно, ей довѣрять, несмотря на внѣшніе знаки; но это не помѣшаетъ мнѣ дѣйствовать такъ, какъ будто бы я была въ ней увѣрена. Меня хвалятъ лишь тогда и постольку, поскольку недовольны великимъ княземъ; я слишкомъ еще молода, чтобы меня любили; но я должна дѣйствовать такъ, какъ будто бы вѣрила, что меня любятъ». Мы видимъ: тутъ полная программа политики, почерпающей силу изъ внѣшняго вида успѣха.

При такой сложности натуры Екатерины, очевидно, очень трудно различить въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, гдѣ кончается у ней убѣж-

деніе и начинается политика. Всего вѣрнѣе будетъ, можетъ быть, принять, что политика у нея вездѣ, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ пружинами ея политики служатъ убѣжденія, которыя она считаетъ вѣрными и выгодными.

Во всякомъ случаѣ, эту политику Екатерина будетъ примѣнять *сама*, своимъ умомъ и по собственной иниціативѣ. Въ дѣлѣ, которое должно было послужить пьедесталомъ для ея славы, Екатерина не признаетъ предшественниковъ и сотрудниковъ. Она — вторая только послѣ «перваго» Петра; но въ *своемъ* дѣлѣ она первая и единственная. Она пишетъ въ своемъ Наказѣ эти рискованныя слова, такъ усердно цитировавшіяся депутатами коммиссіи: «Боже сохрани, чтобы послѣ окончанія сего законодательства былъ какой народъ больше справедливъ и, слѣдовательно, больше процвѣтающъ на землѣ; намѣреніе законовъ нашихъ было бы не исполнено: несчастіе, до котораго я дожить не желаю». Еще ярче это настроеніе Екатерины подчеркивается современной аллегорической гравюрой по поводу изданія Наказа. Въ центрѣ картины, на возвышеніи, стоитъ Екатерина въ спокойной, увѣренной позѣ, совсѣмъ не напоминающей того «курцъ-галопа», которымъ, по шутливому выраженію ея «Записокъ», она должна была выступать въ первые годы царствованія между охлаждающимъ скептицизмомъ Панина и бурными поощреніями Григорія Орлова. Мѣсто обоихъ по сторонамъ Екатерины заняли въ аллегоріи Минерва и юный Марсъ, попирающій пятой закованнаго въ цѣпи врага. Подъ ногами императрицы копошится народъ: море головъ, жаждущихъ взглянуть на Екатерину, смотрящихъ на нее съ выраженіемъ любви и надежды, спѣшащихъ запечатлѣть въ памяти золотыя строки раскрытаго передъ ними Наказа. Въ сторонѣ, надъ тѣмъ же моремъ головъ поднимается пирамида, на которой «блаженство каждаго и всѣхъ» датировано 1766 годомъ и которая увѣнчивается императорской короной *). Въ сравненіи съ этой пирамидой статуя какого-то древняго законодателя, стоящаго на вершинѣ колонны позади пирамиды, кажется совсѣмъ маленькой. Наконецъ, вверху, въ облакахъ дыма, крылатая фигура славы уже спѣшитъ разнести по свѣту благую вѣсть о новой эрѣ «блаженства всѣхъ и каждаго», датированной 1766 годомъ.

Основная идея аллегоріи ясна. Екатеринѣ «посчастливилось найти хорошіе и вѣрные принципы», но эти принципы осуществятся, потому что Екатерина ихъ проводитъ. И если ей придется впослѣдствіи признаться, что принципы остались неосуществленными, она ни минуты не подумаетъ усомниться въ принципахъ или въ собственной силѣ осуществить ихъ. По крайней мѣрѣ, она въ этомъ никогда не признается открыто и сложитъ вину на другихъ. «Мое честолюбіе не было дурно, но, быть можетъ, я слишкомъ много взяла на себя, повѣривъ, что люди могутъ сдѣлаться разумными, справедливыми и счастливыми».

---

*) Эта эмблема изображена была и на жетонахъ, розданныхъ депутатамъ.

Одного только Екатерина не могла допустить: что люди могутъ сдѣлаться разумны, справедливы и счастливы по какой-нибудь другой системѣ, исключая ея собственной, и особенно по такой системѣ, которая допускаетъ возможность для нихъ достигнуть этой цѣли своими собственными средствами. Реформаторская роль Екатерины представлялась ей по существу своему совершенно личной. Это опредѣлило и ея отношеніе ко всѣмъ современнымъ ей системамъ, исходившимъ изъ принципа самодѣятельности. Такихъ системъ было двѣ въ Россіи во время Екатерины. Обѣ онѣ обозначились достаточно ясно уже въ настроеніи молодого поколѣнія, выросшаго ко времени воцаренія императрицы. Одна была извѣстная намъ теорія *естественнаго права*, которая скоро могла справлять полувѣковой юбилей не только существованія, но непрерывнаго академическаго преподаванія въ Россіи. Со времени Гросса, учившаго естественному праву Кантемира въ Академическомъ университетѣ, рядъ поколѣній слушалъ эту науку у Пфлуга въ Шляхетскомъ корпусѣ, у Дильтея и Лангера въ Московскомъ университетѣ. Но человѣкъ изъ «порядочнаго общества» не обязанъ былъ «прочесть всѣ книги и прилежно учиться всему, чему учатъ въ школахъ»: съ него было довольно «природнаго здраваго смысла». Мы сейчасъ увидимъ, какъ отнеслась Екатерина къ теоріи естественнаго права, на примѣрѣ Беккаріа. Отношеніе ея къ другой системѣ принципіальныхъ взглядовъ, явившейся въ Россіи позднѣе, но тоже до нея и независимо отъ нея, къ религіозно-нравственному міросозерцанію *масонства*, было еще болѣе отрицательнымъ и поверхностнымъ, какъ увидимъ впослѣдствіи. Если на первыхъ же порахъ не вышло никакихъ рѣзкихъ столкновеній между императрицей и представителями обоихъ цѣльныхъ воззрѣній, то лишь потому, что сами эти представители въ первомъ поколѣніи оказались не такими яркими и послѣдовательными, какъ того требовалъ смыслъ ихъ теорій. Мы знакомы уже немного съ литературнымъ дебютомъ этой молодежи, перешедшей отъ естественнаго права къ масонству (выше, 244—5). Скоро мы встрѣтимся съ нею опять и поймемъ, почему она такъ быстро и безслѣдно сошла съ общественной арены (см. ниже, стр. 263, 273).

Мы поймемъ теперь и то, какъ должна была отнестись Екатерина къ знаменитому сопернику Вольтера,—къ Руссо, господствовавшему обновленной имъ системой общественнаго договора въ тогдашней наукѣ естественнаго права. Для любимаго персонажа XVIII вѣка, мудраго законодателя, въ этой системѣ былъ оставленъ слишкомъ тѣсный уголокъ. На личныя сношенія съ несимпатичнымъ философомъ Екатерина не рѣшилась, а отъ приглашенія Григорія Орлова—поселиться въ его помѣстьи, нелюдимый мыслитель отказался. Тѣмъ и кончились отношенія его къ Россіи. За то горячему поклоннику «великаго человѣка, благодѣтельствующаго человѣчеству, которое его гонитъ»,—юристу Беккаріа выпалъ на долю громкій успѣхъ въ Россіи.

На этомъ эпизодѣ надо остановиться нѣсколько подробнѣе. Книжка Беккаріа появилась какъ разъ въ то время, когда Екатерина компилировала свой Наказъ: изъ ея источниковъ это былъ едва ли не единственный, въ которомъ Екатерина могла уловить ноты, совершенно чуждыя салонной корректности ея любимыхъ руководителей. Но Беккаріа былъ усерднымъ почитателемъ одного изъ нихъ (Монтескье); онъ нуженъ былъ Екатеринѣ, такъ какъ у него она могла заимствовать характеристику будущаго гуманнаго суда. Тѣмъ любопытнѣе слѣдить, съ какой тщательностью устранены изъ заимствованнаго текста всѣ черты, которыя ставятъ Беккаріа въ ряды поклонниковъ Руссо. Читая Наказъ, никакъ нельзя догадаться, что тутъ не хватаетъ основного нерва всѣхъ разсужденій Беккаріа. По его теоріи общественнаго договора, этимъ договоромъ ограждаетъ себя обыкновенно меньшинство отъ большинства, и нужны вѣка страданій и бѣдствій, чтобы договоръ могъ быть перестроенъ въ пользу обдѣленнаго большинства. Мыслитель, опережая свой вѣкъ, открываетъ этотъ коренной недостатокъ закона, состоящій въ его покровительствѣ привилегированному меньшинству; просвѣщенный государь можетъ услышать голосъ мыслителя, воспользоваться своей силой въ интересахъ большинства и тѣмъ предвосхитить результатъ естественнаго историческаго развитія. «Мы предоставляемъ обыкновенно развитіе важнѣйшихъ постановленій или просто теченію времени, или же благоусмотрѣнію тѣхъ именно лицъ которыя возстаютъ противъ введенія мудрыхъ законовъ. Послѣдніе имѣютъ цѣлью, по самому существу своему, сдѣлать благоденствіе всеобщимъ, тогда какъ меньшинство стремится къ тому, чтобы удержать полное могущество и блаженство за собою, не удѣливъ другимъ ничего, кромѣ безсилія и нищеты. Поэтому, только перейдя черезъ тысячи ошибокъ въ задачахъ, разрѣшающихъ самыя существенныя условія жизни и свободы, послѣ утомительныхъ страданій, порожденныхъ зломъ, дошедшимъ до крайности, мы приступаемъ къ исправленію гнетущихъ насъ безпорядковъ; только тогда начинаемъ мы сознавать тѣ осязательныя истины, которыя, именно по своей простотѣ, ускользаютъ отъ вниманія людей недоразвитыхъ... Откроемъ книгу исторіи, и мы увидимъ, что законы, которые въ сущности составляютъ и должны составлять не что иное, какъ договоръ свободныхъ лицъ, всегда были или орудіемъ страстей немногихъ, или же являлись результатомъ случайной и мимолетной необходимости. Они вовсе не были плодомъ спокойнаго изслѣдованія человѣческой природы, стремящейся къ тому, чтобы мы сознали, что задача нашей жизни есть предоставленіе высшаго благосостоянія наибольшему числу людей. Счастливы тѣ немногія государства, которыя не ожидали, чтобы медленное движеніе взаимныхъ общечеловѣческихъ отношеній и превратностей жизни повлекло за собой сначала господство зла, а потомъ уже и постепенное развитіе добра, но ускоряли мудрыми законами

водвореніе добра; и всеобщаго уваженія заслуживаетъ философъ, имѣвшій дерзость изъ глубины своего незамѣтнаго и даже пренебрегаемаго кабинета бросить въ массу людей первыя сѣмена полезной истины, которыя долго еще будутъ оставаться безплодными».

Оказалось не трудно превратить эту пламенную рѣчь о вѣковыхъ препятствіяхъ къ сознательной общественной жизни въ безобидное «блаженство всѣхъ и каждаго», декретируемое немедленно. Нужно было только отбросить исходныя точки и основные принципы разсужденія Беккаріа, затушевать его конкретныя историческія наблюденія, и мы получимъ исправленный текстъ екатерининскаго Наказа. Вотъ какъ производилось это исправленіе (Екатериной или ея совѣтниками?):

Наказъ.	Беккаріа.
Право давать законы о наказаніяхъ имѣетъ только одинъ законодатель, какъ представляющій въ своей особѣ все общество соединенное и содержащій всю власть въ своихъ рукахъ.	Право установлять эти законы принадлежитъ исключительно законодателю, представляющему собою все общество, связанное взаимнымъ договоромъ.
Беззаконныя предпріятія противу жизни и вольности гражданина суть изъ числа самыхъ великихъ преступленій: и подъ симъ именемъ заключаются не только смертоубійства, учиненныя людьми изъ народа; но и того же рода насилія, сдѣланныя особами, какого бы происшествія и достоинства они ни были.	Къ этому роду преступленій (покушеніе на безопасность и свободу гражданъ) относится не только убійство и кража, совершаемыя простонародьемъ, но также совершаемыя вельможами и судьями, вліяніе которыхъ дѣйствуетъ на большемъ пространствѣ и съ большею силою, разрушая между подданными всѣ понятія о справедливости и долгѣ, и поставляя на ихъ мѣсто право сильнаго... Нѣтъ свободы тамъ, гдѣ законы дозволяютъ, чтобы человѣкъ пересталъ быть, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, лицомъ и превратился бы въ вещь: въ такомъ случаѣ сильные люди употребили бы все свое пронырство, чтобы изъ множества гражданскихъ отношеній извлечь только тѣ, которыя установлены закономъ въ ихъ пользу. Достигнуть этой цѣли, значитъ открыть волшебный жезлъ, превращающій гражданъ во вьючныхъ скотовъ; въ рукахъ сильнаго этотъ жезлъ есть цѣпь, сковывающая дѣйствія людей слабыхъ. Вотъ почему въ нѣкоторыхъ государствахъ, пользующихся, повидимому, полною свободой, скрывается господство силы, или же она врывается непредвидѣнно въ какой-нибудь забытый законодателемъ уголокъ, гдѣ незамѣтно развивается... Привилегіи дворянъ составляютъ большую часть законовъ въ разныхъ государствахъ. Я здѣсь не буду разбирать, полезно ли для правительства это наслѣдственное раздѣленіе дворянства и народа и необходимо ли оно въ монархіи: правда ли, что дворянство составляетъ среднюю власть, ограничивающую злоупотребленія двухъ крайнихъ (все это мнѣнія Монтескье)... Если даже справедливо, что неравенство незбѣжно для общества, то справедливо ли, чтобы оно выражалось въ различіи группъ, а не отдѣльныхъ личностей; чтобы оно сосредоточивалось въ одной части государства, а не пронизывало его насквозь, чтобы оно безпрерывно продолжалось, а не рождалось и уничтожалось поминутно *)?

*) Эту точку зрѣнія открыто защищали въ засѣданіяхъ Екатерининской комиссіи нѣкоторые депутаты (особенно городской дерптскій—Урсинусъ).

Можетъ быть, это и были тѣ axiomes à renverser les murailles, которыя вычеркнуты совѣтниками Екатерины изъ окончательной редакціи Наказа. Наша домашняя теорія естественнаго права уже освоилась съ этими жгучими темами и давала на нихъ болѣе или менѣе невинные отвѣты. Упоминавшееся выше руководство Золотницкаго, напр. совершенно спокойно разсуждало о «домовомъ подданствѣ» «совершенномъ» и «несовершенномъ», легко находя первому «мѣсто въ самомъ натуральномъ состояніи» и колеблясь только относительно второго, которое, какъ будто, «въ натуральномъ состояніи изъ начала простого общества не явствуетъ, по причинѣ всѣмъ свойственнаго общаго равенства». Но и общее равенство не мѣшало выводить изъ «натуральнаго состоянія» происхожденіе сословныхъ привилегій. «Хотя всѣ люди въ натуральномъ состояніи между собой равны, однако, не всѣ достойны равнаго мнѣнія, чести и похвалы. Ибо равными только для того называются, что имѣютъ одни права и обязательства, но не всякъ имѣетъ тѣ совершенства, отъ которыхъ достоинство мнѣнія, чести и похвалы зависитъ».

Въ предполагавшемся собраніи депутатовъ всѣ эти деликатные вопросы, поставленные жизнью, но замалчиваемые политикой и школьной теоріей, должны были выплыть наружу. Но безъ собранія депутатовъ нельзя было обойтись. Екатерина только что считала необходимымъ разглашать «на рынкахъ» проекты законовъ, претендовавшихъ на долговѣчность; она только что прочла у Беккаріа прозрачный намекъ, что «счастливо было бы человѣчество, если бы сразу ему были предписаны законы монархами, которыхъ мы теперь видимъ на престолахъ Европы» и что при этомъ слѣдовало бы выслушать «всегда откровенный голосъ народа», заглушаемый второстепенными чиновниками, «болѣе жестокими, потому что менѣе обезпечены» (мысль объ этомъ «средостѣніи» особенно понравилась императрицѣ, см. Наказъ). «Философски» настроенная Екатерина не могла, наконецъ, остаться позади своихъ предшественниковъ на престолѣ, поддерживавшихъ безъ всякихъ теорій традицію XVII вѣка: вызывать для составленія Уложенія депутатовъ отъ разныхъ сословій. Безконечныя комиссіи, тщетно рѣшали всю первую половину вѣка эту непосильную задачу. Послѣдняя изъ нихъ (1754), послѣ безплодныхъ усилій—заставить работать на себя канцеляріи присутственныхъ мѣстъ—сама пришла (1761) къ мысли подкрѣпить себя, «по примѣру прежде сочиненнаго въ 1649 году Уложенія», выборными отъ дворянъ и купцовъ. Въ первой половинѣ вѣка всѣ попытки этого рода (1722, 1728, 1730) потерпѣли неудачу: вмѣсто «добрыхъ и знающихъ людей» провинція посылала въ Петербургъ старыхъ и увѣчныхъ,—отчасти потому, что формально относилась къ требованіямъ правительства и смотрѣла на посылку депутатовъ, какъ на досадную повинность, отчасти же потому, что подходящихъ людей и не было среди помѣщиковъ, оставшихся жить въ своихъ дерев-

няхъ (стр. 196, 218). Въ срединѣ вѣка провинціальное общество все еще не сложилось: оно появилось лишь въ результатѣ сословныхъ успѣховъ въ вѣкъ Екатерины. Но въ провинцію все-таки чаще стали заглядывать офицеры, побывавшіе заграницей (въ Семилѣтнюю войну), поучившіеся въ школѣ. Кромѣ столичныхъ модъ и вольныхъ нравовъ, они завозили съ собой иной разъ и печатную книжку, и темы для «ученыхъ и важныхъ разговоровъ» о поэзіи, о литературѣ, словомъ, о болѣе или менѣе отвлеченныхъ предметахъ. Назначая въ 1761 г. выборы депутатовъ въ коммиссію 1754 года сенатъ счелъ возможнымъ заговорить съ провинціальными избирателями совершенно необычнымъ до тѣхъ поръ языкомъ: работа надъ уложеніемъ не есть повинность, а общественный долгъ. «Какъ сочиненіе Уложенія для управленія всего государства весьма нужно, слѣдственно всего общества и трудъ въ совѣтахъ быть къ тому потребенъ; и потому всякаго сына отечества долгъ есть совѣтомъ и дѣломъ въ томъ помогать». Сенатъ надѣется, что избранные не только не откажутся, но охотно понесутъ «всѣ затрудненія и убытки», и не для того только, чтобы «получить награжденіе за излишніе труды», но и «чая незабвенную въ будущіе роды о себѣ оставить память». Это — языкъ Екатерининской коммиссіи.

Приглашенные Елизаветой депутаты начали работать уже при Екатеринѣ: къ двумъ составленнымъ канцелярскимъ путемъ (1755) главамъ законопроекта (судебные и уголовные законы: послѣдніе, по преданію, поразили Елизавету своей жестокостью и удержали ее отъ подписанія проекта) они прибавили третью—о правахъ сословій, во многомъ сходную съ депутатскими наказами и съ выработанными Екатерининской комиссіей законопроектами о сословіяхъ. Теперь, эти депутаты и комиссія должны были уступить мѣсто Екатерининскимъ.

Такимъ образомъ, и цѣль (кодификація), и средство (участіе выборныхъ), и даже общее направленіе работы (реформа уголовнаго законодательства въ гуманномъ и сословнаго въ дворянскомъ духѣ)— все это Екатерина получила готовымъ отъ своей предшественницы. Если, тѣмъ не менѣе, она говорила и думала, что затѣваетъ нѣчто, совершенно новое и до сихъ поръ небывалое, то это нельзя объяснять *только* какъ сознательный обманъ изъ самолюбія или какъ добросовѣстное заблужденіе по незнанію прецедентовъ, намъ теперь лучше извѣстныхъ. Екатерина могла дѣйствительно утверждать, что открываетъ совершенно новый путь,—и не потому, что она провозглашала, «блаженство всѣхъ и каждаго», какъ высшую задачу законодательства: такого рода утвержденія можно, пожалуй, услыхать и отъ власти, собиравшей земскіе соборы XVII вѣка (и тогда выборные отъ всей земли должны были разсказать «всякія ихъ нужды и тѣсноты... и размышляти ко всему добру, чтобы всѣ люди государства жили въ покоѣ и въ радости»); но свое законодательство она впервые хотѣла

основать на сознательной теоріи, на той «истинѣ», которая «свѣтитъ какъ молнія среди продолжительной и мрачной ночи, удручающей людей», по счастливому выраженію Беккаріа. Каковы бы ни были личные мотивы молодой государыни, искала ли она «любви» или «славы» въ «довѣріи народа»,—мы можемъ повѣрить, что ея сердце билось сильнѣе, когда у того же Беккаріа она читала эти строки: «слово мудреца слишкомъ слабо, чтобы противостоять гвалту и крикамъ людей. руководимыхъ слѣпою привычкой...; (но) если бы истина могла, несмотря на безконечныя препятствія, которыя удаляютъ ее отъ монарха, даже противъ его воли,—достигнуть до его престола, онъ долженъ понять, что она высказываетъ ему тайныя желанія всего народа; онъ долженъ понять что слава его заглушитъ кровавую славу завоевателей и что справедливое потомство поставитъ его выше миролюбивыхъ Титовъ, Антониновъ и Траяновъ». «Слово мудреца» дошло до престола Екатерины; до него дойдутъ и «тайныя желанія народа». Екатерина была права; это было «не дурное честолюбіе»: поставить пирамиду своего законодательства выше траяновой колонны.

Наказы, привезенные съ собой депутатами изъ провинціи, свели Екатерину съ ея неба на землю. На этой землѣ она все прочнѣе укрѣплялась, по мѣрѣ того, какъ развертывалась передъ ней поставленная ею пьеса. Прошло немного времени, и Наказъ началъ ей представляться «болтовней»; этой болтовнѣ она предпочитала трезвое, дѣловое содержаніе «Учрежденія о губерніяхъ». Какую роль сыграли въ этомъ переворотѣ депутатскіе Наказы и дѣятельность созванной Екатериной коммиссіи?

Перечитывая эти наказы теперь, мы можемъ сами видѣть, что они развернули передъ Екатериной, дѣйствительно, ужасающую картину. Созывая свою Комиссію, она знала людей, но еще не знала Россіи. Россію заслонялъ отъ нея небольшой кругъ молодого дворянства, болѣе или менѣе проникнутаго или способнаго проникнуться тѣми же теоріями и идеями, какими увлеклась императрица. Въ провинціи люди изъ этого интеллигентнаго круга были случайными гостями. Выбравъ своими депутатами тѣхъ изъ нихъ, которые не попали въ число депутатовъ отъ центральныхъ учрежденій, провинція замаскировала нѣсколько свои естественные взгляды и вкусы, но не могла замаскировать ихъ надолго. Въ наказахъ и преніяхъ—украшенія постепенно отпали, и выступила на первый планъ неприкрашенная дѣйствительность. Было бы нелѣпо утверждать, что съ теоріей эта дѣйствительность ничего общаго не имѣла: при всѣхъ своихъ недостаткахъ, политическая теорія XVIII вѣка была все-таки достаточно тонка и гибка, чтобы не спасовать передъ объясненіемъ русской дѣйствительности. Законодатель-практикъ, прочитавшій всѣ депутатскіе наказы, не могъ бы написать лучшей и болѣе близкой къ жизни страницы, чѣмъ та страница Беккаріа (см. стр. 262), которую, именно, въ виду этой чрезмѣрной близости, при-

шлось выкинуть изъ Наказа. Но серьезное приложеніе *такой* теоріи къ практикѣ, требовало гораздо бо̀льшей ломки, чѣмъ могла предполагать императрица на основаніи своего знакомства съ придворнымъ кругомъ русскаго дворянства. Съ *этимъ* кругомъ можно было спокойно говорить о самыхъ страшныхъ вещахъ: мы видѣли, что здѣсь сумѣли, не обижая себя, примирить передовыя теоріи естественнаго права съ явленіями русской дѣйствительности. Другое дѣло, когда сама эта дѣйствительность заговорила отъ своего лица. Тутъ уже не было мѣста компромиссу; нужно было рѣшаться на выборъ: и выборъ, по условіямъ времени, не могъ быть сомнителенъ.

Что же сказала и обнаружила эта Комиссія, дѣйствительно, молніей среди ночи, освѣтившая современную дѣйствительность и начавшая собой эру, если не «блаженства всѣхъ и каждаго», то сознательной общественной жизни въ Россіи?

Наказы показали, прежде всего, что всѣ государственные и общественные успѣхи, достигнутые Россіей въ теченіе вѣковъ, ограничиваются поверхностью и что въ своей глубинѣ эта жизнь недалеко ушла отъ той картины, которую мы видѣли въ памфлетѣ Ивашки Пересвѣтова. До деревни не дошелъ еще ни судъ, ни администрація: учрежденныя правительствомъ судебныя и административныя власти въ нее не проникаютъ, и населеніе, безъ различія сословій, остается безъ всякой защиты закона. За отсутствіемъ этой защиты, борьба сильнаго и слабаго ведется здѣсь въ формахъ, свойственныхъ самому примитивному обществу. «Сколько ни предписано законовъ, съ угроженіемъ наижесточайшихъ штрафовъ, но вкоренившаяся междоусобная наглость и самовольство не истребляются, что главнѣйшее зло обществу; ибо сильный безсильнаго, богатый небогатаго, *кто съ кого сможетъ, тотъ того и разоряетъ*». «Слабый сильному всегда лучше уступитъ, нежели начать продолжительное и для себя разорительное дѣло». Подобныя замѣчанія не разъ попадаются въ наказахъ. Противъ этого «главнѣйшаго зла» и направленъ единодушный вопль, который несется изъ провинціи въ наказахъ. Провинція жаждетъ получить, прежде всего, судъ и управленіе, *близкое* къ населенію и доступное для него. Избиратели хлопочутъ, чтобы имъ дали возможность у себя дома совершать и свидѣтельствовать всяческіе документы гражданскаго права, размежевывать своими, мѣстными геодезистами спорныя земли и находить у себя подъ бокомъ, въ ближайшемъ городѣ, нужныя справки въ юридическихъ документахъ, хранившихся до сихъ поръ исключительно въ вотчинномъ архивѣ древней столицы. Дворянство добивается, чтобы мелкія сельскія ссоры о потравахъ, порубкахъ и всевозможныхъ захватахъ можно было рѣшать сокращеннымъ словеснымъ судомъ, съ примѣненіемъ немедленнаго слѣдствія на мѣстѣ, по живымъ слѣдамъ,— такъ какъ, по странному юридическому недоразумѣнію, петровская «форма суда» передвинула судебное слѣдствіе къ концу процесса,— послѣ судебнаго разбирательства.

Населеніе хочетъ также у себя дома учиться, лечиться, пользоваться кредитомъ: оно требуетъ устройства провинціальныхъ школъ, банковъ, аптекъ и докторовъ. Потомъ, почти столь же единодушно, но все-таки на второмъ мѣстѣ сравнительно съ главной насущной потребностью въ близкомъ судѣ и власти,—дворянскіе наказы требуютъ, чтобы этотъ судъ и управленіе были устроены на началахъ *дворянскаго выборнаго самоуправленія*. Предлагаемыя дворянствомъ формы расходятся между собой; одни желаютъ товарища воеводы сдѣлать выборнымъ, другіе—возобновить для этого должность петровскаго ландрихтера или создать новую должность «опекуна»; третьи хотятъ сохранить выбраннаго для баллотированія депутатовъ «предводителя»; четвертые предлагаютъ раздѣлить провинцію на земскіе участки и назначить въ каждомъ «земскихъ судей» съ административно-судебными полномочіями. Одинъ наказъ вспоминаетъ даже губныя учрежденія Грознаго. Собранія дворянъ, для выбора и контроля выборныхъ, для содѣйствія уголовному слѣдствію и преслѣдованію, предполагаются сами собою. Въ нѣкоторыхъ наказахъ дальше этого и не идетъ дворянское классовое самосознаніе. Но чаще встрѣчаемъ признаки того, что уже и провинціальное дворянство, вслѣдъ за столичнымъ, начинаетъ сознавать свое привилегированное положеніе и проникаться корпоративнымъ сословнымъ духомъ. Прежде всего родовое дворянство настойчиво стремится замкнуться отъ новаго чиновнаго дворянства петровской табели. Старшая братья не хочетъ признавать дворянства по чину, а лишь по диплому (т.-е монаршему пожалованію); она особенно негодуетъ на то, что новые пришельцы «дѣлаютъ дворянству великій подрывъ въ покупкѣ деревень», и набиваютъ цѣну. Помимо разсчета выгоды, тутъ однако говоритъ и новая въ дворянствѣ чувствительность къ вопросамъ сословной чести. Если нѣкоторые избиратели хлопочутъ еще, по старому обычаю, о денежныхъ штрафахъ за дворянское «безчестье», то другіе уже протестуютъ: «дворянство честь свою съ деньгами равнять не могутъ». Дворяне считаютъ унизительнымъ сидѣть въ одной комнатѣ съ «подлыми» и требуютъ отвода особыхъ помѣщеній для себя въ правительственныхъ канцеляріяхъ. Во имя того же чувства они протестуютъ противъ осмотровъ на заставахъ, противъ обысковъ и арестовъ въ собственныхъ усадьбахъ. Въ связи съ тѣмъ же сословнымъ духомъ развивается понятіе о почетности и обязательности общественной службы, особенно выборной. Если одни наказы заранѣе хлопочутъ о казенномъ жалованьѣ для будущихъ выборныхъ судей, то другіе прямо объявляютъ: «какъ предводитель, такъ и судьи должны служить обществу изъ одного любочестія и для общественной пользы»; въ выборную должность избираются дворяне «не въ службу, но потому только, что всякій сынъ отечества должность сію для общей пользы и покоя исполнить не отречется (ср. стр. 264 указъ сената 1761)». Правда, это пониманіе дѣла, очевидно, внушается сверху. «Не

смотря на чинъ и званіе,—проговаривается одинъ наказъ,—каждый, почитая за необходимость, какъ патріотъ отечества, служить опредѣленное время для общества долженъ,—*такъ какъ въ нынѣшнемъ манифестѣ о выборѣ предводителя и депутата предписано*».

Гораздо охотнѣе дворянство стремится «отличить» себя отъ прочихъ сословій—расширеніемъ старыхъ привилегій и дарованіемъ новыхъ. Не въ примѣръ другимъ, оно требуетъ освобожденія отъ всѣхъ тѣхъ стѣсненій въ передачѣ владѣльческихъ правъ на крестьянъ и земли, которыя еще уцѣлѣли отъ старой московской регламентаціи службы; оно желаетъ получить полную свободу завѣщанія, которое, однако, съ точки зрѣнія тогдашняго естественнаго права, «едва можетъ почитаться натуральнымъ способомъ переношенія своего владѣнія къ другому». Дворяне хотятъ также освободить свою собственность отъ податей и обязательствъ, наложенныхъ новымъ петровскимъ законодательствомъ (ограниченіе правъ на лѣса, минеральныя богатства, винокуреніе; налогъ на бани). Особенно же настойчиво хлопочутъ они о запрещеніи другимъ сословіямъ владѣть крѣпостными и о закрѣпленіи за ними самими ихъ крѣпостныхъ новыми строгими мѣрами. Штрафъ за пріемъ бѣглыхъ долженъ быть увеличенъ съ 10 до 100 или 200 рублей; правительство должно облегчить преслѣдованіе бѣглыхъ или даже взять его на себя; должно зачитать въ рекруты потерянныхъ и сосланныхъ помѣщикомъ крестьянъ.

Мы видѣли, что Екатерина еще великой княгиней готова была пойти на компромиссъ съ рабовладѣльцами въ крестьянскомъ вопросѣ и предвидѣла ихъ сопротивленіе. Въ дальнѣйшихъ бесѣдахъ и перепискѣ (съ И. П. Елагинымъ, Д. А. Голицынымъ) она окончательно утвердилась на мысли, что собственность полезна и даже необходима для экономическаго развитія страны, но что дать крестьянамъ свободу и собственность сразу, общимъ закономъ, нельзя—не только на земляхъ помѣщиковъ, которымъ надо предоставить въ этомъ отношеніи полную свободу, но даже и на дворцовыхъ земляхъ, гдѣ общая реформа тоже будетъ небезопасна для помѣщиковъ. Дѣло свелось, на первый разъ, къ подготовкѣ маленькаго опыта на землѣ Григорія Орлова, гдѣ «собственность и свобода» должны были осуществиться въ видѣ наслѣдственной аренды за опредѣленныя повинности, по образцу остзейскихъ крестьянъ;—и даже въ этомъ видѣ остались въ проектѣ; къ скромному запросу по адресу вновь учрежденнаго Вольнаго Экономическаго Общества: въ чемъ именно, въ движимости или въ недвижимости должна состоять крестьянская собственность; и, наконецъ, къ нѣсколькимъ робкимъ выпискамъ изъ Монтескье, наполовину вычеркнутымъ изъ Наказа до его изданія—объ ограждeніи личности и собственности крестьянъ отъ произвола и насилія владѣльцевъ. Прежде однако же, чѣмъ подоспѣли отвѣты на тему, поставленную Экономическимъ Обществомъ нѣсколько смѣлѣе Екатерининскаго вопроса, Екатерина должна

была убѣдиться, что самые разговоры о какихъ бы то ни было перемѣнахъ считаются опасными и что, вмѣсто компромисса, дворянство требуетъ безусловнаго и торжественнаго подтвержденія своихъ владѣльческихъ правъ. Наказы заявляли, что «люди и крестьяне нынѣ помѣщикамъ своимъ послушаніе по нѣскольку уменьшаютъ», что «многіе, а особливо въ ночное время, въ домахъ своихъ не бываютъ, а укрываютъ себя въ неизвѣстныхъ никому мѣстахъ», или «страха ради по полугоду и болѣе находятся въ городахъ», такъ какъ бѣглые крѣпостные, «кого изъ тѣхъ помѣщиковъ въ домахъ своихъ застанутъ, мучатъ злодѣйски, жгутъ огнемъ, рѣжутъ и на части разрубаютъ, а домы ихъ выжигаютъ» *). Въ виду этого дворяне «всеподданнѣйше просили, дабы въ сохраненіе древняго узаконенія дворянскіе люди и крестьяне въ подлежащемъ повиновеніи, яко своимъ господамъ, были, и о томъ въ нынѣ сочиняемомъ проектѣ новаго уложенія подтвердить съ такимъ объявленіемъ, что узаконенная древле помѣщицкая власть надъ ихъ людьми и крестьянами не отъемлется, безотмѣнно какъ донынѣ была, такъ и впредь будетъ». Тѣ 500 крестьянскихъ прошеній, которыя Екатерина привезла съ собой изъ путешествія по Волгѣ въ Москву, къ самому открытію засѣданій Коммиссіи, были слишкомъ краснорѣчивою иллюстраціей къ свѣдѣніямъ наказовъ. Знаменитая нервная реплика Екатерины поэту Сумарокову («и бываютъ—т. е. помѣщики—отчасти зарѣзаны отъ своихъ» и т. д.) доказываетъ, что императрица отнюдь не представляла уже себѣ деревенскаго сожительства сословій въ видѣ счастливой идилліи. Но практическимъ результатомъ этого яснаго пониманія дѣла на первый разъ оказалось лишь запрещеніе крестьянамъ жаловаться и военныя экзекуціи. Мы знаемъ, что Екатерина не любила колебаній въ политикѣ.

Другимъ тяжелымъ ударомъ, который дѣйствительность нанесла гуманнымъ намѣреніямъ императрицы, было отношеніе наказовъ къ ея попыткамъ смягчить уголовную процедуру. Уже въ 1763 г. Екатерина поспѣшила распорядиться, чтобы въ случаѣ сознанія преступника судьи не пытали его (для открытія сообщниковъ или другихъ преступленій, въ которыхъ онъ не обвинялся) и чтобы вообще чиновники мелкихъ городовъ («приписныхъ») не прибѣгали къ пыткамъ. Изъ Новгородскаго, изъ Бѣлозерскаго, изъ Опочецкаго, изъ Чухломскаго уѣзда раздались въ отвѣтъ на это—требованія, чтобы пытать по старому, и заявленія, что «избѣжать не можно, дабы не узаконить жесточайшихъ и безпощадныхъ истязаній». Алатырское дворянство поясняло императрицѣ, что только «просвѣщенный и политизованный народъ» можетъ сознаваться безъ пытки, «а россійскій народъ, когда который сдѣлается злодѣемъ, то уже такое окаменѣнное сердце и духъ

*) О настроеніи крестьянъ послѣ манифеста Петра III о вольности дворянства см. Очерки, I, 214 (4 изд.).

сугубый имѣетъ, что не только священнику, но и въ розыску, когда его пытаютъ, правды не скажутъ». И полуграмотное данковское дворянство коснѣющимъ языкомъ лепетало вслѣдъ за другими: «а вслучаехъ по законамъ Ея императорскаго величества осудившихъ наказания публичнаго кнутомъ і смертные казни благоволено было чинить встрах другимъ втехъ местахъ, где кто какое злодѣйство учинили, въ селахъ и деревняхъ... чтобъ всѣ въ сотнѣ и приходѣ на ту экзекуцію къ тому дню сходились и всѣ неотмѣнно были во объявленное мѣсто для усмотрѣнія преступниковъ и злодѣевъ наказанія и казни... чтобъ лутче можно чрезъ тотъ страхъ искоренить беззаконныхъ злодѣевъ... что можетъ страхъ и слухъ зараженнымъ въ сердцахъ преступникомъ находится въ глазахъ ихъ быть можетъ наказаніе ихъ понятно каждому»...

Увы, на этотъ разъ крики русской провинціи должны были напомнить Екатеринѣ первоначальный текстъ Беккаріа, смягченный ею въ § 208 ея Наказа: «На очерствѣлыя души народа, едва вышедшаго изъ дикаго состоянія, нужно дѣйствовать впечатлѣніями болѣе сильными и чувствительными; нуженъ ударъ грома, чтобы поразить льва, ибо выстрѣлъ изъ ружья можетъ только раздражить его; но по мѣрѣ развитія народа *въ условіяхъ общежитія*—возрастаетъ и впечатлительность, и вмѣстѣ съ тѣмъ должна ослабиться строгость наказаній». Призванная къ отвѣту, императрица могла бы тутъ отвѣтить только то, что она отвѣтила Сумарокову на его замѣчаніе, что «нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не имѣетъ»: «*и имѣть не можетъ въ нынѣшнемъ состояніи*». Такъ, самъ собой возникалъ вопросъ, что отъ чего зависитъ; перемѣна «условій общежитія» отъ развитія «благородныхъ чувствій», или, наоборотъ, развитіе «чувствій» отъ перемѣны «нынѣшняго состоянія». Екатерина пока оставалась при либеральномъ мнѣніи: «тѣла» надо освободить прежде «душъ».

Наша характеристика положенія, опредѣлившаго участь Комиссіи объ Уложеніи, была бы неполна, если бы мы вовсе обошли молчаніемъ ту область дѣйствій Екатерины, въ которой ей было легче рѣшиться на выборъ между «интересомъ» и «справедливостью». Я разумѣю сферу внѣшней политики.

Какъ извѣстно, пути внутренней и внѣшней политики Екатерины пересѣклись. Комиссія была закрыта (или точнѣе отсрочена), потому что началась первая турецкая война, поглотившая все вниманіе императрицы. Въ новой сферѣ дѣятельности вкусы и стремленія Екатерины нашли болѣе легкое и благодарное примѣненіе. Слава завоевательницы оказалась менѣе тернистой, чѣмъ законодательные лавры, и *видъ* силы здѣсь было легче сдѣлать источникомъ силы. Вотъ почему царствованіе, начавшееся демонстративнымъ торжествомъ критическихъ идей, повернуло, затѣмъ, на путь завоевательной политики.

На первый взглядъ, и здѣсь Екатерина лишь примыкала къ пред-

шествовавшей традиціи, завершая задачи, поставленныя еще московской политикой XV вѣка. Цѣли, дѣйствительно, были тѣ же. До поразительнаго сходны были отчасти и средства: я разумѣю поддержку въ Польшѣ православной партіи, достаточно слабой, чтобы она не могла держаться собственными средствами и служила постояннымъ предлогомъ къ русскому вмѣшательству. Казалось, Екатеринѣ самъ собой свалился плодъ, созрѣвшій вѣками. Въ дѣйствительности это было совсѣмъ не такъ. Изслѣдователи все настойчивѣе начинаютъ утверждать, что Екатерина протянула руку къ плоду еще несозрѣвшему и, благодаря этому, оторвала лишь часть вмѣсто цѣлаго. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что ея личное вліяніе во внѣшней политикѣ сказалось очень сильно и что главный результатъ его былъ—ускореніе *темпа* событій, создавшее очень неблагопріятную обстановку для рѣшенія поднятыхъ вопросовъ. «Горячая голова» сказалась и здѣсь. Осторожности и медленности—двухъ главныхъ чертъ старой московской политики, совсѣмъ не было въ политикѣ Екатерины.

Напомнимъ, для большей наглядности, быструю смѣну событій, въ предѣлахъ интересующаго насъ теперь промежутка времени. Екатерина дебютируетъ въ политикѣ мирными намѣреніями. Въ нихъ уже таится будущая воинственная программа, такъ какъ очень скоро обнаруживается, что поддержаніе мира есть въ глазахъ Европы *новая* цѣль *самостоятельной* русской политики, разрывающая съ системой старыхъ союзовъ и начинающая новую эру въ международномъ положеніи Россіи. Екатерина втягивается, затѣмъ, стихійно въ колею старой московской политики, но первые, слишкомъ легкіе успѣхи отуманиваютъ ей голову. Достигнутыя черезчуръ неразборчивыми средствами побѣды въ вопросѣ о диссидентахъ ставятъ въ затрудненіе само правительство: оно не можетъ удержаться на занятой позиціи, лицомъ къ лицу съ встревоженными или злорадствующими державами и національнымъ возбужденіемъ въ Польшѣ, раздраженной русской безцеремонностью. «Сила наша все можетъ,—такъ характеризуетъ это положеніе самъ исполнитель русской политики, кн. Репнинъ, изъ Варшавы,—но не только тѣмъ не утвердимъ повѣренность націи къ намъ и нашу здѣсь инфлюенцію, но, напротивъ, совсѣмъ оныя разрушимъ, оставя въ сердцахъ рану всѣхъ резонабельныхъ и достойныхъ людей, которые одни только и могутъ черезъ свой разсудокъ націей предводительствовать... Таковое мнѣніе произведетъ, натурально, крайнюю недовѣрку и сильно слѣдственно будетъ препятствовать къ собранію намъ, въ независимую ни отъ кого, кромѣ насъ, партію, надежныхъ и достойныхъ людей, на коихъ бы мы характеръ и на ихъ въ народѣ инфлюенцію полагаться могли. Если же нашу партію соберемъ изъ людей, кои почтенія въ націи не имѣютъ, то они намъ болѣе будутъ въ тягость, нежели въ пользу, не имѣя никакого кредита: и тако принуждены будемъ все дѣлать единственно силою. Изъ сего же произойдетъ, что

при первомъ случаѣ, при коемъ аттенція наша или силы отвращены будутъ въ другую сторону, то Польша, по безсилію только снося строгость нашего ига, тѣмъ воспользоваться захочетъ, дабы онаго избавиться... Изъясняя сіе, осмѣлюсь предложить, что наши интересы, на время какого-либо замѣшательства съ Портой, требуютъ, чтобы мы заранѣе въ Польшѣ внутренній порядокъ установили, дабы при надобности можно намъ было ей дать ту силу, которую заблагоразсудимъ... а иначе она намъ полезна быть не можетъ».

Послѣдствія осужденной Репнинымъ политики не замедлили сказаться. Замѣшательства въ Польшѣ склонили турокъ къ объявленію войны, которую Россія предвидѣла, но тщетно старалась предупредить—и должна была вести, не приготовившись, какъ слѣдуетъ. Екатерина не унывала: недостатокъ войскъ она восполнила знаменитымъ напоминаніемъ Румянцеву: «не спрашивали римляне, въ какомъ числѣ противъ нихъ непріятель, но гдѣ онъ». Румянцевъ оказался на высотѣ задачи: Ларга и Кагулъ выручили императрицу и оправдали претензіи русскихъ дипломатовъ. Но это были эффекты минуты, а годы проходили, и русскія войска, несмотря на блестящее начало, не могли двинуться отъ Дуная вглубь страны: не выручала и римская доблесть. Несмотря на это, предъявленныя нами къ Турціи требованія были очень высоки, и, вопреки собственному желанію заключить миръ, Порта тянула войну. Наконецъ, чтобы выйти изъ затруднительнаго положенія, Екатерина принуждена была пополнить итоги войны вознагражденіемъ отъ Польши и для этого пригласить къ участію въ дѣлежѣ другія сосѣднія державы. Такимъ образомъ, результатомъ злоупотребленія русской силой въ Польшѣ оказалась поспѣшная ликвидація польскаго вопроса европейскимъ концертомъ.

Ко времени открытія засѣданій коммиссіи объ Уложеніи, лѣтомъ 1767 года, о такомъ вынужденномъ исходѣ русскихъ дипломатическихъ побѣдъ въ Польшѣ никто еще не думалъ. Европа, казалось, преклонилась передъ неожиданнымъ откровеніемъ русскаго могущества. Внутри государства положеніе императрицы тоже окрѣпло. Послѣ крушенія брачнаго проекта Орловыхъ, вызвавшаго раздраженіе противъ нихъ въ средѣ гвардейскаго офицерства, Григорій Орловъ не могъ уже импонировать Екатеринѣ своимъ вліяніемъ на круги, возведшіе ее на престолъ. Претензіи Панина на власть были ловко устранены его приближеніемъ,—какъ Екатерина впослѣдствіи готова была посовѣтовать Людовику XVI поступить съ Лафайетомъ. Репутація просвѣщенной законодательницы, о которой мечтала Екатерина, была заранѣе обезпечена ей Вольтеромъ. Наконецъ, «довѣріе и любовь народа», которую Екатерина разсчитывала пріобрѣсти вниманіемъ къ «народному благу» и «справедливостью», оказывались традиціонной принадлежностью высокаго званія, которое она носила: Екатерина не знала сердиться ей или умиляться, когда во время путешествія деревенскія

бабы ставили передъ ней свѣчи, крестились и клали земные поклоны. Словомъ, значительная часть внѣшнихъ побужденій къ мудрому законодательству отпала какъ разъ къ тому времени, когда легкій успѣхъ началъ отвлекать вниманіе императрицы къ дѣламъ внѣшней политики. Дѣйствія Комиссіи открывались при этомъ новомъ настроеніи, очень не похожемъ на то, когда эта Комиссія была затѣяна.

Комиссія оказалась громоздкой, сложной и трудно управляемой машиной. Она дѣлала очень серьезное дѣло, и дѣлала его очень солидно; но это было не совсѣмъ то дѣло, для котораго прочила ее императрица. Настроеніе собранія оказалось очень дѣловое, и уровень дѣловой подготовки, пониманія собственныхъ интересовъ обнаружился очень высокій. Но за то идеологія была рѣдкимъ исключеніемъ среди членовъ. И однако же, вывести отсюда, какъ вывелъ сынъ маршала Комиссіи, Бибикова, что «умы большей части депутатовъ не были еще къ тому приготовлены и весьма далеки отъ той степени просвѣщенія и знанія, которая требовалась къ столь важному ихъ дѣлу», было бы совершенно несправедливо. Краткая характеристика споровъ и взглядовъ собранія намъ это покажетъ.

Первое, что насъ интересуетъ, когда мы раскрываемъ обстоятельные протоколы засѣданій Комиссіи,—это та роль, которую играла дворянская интеллигенція въ ея дѣятельности. Мы встрѣчаемъ, дѣйствительно, въ составѣ членовъ Комиссіи почти всѣ тѣ имена, съ которыми, семью годами раньше, мы встрѣтились на страницахъ первыхъ русскихъ журналовъ. Но насъ ждетъ большое разочарованіе: въ Комиссіи первая роль принадлежитъ совсѣмъ не этому цвѣту дворянской молодежи. Она держится крайне сдержанно, говоритъ рѣдко, въ принципіальныхъ вопросахъ бо́льшею частью молчитъ и какъ бы систематически избѣгаетъ высказываться. Ближайшее объясненіе можно искать въ томъ, что, занимая часто высокія придворныя и правительственныя должности, дворянская интеллигенція чувствуетъ себя въ Комиссіи, какъ дома, и уступаетъ мѣсто гостямъ. Но тутъ есть и другой оттѣнокъ. Столичные дѣятели, видимо, лучше посвящены въ закулисную исторію Комиссіи, выступаютъ, только когда это нужно по какимъ-нибудь особымъ соображеніямъ, и предоставляютъ провинціаламъ вести горячія принципіальныя пренія, отъ которыхъ все равно не ждутъ важныхъ практическихъ послѣдствій. Бываютъ, однако же, случаи, когда и они считаютъ нужнымъ высказаться и даже снисходятъ до полемики съ рядовыми членами собранія. Въ такихъ случаяхъ представители перваго русскаго интеллигентнаго поколѣнія разочаровываютъ насъ еще болѣе. Если они высказываютъ либеральныя мысли, почти всегда можно предположить, что они хотятъ быть угодными императрицѣ, или прямо исполняютъ ея секретное порученіе. Если же они говорятъ отъ себя, то ихъ рѣчи почти всегда сводятся къ осторожной защитѣ дворянскихъ притязаній во всей ихъ широтѣ. Время, очевидно, успѣло охладить

ихъ порывы: мы узнаемъ здѣсь поколѣніе, занимавшееся журналистикой для собственной забавы (см. предыдущій очеркъ) и внесшее въ отвлеченную теорію естественнаго права практическія поправки. Мы начинаемъ понимать, почему поколѣніе пятидесятыхъ годовъ не записало своихъ именъ въ исторіи русской общественности и совершенно исчезло изъ памяти потомства. Чтобы найти ихъ имена, надо перерыть словарь Новикова, записку Дмитревскаго: но и тамъ мы узнаемъ только, что всѣ эти камеръ-юнкеры и сановники когда-то въ своей молодости подавали надежды; объ исполненіи надеждъ не говорится ни слова.

Отказавшись отъ активной идейной пропаганды, они, однако, чувствуютъ неловкость передъ открытой защитой сословныхъ привилегій. Принципіальными и безусловными защитниками дворянства являются въ Комиссіи другіе люди, приближающіеся къ одному изъ двухъ крайнихъ типовъ: князя Щербатова, единственнаго теоретика аристократіи, съ жаромъ и знаніемъ полемизирующаго противъ афишированнаго либерализма императрицы, но въ тонъ ея тайнымъ симпатіямъ къ «древнимъ фамиліямъ»,—или закоренѣлаго провинціала Михайлы Глазова, который не можетъ говорить безъ брани и увеселяетъ собраніе своими яростными выходками и безтолковой аргументаціей.

Главное оживленіе и интересъ преніямъ придаетъ присутствіе въ собраніи многочисленной антидворянской группы городскихъ депутатовъ. Трудно сказать, насколько намѣренно, но этихъ представителей средняго рода людей оказалось въ коммиссіи больше, чѣмъ дворянскихъ депутатовъ (207 противъ 160). Дѣло шло для нихъ о самыхъ жизненныхъ интересахъ, затронутыхъ претензіями дворянства. Уже проектъ, выработанный предыдущей комиссіей, сильно стѣснялъ торгово-промышленный классъ въ пользу дворянства; теперь, изъ наказовъ и мнѣній екатерининскихъ депутатовъ городскіе депутаты «съ прискорбіемъ усмотрѣли, что русскому купечеству готовится большое отягощеніе», и приготовились къ серьезной борьбѣ. Сильный подъемъ промышленной жизни во время Екатерины (см. «Оч.», I, 86, 4 изд.) отчасти обострилъ, отчасти создалъ вновь антагонизмъ между торгово-промышленнымъ и земледѣльческимъ классомъ. Въ деревнѣ значительно развился отхожій промыселъ, кустарничество, скупка и перепродажа крестьянами-кулаками крестьянскихъ продуктовъ. Борьба шла здѣсь за роль скупщика, которую купцы хотѣли отнять у крестьянъ, а крестьяне—удержать за собой. Въ обратномъ направленіи, отъ города къ деревнѣ, развивалась посредническая роль мелочного торговца, по всѣмъ правамъ принадлежавшая купечеству, но постоянно ускользавшая отъ него, благодаря сельскимъ ходебщикамъ и ярмарочнымъ торговцамъ. Въ обоихъ случаяхъ завоевать посредническую роль въ торговлѣ *для крестьянъ*—являлось прямой выгодой для ихъ владѣльцевъ, облагавшихъ такихъ крестьянъ высокимъ оброкомъ или вкладывавшихъ въ ихъ торговлю собственный капиталъ. Понятно, почему дворянскіе депутаты, не ща-

дившіе красокъ для изображенія лѣности, распущенности и всевозможныхъ пороковъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, вдругъ становились ихъ горячими защитниками противъ нападеній купечества и начинали въ такихъ же яркихъ краскахъ, — даже съ «великимъ движеніемъ духа»—изображать печальное положеніе крестьянства. Существовалъ и другой пунктъ, на которомъ интересы дворянства и купечества сталкивались уже непосредственно. Какъ только фабричное производство начало приносить выгоды, появилась масса фабрикъ, основанныхъ помѣщиками и работавшихъ крѣпостнымъ трудомъ: петровской поссессіонной фабрикѣ помѣщичья крѣпостная фабрика грозила серьезнымъ подрывомъ. Вотъ почему въ вопросѣ о владѣніи фабриками загорѣлась особенно оживленная перестрѣлка въ Комиссіи. Обѣ стороны требовали запрещеній и не могли сойтись ни на какомъ компромиссѣ. Одно это обстоятельство располагало горожанъ къ постоянной и настойчивой оппозиціи противъ требованій дворянства.

Была еще группа въ коммиссіи, не такая многочисленная, какъ предыдущая, и не такая однородная по своимъ интересамъ: она занимала промежуточное положеніе, примыкая по разнымъ вопросамъ то къ той, то къ другой изъ предыдущихъ группъ. Это были однодворцы и другіе мелкіе служилые люди. Противъ дворянства ихъ настраивала претензія послѣднихъ—отгородиться высокой стѣной монаршаго пожалованія отъ массового вторженія въ дворянскую среду всевозможныхъ разночинцевъ путемъ выслуги чина. Но та же надежда сдѣлаться самимъ дворянами отчасти и сближала эту группу съ дворянствомъ. Противъ купечества ихъ возстановляло желаніе послѣдняго отобрать и у разночинцевъ всякіе торги и промыслы: разночинцамъ доходы отъ промышленныхъ занятій были, между тѣмъ, еще нужнѣе, чѣмъ крестьянамъ, такъ какъ здѣсь количество лицъ, потерявшихъ землю и принужденныхъ кормиться промыслами, было гораздо больше.

Въ одномъ только вопросѣ представители разныхъ сословій оказались единодушными между собой и согласными съ взглядами императрицы. Остзейскіе, финляндскіе, малороссійскіе и смоленскіе депутаты пріѣхали въ Комиссію съ твердымъ намѣреніемъ—не считать ея дѣла своимъ собственнымъ. «Блаженству всѣхъ и каждаго» они предпочитали сохраненіе старыхъ привилегій, укрѣпленныхъ за ними договорами, на основаніи которыхъ они присоединены были въ свое время къ Россіи. Екатерина ясно понимала, въ чемъ дѣло, и давно уже составила себѣ опредѣленный планъ дѣйствій. «Нарушить (привилегіи) отрѣшеніемъ всѣхъ вдругъ—весьма непристойно бы было, однакожъ и называть ихъ чужестранными... есть больше, нежели ошибка, а можно назвать съ достовѣрностію глупостью... Сіи провинціи надлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобы онѣ обрусѣли». Эти слова инструкціи генералъ-прокурору написаны въ 1764 г. Но въ Комиссіи Екатерина должна была говорить другимъ языкомъ. Она обидѣлась за

свои просвѣщенные принципы. «Чтобъ лифляндскіе законы лучше были, нежели наши будутъ,—тому статься нельзя; ибо наши правила само человѣколюбіе писало, а они правилъ показать не могутъ, и сверхъ того иныя ихъ узаконенія наполнены невѣжествами и варварствами. И такъ, предохраняя себя, торжественно они просятъ: мы хотимъ, чтобы насъ смертью казнили, мы просимъ пытокъ; мы просимъ, чтобъ отъ безпрерывной ябеды наши суды никогда не были окончены... Просвѣщенному свѣту останется судить о подобныхъ неистовствахъ». Такія мысли Екатерина распорядилась внушить въ Комиссіи «кому благопристойнѣе, а лучше, если бы былъ кто-нибудь изъ знати». Однако же, тонкая работа императрицы не понадобилась. Собраніе обидѣлось требованіями окраинныхъ депутатовъ не меньше императрицы, но выразило эту обиду грубѣе и откровеннѣе. «Побѣжденные» не должны имѣть преимущества надъ «побѣдителями»; а государь можетъ сдѣлать, что хочетъ; слѣдовательно, законы должны быть одинаковые для всѣхъ. Такова, въ главныхъ чертахъ, аргументація ораторовъ въ собраніи Екатерина не могла не почувствовать, какъ, тормозя всѣ планы ея, когда дѣло шло о политикѣ внутренней, депутаты готовы были развязать ей руки и идти сами дальше ея въ національномъ вопросѣ. Это было предвкушеніемъ того успѣха, который ожидалъ императрицу въ мнѣніи самого общества, какъ только свои мечты и усилія она перенесетъ въ область внѣшней политики.

Такова была та сложная среда, не приспособленная, быть можетъ, къ осуществленію задачъ Екатерины, но очень способная и готовая стремиться къ осуществленію своихъ собственныхъ. Разъ государыня «удостоила» депутатовъ «не только объявлять о своихъ нуждахъ, но и быть еще судьями разсматриваемыхъ общенародныхъ дѣлъ»,—они, конечно, не считали «возможнымъ гражданину умолкнуть». Но довольно естественно, что обсужденіе «общенародныхъ дѣлъ» они вели съ точки зрѣнія своихъ групповыхъ интересовъ. Это-то и лишило возможности императрицу и ея депутатовъ сговориться другъ съ другомъ.

Черезъ свою интеллигенцію императрица не разъ пыталась навести собраніе на обсужденіе интересовавшихъ ее вопросовъ: о пыткѣ и крѣпостномъ правѣ. Но первый вопросъ почти не нашелъ отклика среди депутатовъ, если только не считать нѣсколькихъ случайныхъ обмолвокъ провинціаловъ въ пользу тѣлесныхъ наказаній, что вызвало лишь рѣзкіе призывы къ порядку и ироническія напоминанія объ идеяхъ Наказа со стороны дворянской интеллигенціи. По вопросу о крѣпостномъ правѣ и объ ограниченіи помѣщичьей власти застрѣльщикомъ выступилъ тоже одинъ интеллигентный дворянинъ,—провинціалъ, но, какъ мнѣ кажется, инспирированный властью *). Въ пику дворянству, депутаты другихъ сословій отнеслись къ нему довольно сочувственно, но со

*) Коробьинъ, которому и потомъ Екатерина поручила защиту «правъ благородныхъ» и который голосовалъ часто вмѣстѣ съ дворянской интеллигенціей.

стороны дворянства поднялась такая буря, которая должна была еще разъ убѣдить Екатерину, что самыя скромныя попытки ея въ этомъ направленіи натолкнутся на самое упорное сопротивленіе. Екатерина сдѣлала, однако, еще попытку: въ проектъ о правахъ благородныхъ, выработанный частной коммиссіей, введено было глухое указаніе на возможность устройства новаго типа «свободныхъ деревень», которыя предполагалось снабдить разными льготами по правовому положенію. Но дворянство, и именно интеллигентное, на этотъ разъ предпочло не понять намека, дѣйствительно не особенно яснаго.

На разборѣ этого «проекта правъ благородныхъ» главныя сословныя группы собранія дали, наконецъ, другъ другу генеральное сраженіе, которое должно было наглядно доказать императрицѣ, что можно и чего нельзя добиться отъ Комиссіи. Уже первая попытка маршала—ограничить собраніе *суммарной* оцѣнкой проекта—вызвала протестъ со стороны обѣихъ боровшихся другъ съ другомъ группъ. Небольшая группа дворянъ-писателей и интеллигентовъ коротко, но рѣшительно попросила «времени на размышленіе». Представители разночинцевъ, интересы которыхъ особенно были задѣты проектомъ, еще настойчивѣе просили «дозволить: если оный (проектъ) сходствененъ съ положеніемъ нашего государства, *и что больше, ежели согласенъ съ естественнымъ разсужденіемъ* (изъ него разночинцы выводили требованіе о равенствѣ всѣхъ дворянъ!), то подтвердимъ и постановимъ оный непоколебимымъ; а если, напротивъ того, найдемъ въ немъ что-нибудь такое, которое для всего отечества и общаго спокойствія можетъ быть вредно, о томъ подать намъ свои примѣчанія». Маршалъ уступилъ, и рѣшительная борьба началась. Въ ней снова были подняты всѣ затруднительные вопросы и вновь возникли, вмѣстѣ съ ними, всѣ серьезныя разногласія, раздѣлявшія депутатовъ. Но теперь боровшіяся партіи сосчитались и выступали сплоченными группами. Интеллигентное дворянство, защищавшее привилегіи, выставило своимъ лидеромъ Алексѣя Нарышкина, извѣстнаго намъ сотрудника херасковскихъ журналовъ: за нимъ по всѣмъ вопросамъ, крупнымъ и мелкимъ, шла тѣсная группа въ 36 человѣкъ. Гораздо импозантнѣе были группы разночинцевъ и горожанъ, боровшіяся за доступъ въ дворянство и за охрану торгово-промышленной дѣятельности отъ дворянскихъ фабрикъ и крестьянскихъ кулаковъ. Не могло быть рѣчи о дальнѣйшемъ соглашеніи по существеннымъ вопросамъ въ собраніи, гдѣ численное преобладаніе принадлежало непримиримымъ противникамъ «правъ благородныхъ». Настроеніе этого большинства и невозможность идти съ нимъ въ желательномъ для правительства направленіи особенно ярко сказались въ исторіи одной баллотировки, которая по началу казалась совершенно случайной, а своимъ исходомъ, можетъ быть, оказала рѣшительное вліяніе на судьбу коммиссіи.

Въ засѣданіи 7-го августа 1768 г. дворянскій депутатъ кн. Иванъ Вяземскій выступилъ съ предложеніемъ, по внѣшности примирительнымъ.

Онъ находилъ, что проектъ дворянскихъ правъ ничего не отниметъ у тѣхъ, кто *въ данную минуту* чѣмъ-либо владѣетъ, что всѣ дослужившіеся «до сего времени» разночинцы, несомнѣнно, попадутъ въ дворяне и что остается ходатайствовать у императрицы о «разборѣ дворянства» и о составленіи общаго дворянскаго списка. Но въ понятіи интеллигентнаго дворянства «разборъ» соединялся съ разграниченіемъ дворянъ по разрядамъ и съ закрытіемъ дальнѣйшаго доступа къ дворянству. Предложеніе Вяземскаго, несомнѣнно, было инспирировано императрицей, но внесено было, какъ многія такія же внушенныя предложенія, такъ осторожно, что въ началѣ не возбудило ничьего особеннаго вниманія. Но это-то и оказалось опаснымъ для исхода предложенія. Въ концѣ слѣдующаго засѣданія, выслушавъ совершенно резонныя соображенія двухъ городскихъ депутатовъ, что составленіе списковъ есть дѣло герольдіи, что собраніе должно лишь установить *правила* полученія дворянства, а не заботиться о томъ, *кто* попадетъ въ дворянство и кто нѣтъ; что, наконецъ, предложеніе Вяземскаго явно двусмысленно и клонится къ устраненію чиновниковъ и офицеровъ отъ дворянства,—разночинцы и горожане большинствомъ 102 голосовъ противъ 18 провалили предложеніе Вяземскаго. Тогда въ слѣдующее засѣданіе явились отсутствовавшіе въ предыдущемъ члены интеллигентной дворянской группы и въ ихъ числѣ такіе рѣдкіе гости Комиссіи и близкіе люди императрицы, какъ Григорій Орловъ, Козицкій, Левъ Нарышкинъ. Предложеніе Вяземскаго было поставлено вновь, подъ тѣмъ неловкимъ предлогомъ, что герольдія требуетъ списковъ у Комиссіи, а Коммиссія сама не можетъ ихъ сообщить и должна всеподданнѣйше испросить ихъ у государыни. Подъ предложеніемъ Вяземскаго подписались 140 человѣкъ, въ томъ числѣ до десятка татаръ; новая баллотировка назначена была въ слѣдующее засѣданіе. Передъ баллотировкой маршалъ пригласилъ депутатовъ къ особому размышленію и «во время самой раздачи шаровъ не преминулъ паки напомянуть, чтобы тѣ клали шары на правую сторону, которые согласны съ Вяземскимъ». Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій и напоминаній нашлось всетаки 158 дерзкихъ смѣльчаковъ, которые предпочли лѣвую сторону правой. За Вяземскаго было подано 242 голоса.

Отсрочка засѣданій Комиссіи, четыре мѣсяца спустя, конечно, не стояла въ прямой связи съ только-что описаннымъ инцидентомъ. Изъ 160 дворянскихъ депутатовъ, 92 должны были отправиться къ дѣйствующей арміи, чѣмъ достаточно мотивировался перерывъ въ занятіяхъ Комиссіи. Но эпизодъ съ Вяземскимъ долженъ былъ показать, что Комиссія совсѣмъ не годится, какъ machine à voter. Какъ источникъ свѣдѣній о положеніи государства, «съ кѣмъ дѣло имѣемъ и о комъ пещись должно»,—она уже сдѣлала свое дѣло. Дѣловыми свѣдѣніями и рабочею силой депутатовъ гораздо удобнѣе было пользоваться въ многочисленныхъ частыхъ коммиссіяхъ, выбранныхъ «Большою». Такимъ образомъ, созывъ вновь Большой Комиссіи былъ бы только стѣсни-

теленъ для личной иниціативы императрицы, а мы знаемъ, что этой иниціативой она не имѣла желанія поступиться, особенно теперь, когда убѣдилась въ упорствѣ, съ какимъ различныя сословныя группы защищаютъ свои интересы. Эра «блаженства всѣхъ и каждаго» кончилась. Когда у Екатерины вернется вкусъ къ законодательству, она будетъ искать иныхъ авторитетовъ и поставить себѣ иныя, болѣе скромныя цѣли (см. 318 и слѣд.). Но она всегда будетъ помнить о неудачѣ своего «просвѣщеннаго» законодательства, когда обстоятельства столкнутъ ее съ прямыми проявленіями русской общественной самодѣятельности.

Кромѣ общихъ сочиненій Соловьева (томы XXV—XVIII или V и VI компактнаго изданія), Брикнера (Исторія Екатерины Второй, изд. А. Суворина, съ рисунками, Спб. 1885) и Бильбасова (два тома до 1764 года) см. также двухтомную характеристику личности Екатерины и ея сотрудниковъ: *K. Waliszewski.* Le roman d'une impératrice и Autour d'un thrône, Paris, 1894 (10-е изд. и 5-е изд.). По случаю столѣтняго юбилея появился рядъ характеристикъ, принадлежащихъ проф. *В. О. Ключевскому*, Императрица Екатерина II (Русская Мысль, 1896, XI); *В. С. Иконникову* (Значеніе царствованія Екатерины II, Кіевъ, 1897; стр. *его же* Страница изъ исторіи Екатерининскаго Наказа, объ отмѣнѣ пытки въ Россіи); *Г. Перетятковичу* (Значеніе царствованія Екатерины II въ русской исторіи, Одесса, 1897); *А. С. Лаппо-Данилевскому* (Очеркъ внутренней политики Екатерины II, Спб., 1898); *А. А. Кизеветтеру* (Историческое значеніе царствованія Екатерины Великой въ Образованіи, 1896, № 11). О современной французской литературѣ см. *Тэнъ*, Происхожденіе современной Франціи, т. I; *Лансонъ*, Исторія французской литературы, т. II, М. 1898; *Сорель*, Монтескье (два перевода подъ ред. Н. Карѣева и П. Виноградова); *Морлей*, Вольтеръ, перев. подъ ред. Кирпичникова, М. 1889 и *Штраусъ*, Вольтеръ, изд. «Книжнаго Дѣла», М. 1900. Собственноручныя замѣтки Екатерины до 1762 года изданы въ «Бумагахъ императрицы Екатерины II» академикомъ *Пекарскимъ*, т. I, Спб. 1871 (7-й томъ Сборника Русскаго Историческаго Общества); текстъ книги Беккаріа «О преступленіяхъ и наказаніяхъ», сопоставленъ съ текстомъ Наказа въ книгѣ *С. Заруднаго* (Б. о пр. и нак. Спб., 1879). Гравюра по случаю изданія Наказа издана въ Исторіи Екатерины Брикнера. Наказы депутатовъ Екатерининской Комиссіи напечатаны въ томахъ IV, VIII, XIV, XXXII, LXVIII и XCIII Сборника Русскаго Историческаго Общества. Протоколы засѣданій Большой Комиссіи—въ первыхъ половинахъ тѣхъ же томовъ (кромѣ послѣднихъ двухъ). Содержаніе дворянскихъ наказовъ изложено въ статьѣ С. Б(рюлловой), «Вѣст. Евр.», 1876, № 12: Общественные идеалы въ Екатерининскую эпоху. Болѣе подробное изложеніе дворянскихъ и городскихъ наказовъ, въ сопоставленіи съ законодательными мѣрами, см. въ «Законодательныхъ комиссіяхъ въ Россіи въ XVIII в.». *В. Н. Латкина*, т. I, Спб. 1887. Тамъ же и исторія предыдущихъ комиссій. Общая характеристика дѣятельности Комиссіи см. у *Сергѣевича*, Лекціи и изслѣдованія, Спб. 1883, и *Дитятина*, Екатерининская Комиссія, въ Статьяхъ по исторіи русскаго права, Спб. 1896. Отношеніе Екатерины къ крестьянскому вопросу см. въ Крестьянскомъ вопросѣ въ Россіи, *В. И. Семевскаго*, т. I, Спб. 1888. Внѣшняя политика Россіи въ началѣ царствованія Екатерины, 1762—1774, по русскимъ источникамъ, характеризована *Н. Д. Чечулинымъ*, Спб. 1896. Донесеніе князя Репнина см. въ Сборникѣ Русскаго Историческаго Общества т. LXXXVII (1893).

IV.

Характеръ второго фазиса просвѣтительной дѣятельности Екатерины.—Екатерина и европейское общественное мнѣніе этихъ годовъ.—Дидро, какъ его представитель.—Его впечатлѣнія въ Россіи; уклончивость объясненій Екатерины.—Его проектъ политической реформы.—Отношеніе его и Екатерины къ религіозному вопросу.—Ультиматумъ Дидро и общее впечатлѣніе императрицы.—Послѣдствія его для вопроса о переизданіи «Энциклопедіи» въ Петербургѣ.—Екатерина и русское общественное мнѣніе.—«Исправленіе нравовъ» занимаетъ мѣсто философскаго законодательства.—Попытка изданія нравовоспитательнаго журнала (Всякая Всячина).—Отношеніе къ нему общественнаго мнѣнія въ другихъ органахъ и полемика императрицы съ этими органами.—Соціальная сатира Трутня и отношеніе къ ней журнала Екатерины.—Споръ о границахъ, пріемахъ и цѣляхъ публицистики.—Нейтральная почва въ восхваленіи «древнихъ» добродѣтелей русскихъ и въ нападкахъ на французоманію.—Происхожденіе націоналистическаго протеста и каррикатурныхъ типовъ сатирическихъ журналовъ.—Новиковъ пробуетъ стать на почву націоналистической каррикатуры въ «Живописцѣ».—Неудачный опытъ восхваленія національныхъ добродѣтелей въ «Кошелькѣ».—Характеръ лучшихъ журналовъ 1769—1774 гг.—Роль публициста при Екатеринѣ.

Мы переходимъ теперь ко второму фазису въ развитіи просвѣтительныхъ идей Екатерининскаго времени. Передовая мысль Европы шагнула къ этому времени далеко впередъ сравнительно съ эпохой молодости Екатерины. Напротивъ, Екатерина успѣла «обжечь себѣ пальцы» на первыхъ опытахъ осуществленія идей своей молодости. «Духъ времени» ушелъ впередъ; духъ власти подался назадъ; такимъ образомъ разрушилась та кажущаяся гармонія между тѣмъ и другимъ, которою характеризовался первый періодъ дѣятельности Екатерины. Съ своимъ практическимъ умомъ, императрица очень скоро отдала себѣ ясный отчетъ въ этомъ внутреннемъ противорѣчіи принятой на себя роли. Но отдавать въ этомъ отчетъ другимъ, разумѣется, не могло входить въ ея планы. Такимъ образомъ, самой характерной чертой второго фазиса явилось *недоразумѣніе* во взаимныхъ отношеніяхъ общественнаго мнѣнія и власти. Общественное мнѣніе Европы ждало отъ Екатерины логическихъ выводовъ изъ первыхъ шаговъ ея реформаторской дѣятельности. Нарождавшееся общественное мнѣніе Россіи, призванное этими самыми шагами къ жизни и дѣятельности, только что собиралось заявить о себѣ. Оба оказались плохо освѣдомленными относительно истинныхъ намѣреній императрицы.

Результатомъ такого недоразумѣнія были первыя, болѣе или менѣе мягкія столкновенія императрицы съ общественнымъ мнѣніемъ. Одно изъ этихъ столкновеній—съ общественнымъ мнѣніемъ Европы, сохранялось, въ полномъ своемъ размѣрѣ, втайнѣ до самаго послѣдняго времени. Я разумѣю разговоры императрицы съ Дидро, настоящимъ депутатомъ отъ передовой Европы въ Петербургѣ. Другое столкновеніе, менѣе глубокое принципіально, но зато болѣе видное для всѣхъ и чувствительное для Екатерины,—произошло у себя дома, въ русской литературной семьѣ: оно было послѣдствіемъ попытки Екатерины—принять личное участіе въ русской журналистикѣ. Собственно хронологическій порядокъ обоихъ этихъ столкновеній былъ обратный сказанному (бесѣды съ Дидро—1773 г.; столкновеніе съ журналами—1769 г.); но мы нарушимъ на этотъ разъ хронологію и начнемъ съ болѣе принципіальнаго столкновенія, чтобы кончить болѣе жизненнымъ.

Не было человѣка въ Европѣ, болѣе способнаго выполнить единственную въ своемъ родѣ миссію—делегата европейской литературной республики при русской императрицѣ, чѣмъ Дидро. Надо было стоять въ самомъ центрѣ просвѣтительнаго движенія и сдѣлать свое имя символомъ этого движенія въ глазахъ друзей и враговъ; надо было имѣть за плечами шестьдесятъ лѣтъ и 28 томовъ «Энциклопедіи»—и при этомъ сберечь юношеское незнаніе людей и вѣру въ идеи, надо было обладать душевнымъ жаромъ и всѣми чарами увлекательной рѣчи и благородной прямоты обращенія: словомъ, надо было такъ полно и цѣльно слить свою личность съ великой цѣлью просвѣтительнаго движенія, какъ это было у Дидро, чтобы обезоружить житейскій скептицизмъ Екатерины и заставить ее выслушать все то, что, нѣсколько мѣсяцевъ подъ рядъ, отъ трехъ до пяти послѣ полудня, проповѣдывалъ ей Дидро въ своихъ монологахъ, иногда переходившихъ въ оживленные споры *). Надо отдать справедливость Екатеринѣ: она выдержала свою роль великолѣпно и ничѣмъ, ни однимъ жестомъ, ни однимъ словомъ не дала понять увлекающемуся философу, что передъ нимъ не совсѣмъ то лицо, которое онъ создалъ себѣ въ своемъ богатомъ воображеніи **). «Почему Россія управляется хуже Франціи?» спрашивалъ Екатерину ея собесѣдникъ, — и тотчасъ же отвѣчалъ самъ: «потому что свобода личности сведена здѣсь къ нулю, верховная власть слишкомъ еще сильна и естественныя права слишкомъ еще урѣзаны... Всякій произволъ дуренъ: я не исключаю и неограниченной власти добраго, твердаго, справедливаго и просвѣщен-

*) Собственно, Дидро прочелъ Екатеринѣ рядъ записокъ, иногда переходившихъ въ наброски и конспекты для устнаго изложенія.

**) «Я больше слушала его, чѣмъ говорила,—разсказывала Екатерина впослѣдствіи Сегюру;—кто засталъ бы насъ врасплохъ, могъ бы принять его за строгаго педагога, а меня за почтительную ученицу. Кажется, онъ и самъ такъ полагалъ». Задѣтое самолюбіе императрицы сказалось въ послѣдней фразѣ.

наго государя». — «Понимаете ли вы, что говорите съ неограниченнымъ государемъ», останавливала философа императрица. — «Да,—горячо подхватывалъ Дидро,—но съ государемъ справедливымъ, твердымъ и просвѣщеннымъ...» «Такой государь пріучаетъ уважать и любить *всякаго* государя; онъ отнимаетъ у націи право судить, хотѣть или не хотѣть... Одно изъ величайшихъ несчастій, которое можетъ случиться съ свободнымъ народомъ,—это два или три царствованія подрядъ въ духѣ просвѣщеннаго деспотизма. Три такихъ государя, какъ Елизавета (англійская), и англичане были бы нечувствительно порабощены надолго».—И Екатерина кончала щекотливый разговоръ двусмысленнымъ согласіемъ: «и я такъ думаю (je le crois)».

Четырнадцать лѣтъ спустя Екатеринѣ пришлось слушать болѣе ловкую свѣтскую лесть, обращавшуюся не къ «человѣку» въ ней, а къ «императрицѣ» и «женщинѣ». Патентованный куртизанъ, графъ Сегюръ, не могъ конечно, сдѣлать ошибки—смутить ее наивнымъ удивленіемъ передъ имъ же выдуманными качествами и поставить ее въ неловкое положеніе какого-то небывалаго и невѣроятнаго «чуда» на престолѣ. Съ такимъ собесѣдникомъ Екатеринѣ было легче установить взаимное пониманіе, и вдвоемъ они слегка, шутя вспомнили о непрактичномъ философѣ, навязывавшемъ императрицѣ свои безпочвенныя мечтанія *). Бѣдный философъ: онъ это предвидѣлъ и съ обычной своей прямотой самъ надъ собой шутилъ заранѣе. Было не совсѣмъ справедливо и совсѣмъ не великодушно ловить его на словѣ и отдѣлываться отъ его мечтаній простымъ повтореніемъ его же собственныхъ шутокъ. Если Екатерина замѣчала, что ея философъ говоритъ то какъ столѣтній старикъ, то какъ десятилѣтній ребенокъ,—то это вполнѣ объяснялось характеромъ Дидро: въ кабинетѣ императрицы, какъ въ кружкѣ парижскихъ друзей, онъ отдавалъ себя всего и рѣшительно не умѣлъ удержать въ себѣ ни малѣйшей мысли, которая пробѣгала въ его плодовитомъ мозгу: онъ сообщалъ «все, что приходило въ голову», и даже считалъ себя обязаннымъ дѣлать это передъ *своей* императрицей—давать ей всю свою мысль безъ прикрасъ, безъ обработки. Что-нибудь можетъ пригодиться ей изъ самыхъ бѣглыхъ намековъ, гово-

*) Въ разговорѣ съ Сегюромъ Екатерина арранжировала ходъ своихъ бесѣдъ съ Дидро такъ, какъ ей хотѣлось думать, что они происходили. Сперва она внимательно слушаетъ, потомъ сразу осаживаетъ философа эффектной репликой и— «я убѣждена, что съ тѣхъ поръ онъ смотрѣлъ на меня съ состраданіемъ, какъ на узкій и вульгарный умъ; онъ говорилъ со мной послѣ того лишь о литературѣ, а политика была исключена изъ нашихъ бесѣдъ». Dichtung и Wahrheit здѣсь, какъ часто у Екатерины,—безнадежно перемѣшаны; но ясно, что и крутой переломъ въ отношеніи къ ней Дидро и внезапная перемѣна содержанія ихъ бесѣдъ сильно преувеличены въ ея разсказѣ: это своего рода реваншъ за неудачную попытку покорить философа аффектированной простотой обращенія. Обиженная неудачей, императрица принимаетъ здѣсь, заднимъ числомъ, величественную позу, утѣшающую ея обиженное самолюбіе.

рилъ онъ; а если и ничего не пригодится, она узнаетъ «мѣру» философовъ и сократитъ себѣ трудъ знакомства со всѣмъ ихъ родомъ. И та знаменитая реплика Екатерины, которую она передала Сегюру,—о «все терпящей бумагѣ», на которой работаютъ философы, и «щекотливой человѣческой шкурѣ», на которой работаетъ императрица,—эта реплика теряетъ значительную часть своего эффекта, когда узнаемъ, что здѣсь лишь скопирована собственная скромная оцѣнка Дидро, нѣсколько разъ повторенная имъ передъ императрицей. «Ничего нѣтъ легче, какъ приводить въ порядокъ государство, лежа на подушкѣ. Тутъ все идетъ, какъ по маслу. А когда приходится приняться за самое дѣло, это уже нѣчто совсѣмъ другое». Или: «это своего рода забава для вашего величества—измѣрять разстояніе между философомъ-систематикомъ, который устраиваетъ благосостояніе обществу у себя на подушкѣ, и великой государыней, которая съ утра до вечера наталкивается, при попыткѣ осуществить малѣйшее благо, на всевозможныя препятствія, понимать которыя научаетъ лишь опытъ и которыя совсѣмъ не входятъ въ разсчеты бѣднаго философа». Въ бесѣдѣ съ Сегюромъ это сопоставленіе фантазера съ государственнымъ дѣятелемъ было, дѣйствительно, только «забавой»; но вообще говоря, тутъ примѣшивалось и то чувство, которое «бѣдный философъ» опять-таки самъ охарактеризовалъ всего лучше. «Когда нужно удалить отъ государей достойнаго человѣка, его выдаютъ за горячую голову, которая все можетъ перепутать».

Мы теперь сами можемъ прочесть эту тетрадку въ красномъ сафьянномъ переплетѣ, въ которой Дидро записалъ всѣ свои разговоры съ Екатериной и секретъ существованія которой императрица такъ хорошо сохранила. Философъ здѣсь, дѣйствительно, приходитъ въ отчаяніе отъ своего безсилія передъ русской дѣйствительностью. «Я принужденъ ограничиться общими взглядами, а между тѣмъ я такъ хорошо знаю, что общіе взгляды есть дѣло ординарныхъ людей, и самъ придаю значеніе лишь детальнымъ сужденіямъ, единственнымъ, которыя дѣльны и схватываютъ сущность дѣла». И онъ усиливается вникнуть въ русскую жизнь такъ глубоко, какъ это позволитъ ему императрица. Вождь «Энциклопедіи» слишкомъ много думалъ о соціальныхъ вопросахъ и слишкомъ хорошо знаетъ исторію,—настоящую культурную исторію собственной страны, чтобы нуждаться въ комментаріи къ тому что онъ видитъ вокругъ себя въ самомъ Петербургѣ. Этотъ городъ «дворцовъ», окруженныхъ пустырями, краснорѣчиво говоритъ ему объ обществѣ, которому не хватаетъ прежде всего организующаго, связующаго общественнаго цемента. Нужны не одни «дворцы»; нужны «улицы»—рядъ частныхъ домовъ городского промышленнаго населенія, которые связывали бы «дворцы» между собою. Нужно больше, какъ можно больше населенія, чтобы люди жили ближе, тѣснѣе другъ къ другу; тогда, какъ кремни, они отшлифуются другъ о друга и созда-

дутъ жилую общественную атмосферу. Теперь же, изолированные, разбросанные, они существуютъ каждый самъ по себѣ: въ результатѣ получается отсутствіе всякихъ обязательныхъ правилъ общежитія. Взаимнаго довѣрія не существуетъ; купцы продаютъ вдесятеро дороже свои товары въ кредитъ магнатамъ, рискуя большею частью ничего не получить въ уплату. Законъ остается на бумагѣ. Правосудіемъ торгуютъ открыто. Нѣтъ общественнаго контроля, нѣтъ и чувства равенства передъ закономъ, безсильнымъ защитить слабаго отъ сильнаго. Общество, только что пережившее политическій переворотъ, чувствуетъ себя такъ неувѣренно, какъ будто почва каждую минуту можетъ уйти у него изъ подъ ногъ. «Долговременная привычка къ гнету» создала общую сдержанность и недовѣріе,—какой-то осадокъ паническаго страха въ умахъ,—«полный контрастъ той благородной и честной прямотѣ, которая характеризируетъ свободный, возвышенный и увѣренный въ себѣ складъ ума француза или англичанина». Наконецъ, въ низшихъ классахъ совершенно отсутствуетъ то чувство самоуваженія, которое может быть создано только улучшеніемъ ихъ положенія, признаніемъ за ними права быть людьми, а не вещами. «Душа раба оподлена; не принадлежа самому себѣ, онъ не имѣетъ интереса о себѣ заботиться и живетъ въ грязи и нечистотѣ». «Это жилецъ, который запускаетъ непринадлежащую ему квартиру».

Эти личныя впечатлѣнія, изобличающія глубокаго и тонкаго наблюдателя, Дидро старается пополнить справками и разспросами. Онъ предъявляетъ Екатеринѣ длинный списокъ вопросовъ, на которые она даетъ себѣ трудъ сама отвѣтить, но отвѣчаетъ такъ, что свѣдѣнія Дидро о Россіи увеличиваются незначительно, и притомъ не особенно надежнымъ матеріаломъ. На вопросъ, предложенный такъ недавно самой Екатериной вольному экономическому обществу, «не имѣетъ ли дурныхъ послѣдствій неимѣніе собственности крестьянами»,—Екатерина теперь отвѣчаетъ болѣе чѣмъ уклончиво: «каждое государство имѣетъ свои недостатки, пороки и неудобства». Очень оптимистичнымъ, но совсѣмъ неубѣдительнымъ выходитъ отвѣтъ на прямой вопросъ Дидро, существуютъ ли опредѣленныя условія между помѣщиками и крестьянами? «Условій нѣтъ, но всякій благоразумный хозяинъ бережетъ корову, которую доитъ. Когда законъ молчитъ, естественный законъ занимаетъ его мѣсто,—и часто такое положеніе вещей оказывается не хуже, такъ какъ по крайней мѣрѣ оно создается естественнымъ путемъ, сообразно существу дѣла». Разъ только, отвѣчая на вопросъ о сословіяхъ въ Россіи, Екатерина увлекается и высказываетъ свое собственное настроеніе, вынесенное изъ опыта съ Комиссіей депутатовъ. Ей, очевидно, хочется тутъ убѣдить философа—стать на ея сторону во имя своихъ собственныхъ принциповъ. По ея словамъ, дворянство, горожане и крестьяне (духовенство здѣсь, какъ и въ своей Комиссіи, Екатерина игнорируетъ), «всѣ эти три класса людей, въ защиту своихъ

притязаній, потрясаютъ воздухъ самыми громкими словами: землевладѣлецъ взываетъ къ правамъ *собственности*; купецъ—къ правамъ *свободы*; народъ—къ правамъ *гуманности*». Послѣ этого любопытнаго, хотя не совсѣмъ спокойнаго резюме извѣстной уже намъ партійной борьбы въ Комиссіи, Екатерина развиваетъ собственную точку зрѣнія. «Чего особенно слѣдуетъ бояться—это увлечься духомъ партіи. Партійный духъ—это судья, который властвуетъ на просторѣ, пользуясь новизной просвѣщенія,—судья пристрастный, у котораго больше увѣренности, чѣмъ знанія; который упорно цѣпляется за то, что ему удается уловить въ потемкахъ, ни отъ чего не отказывается, потому что неспособенъ къ точному пониманію, и рѣдко позволяетъ себя переубѣдить, такъ какъ мнѣнія лишь тогда становятся гибкими, когда вытекаютъ изъ колебаній и когда питаются мыслью, а не темпераментомъ. Всякій законъ, изданный для *всей* націи, долженъ имѣть источникомъ *общее* благо; когда сила и невѣжество отдаляются отъ этого принципа, то получаются акты деспотизма и заблужденія, противъ которыхъ протестуютъ разумъ и справедливость: это дни бѣдствій, конца которыхъ люди ждутъ съ нетерпѣніемъ».

Зная, что за этой горячей тирадой противъ «партійнаго духа» немедленно послѣдовало дворянское законодательство Екатерины (Уложеніе о губерніяхъ 1775 г. и жалованная грамота дворянству 1785), можно спросить себя, что же это значитъ? Имѣемъ ли мы дѣло съ послѣднимъ воплемъ отчаянія передъ сознанной уже невозможностью законовъ для «общаго блага» и необходимостью партійнаго законодательства; или, наоборотъ, съ твердой увѣренностью, уцѣлѣвшей среди испытавій,—что «разумъ» и «справедливость» могутъ еще восторжествовать надъ «партійнымъ духомъ» господствующаго сословія, или, наконецъ, просто съ желаніемъ говорить съ философомъ на его языкѣ?

Не можетъ быть, конечно, чтобы Дидро вовсе ничего не зналъ о колебаніяхъ Екатерины. Кое-что про закулисную исторію Комиссіи долженъ былъ разсказать ему его спутникъ въ путешествіи и хозяинъ въ Петербургѣ, извѣстный намъ лидеръ интеллигентнаго дворянства, А. Нарышкинъ. Безъ этого трудно объяснить тотъ тревожный тонъ, съ которымъ Дидро проситъ Екатерину сдержать свои обѣщанія и продолжать свое покровительство Комиссіи. Противъ интригъ придворныхъ, противъ зависти, убѣжденій, просьбъ и клеветы онъ заклинаетъ ее остаться непреклонной. «Обѣщаніе,—а тѣмъ болѣе публичное обѣщаніе,—данное государемъ, должно быть священно». «Особенно пусть ваша собственная воля не нарушаетъ публичныхъ обязательствъ. Не подрывайте довѣрія, которое вамъ оказываютъ; иначе народъ перестанетъ вамъ вѣрить: оставьте недовѣріе народа въ удѣлъ другимъ государямъ, которые вызываютъ смѣхъ своими клятвами... Если скажутъ: Екатерина II никогда ничего не обѣщала, чего бы она не сдержала, то при равенствѣ величія вы будете имѣть надъ

прусскимъ королемъ преимущество честности и доброты». «Пусть в. в. не потерпитъ, чтобы засѣданія Комиссіи и ея дѣятельность, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, были потревожены, ея кругъ дѣйствій ограниченъ или расширенъ, ея прерогативы увеличены или уменьшены, ея привилегіи уничтожены, ея почетная роль ослаблена. Первый толчокъ къ упадку ея будетъ уже непоправимъ. Это великое зло, когда люди знаютъ, что можно нападать на Комиссію и нападать успѣшно».

О чемъ бы ни говорилъ Дидро,—о правѣ, экономіи, финансахъ, народномъ образованіи, успѣхахъ культуры вообще, о внѣшней политикѣ,—его мысль всегда возвращается къ судьбѣ Комиссіи. Онъ ненавидитъ войну, изъ года въ годъ отвлекающую мысли Екатерины отъ законодательства. Онъ хотѣлъ бы на ея «пирамидѣ» начертать «годъ первый» (царствованія Екатерины); а между тѣмъ, «драгоцѣнные годы текутъ,—и в. в. нѣтъ возможности заняться своими великими планами для блага страны». «Мнѣ не жаль людей: люди народятся вновь; не жаль и казны: казна наполнится, но кто вернетъ народу истекшіе годы? Вотъ истинная, невознаградимая потеря, которая приводитъ въ отчаяніе всѣхъ честныхъ людей въ Европѣ, вздыхающихъ по результатамъ первоначальныхъ намѣреній императрицы».

Ошибочно было бы думать, однако, что Дидро просто желаетъ возобновленія засѣданій Большой Екатерининской Комиссіи. Его мечты идутъ гораздо дальше: тутъ мы встрѣчаемся съ самой главной мыслью всѣхъ его разговоровъ съ императрицей. Исходя отъ факта созыва Комиссіи, который онъ понимаетъ, какъ «благородный актъ отказа государя отъ законодательной власти», Дидро горячо доказываетъ, что для прочности и полноты реформы Комиссію надо сдѣлать постоянной. «Если задачей императрицы было обезсмертить свое собственное имя, то эта цѣль достигнута». Чѣмъ хуже будутъ ея преемники, тѣмъ больше славы они прибавятъ Екатеринѣ. Но, конечно, *его* императрица думаетъ не о собственной славѣ, а о счастіи потомства. Въ такомъ случаѣ, она должна объ этомъ при себѣ позаботиться. «Петръ I и Екатерина—рѣдкія явленія; было бы безумствомъ разсчитывать на частое повтореніе такой милости неба». Въ государствѣ только одинъ дворецъ и кругомъ него 400.000 частныхъ домовъ: въ *одномъ* случаѣ изъ 400.000 дары генія упадутъ съ неба на дворецъ; въ остальныхъ они попадутъ мимо. Какъ во всякой семьѣ, между двумя хорошими членами здѣсь будетъ длинный рядъ злыхъ или глупыхъ; и даже въ хорошемъ государѣ, не часто совпадутъ всѣ хорошія свойства. Онъ можетъ быть добръ и образованъ, но слабъ и лѣнивъ; добръ, но не образованъ и т. д. Противъ всѣхъ такихъ возможностей необходимо заблаговременно принять мѣры, чтобы предотвратить ихъ вредныя послѣдствія. Для этого недостаточно созвать націю и составить законы. Законы суть писанная бумага; за ними должно стоять «физическое существо, постоянное, неизмѣнное, оно должно го-

ворить и дѣйствовать, тогда какъ мраморъ нѣмъ и непроченъ». Такимъ тѣломъ послужитъ Комиссія, если сдѣлать ее постоянной и дать право провинціямъ назначать туда и контролировать своихъ представителей.

«— Вы, значитъ, совѣтуете мнѣ устроить парламентъ на англійскій образецъ,—прерывала Екатерина въ этомъ мѣстѣ своего собесѣдника?

«— Если бы ваше величество могли создать его по мановенію волшебнаго жезла, то я думаю, завтра онъ уже существовалъ бы», отвѣтилъ Дидро.

Нѣтъ, это не былъ бы англійскій парламентъ. Даже превращенная въ постоянное представительное учрежденіе, Комиссія «никогда не могла бы получить такой силы; развѣ только при отдаленныхъ потомкахъ, она пріобрѣла бы недостатки и преимущества англійскаго парламента». Но Дидро не желалъ бы видѣть русскую Комиссію и такою слабою, какъ французскій судебный парламентъ. Онъ подробно объясняетъ Екатеринѣ историческія причины безсилія французскаго парламента,—чтобы она могла устранить эти причины изъ своего законодательства. Русской Комиссіи онъ желалъ бы «дать всю ту прочность и организацію, какія совмѣстимы съ общественнымъ спокойствіемъ».

Отъ власти зависитъ, какую часть верховныхъ правъ она передастъ будущей постоянной Комиссіи. Но отчужденныя разъ въ ея пользу права—необходимо оградить отъ произвола преемниковъ. Пусть Комиссія не вмѣшивается ни въ военныя дѣла, ни въ иностранную политику, ни въ финансы; пусть она только охраняетъ существующіе законы и подготовляетъ новые. Пусть она, однако, имѣетъ право петицій, и пусть тѣ петиціи Комиссіи, важность которыхъ для общественнаго блага будетъ доказана повтореніемъ ихъ, обязательно будутъ удовлетворяемы.

Дидро съ энтузіазмомъ перечисляетъ всѣ тѣ преимущества, которыя такое учрежденіе доставитъ самой верховной власти, — въ томъ числѣ и возможность для нея стать съ помощью Комиссіи выше «партійнаго духа» сильныхъ членовъ общества, не рискуя подвергнуться личной опасности съ ихъ стороны. Онъ доказываетъ, далѣе, полную безвредность Комиссіи для верховной власти. «Словомъ,—заключаетъ онъ,—если даже это учрежденіе будетъ однимъ только призракомъ свободы, оно все-таки будетъ имѣть вліяніе на національный духъ: нужно, чтобы народъ или былъ свободенъ,—что, конечно, самое лучшее,—или по крайней мѣрѣ чтобы считалъ себя свободнымъ, такъ какъ такая увѣренность влечетъ за собою самые цѣнные результаты. Пусть же в. в. создастъ эту великую реальность или великій фантомъ, пусть сдѣлаетъ его настолько великолѣпнымъ, блестящимъ, почетнымъ какъ только сможетъ, и пусть будетъ увѣрено, что можно стѣснить, но никакъ нельзя заковать въ оковы ребенка, который родится на свѣтъ съ четырьмя стами тысячами рукъ. О Монтескье, зачѣмъ не

ты на моемъ мѣстѣ! Какъ бы ты говорилъ! Какъ бы тебѣ отвѣчали! Какъ бы ты слушалъ! Какъ бы выслушали тебя!»

Дидро тоже былъ выслушанъ и получилъ отвѣтъ. Мы можемъ судить о содержаніи этого отвѣта по его дальнѣйшей репликѣ. Ему поставили, очевидно, на видъ, что даже такой «фантомъ» представительства, какимъ онъ ограничилъ свои мечты, не могъ бы быть осуществленъ въ виду полнаго равнодушія населенія къ какому бы то ни было представительству. Ему указанъ былъ тотъ несомнѣнный фактъ, что въ то время, какъ онъ требовалъ увѣковѣченія Комиссіи,—депутатамъ самой Комиссіи даже и немногіе мѣсяцы ихъ засѣданій казались черезчуръ долгими, и они спѣшили разъѣхаться по домамъ. Дѣйствительно, въ каждомъ почти засѣданіи Комиссіи находились депутаты, которые пользовались предоставленнымъ имъ правомъ сдать свое полномочіе товарищамъ. Дидро не могъ знать, что эти факты допускали и другое толкованіе. Онъ былъ, очевидно, сильно огорченъ неожиданнымъ возраженіемъ; но и тутъ не подумалъ отступиться отъ самой идеи постояннаго представительства. Онъ только видоизмѣчилъ свое прежнее предложеніе. «Въ виду равнодушія членовъ Комиссіи», онъ предлагалъ теперь уменьшить число представителей, сдѣлать представителями провинцій чиновниковъ коллегій, какъ постоянныхъ жителей столицы. Каждый изъ нихъ могъ представлять одинаковое количество провинцій и обязывался справляться съ ихъ мнѣніемъ въ важныхъ случаяхъ. Во всякое время провинція сохраняла право послать въ Петербургъ настоящаго представителя, къ которому и переходилъ тотчасъ же голосъ соотвѣтствующаго постояннаго резидента. Мы видимъ, что при глубокой вѣрѣ въ принципъ, у Дидро не было недостатка въ готовности пожертвовать самыми существенными чертами своего идеала, чтобы приблизить моментъ его практическаго осуществленія. Но ни готовность къ практическому компромиссу, ни ясное пониманіе политической дѣйствительности собственной страны, ни тонкія наблюденія надъ положеніемъ самой Екатерины во внѣшней политикѣ, ни даже совпадавшіе съ собственными взглядами Екатерины совѣты—обезвредить вельможъ наградами, ввести въ Россіи вездѣсущую французскую полицію (чтобы обезпечить силу закона) и др.,—ничто не спасло Дидро отъ репутаціи празднаго фантазера. Мы увидимъ, однако, что предложеніе его относительно Комиссіи не прошло безслѣдно (стр. 332)

Нельзя пройти молчаніемъ еще одну сторону разговоровъ Дидро съ Екатериной,—ут которая касалась вопросовъ религіозныхъ. Въ религіи, какъ въ политикѣ, Дидро старался дать понять императрицѣ, что она отстала отъ передовыхъ взглядовъ европейскихъ «философовъ». Вольтеровскій деизмъ уже не удовлетворялъ энциклопедистовъ. «Деистъ отрѣзалъ у гидры дюжину головъ, но изъ той, которую онъ оставилъ, возродятся вновь всѣ остальныя». Деисты продолжаютъ спорить между собой о предопредѣленіи и о свободной волѣ, о безсмертіи души и за-

гробныхъ мукахъ. Самые просвѣщенные изъ нихъ допускаютъ, что высшее существо можетъ сердиться и успокоиваться. Но такому существу нуженъ культъ; его нельзя, какъ боговъ Эпикура, сослать въ надзвѣздную пустоту и усыпить въ полномъ бездѣйствіи. Все это служитъ новымъ источникомъ старыхъ явленій, столь знакомыхъ и столь ненавистныхъ философу: нетерпимости и суевѣрія. Такъ, въ рукахъ у деиста вновь выростаютъ отрубленныя головы старой католической гидры. Различіе терпимости и вѣры отъ нетерпимости и суевѣрія изъ принципіальнаго превращается при этомъ въ случайное и условное, изъ качественнаго—въ количественное. Терпимость оказывается просто временнымъ оружіемъ слабыхъ, пока они не станутъ сильны. Вѣра, по словамъ Гоббса, становится тѣмъ же «суевѣріемъ, разрѣшеннымъ закономъ», а суевѣріе—той же «вѣрой, запрещенной закономъ».

Екатерина не хотѣла слушать. О Богѣ и о прусскомъ королѣ она запрещала Дидро разговаривать съ ней. Но философъ не унимался. Пусть такъ, пусть религія нужна ей, какъ политическое средство: но онъ будетъ доказывать, что это плохая политика для монарха—признавать власть выше себя, и что единственной правильной политикой было бы «свести богословіе къ двумъ страничкамъ и держать поповъ въ приниженіи и невѣжествѣ». Чѣмъ святѣе и образованнѣе духовенство, тѣмъ оно опаснѣе для государства.

Какъ должна была смѣяться про себя Екатерина, когда французскій мыслитель горячился передъ ней по этому поводу! Разъ въ своей жизни, въ самомъ началѣ царствованія, она, дѣйствительно, подъ вліяніемъ Вольтера, сдѣлала faux pas, начавъ сурово преслѣдовать несговорчиваго русскаго архіерея, Арсенія Мацѣевича. Но съ тѣхъ поръ она успѣла убѣдиться, что ей нечего заботиться о приниженіи и невѣжествѣ русскаго духовенства. Напротивъ,—принять совѣты философа и не сказать ни слова о Богѣ въ будущемъ уложеніи, начать свой Наказъ, вмѣсто молитвеннаго обращенія, теоріей общественнаго договора и признаніемъ народнаго верховенства,—вотъ гдѣ заключалась настоящая опасность для Екатерины.

Вернувшись за границу, Дидро написалъ новыя «замѣтки по поводу Наказа», въ которыхъ гораздо рѣзче, чѣмъ въ читанныхъ передъ Екатериной запискахъ, подчеркивалъ принципіальную сторону своихъ политическихъ и философскихъ воззрѣній. Екатерина или не знала, или игнорировала этотъ ультиматумъ философа, ставившаго теперь ребромъ вопросъ: хочетъ ли она искренно, или вовсе не хочетъ отречься отъ своего деспотизма. Можно подозрѣвать, что на этотъ—или подобный—документъ Екатерина отвѣтила вопросомъ, переданнымъ Дидро черезъ Гримма (1776): «Въ своемъ ли умѣ онъ былъ, когда писалъ это?» Во всякомъ случаѣ, мы знаемъ отзывъ Екатерины о «замѣткахъ», прочтенныхъ ею послѣ смерти философа (1784) въ его бумагахъ: «Это болтовня,

не обнаруживающая ни знанія дѣла, ни проницательности, ни благоразумія». Однако же, въ этомъ наброскѣ ничего не было, что не было бы высказано въ болѣе мягкой формѣ во время бесѣдъ Дидро съ Екатериной. И, конечно, уже эти бесѣды должны были показать Екатеринѣ, куда ведутъ послѣдовательные выводы изъ теорій ея старыхъ авторитетовъ, Монтескьё и Вольтера. Обезоруженная наивностью философа и привлекательностью личныхъ сношеній, Екатерина могла продлить до конца его иллюзію; но она вовсе не хотѣла, чтобы его идеи распространялись въ русской публикѣ. Этимъ объясняется неудача того практическаго предложенія, съ которымъ Дидро пріѣхалъ въ Россію. Увлекшись личными сношеніями съ императрицей, философъ отложилъ это свое собственное дѣло до конца: «мое поведеніе стало отъ этого болѣе достойнымъ и возвышеннымъ», замѣчалъ онъ въ одномъ интимномъ письмѣ. Но мнительному философу нечего было краснѣть за то предложеніе, съ которымъ онъ намѣревался обратиться къ Екатеринѣ. Когда-то прежде, всего девять дней послѣ воцаренія, Екатерина сама предложила Дидро перенести въ Россію печатаніе Энциклопедіи, которую преслѣдовали и уродовали въ Парижѣ. Теперь, доведя искаженное изданіе до конца (1772), Дидро предлагалъ Екатеринѣ издать въ Россіи новое изданіе, исправленное и улучшенное, гдѣ онъ думалъ возстановить всѣ пропуски и искаженія цензоровъ и издателей. Въ матеріальномъ отношеніи предпріятіе обѣщало блестящій и вѣрный успѣхъ; Дидро просилъ только 40.000 р. аванса, чтобы имѣть возможность начать дѣло. Екатерина отослала его къ Бецкому, который затянулъ переговоры, велъ себя «сфинксомъ», послѣ долгихъ проволочекъ отказалъ, потомъ, какъ будто подъ давленіемъ императрицы, согласился, потомъ отказалъ окончательно. Чтобы понять секретъ этой комедіи, философъ долженъ былъ бы знать, что Екатерина даже свой собственный Наказъ, казавшійся ему такимъ умѣреннымъ и отсталымъ сравнительно съ передовой мыслью энциклопедистовъ, разрѣшила имѣть только въ присутственныхъ мѣстахъ «единственно для свѣдѣнія однихъ тѣхъ мѣстъ, и чтобы оный никому, ни изъ нижнихъ канцелярскихъ служителей, ни изъ постороннихъ не только для списыванія, но ниже для прочтенія даванъ не былъ» (1767).

Только что приведенная цитата какъ нельзя лучше подчеркиваетъ ту огромную разницу, какая существовала въ положеніи европейскаго и русскаго общественнаго мнѣнія относительно Екатерины и ея просвѣтительной дѣятельности. Судъ и критика существовали для Екатерины только въ Европѣ; и тутъ она принимала всевозможныя мѣры, чтобы повліять на приговоръ. Въ Россіи роли мѣнялись. Судьей была здѣсь сама она,—она одна. Общество было подсудимымъ, призваннымъ выслушать надъ собою строгій, но справедливый приговоръ. Поведеніе депутатовъ въ Коммиссіи явилось непредвидѣнной помѣхой, обнаружило обстоятельства, не зависящія отъ личной воли императрицы. Но это

нисколько не нарушило цѣльности и стройности взгляда Екатерины на свои задачи. Даже напротивъ: Екатерина должна была утвердиться въ своемъ исходномъ убѣжденіи, что она одна противъ всѣхъ. Всѣ проникнуты «духомъ партій»; она одна стремится къ «общему благу». «Люди глупы и неблагодарны; они сами не понимаютъ, въ чемъ ихъ прямое добро состоитъ». Но что же изъ этого? «Человѣкъ, старающійся дѣлать или добро, или великія дѣла для того, чтобы заслужить отъ своихъ согражданъ благодарность, и узнавъ послѣ, что они непризнательны и глупы,—для сей одной причины теряющій бодрость духа и охоту подавать имъ всякаго рода помощь въ ихъ недостаткахъ,—конечно ошибается въ своемъ предметѣ... Для великой души трудъ, ею пріемлемый, есть путь, не зависящій ни отъ какихъ постороннихъ приключеній и препятствій. Прямая великость души состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать добро для того, что оно есть добро, а не для того, что люди суть благодарны; слѣдовательно, и не переставать дѣлать добра для того, что люди суть неблагодарны... Потомство не будетъ страстно; оно разберетъ, оно справедливо судить будетъ» («Всякая Всячина»). Итакъ, Екатерина будетъ «тверда»: «встрѣчающіяся бури» лишь заставятъ ее перемѣнить тактику и сдѣлаются «способами ко пріобрѣтенію новыя славы».

«Когда я отчаиваюсь разрушить что-либо прямо, противъ того я веду подкопъ», такъ выразилась Екатерина въ разговорѣ съ Дидро, говоря о томъ же самомъ: о «препятствіяхъ» на пути къ «ясно сознанной ею цѣли». На языкѣ тогдашней теоріи это можно бы было выразить такъ. Если я не могла осчастливить человѣчество новыми законами, то, очевидно, потому, что законы зависятъ отъ «нравовъ», отъ «народнаго умоначертанія». Слѣдовательно надо начать съ другого конца: съ «исправленія нравовъ». Такова, навѣрное, была *логическая* нить (*только* о ней мы здѣсь говоримъ), приведшая Екатерину отъ идей ея Наказа къ ея опытамъ воспитанія «новой расы людей» и къ ея попыткамъ дѣйствовать на русскіе «нравы» путемъ публицистики и театра. Это были тѣ «мины», о которыхъ императрица говорила Дидро.

Судьбу педагогическихъ опытовъ Екатерины мы уже знаемъ (Оч. II, 314—318). Судьба ея публицистическихъ попытокъ для насъ особенно интересна въ этомъ мѣстѣ, такъ какъ здѣсь ожидала Екатерину неудача совсѣмъ особаго рода, вовсе не походившая на тотъ «партійный духъ» депутатовъ Большой Коммиссіи, который оказался въ ея глазахъ непреодолимымъ препятствіемъ къ «общему благу». Оказалось, именно, что не только одинъ вождь энциклопедистовъ ушелъ дальше императрицы въ своихъ мечтаніяхъ объ «общемъ благѣ». Въ томъ же направленіи пошли и обогнали Екатерину на открытомъ ею пути—ея собственные «глупые и неблагодарные сограждане».

Въ 1769 году началъ выходить еженедѣльный листокъ «Всякая Всячина». Въ литературныхъ кругахъ было извѣстно, что редакто-

ромъ состоитъ секретарь императрицы Козицкій; болѣе догадливые должны были скоро понять, что руководитъ журналомъ сама Екатерина.

Съ самаго начала журналъ взялъ тонъ, совсѣмъ необычный для простыхъ литераторовъ. Редакція объявила на первыхъ страницахъ, что попреки читателей для нея безразличны, что «никакая препона не можетъ отвратить (ее) отъ великаго предпріятія»; что она не нуждается въ деньгахъ, такъ какъ «доходъ ея» «есть дань, наложенная на людей, кои работаютъ въ потѣ лица своего»; про саму себя она шутливо утверждала, что она «умна» и что у ней «сердце доброе»; относительно читателя напередъ замѣчала, что «глухимъ трудно слышать проповѣди»; но, впрочемъ, великодушно прибавляла при этомъ: «Я не уничтожаю никакого человѣка, ибо уничтожая онаго, я-бъ самъ себя уничтожилъ; понеже я самъ есмь человѣкъ равный ему во всемъ». Еще откровеннѣе «Всякая Всячина» третируетъ свысока своихъ читателей въ заключительныхъ строкахъ журнала: «Прощайте, господа; я съ великимъ терпѣніемъ часто слушалъ всѣ ваши осужденія и смѣялся отъ чистаго сердца всему тому, за что другой бы сердился, и не перестал писать, пока мнѣ самому не вздумалось окончить Всякія Всячины: и сію оканчивая, объявляю вамъ, что я пріемлю другое ремесло, гдѣ достанутся отъ меня многимъ щедрыя милости».

Взявъ сразу этотъ тонъ — благодѣтеля человѣчества, Всякая Всячина выдерживаетъ его въ теченіе всего времени изданія. Екатерина— невысокаго мнѣнія о своей публикѣ; она выступаетъ передъ ней въ своемъ обыкновенномъ домашнемъ нарядѣ, съ обычнымъ настроеніемъ своихъ досужныхъ часовъ. Ея статьи въ журналѣ—это та же небрежная болтовня, съ тѣмъ же parti pris веселости, подчасъ напускной, и остроумія, черезчуръ тяжеловѣснаго, съ тѣмъ же недостаткомъ литературнаго вкуса и чувства мѣры, тѣмъ же «разстеганнымъ» стилемъ и «прыгающими» мыслями, которыми отличается ея интимная корресподенція. Нѣтъ только тѣхъ яркихъ и мѣткихъ образныхъ выраженій, которыя какъ то сами собой, невзначай, выскакиваютъ изъ ея головы и стекаютъ съ пера въ ея французской рѣчи. Получается въ итогѣ претенціозный и блѣдный стиль, слишкомъ натянутый, чтобы быть живымъ и остроумнымъ, слишкомъ прѣсный и поверхностный, чтобы быть поучительнымъ*). Однако, редакція «не вѣритъ», что у нея выходитъ «не смѣшно, но глупо»,—и готовится одерживать педаго-

*) На этотъ стиль намекалъ, вѣроятно, Новиковъ въ своемъ Живописцѣ. «Тутъ найдешь писателя, старающагося забавлять разумъ своими сочиненіями, но увидишь, что онъ производитъ скуку, а смѣется только самъ—бѣдный авторъ! Въ другомъ мѣстѣ увидишь нравоучителя, порицающаго всѣхъ критиковъ и утверждающаго, что сатиры ожесточаютъ только нравы, а исправляютъ—нравоученія; но читатель ему отвѣтствуетъ: ты пишешь такъ сухо, что я никогда не имѣю терпѣнія читать твоихъ сочиненій—бѣдный авторъ!» Рѣзкость этихъ характеристикъ смягчалась, правда, тѣмъ, что онѣ могли относиться не къ одной только Всякой Всячинѣ.

гическія побѣды. Напечатавъ, уже въ январѣ, «усердное поздравленіе»—самой себѣ—съ тѣмъ, что «листки ваши, *каковыми впредь ни будутъ*, конечно, останутся отечеству полезными и достопамятными навѣки, ибо такихъ правдъ, *какія вы намъ обѣщаете*, у насъ еще не бывало»,—редакція торжествующимъ тономъ прибавляетъ отъ себя: «Сіе письмо доказываетъ великое уваженіе, кое Всякая Всячина зачинаетъ имѣти въ людяхъ: отъ чего мы сочинители уже часъ отъ часу начинаемъ ходить прямѣе и скоро уже принуждены будемъ нѣсколько загнуть спинную кость назадъ». «Великое уваженіе» читателей затѣмъ быстро прогрессируетъ на страницахъ журнала. Корресподенты Всякой Всячины скоро находятъ неуважительнымъ обращаться къ редактору просто «господинъ сочинитель». «По причинѣ полезныхъ наставленій», они пишутъ: «г. наставникъ» или «г. нравоучитель», и не забываютъ въ каждомъ письмѣ сообщить объ успѣхахъ журнала среди публики. Полушутя, полусерьезно, Всякая Всячина объявляетъ, наконецъ, по поводу одного изъ такихъ писемъ,—совершенно въ стилѣ Наказа: «мы не сомнѣваемся о скоромъ исправленіи нравовъ, и ожидаемъ немедленнаго искорененія всѣхъ пороковъ; ибо уже начали твердить наизусть Всякую Всячину, что вышеписаннымъ письмомъ доказывается. Сочинитель онаго важность нашего труда совершенно узналъ, что мы ему чрезъ сіе торжественно объявляемъ».

Увы, лавры Всякой Всячины оспаривали у ней съ полдюжины другихъ журналовъ, появившихся немедленно вслѣдъ за нею *). Екатерина поспѣшила поставить ихъ на почтительное разстояніе отъ своего журнала. «Государыня моя госпожа Всякая Всячина», привѣтствовалъ ее журналъ Чулкова; «не погнѣвайся на меня, что я наименую тебя родною моею сестрою и сестрою еще большою или старшею, для того что ты прежде вышла на свѣтъ изъ природной утробы, и прошу въ томъ извиненія, что я причитаюсь къ тебѣ роднею. Ты родилась на Парнасѣ, да и я неподалеку оттуда; тебя производила муза, да и меня, я думаю, та же; слѣдовательно, близки мы такъ другъ къ другу, какъ солнце къ огню, которые (одинаково) грѣютъ и освѣщаютъ»... Эта смиренная по формѣ декларація правъ на литературное равенство задѣла Екатерину за живое. Всякая Всячина обидѣлась и жаловалась, что «И то и сіо» обращается съ ней «безо всякаго почтенія». Императрица, очевидно, вовсе не хотѣла панибратства съ собратьями по оружію и на первый разъ объявила себя не «сестрой», хотя бы и старшей, а развѣ только «бабушкой» прочихъ журналовъ: Это сразу отравило взаимныя отношенія. Журналъ Рубана рѣшительно отвѣчалъ: «мы, бабушка, тебѣ хотя и внучки, однако уже на возрастѣ». А Смѣсь прибавила, что

*) И то и сіо—Чулкова; Ни то ни сіо—Рубана; Смѣсь; Трутень—Новикова; Адская почта—Эмина; Поденьщина—Тувова; Полезное съ пріятнымъ—«упражненіе» при сухопутномъ корпусѣ: все это журналы, издававшіеся только въ томъ же 1769 г.

«послѣдніе внучата поразумнѣе бабушки». Затѣмъ журналы довольно единодушно рѣшили, что «бабушка выжила изъ ума», и принялись усердно слѣдить за ея промахами. Въ концѣ концовъ и Чулковъ напечаталъ у себя, на этотъ разъ уже дѣйствительно «безо всякаго почтенія», слѣдующую ядовитую пародію на редакціонные пріемы Всякой Всячины. «Г. Сочинитель и Того Сего, сочиненіе ваше похваляется во всякомъ углу С.-Петербурга, слава его носится по многимъ домамъ и по рынку. Всѣ незнающіе другихъ языковъ люди (Всякую Всячину обвиняли въ литературной кражѣ изъ Спектетора) благодарятъ васъ отъ искренняго сердца, выключая нѣкоторыхъ полуученыхъ писателей; они одни сочиненіемъ вашимъ издѣваются, но... и они подвержены равной съ вами участи. Люди бываютъ иногда столько неблагодарны, что пересмѣхаютъ и то, что производитъ земля для нашего удовольствія... Сердце мое наполняется сладостію, когда прекрасная Аврора показываетъ свой носъ на нашемъ горизонтѣ, и крылатое время, шествуя предъ нею, пишетъ надъ нами «Вторникъ». Я открываю мои глаза и устремляю мои мысли единственно только къ одному вашему сочиненію... Великость вашего духа, важные замыслы, красота въ велерѣчіи, искусство въ изъясненіяхъ... заслонятъ дорогу дыханію... Часъ отъ часу дѣлаюсь я премудрѣе, и нынѣ уже разсуждаю со слугами моими о коловратности свѣта... О великій человѣкъ сочинитель и Того и Сего! Ежели бы мы не имѣли счастія видѣть твой еженедѣльникъ, то бы мы и донынѣ сидѣли въ безднѣ заблужденія, были бы грубыми невѣждами, и не умѣли бы отличить худое отъ хорошаго... О великій человѣкъ сочинитель и Того и Сего!.. Ты исправилъ грубые наши нравы и доказалъ намъ, что надобно обѣдать тогда, когда ѣсть захочется. Твоя философія научила насъ и тому, что ежели кто не имѣетъ лошади, то тотъ непремѣнно пѣшкомъ ходити долженъ. О великій и т. д., гдѣ мнѣ тебя поставить и куда тебя спрятать? Спряталъ бы я тебя въ хорошую библіотеку, но ты зачнешь переводить различныхъ авторовъ и будешь выдавать сочиненія ихъ подъ своимъ именемъ... Спряталъ бы я тебя на Парнассѣ, но ты высокомѣренъ, презришь свою Музу... и заставишь ее вѣчно плакать... Спряталъ бы я тебя въ обществѣ молодыхъ нашихъ сочинителей; но то бѣда, что съ ними ты не соглашаешься, идешь своею дорогой и не требуешь изъ нихъ ни одного себѣ въ путеводители—по причинѣ той, что они сами не выбираютъ себѣ никого въ проводники... Добро,—оставайся ты на своемъ мѣстѣ, безъ большой заслуги не требуй большаго воздаянія, безъ великаго успѣха не ищи великой славы, безъ ежечаснаго труда не желай ежечасной похвалы, будь доволенъ твоею участью и не пекись о томъ, чтобы слава твоя гремѣла повсюду. Сочиненіе твое есть произведеніе слабаго ума для слабыхъ умовъ; но и въ другихъ, мы видимъ,—не граціи танцуютъ, но сельскія дѣвки по русски пляшутъ».

Это было жестоко; но это было еще не все, что пришлось выслу-

шать Екатеринѣ отъ своихъ собратьевъ—или, какъ она предпочитала ихъ называть,—внуковъ по журналистикѣ. Относительно Чулкова, Рубана, Эмина и т. д. императрица могла оправдывать свое брезгливое отношеніе тѣмъ самымъ, что призналъ въ послѣднихъ словахъ сочинитель и Того и Сего. Въ самомъ дѣлѣ, у нихъ въ журналахъ «не граціи танцовали, а плясали русскія дѣвки». Тяжеловѣсное остроуміе Екатерины здѣсь замѣнялось слишкомъ часто пошлостью и цинизмомъ; ея прописная мораль—безцѣльнымъ зубоскальствомъ, бившимъ на самые низменные инстинкты; ея щепетильность по отношенію къ внѣшнимъ приличіямъ—самыми безцеремонными потасовками на потѣху почтенной публики. «Дуракъ» было довольно употребительнымъ эпитетомъ во взаимной литературной критикѣ «сочинителей». Рубанъ заявлялъ въ началѣ своего журнала: «между множествомъ ословъ и мы вислоухими быть не покраснѣемъ». Чулковъ писалъ: «когда есть ваканціи публичныхъ дураковъ, то занимаютъ у насъ такія мѣста мелкотравчатые писаки, и намъ гораздо мило смотрѣть, какъ они дурачутся и ругаютъ сами себя». Довольно естественно, что въ подобныхъ «писакахъ» Екатерина могла видѣть не товарищей, а только паціентовъ, примитивные «нравы» которыхъ подлежали смягченію при помощи тѣхъ пріемовъ, которые она считала непогрѣшимыми. Совсѣмъ другое было дѣло, когда самые эти пріемы объявлялись недостаточными и подвергались критикѣ; когда являлся писатель, который стоялъ на одинаковой высотѣ съ Екатериной въ вопросахъ литературнаго приличія и хорошаго тона, и въ то же время оказывался ея принципіальнымъ врагомъ по вопросу, гораздо болѣе существенному: по вопросу, насколько дѣйствительны и цѣлесообразны средства, употребленныя императрицей для «исправленія нравовъ».

Въ чемъ заключались, въ самомъ дѣлѣ, эти средства, отъ которыхъ Екатерина ожидала столь быстрыхъ и чудодѣйственныхъ послѣдствій?

Обычный литературный пріемъ для «исправленія нравовъ» состоялъ у Всякой Всячины, какъ и у другихъ журналовъ, въ помѣщеніи писемъ постороннихъ лицъ къ «Сочинителю» и въ отвѣтахъ редакціи на эти письма. По этой одной формѣ можно довольно безошибочно выдѣлить оригинальную часть журнала отъ переводовъ. Но и по содержанію эти корреспонденціи, писавшіяся, конечно, большею частью въ редакціи, представляютъ извѣстную внутреннюю связь и единство, не говоря уже объ общемъ всѣмъ имъ самовосхваленіи. По теоріи Екатерины надо «заохочивать» публику къ усвоенію моральныхъ сентенцій, мѣшая смѣшное съ серьезнымъ: поэтому, корреспонденты журнала то разсказываютъ что-нибудь забавное, то что-нибудь дурное изъ русской грубости нравовъ; въ обоихъ случаяхъ они просятъ совѣта или «рецепта» у «сочинителя» и получаютъ его, обыкновенно, въ видѣ лаконической резолюціи самаго элементарнаго свойства. Примѣръ забав-

ный: Агафья Хрипухина проситъ лѣкарства отъ безсонницы, такъ какъ ея мужъ по ночамъ не даетъ ей спать своимъ храпомъ. Совѣтъ: прочесть на ночь шесть страницъ Всякой Всячины и шесть страницъ Телемахиды (Тредьяковскаго). Послѣдствія статьи: журналъ не перестаетъ острить надъ храпящимъ мужемъ и надъ Телемахидой въ слѣдующихъ номерахъ; почитатель Всячины протестуетъ противъ мнѣнія редакціи, что ея журналъ усыпителенъ; литературные противники протестуютъ противъ насмѣшки надъ честнымъ труженикомъ—Тредьяковскимъ. Теперь примѣръ серьезный: «многія молодыя дѣвушки чулковъ не вытягиваютъ, а когда сядутъ, тогда ногу на ногу кладутъ, чрезъ что подымаютъ юпку такъ высоко, что я сіе примѣтить могъ, а иногда и болѣе сего»; женщины слишкомъ возвышаютъ голосъ въ обществѣ; «наши жены» говорятъ при дѣтяхъ «обо всемъ». Корреспондентъ проситъ редакцію сдѣлать изъ этихъ замѣчаній «употребленіе на пользу ближняго». Литературные противники находятъ такія нравоученія «непристойными». Еще одинъ пріемъ: корреспондентъ предлагаетъ редакціи «раздѣлить наши обычаи на два рода: первые природные, другіе—татарскіе; всѣ хорошіе обычаи суть природные россійскіе; всѣ же дурные суть татарскіе», и предлагаетъ списокъ, съ которымъ редакція обѣщаетъ справляться, «гдѣ кстати покажется». И дѣйствительно, въ дальнѣйшемъ оказывается, что обычай нарушать обѣщанія «есть крымскихъ татаръ, а старинный россійскій—сдержать данное слово»; «мотать, болтать, злословить»—тоже «татарскіе обычаи»; сюда же относятся далѣе «невѣжливость, жадность и зависть»; женщины, «кои бѣлятся,—суть всѣ татарки»; но взаимное равнодушіе модныхъ супруговъ журналъ объявляетъ обычаемъ «татаро-французскимъ». Журналисты и тутъ не упустили случая подцѣпить Всякую Всячину. Сумароковъ написалъ письмо въ «И то и се», гдѣ утверждалъ, что портятъ русскихъ не татары, а французы; что «худые нравы отъ худыхъ сердецъ и отъ худого просвѣщенія происходятъ»; что, наконецъ, «добрый и отличный человѣкъ достоинъ почтенія, безъ различія, россіянинъ ли онъ, французъ или татаринъ». Однако и Сумароковъ не прочь былъ объяснить русскую грубость примѣсью «сарматской» (финской) крови. Сама Всякая Всячина, наконецъ, тоже спохватилась, хотя нѣсколько по инымъ соображеніямъ: она помѣстила у себя протестъ отъ имени татаръ; «да и мнѣ», замѣчалъ ея корреспондентъ, «сіе доказательство невѣроятнымъ кажется, потому что сколько у насъ есть выѣзжихъ князей и знатей татарскихъ, кои здѣсь въ великія произошли достоинства: они ихъ получили не по худымъ природнымъ ихъ обычаямъ и нравамъ, но по благороднымъ и добрымъ». И журналъ предпочитаетъ, подобно Сумарокову, свалить вину на безотвѣтныхъ «сарматовъ» тогдашней исторической теоріи: «когда славяне, отъ коихъ мы происхожденіе имѣемъ, по покореніи сарматовъ съ ними смѣшались, то сіи худые обычаи и нравы отъ нихъ въ наслѣдіе намъ достались».

Это, впрочемъ, не мѣшаетъ Всякой Всячинѣ утверждать по прежнему, что старинные русскіе нравы были превосходны и испорчены лишь новыми модами.

Подобный выборъ темъ и способъ ихъ обработки, какъ видимъ, самъ по себѣ уже лишалъ журналъ Екатерины серьезнаго значенія. Литературные антагонисты (И то и сіо) не замедлили отмѣтить, что въ такомъ случаѣ изданіе журнала превращается въ скоропроходящую моду, въ «невинное увеселеніе», которое нечего прикрывать высокими претензіями. «Я пишу единственно только для одного увеселенія», подчеркивалъ почтительный къ Всячинѣ журналъ Чулкова, «и другого намѣренія не имѣю, ябо силъ моихъ къ тому не станетъ; не требую похвалы и за славой не гоняюсь, для того что я ихъ недостоинъ, а желаю, чтобъ получилъ ихъ тотъ, который мыслитъ о себѣ, что онъ приноситъ сочиненіями великую пользу отечеству». Эта скрытая насмѣшка превращается въ совершенно открытую въ «Смѣси», самомъ смѣломъ изъ тогдашнихъ журналовъ послѣ Новиковскаго Трутня, которому Смѣсь горячо и открыто сочувствуетъ. «Праздность вмѣняютъ въ порокъ, а трудолюбіе похваляютъ: но праздность присвояютъ благороднымъ, а трудолюбіе крестьянамъ... Я родился дворяниномъ: итакъ, не хотя сравнять себя съ крестьянами, хотѣлъ было ничего не дѣлать. Но вспомня, что есть *благородныя и модныя упражненія*, коими *увеселяются* и знатные люди,—принялся за перо, чтобы написать письмо къ какому-нибудь издателю еженедѣльныхъ листовъ».

Очевидно, издатель Смѣси, сходясь съ Чулковымъ въ оцѣнкѣ Всякой Всячины, гораздо серьезнѣе смотрѣлъ на задачи настоящаго журналиста. Но въ своемъ журналѣ онъ остался ниже своего собственнаго пониманія,—на общемъ уровнѣ тогдашнихъ издателей листковъ. Если онъ писалъ и, не «единственно для одного увеселенія», то съ другой стороны и «пользу» отъ изданія журнала онъ понималъ довольно устарѣлымъ образомъ. Совершенно такъ же, какъ журналисты-дебютанты Елизаветинскаго времени, онъ объявлялъ: «намѣреніе мое было при начатіи журнала употребить въ пользу скучные часы празднаго времени». Совершенно такъ же, какъ тѣ журналы, Смѣсь пробавлялась, главнымъ образомъ, переводными статьями изъ иностранныхъ нравоучительныхъ журналовъ; совершенно такъ же она и расходилась только въ своемъ ближайшемъ литературномъ кругу, въ количествѣ всего 200 экземпляровъ. По собственному признанію, издатель ея былъ только мирнымъ любителемъ наукъ и просвѣщенія, онъ не рисковалъ выйти на бранное поле съ открытымъ забраломъ. Но онъ хорошо понималъ, что́ на этомъ полѣ можно и нужно дѣлать. Когда въ томъ же самомъ году на журнальномъ поприщѣ появился настоящій боецъ,—издатель Смѣси сразу оцѣнилъ его значеніе и обратился къ нему съ одушевленнымъ привѣтствіемъ «благодарнаго, обязаннаго и вѣрнаго слуги». «Г. изда-

тель Трутня, — писалъ онъ Новикову, — прочитавъ вашего изданія листы, началъ я имѣть къ вамъ почтеніе; ваши сочиненія имѣютъ въ себѣ меньше увеселенія, но больше пользы. Сатиры ваши, подъ именемъ вѣдомостей, не имѣютъ въ себѣ невѣжества и злонравія, какъ думаютъ нѣкоторые злонравные невѣжи, но ѣдкую соль... Пускай злоязычники проповѣдуютъ, что вы объявили себя непріятелемъ всего человѣческаго рода; что злость вашего сердца видна въ вашихъ сочиненіяхъ; что вы пишете только наглую брань (все это—мнѣнія «Всякой Всячины» и Чулкова о «Трутнѣ»): это не умаляетъ достойную вамъ похвалу, но умножаетъ. Пусть Стозмѣй, изо всей мочи надсѣдаясь, кричитъ, что вы обижаете цѣлый корпусъ дворянства и что ваши ругательства скоро уймутся... Не смотрите на клевещущихъ на васъ, презирайте ихъ и продолжайте свой трудъ такъ, какъ вы начали: выводите порочныхъ (*лицъ*), ибо пороки *вообще* осмѣиваемые не исправятъ порочныхъ *настоящаго* времени. Вы тѣмъ не раздражите истинныхъ сыновъ отечества: ибо они вамъ сплетаютъ за сіе похвалы»...

Эта цитата сразу показываетъ тонъ новиковскаго журнала, мѣсто, которое онъ занялъ среди извѣстныхъ намъ собратовъ, отношеніе ихъ къ «Трутню», характерные пріемы его сатиры. Что же было такого необычайнаго въ этомъ журналѣ, что вызвало крики «цѣлаго корпуса дворянства» и вывело изъ равновѣсія сдержанную, приличную «Всякую Всячину», соблюдавшую въ другихъ случаяхъ болѣе или менѣе успѣшно свой основной принципъ: смѣяться, а не сердиться на бранчивый лепетъ и злонравную грызню неблаговоспитанныхъ «внучатъ»?

Бывшій секретарь коммиссіи о «*среднемъ* родѣ людей», можетъ быть, помогшій даже сохранить для потомства (въ протоколахъ Большой Комиссіи, гдѣ онъ секретарствовалъ) яркія черты «партійной» борьбы городскихъ депутатовъ съ дворянскими притязаніями,— Новиковъ явился въ журналистикѣ сознательнымъ и принципіальнымъ защитникомъ слабыхъ противъ сильныхъ, «подлыхъ» противъ «благородныхъ». Не тонъ, не пріемы его сатиры, а, прежде всего, именно это содержаніе ея доставило Новикову популярность среди «мѣщанъ»,—того класса, который, по мнѣнію Екатерины (стр. 285), защищалъ «свободу». И оно же обрушило на него громы «придворныхъ господчиковъ», со «Всякой Всячиной» во главѣ. Журналъ Екатерины тщательно устранялъ изъ литературы все, что сколько-нибудь близко касалось общественной жизни. Это были для него «матеріи не нашего департамента», какъ выразился разъ въ подобномъ случаѣ журналъ. Когда одинъ, очевидно, не фиктивный, корреспондентъ попробовалъ было перенести на страницы «Всякой Всячины» обсужденіе важнѣйшихъ жизненныхъ вопросовъ, поднятыхъ дворянскими депутатскими наказами,— редакція наотрѣзъ отказала: «сіи и симъ подобныя вещи въ нашихъ листахъ мѣста не имѣютъ; они не на насъ положены, но въ числѣ

статскихъ, сирѣчь составляющихъ существо правленія вмѣщены быть могутъ». Такимъ образомъ, подъ «нравами», которые журналъ брался исправлять, онъ разумѣлъ, главнымъ образомъ, область личныхъ моральныхъ отношеній и житейскихъ привычекъ. «Всякая Всячина» охотно вмѣшивалась въ распри между мужемъ и женой, родителями дѣтьми, женихомъ и невѣстой; она благословляла на бракъ или совѣтовала его отложить и провѣрить свои чувства; увѣщала отца дать денегъ сыну и т. п. Или она убѣждала подписчицъ не вѣрить въ сны и гаданья; разбирала ихъ жалобы и клала на нихъ резолюціи вродѣ слѣдующей: «худо быть нечисту и неопрятну въ житьѣ и въ обхожденіи; да и очень нѣжиться и гнушаться всѣмъ, что кажется быть противно и не по нашему вкусу, равнымъ образомъ худо». Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ журналъ не избѣгалъ имѣть дѣло даже съ одиночными, совершенно конкретными эпизодами изъ личной жизни подписчиковъ, обращавшихся за совѣтомъ въ редакцію.

Новиковъ ввелъ въ журналистику совершенно новый матеріалъ,—и какъ разъ тотъ, котораго «Всякая Всячина» такъ тщательно избѣгала. Онъ бралъ случай изъ области общественныхъ отношеній и разсказывалъ его во всѣхъ дѣловыхъ подробностяхъ. Случаи были вымышленные, но обстановка, въ которую они ставились, обрисовывалась у талантливаго сатирика настолько жизненными штрихами, что случаи выходили живыми и типичными. Открылась вакансія; на нее являются три кандидата. Одинъ—невѣжественный дворянинъ, но съ деньгами и съ знатной родней; другой—добрый и честный, но не ученый и небогатый дворянинъ; третій, по терминологіи «нѣкоторыхъ глупыхъ дворянъ», «человѣкъ *подлый*, ибо онъ отъ добродѣтельныхъ и честныхъ родился мѣщанъ»,—но испытанный общественный дѣятель и съ широкимъ образованіемъ, оконченнымъ за границей. «Читатель, угадай: глупость ли, подкрѣпляемая родствомъ съ боярами, или заслуги съ добродѣтелью вознаградятся?» Или, рядомъ: барыня въ богатомъ экипажѣ пріѣхала въ Гостиный дворъ и украла у купца товаръ. Купецъ ищетъ суда и управы, но получаетъ удары плетьми. «Ништо тебѣ бѣдный купецъ. Какъ ты, честный злородный человѣкъ, осмѣлился назадъ требовать своей сѣтки у благородной воровки? Благодари еще боярыню, что безчестья съ тебя не взяла! Въ самомъ дѣлѣ, не великая ли милость купцу сдѣлана?»

Къ подобнымъ темамъ отношеніе журнала Екатерины сразу опредѣлилось. «Всякая Всячина» объявила, что она не любитъ «дурныхъ шутокъ» и «меланхоличныхъ писемъ»; погрозила поднять «завтра» вопросъ о томъ, «чтобы впредь никому не разсуждать, о чемъ кто не смыслитъ, и никому не думать, что онъ одинъ можетъ весь свѣтъ исправить». Затѣмъ, она искусно перенесла споръ о задачахъ сатиры на другую почву. Вмѣсто вопроса, дѣйствительно подлежавшаго спору, какія стороны жизни могутъ быть доступны сужденію печати, — она

подняла вопросъ о личности въ сатирѣ и принялась доказывать, что *личные* нападки не исправляютъ нравовъ; какъ будто обличенія Новикова грѣшили именно личнымъ характеромъ, и какъ будто сама «Всячина» не обсуждала личныхъ случаевъ. Вопросъ о *содержаніи* публицистики былъ подмѣненъ, такимъ образомъ, вопросомъ о дозволительныхъ для нея *пріемахъ*: на этой почвѣ легче было подвести новиковскую сатиру подъ рубрику обычныхъ журнальныхъ «ругательствъ» того времени. Журналисты, съ Новиковымъ во главѣ, приняли сраженіе на предложенной почвѣ—и выиграли его, доказавъ «бабушкѣ», что она «запуталась въ противорѣчіяхъ»; что «въ добрый часъ она намѣряется исправлять пороки, а въ блажной даетъ имъ послабленіе» (Смѣсь). Поставленный Новиковымъ вопросъ о разумныхъ и справедливыхъ отношеніяхъ между «подлостью и благородствомъ» «Всякая Всячина» рѣшилась до конца игнорировать и не проронила о немъ ни звука. За то она сдѣлала уступку, снизойдя до обсужденія другого общественнаго вопроса, — еще при Елизаветѣ завоеваннаго русской публицистикой, — вопроса о взяточничествѣ приказныхъ. Осужденіе взятокъ, какъ мы знаемъ (стр. 243), было первой побѣдой русской журналистики, вырванной у дворянскаго общественнаго мнѣнія. Поэтому даже въ ближайшемъ къ Екатеринѣ кругу должно было произвести впечатлѣніе скандала, когда императрица взяла на себя въ журналѣ защиту «крапивнаго сѣмени». Взятки перевести «весьма легко»,—заявила «Всякая Всячина»:—«не обижайте никого; кто же васъ обижаетъ, полюбовно миритесь безъ подьячихъ». Мы знаемъ изъ депутатскихъ наказовъ, что такъ именно и поступали, въ виду безсилія закона,... слабые, безнаказанно обижаемые сильными. Понятенъ отвѣтъ «Смѣси»: «если бы всѣ были совѣстны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судовъ, и приказовъ, и подьячихъ... но когда сіе необходимо, то для чего защищать подьячихъ?» Екатерина поняла неловкое положеніе, въ которое поставила себя,—и сдѣлала дальнѣйшую уступку. Сославшись на свой законъ о назначеніи жалованья подьячимъ, она напечатала въ журналѣ грозное «увѣщаніе лихоимцамъ», которое кончалось совсѣмъ не литературной угрозой. «Если вы еще и такъ дерзки, что осмѣливаетеся и т. д..., то неминуемо изъ двухъ послѣдуетъ одно: или вы будете истреблены, или исправитесь, покаесть на то время». Памятуя, однако, что споръ начался съ ея заявленія, что «подьячихъ перевести не можно и не должно», «Всякая Всячина» при первомъ случаѣ поспѣшила успокоить своихъ читателей: «какъ имъ (приказнымъ) отъ насъ предписаны нравоучительныя заповѣди, то должно думать, что они скоро исправятся». Въ глазахъ «Всячины», очевидно, инцидентъ былъ этимъ исчерпанъ.

Какъ видимъ, сама «Всякая Всячина» не удержалась все-таки въ намѣченныхъ ею для публицистики границахъ. Мало того, она въ сердцахъ оказалась способной прибѣгнуть и вовсе къ нелитератур-

нымъ пріемамъ. Если можно было въ журналѣ грозить подьячимъ административной карой, то отчего было не сдѣлать внушенія забывшимся журналистамъ?

«Екатерина въ этомъ отношеніи походила на Вольтера, — замѣчаетъ Сегюръ, — самые легкіе булавочные уколы больно задѣвали ея тщеславіе. Будучи умна, она дѣлала видъ, что смѣется надъ этимъ; но ясно было, что смѣхъ этотъ былъ немножко вынужденный».

Мы, дѣйствительно, видѣли, что Екатерина «аффектировала смѣхъ», пока дѣло шло о нападкахъ «мелкотравчатыхъ писакъ». Она и теперь продолжала рекомендовать смѣхъ, какъ «новѣйшій образъ лѣченія» того рода «горячки», въ которой «больной вздумаетъ строить замки въ воздухѣ (и утверждать, что) всѣ люди не такъ дѣлаютъ, и само правительство,—какъ бы радѣтельно ни старалось,—ни въ чемъ не угождаетъ; они одни по ихъ мыслямъ въ состояніи подавать совѣтъ и все учреждать къ лучшему». Но уже эта характеристика «болѣзни» показывала, что смѣхъ въ данномъ случаѣ не совсѣмъ натуральный. На этомъ способѣ лѣченія Екатерина успокоиться не могла и потому, что «такое несчастное сложеніе, наполненное злостью и злословіемъ, при свободности языка и съ острыми выраженіями—вредъ великій нанести можетъ молодымъ людямъ: иной, на то прельстяся, старается перенять, а другой угнетается, не бывъ сложеніемъ толь дерзостенъ,—и не осмѣлится дать воли своему здравому разсудку». Въ виду этой возможности юношескихъ увлеченій, «Всякая Всячина» выходитъ изъ своего притворнаго равнодушія и начинаетъ внушать своимъ читателямъ, что «долгъ нашъ, какъ христіанъ и какъ согражданъ, велитъ имѣти повѣренность и почтеніе къ установленнымъ для нашего блага правительствамъ и не поносить ихъ такими поступками и несправедливыми жалобами (авторъ хочетъ сказать: несправедливыми жалобами на такіе поступки), коихъ, право, я еще не видалъ, чтобы съ умысла случались». «Справедливы ли жалобы о неправосудіи, наипаче тогда, когда всякій честный гражданинъ признаться долженъ, что можетъ быть никогда и нигдѣ какое бы то ни было правленіе не имѣло болѣе попеченія о своихъ подданныхъ, какъ нынѣ царствующая надъ нами монархиня имѣетъ о насъ?» Долгъ писателя, въ такое правленіе, есть прославлять положительныя стороны жизни, а не критиковать отрицательныя. «Добросердечный сочинитель... изрѣдка касается къ порокамъ..., но располагая свои другимъ наставленія, поставляетъ примѣръ въ лицѣ человѣка, украшеннаго различными совершенствами... описываетъ твердаго блюстителя вѣры и закона, хвалитъ сына отечества, пылающаго любовію и вѣрностью къ государю и обществу, изображаетъ миролюбиваго гражданина... присовокупляетъ къ тому пользы, изъ того проистекающія... Вотъ славный способъ исправлять слабости человѣческія».

Какъ бы то ни было, этими наставленіями пока и кончилось дѣло.

Всякая Всячина удовольствовалась тѣмъ, что отдала Трутень «на судъ публики»; а Трутень, къ слову, замѣтилъ, что выраженіе, употребленное Всячиной (она «уничтожала» оскорбленія Трутня) неточно. «Уничтожить, то-есть въ ничто превратить — есть слово самовластію свойственное; а такимъ бездѣлицамъ, какъ ея листки, никакая власть неприлична: уничтожаетъ верхняя власть какое-нибудь право другимъ». Этими замѣчаніями Новиковъ напоминалъ императрицѣ тѣ условія борьбы, въ которыя она сама себя захотѣла поставить.

Съ Екатериной-писательницей Новиковъ, очевидно, не хотѣлъ считаться иначе, какъ на почвѣ чисто литературнаго спора. Главной, неистощимой темой Трутня остается, вопреки недовольству императрицы, соціальная тема: смѣлая, открытая борьба съ кореннымъ зломъ русской жизни, съ сильными обидчиками, съ привилегированными хищниками, съ безнаказаннымъ нарушеніемъ закона, прикрываемымъ соціальнымъ или оффиціальнымъ положеніемъ преступника. Когда Екатерина, съ своей точки зрѣнія индивидуальной морали, призываетъ сатирика къ «снисхожденію», «шьетъ изъ милосердія кафтанъ для пороковъ» и рекомендуетъ считать ихъ человѣческими слабостями,—Новиковъ и эти совѣты разрабатываетъ въ духѣ своей обычной темы. «Я слыхалъ слѣдующія разсужденія: въ маленькомъ человѣкѣ воровство есть преступленіе противъ законовъ; въ средостепенномъ воровство есть порокъ, а въ превосходительномъ степени и человѣкѣ, по вѣрнѣйшимъ математическимъ новымъ исчисленіямъ, воровство не что иное, какъ слабость. Хотя бы и не такъ надлежало: ибо кто имѣетъ превосходительный чинъ, тотъ долженъ имѣть и превосходительный умъ и превосходительныя знанія и превосходительное просвѣщеніе: слѣдовательно и преступленіе такого человѣка должно быть превосходительное». Какъ видимъ, Новиковъ старался возвратить императрицу на ту почву, которая была ей особенно непріятна—именно потому, что она хорошо понимала всю важность и щекотливость такой постановки вопроса. На этой почвѣ Новиковъ подавалъ руку другому строителю «замковъ на воздухѣ», Дидро. «Вотъ смѣлая, можетъ быть безумная идея, — говорилъ этотъ послѣдній въ одной изъ своихъ бесѣдъ съ Екатериной,—«приведенная въ исполненіе, она принесетъ больше чести и вызоветъ больше шума, чѣмъ выигрышъ десяти битвъ. Она поможетъ въ тысячѣ случаевъ, когда законъ остается безсильнымъ противъ могущественныхъ лицъ,—излечить страшный недостатокъ, нерѣдкій во всѣхъ обществахъ, но особенно частый въ деспотическихъ, — что слабый не можетъ отстоять свои права противъ сильнаго. На моей родинѣ, если герцогъ не можетъ заплатить долговъ, его, несмотря на грансеньерство, арестуютъ на улицѣ и сажаютъ въ тюрьму. Мнѣ кажется, что здѣсь подобная строгость не въ обычаѣ. Я думалъ сперва, что единственнымъ лекарствомъ было бы дать силу закону и подчинить ему одинаково и сильнаго и слабаго. Но это дол-

гая и трудная исторія, а зло требуетъ немедленнаго искорененія». Итакъ, Дидро предлагаетъ Екатеринѣ лично удовлетворять кредиторовъ и потомъ самой расчитываться со всякимъ вельможей, не исполнившимъ своихъ обязательствъ.

Новиковъ не могъ, разумѣется, подавать такихъ совѣтовъ, но энергично указывалъ на зло,—и его указанія нельзя было сохранить въ тайнѣ, какъ рукопись французскаго философа. Къ недовольству Екатерины присоединялось раздраженіе, вызванное журналомъ Новикова въ придворныхъ кругахъ. Онъ только усилилъ это раздраженіе, напечатавъ иниціалы «семерыхъ» наиболѣе вліятельныхъ вельможъ, которымъ нечего «краснѣть, читая его сатиры» *). Всѣ остальные, стало быть, тѣмъ самымъ объявлялись кліентами сатирика. Не могъ Новиковъ ослабить своихъ противниковъ и тѣмъ, что напечаталъ въ своемъ журналѣ, какъ они грозятъ ему Сибирью и досадуютъ на снисходительность государыни. Защищать не въ мѣру откровеннаго журналиста становилось трудно, хотя за его спиной и стояли, говорятъ, вліятельные оппозиціонеры изъ тогдашней знати,—И. Шуваловъ, Воронцовъ, кн. Дашкова,—собиравшіе около себя журналистовъ. Новикову, очевидно, были сдѣланы внушенія, и журналъ присмирѣлъ. Но это не помѣшало сатирику отъ имени публики протестовать противъ своего новаго положенія и жаловаться на блѣдность журнала.

Развязка пришла сама собой. Интересъ Екатерины къ своему журналу быстро охладѣлъ, какъ онъ охладѣвалъ ко всему, что не удавалось ей сразу («commenceuse de profession» и «rien d'achevé»—это качество она «открыла» въ себѣ сама въ 1781 г.). Въ 1770 г. Всякая Всячина допечатывала свой «барышокъ»,—рукописи (большей частью переводныя), залежавшіяся въ портфелѣ редакціи, и прекратилась, едва протянувъ полгода. Вслѣдъ за ней (въ іюлѣ) скончался и Трутень, послѣдній изъ журнальной семьи 1769 г., объявивъ передъ смертью читателямъ, что умираетъ «противъ своего желанія», «по обстоятельствамъ» и вслѣдствіе охлажденія публики.

Послѣ того Новиковъ занялся своимъ Словаремъ писателей, а Екатерина увлеклась новымъ способомъ «исправленія нравовъ»—посредствомъ театра. Послѣ неудачныхъ опытовъ съ Комиссіей и съ публицистикой—это была третья арена, на этотъ разъ наиболѣе узкая и скромная, на которую она перенесла свою литературно-общественную дѣятельность. Мы послѣдуемъ, при случаѣ, за Екатериной и въ это послѣднее прибѣжище ея либерализма, но пока мы должны еще заняться дальнѣйшими попытками Новикова на открытомъ ему иниціативой Екатерины поприщѣ русской публицистики.

Въ 1772 г. Новиковъ вернулся на это поприще съ новымъ, наибо-

*) О(рлова), П(анина), Н(арышкина), С(алтыкова), В(оронцова или Вяземскаго?), Ш(увалова), Б(ецкаго или Бибикова?), В(севоложскаго или Воронцова?). Число «семь» дано въ другомъ мѣстѣ Трутня.

лѣе зрѣлымъ продуктомъ своего сатирическаго таланта, съ «Живописцемъ». Опытъ съ Трутнемъ научилъ Новикова кое-какимъ журнальнымъ уловкамъ, но ни на іоту не измѣнилъ его настроенія. Сатирикъ ставитъ себя подъ эгиду императрицы и открываетъ новый журналъ посвященіемъ автору комедіи «О время»: здѣсь онъ принимаетъ насебя роль скромнаго подражателя великихъ начинаній державной писательницы. Каждую смѣлую статью онъ непремѣнно сопровождаетъ трескучимъ панегирикомъ по адресу кого-нибудь изъ великихъ міра. Наконецъ, онъ безпрестанно твердитъ себѣ отъ лица своихъ читателей и корреспондентовъ, что надо быть «осторожнымъ». Все это, однако, не мѣшаетъ Новикову ставить свою главную задачу такъ, какъ онъ ее ставилъ и раньше. Въ только что упомянутомъ посвященіи онъ рекомендуетъ, напр., императрицѣ вотъ какое средство, чтобы сравниться съ Мольеромъ: «истребите изъ сердца своего всякое пристрастіе; не взирайте на лица: порочный человѣкъ *во всякомъ званіи* достоинъ презрѣнія. Низкостепенный порочный человѣкъ, видя осмѣиваема себя купно съ превосходительнымъ, не будетъ имѣть причины роптать, что пороки въ *бѣдности* только одной перомъ вашимъ угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками (если будетъ осмѣяно на театрѣ Екатериной), въ первый разъ въ жизни своей восчувствуетъ равенство съ низкостепенными». И въ слѣдующемъ обращеніи къ «самому себѣ» Новиковъ прозрачно намекаетъ на неудачный литературный дебютъ Всякой Вячины.

Что же значитъ это новое «дерзновеніе»? Какой новый рессурсъ имѣетъ въ запасѣ «осторожный» сатирикъ, чтобы дозволить себѣ эти неосторожности? Подъ какимъ новымъ флагомъ онъ надѣется провезти свою старую контрабанду?

Помимо упомянутыхъ уже литературныхъ уловокъ, Новиковъ разсчитывалъ, очевидно, на одно серьезное измѣненіе въ программѣ Живописца, совпадавшее съ желаніями государыни. Рядомъ съ соціальнымъ вопросомъ онъ выдвинулъ на первое мѣсто въ новомъ журналѣ сатиру на «нравы» въ Екатерининскомъ смыслѣ этого слова. Это была такая общая почва, на которой, не измѣняя своимъ убѣжденіямъ, Новиковъ могъ надѣяться—сойтись во взглядахъ съ сочинительницей комедіи «О время» и заслужить ея благосклонность.

Только что указанная общая почва намѣтилась еще во время выхода Трутня и Всякой Всячины. Новиковъ, конечно, не могъ изображать положительныхъ типовъ и отрадныхъ явленій въ настоящемъ, какъ того требовала императрица въ своемъ журналѣ (стр. 301). Но и сама Всякая Всячина восхваляла «добродѣтели россіянъ» не въ настоящемъ, а только въ прошедшемъ. Не находя ихъ кругомъ себя, среди «татарскаго» (или «сарматскаго») варварства и «французскихъ» новомодныхъ пороковъ, она твердо надѣялась найти эти добродѣтели въ архивахъ и рукописяхъ. «Древнія повѣсти, крыющіяся теперь въ книгохрани-

тельницахъ, когда будутъ тисненіемъ во свѣтъ изданы (мѣры для этого были уже приняты Екатериной), покажутъ намъ довольное число оныхъ, о которыхъ теперь, кромѣ чтущихъ, если кто по счастію достанетъ рукописныя книги, мало кому и слышать удается. О прехвальныя добродѣтели прѣдковъ нашихъ, къ вамъ я теперь рѣчь свою простираю, явите себя міру; заткните уста поношающихъ вамъ и не вѣдущихъ васъ; прославьте потомковъ вашихъ и себя *извнѣ*, внутри же подайте примѣръ домашній, сильнѣйшій къ подражанію, нежели всѣ иностранные. Увидятъ чуждые языки и племена событіе стараній и желаній великія нашея государыни, что народъ россійскій *будетъ* добродѣтеленъ, справедливъ и благополученъ во свѣтѣ столько, сколько можно по человѣчеству». Этотъ любопытный отрывокъ свидѣтельствуетъ о большой путаницѣ мыслей автора (не Екатерины). Тѣ самыя надежды, которыя Наказъ возлагалъ на раціональное законодательство, возлагаются здѣсь на историческую реставрацію древнихъ добродѣтелей, а современное состояніе нравовъ является какимъ-то пробѣломъ. Пробѣлъ этотъ наполненъ отрицательными явленіями, но ихъ вина лежитъ не на русскихъ, а на иностранцахъ. Такъ нащупываются и складываются на нашихъ глазахъ элементы новой націоналистической теоріи, которой прѣдстоитъ долгая исторія и много превращеній. И мы къ ней вернемся еще не разъ; но теперь, стоя у самаго источника будущей теоріи, воспользуемся случаемъ, чтобы заблаговременно указать на обстоятельства, при которыхъ она возникла.

Отрицательное отношеніе къ новымъ культурнымъ заимствованіямъ и восхваленіе, въ пику имъ, древней простоты нравовъ уже въ описываемый моментъ было явленіемъ, совсѣмъ не новымъ въ Россіи. Источникъ этихъ взглядовъ двоякій,—отчасти въ литературѣ, отчасти въ жизни. Въ жизни это, прежде всего, реакція стихійнаго національнаго націонализма, съ которой мы сталкивались не разъ и при Петрѣ, и при его преемникахъ. Идейнаго тутъ еще очень мало; это просто продуктъ непосредственнаго раздраженія эксплуатируемаго противъ своего конкурента, съ которымъ, за слабостью мысли и знанія, приходится бороться силой и хитростью. Въ любой странѣ, сразу шагнувшей изъ примитивнаго быта въ культурную обстановку жизни и безсильной противъ эксплуатаціи иностранцевъ, это стихійное чувство достигаетъ сильнаго напряженія и проявляется совершенно своеобразными пароксизмами національнаго самомнѣнія. Въ современной Болгаріи пишущій эти строки имѣлъ возможность наблюдать множество поучительнѣйшихъ параллелей къ исторіи русскаго націонализма XVIII вѣка. Прежде чѣмъ сложиться въ какую-нибудь теорію, задѣтое чувство національнаго соперничества проявляется во всевозможныхъ мелочахъ жизни. Несложное самолюбіе юныхъ адептовъ культуры одинаково удовлетворяется при этомъ двумя противоположными способами: или безпрекословнымъ усвоеніемъ или грубымъ протестомъ противъ всего иностраннаго. При

всей кажущейся противоположности, оба проявленія самолюбія находятся въ самомъ тѣсномъ психологическомъ родствѣ, и потому зачастую прямо другъ въ друга переходятъ или совмѣщаются другъ съ другомъ. На ближайшей высшей ступени оба типа вызываютъ насмѣшки и становятся предметомъ литературнаго изображенія. Изобразить ихъ не трудно, такъ какъ и въ жизни оба типа крайне каррикатурны; тѣмъ не менѣе, для литературнаго изображенія употребляются готовые трафареты болѣе зрѣлыхъ литературъ. Это объясняетъ, почему литературныя характеристики каррикатурныхъ націоналистическихъ типовъ—ксенофоба и ксеномана—появляются у насъ одновременно съ ихъ появленіемъ въ жизни (Кантемиръ, Сумароковъ). Но было бы ошибочнымъ заключать отсюда, какъ дѣлали нѣкоторые изслѣдователи,—что въ жизни такихъ типовъ не существовало. Я раскрываю путешествіе по Россіи датчанина Петра Хавена, и нахожу у него прототипы обѣихъ отмѣченныхъ разновидностей доморощеннаго самолюбія *еще въ тридцатыхъ годахъ*, т.-е. задолго до законченнаго литературнаго изображенія ихъ въ русскихъ сатирическихъ журналахъ Екатерининскаго времени. Вотъ будущая «щеголиха» или «кокетка», молодая княгиня Куракина: «у ней цѣлый придворный штатъ; она ѣздитъ шестерней съ двумя форрейторами и четырьмя лакеями, держитъ двѣ дюжины горничныхъ и столько же лакеевъ, ѣстъ роскошно и не во время, спитъ до полудня, одѣвается какъ петербургская оперная пѣвица, говоритъ только по русски, но примѣшиваетъ столько французскихъ и итальянскихъ словъ съ русскими окончаніями, что природнымъ русскимъ труднѣе понять ее, чѣмъ иностранцу; въ разговорѣ по большей части хвалитъ французскія моды и вольное обращеніе, смѣется надъ богобоязненными женщинами, которыя вздыхаютъ о мірской суетѣ, потому что не могутъ найти жениховъ и выйти замужъ (она разумѣетъ тутъ своихъ кузинъ); ея любовныя исторіи доказываютъ, что въ Москвѣ можно разыгрывать амурныя драмы нисколько не хуже Парижа и Лондона». А вотъ противоположный типъ, князь и княгиня Черкасскіе. «Князь спросилъ меня, понимаю ли я по-русски. Я отвѣчалъ: да, немножко. Тогда князь сказалъ, что такъ какъ онъ вездѣ въ своихъ путешествіяхъ долженъ былъ говорить на томъ языкѣ, гдѣ находился, то онъ не можетъ позволить, чтобы въ его отечествѣ кто-либо говорилъ иначе, чѣмъ по-русски. Я хотѣлъ бы знать, продолжалъ онъ, почему бы русскій языкъ нельзя было поставить наравнѣ съ французскимъ и нѣмецкимъ. Я отвѣтилъ, что это, вѣроятно, потому отчасти, что науки еще не процвѣли въ странѣ, и языкъ не распространенъ и не обработанъ, но отчасти также и по той причинѣ, что русское государство только недавно стало уважаться иностранцами; но что, конечно, съ могуществомъ государства возрастетъ и репутація языка. Князь успокоился на этомъ, но тогда княгиня меня спросила. не нѣмецъ ли я. Когда я сказалъ, что нѣтъ, она сняла

съ головы соломенную шляпу, сдѣланную по англійскому фасону, и спросила, какъ я думаю, слѣдуетъ ли выписывать такія вещи изъ-за границы. Я отвѣчалъ, что эта провинность вполнѣ искупается тѣмъ, что ея сіятельству пришлось купить ее поневолѣ и что это хорошая и полезная вещь. Да, отвѣчала княгиня,—а мнѣ ее сдѣлалъ мой мужикъ тутъ въ Москвѣ; стало быть, вы видите, что мы здѣсь въ Россіи не нуждаемся въ нѣмецкихъ товарахъ,—да и въ самихъ нѣмцахъ».

Въ сатирическихъ журналахъ екатерининскаго времени мы встрѣтимъ совершенно тѣ же типы, тѣ же разговоры и ту же самую логику. Но какъ замѣчено выше,—въ промежуткѣ тутъ еще вошелъ элементъ, помогшій передѣлать жизненные факты въ журнальныя статьи, съ соотвѣтствующими обстоятельствамъ націоналистическими выводами. Это тотъ книжный элементъ, который, въ его сыромъ и неприкосновенномъ видѣ, мы нашли въ журналахъ елизаветинскаго времени. Мы знаемъ, что русская журналистика овладѣла описанными явленіями жизни по готовымъ книжнымъ образцамъ, и главнымъ образомъ по нѣмецкимъ. Иностранные источники русскихъ журналовъ, правда, изображали иногда явленія болѣе тонкія и сложныя: напримѣръ «петиметръ» у Гольберга (стр. 243) похожъ скорѣе на современнаго эстета или декадента, чѣмъ на кукольный типъ русской сатиры (и русской дѣйствительности). Но это были частности; въ общемъ же не только типы, а и отношеніе къ нимъ журналистовъ было въ германскихъ странахъ то же, что у насъ. Этимъ отчасти объясняется, почему наши писатели такъ любили эксплуатировать именно нѣмецкіе моральные журналы. Тамъ они находили то же самое націоналистическое раздраженіе, тотъ грубоватый тевтонскій протестъ противъ французской модной культуры, который всего лучше соотвѣтствовалъ ихъ собственному настроенію и потребностямъ русской публики. Тамъ національный протестъ противъ галломаніи сложился раньше, чѣмъ у насъ; вотъ почему мы могли взять его оттуда готовымъ.

Справедливость требуетъ, однако, подчеркнуть, что у насъ этотъ націоналистическій протестъ противъ французской культурной внѣшности зачастую получалъ болѣе прогрессивный, менѣе шовинистскій смыслъ. Отчасти это было потому, что самыя заимствованія были гораздо поверхностнѣе, грубѣе у насъ: поэтому протестъ противъ культурной внѣшности получалъ значеніе протеста противъ внѣшней культурности. Съ другой стороны, у насъ въ гораздо большей степени, чѣмъ у нѣмцевъ, новая культура сдѣлалась привилегированнымъ достояніемъ *одних* только «благородныхъ». Слѣдовательно, нападки на внѣшнюю культурность сливались у насъ съ нападками на исключительное положеніе привилегированнаго класса.

Послѣ этихъ разъясненій будетъ понятно, какимъ образомъ «русскій Рабенеръ», Новиковъ нашелъ для своихъ новыхъ журналовъ общую почву съ Екатериной въ осмѣиваніи французскихъ заимство-

ваній—въ настоящемъ—и въ идеализаціи старинныхъ русскихъ добродѣтелей, уничтоженныхъ этими заимствованіями, въ прошломъ.

На первый разъ сближеніе съ взглядами императрицы оказалось однако, далеко не полное. «Живописецъ» весьма исправно «малевалъ своими красками нынѣшніе развратные свѣтскіе обычаи, новоманерныхъ петербургскихъ щеголей и щеголихъ», «перенятое нашими молодыми господичами у иностранцевъ нововыдуманное обхожденіе»; «легковѣрность, вертопрашество, непостоянство, вольность въ обхожденіи и многіе другіе пороки», заимствованные у французовъ; но въ то же время онъ набрасывалъ первыя въ русской литературѣ картины крѣпостной крестьянской страды и по прежнему настаивалъ на томъ, что «подлыми» людьми надо называть лишь тѣхъ, которые дѣлаютъ «дурныя дѣла».

Относительно «древнихъ добродѣтелей» предковъ онъ предпочиталъ пока молчать, ограничиваясь критикой современныхъ ему «развратныхъ обычаевъ» высшихъ классовъ; и позоря ломающуюся на иностранный манеръ молодежь, онъ не думалъ возлагать за это отвѣтственности на самихъ иностранцевъ. Словомъ, общій тонъ и общая картина журнала получались хотя и много «веселѣе» Трутня, но «меланхолическихъ» нотъ слышалось болѣе чѣмъ достаточно, а картины изъ деревенскаго быта оставили даже за собой лучшее, что было въ Трутнѣ въ этомъ родѣ,—знаменитыя письма и отписки изъ провинціи, перепечатанныя потомъ въ слѣдующихъ изданіяхъ Живописца. Правда, *разсужденія* по поводу изображенныхъ явленій далеко не стояли на одинаковой высотѣ съ самымъ этимъ изображеніемъ. Но причины этого понятны: въ числѣ другихъ нововведеній, журналъ долженъ былъ ввести въ употребленіе столь знакомый новѣйшей русской сатирѣ «езоповскій языкъ». Къ удивленію, этотъ языкъ, который очень хорошо умѣли понимать читатели Живописца, ввелъ въ заблужденіе позднѣйшихъ изслѣдователей, которые и въ самомъ дѣлѣ повѣрили, что сатирическіе журналы Новикова считаютъ свой вѣкъ золотымъ и добиваются только частичныхъ перемѣнъ—не столько въ порядкахъ, сколько въ лицахъ. Разумѣется, Живописецъ, говоря о крѣпостномъ правѣ, долженъ былъ пояснять, что бичуетъ лишь «злоупотребленія дворянскимъ преимуществомъ», а не самое это преимущество; что, нападая на казнокрадовъ и взяточниковъ, онъ критикуетъ лишь отдѣльныхъ бюрократовъ, а не весь бюрократическій строй; что, наконецъ, всѣ эти безпорядки и злоупотребленія, о которыхъ онъ разсказываетъ, уже отмѣнены и исправлены, похитители отставлены, мучители наказаны; словомъ, выражаясь языкомъ «Всякой Всячины», «нравоучительныя заповѣди предписаны», и нравы, если еще не совсѣмъ исправились, то, во всякомъ случаѣ, «скоро исправятся». Но каждый понималъ, что мысль журналиста идетъ дальше, чѣмъ его выраженія. Личиной оптимизма журналъ не могъ обмануть никого, а всего менѣе заинтересованныя

сферы. Это и отразилось на судьбѣ Живописца, совершенно одинаковой съ судьбою Трутня. Журналъ зачахъ, а журналисту пришлось пойти еще дальше по направленію, желательному для Екатерины. Съ начала 1773 года, т. е. еще раньше, чѣмъ окончательно прекратился Живописецъ, Новиковъ сталъ издавать при прямомъ участіи и денежной поддержкѣ Екатерины сборникъ историческихъ документовъ, долженствовавшій, согласно идеѣ «Всякой Всячины», (стр.305), извлечь изъ архивовъ несомнѣнныя доказательства «древнихъ россійскихъ добродѣтелей». Въ предисловіи къ «Вивліоѳикѣ» цѣль эта указана вполнѣ опредѣленно: изъ «начертанія нравовъ и обычаевъ» предковъ читатель долженъ былъ познать «великость духа ихъ, украшеннаго простотой». Мало того, пользуясь благосклоннымъ отношеніемъ императрицы къ этому изданію,— въ которомъ, кромѣ нѣсколькихъ строкъ предисловія, нѣтъ ничего публицистическаго,—Новиковъ задумываетъ новый сатирическій журналъ, въ которомъ обѣщаетъ развивать ту же идею о древнихъ добродѣтеляхъ. Въ этомъ журналѣ, «Кошелькѣ» (1774), онъ впервые и самъ ближе всматривается въ эту идею, мелькавшую въ его умѣ еще при изданіи Трутня. Результаты его размышленій оказываются, однако, довольно неожиданные. Чѣмъ дальше онъ пишетъ, тѣмъ яснѣе начинаетъ понимать, что древнія добродѣтели предковъ находятся въ очень сомнительной связи съ его собственными общественными и просвѣтительными идеалами. Пока онъ рисуетъ типичнаго проходимца-француза, шевалье де-Мансонжа, дѣло идетъ на ладъ: любопытно, однако, что и тутъ Новиковъ высмѣиваетъ не вообще вліяніе иностранцевъ, а только вліяніе французовъ извѣстнаго типа, и заставляетъ возражать шевалье де Мансонжу—не русскаго, а нѣмца, личность котораго изображается въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Но окончательно сбивается Новиковъ, когда дѣло доходитъ до теоретической защиты старины. Чтобы отдалить моментъ, онъ предпосылаетъ сперва возраженія *противъ старины*,—и возраженія оказываются въ его собственныхъ глазахъ настолько вѣскими, что онъ отказывается опровергать ихъ и прекращаетъ изданіе журнала. Если бы вся эта метаморфоза не происходила на глазахъ читателя, то положительно можно было бы подумать, что все это—одинъ изъ пріемовъ «езоповскаго» языка Новикова. Но нѣтъ: начинаетъ онъ съ прямыхъ заимствованій подлинныхъ выраженій Екатерины и «Всякой Всячины», обѣщаетъ статью, которая должна быть центральной, которою объясняется и самое заглавіе, данное журналу; между тѣмъ, статьи въ журналѣ не оказывается, заглавіе объясняется кое-какъ, мимоходомъ; вмѣсто первоначальнаго пожеланія читателю «въ жизни сей пользоваться древними россійскими добродѣтелями», находимъ весьма резонное разсужденіе воображаемаго противника Новикова: «время отъ времени нравы перемѣняются, а съ ними и нравоучительныя правила подвержены такой же перемѣнѣ». Затѣмъ идетъ настоящая сатира на то время, когда

«древнія россійскія добродѣтели были въ употребленіи, а именно, когда русскіе цари, въ первый день свадьбы своей, волосы клеили медомъ, а на другой день парились въ банѣ вмѣстѣ съ царицами и тамъ же обѣдали; когда всѣ науки заключались въ однихъ святцахъ; женились, не видавъ невѣсты въ глаза; за различное знаменованіе (креста) сожигали въ срубахъ или, изъ особливаго благочестія, живыхъ закапывали въ землю; словомъ сказать, когда было великое изобиліе всѣхъ тѣхъ добродѣтелей, кои отъ просвѣщенныхъ людей именуются нынѣ варварствомъ». Но пусть читатель самъ прочтетъ эти блестящія, чисто новиковскія насмѣшки и опроверженія защищаемаго имъ самимъ взгляда. «Сильныя выраженія и доказательства» противъ старины такъ искусно перемѣшаны здѣсь съ нелѣпыми и смѣхотворными, что, въ концѣ концовъ, вслѣдъ за изображаемымъ противникомъ старины, читатель въ недоумѣніи спрашиваетъ журналиста: «я подлинно еще не знаю, притворяетесь ли вы прямымъ русакомъ или таковы и въ правду?» Какъ бы ни отвѣтилъ Новиковъ на этотъ вопросъ,—который онъ предпочитаетъ оставить безъ отвѣта,—ясно, во всякомъ случаѣ, одно: въ пропагандисты націоналистической теоріи, только-что начинавшей складываться, онъ совсѣмъ не годился. Изъ «исторіи» онъ извлекъ лишь такіе непріятные аргументы, о которыхъ «Всякая Всячина» отнюдь не думала, когда ожидала найти «древнія россійскія добродѣтели» въ архивахъ; а въ защиту новой легенды объ этихъ старыхъ добродѣтеляхъ онъ пока привелъ только устное преданіе—«словесныя объявленія старожиловъ»,—да, точно въ насмѣшку, предложилъ редактору «Кошелька» самому поискать этихъ добродѣтелей въ своей «Вивліоѳикѣ».

Съ прекращеніемъ «Кошелька» окончился второй важный эпизодъ въ исторіи русской журналистики (1769—1774). Для начинавшаго тогда слагаться русскаго общественнаго мнѣнія журналы этихъ годовъ сыграли въ высшей степени важную роль. Они сформулировали мнѣнія и чаянія передовой части русскаго общества и выяснили отношеніе къ этимъ взглядамъ разныхъ сословій и правящихъ круговъ. Стремленія выступившаго въ этихъ журналахъ поколѣнія были безсословными, точнѣе, они могутъ назваться сословными въ томъ смыслѣ, что къ нимъ могли присоединиться всѣ недовольные господствующимъ положеніемъ сословія, которое какъ разъ въ этотъ моментъ становилось не только привилегированнымъ, но и правящимъ. Главнымъ образомъ это были горожане. Наиболѣе обдѣленные судьбой, крестьяне были и главнымъ предметомъ сочувствія; но до нихъ голоса журналовъ не доходили. «Хлѣбъ, который они ѣдятъ; религія, которая ихъ утѣшаетъ, вотъ единственныя ихъ идеи. Благоденствіе государства, потомство, грядущее поколѣніе—для нихъ это слова, которыми ихъ нельзя затронуть. Они связаны съ обществомъ только своими страданіями и изъ всего того безпредѣльнаго пространства, которое называется будущимъ, они замѣчаютъ только завтрашній день. Ихъ жалкое положеніе лишаетъ

ихъ возможности имѣть болѣе отдаленные интересы». Читатель спрашиваетъ, конечно, изъ какого радикальнаго автора взята эта краснорѣчивая цитата? Она принадлежитъ императрицѣ Екатеринѣ; это часть того отвѣта ея Дидро о русскихъ сословіяхъ, на который я ссылался выше. Конечно, не хуже русскихъ журналистовъ своего времени Екатерина понимала положеніе дѣлъ. Она хорошо знала, «о комъ пещись должно»,—но знала также и то, «съ кѣмъ дѣло имѣемъ».

Сравнивая настроеніе литературныхъ круговъ 1769—1774 гг. съ настроеніемъ интеллигентнаго поколѣнія, создавшаго первый расцвѣтъ русской журналистики десятью годами раньше, мы должны будемъ констатировать огромный шагъ впередъ. Отвлеченные интересы и чувства характеризовали то поколѣніе, — и они уступили, какъ мы видѣли, первому холодному дыханію жизни. Вчерашніе литераторы сдѣлались сегодняшними защитниками интересовъ своего сословія. Напротивъ, новое поколѣніе интеллигенціи, подъ вліяніемъ идей времени и опираясь уже на своихъ интеллигентныхъ предшественниковъ, выросло съ болѣе серьезными и болѣе конкретными запросами отъ жизни и литературы. Житейскій холодъ охватилъ скоро и ихъ, послѣ короткаго періода «недоразумѣній»; имъ этотъ холодъ былъ даже гораздо чувствительнѣе, чѣмъ ихъ старшимъ братьямъ. Но это только закалило ихъ, какъ скоро увидимъ, для дальнѣйшей борьбы, и, вмѣсто того, чтобы охладить ихъ къ теоріямъ, заставило только внимательнѣе пересмотрѣть свой умственный багажъ. Не простая потребность использовать досугъ, а сознаніе своего нравственнаго долга побудило лучшихъ изъ нихъ взяться за перо журналиста. То же серьезное отношеніе къ себѣ заставило и отложить это перо въ сторону, когда оказалось, что въ журналѣ возможна только одна «веселая и легкая критика». Двѣ цитаты помогутъ намъ представить себѣ эту смѣну настроенія молодыхъ журналистовъ. «Я думаю,—говорилъ себѣ Фонвизинъ, — что таковая свобода писать, каковой пользуются нынѣ россіяне, поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага. Въ томъ государствѣ, гдѣ писатели наслаждаются дарованною намъ свободою, имѣютъ они долгъ возвысить громкій голосъ свой противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству, такъ что человѣкъ съ перомъ въ рукахъ можетъ быть иногда полезнымъ совѣтователемъ государя, а иногда и спасителемъ согражданъ своихъ и отечества». Сравнимъ это радужное настроеніе начинающаго литератора съ горькимъ разочарованіемъ литератора опытнаго. Въ Живописцѣ Новикова отставленный отъ службы взяточникъ обращается къ издателю со слѣдующей насмѣшливой рѣчью: «Что ты изъ пустого въ порожнее переливаешь? Мнѣ кажется, братъ, что ты похожъ на постельную собачку моей жены, которая брешетъ на всѣхъ и никого не кусаетъ: а это по нашему называется — брехать на вѣтеръ. По нашему, коли брехнуть, такъ ужъ и укусить, да и такъ

укусить, чтобы больно, да и больно было. Да на это есть другія собаки, а постельнымъ хоть и дана воля брехать на всѣхъ, — только никто ихъ не боится. Такъ-то и ты: пишешь все пустое».

Мы видѣли, что и Екатерина разочаровалась въ журнальной дѣятельности. Но какъ причины, такъ и послѣдствія разочарованія были діаметрально противоположны у нея и у молодыхъ литераторовъ. Она сокращала и ограничивала районъ своего литературнаго воздѣйствія; они старались расширить. Она ушла отъ журнала къ театру, отъ русскаго театра къ французскимъ эрмитажнымъ спектаклямъ и къ интимной корреспонденціи. Они перенесли свою дѣятельность изъ журнала непосредственно въ жизнь и отъ сатирическихъ набросковъ перешли къ работѣ надъ цѣльнымъ міровоззрѣніемъ.

Записки Дидро, читанныя имъ Екатеринѣ, изданы *Maurice Tourneux*: Diderot et Catherine II, Paris 1899. Съ появленіемъ этого важнаго матеріала прежнія работы о Дидро должны считаться устарѣвшими. О Дидро вообще см. *Морлея*, Дидро и энциклопедисты, и *А. Веселовскаго*, статья «Дени Дидро» въ Этюдахъ и характеристикахъ, М. 1894. О журналахъ см. кромѣ текстовъ ихъ (Живописецъ и Трутень переизданы съ примѣчаніями П. А. Ефремовымъ, Спб. 1864—5; оба журнала и Кошелекъ имѣются также въ общедоступной «Дешевой Библіотекѣ» Суворина, 1900 г.), *А. Аѳанасьева*. Русскіе сатирическіе журналы 1769—1774 гг. М. 1859 г.; *Н. А. Добролюбова*, Русская сатира въ вѣкъ Екатерины, соч. I; *Е. С. Шумигорскаго*, Очерки изъ русской исторіи. I. Императрица—публицистъ, Спб. 1887 г.; *В. Ѳ. Солнцева*. Всякая Всячина и Спектаторъ въ Журналѣ Мин. Нар. Просв. 1892 г., I (въ моемъ изложеніи заимствованныя изъ Спектатора мѣста совершенно оставлены въ сторонѣ; авторъ преувеличиваетъ ихъ значеніе и не подозрѣваетъ того дѣйствительнаго—и весьма важнаго—значенія, какое имѣлъ журналъ Екатерины въ исторіи русской публицистики—*оригинальной* частью своего содержанія); *его же*, Смѣсь, сатирическій журналъ 1769 г. Спб. 1894 г. (изд. библіографа). Memoires *de Ségur*, т. III.

V.

Второй періодъ «легисломаніи» Екатерины (1775—1785).—Обстоятельства, побудившія ее вернуться къ законодательнымъ работамъ.—Вліяніе пугачевщины: ея соціально-политическая программа и дворянскія демонстраціи Екатерины.—Вліяніе депутатскихъ наказовъ.—Вліяніе Блэкстона.—Вліяніе остзейскихъ учрежденій.—Выборныя должности Учрежденія о губерніяхъ.—Идейный вкладъ Екатерины въ У. о. г.—Идеалъ и дѣйствительность дворянскаго самоуправленія.—Стремленіе пріурочить его къ службѣ и чину.—Значеніе губернскихъ учрежденій для распространенія дворянской культуры въ провинціи.—Общій планъ екатерининскихъ преобразованій.—Исключеніе изъ него крестьянскаго вопроса.—Характеръ жалованныхъ грамотъ сословіямъ.—Предположенія о реформѣ центральныхъ учрежденій.—Причины, почему эти предположенія были отложены.

«Недоразумѣніе», о которомъ мы говорили въ началѣ предыдущей главы, разсѣялось. Власть и общественное мнѣніе пошли различными путями, и когда эти пути пересѣклись вновь, ихъ встрѣча была, какъ увидимъ, далеко не дружественнаго характера. Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этому столкновенію, намъ слѣдуетъ познакомиться ближе съ путями, избранными властью.

Выборъ этотъ происходилъ при трудныхъ обстоятельствахъ, и нельзя отрицать что,—при этихъ обстоятельствахъ,—онъ въ значительной степени оказался вынужденнымъ. Однако, въ трудныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, не было ничего, что не было бы подготовлено предыдущимъ общимъ положеніемъ дѣлъ. И, въ этомъ смыслѣ, окончательный выборъ направленія внутренней политики не былъ чѣмъ либо новымъ и неожиданнымъ. Краски сгустились; очертанія стали рельефнѣе; но, въ общемъ, это тотъ же тонъ, тѣ же тенденціи, которыя намѣтились у Екатерины давно, какъ мы могли видѣть и изъ нашего предыдущаго изложенія.

1774 годъ былъ однимъ изъ тяжелыхъ годовъ для Екатерины. Съ турецкаго театра войны до самаго конца іюля получались свѣдѣнія одно неудовлетворительнѣе другого. Внутри имперіи разгоралась жакерія, грозившая принять небывалые размѣры. Слухъ за слухомъ приходилъ изъ Москвы, что чернь волнуется, что тюрьмы переполнены открытыми сторонниками Пугачева, что губернаторъ принужденъ былъ стрѣлять въ мятежную толпу, что 18 человѣкъ повѣшено. Дворянство, въ свою очередь, нервничало и не скрывало своего раздраженія

противъ правительства, которое не умѣетъ его защитить. И среди этой, переполненной политическою отравою атмосферы, раскрылась старая рана екатерининскаго правленія,—вопросъ о ея отношеніи къ наслѣднику престола. Все, что притаилось при самомъ дворѣ оппозиціоннаго, заговорило или, предполагалось, должно было заговорить. Герои и участники и даже простые свидѣтели переворота 1762 года, казалось, самымъ своимъ присутствіемъ снова напоминали про непрочность положенія Екатерины. Этотъ психологическій моментъ окончательно толкнулъ императрицу отъ Орловыхъ и Чернышевыхъ къ Потемкину. Но Потемкинъ былъ только надежной точкой опоры, точкой приложенія силы; силой осталась сама Екатерина. И, надо сказать, она обнаружила гибкость и энергію, которыя помогли ей справиться съ трудностью положенія. Утѣшая вскорѣ послѣ того Роберта Гуннинга, англійскаго представителя,—который, правда, ждалъ отъ нея войскъ, а не утѣшеній, въ затруднительномъ положеніи Англіи,—Екатерина обмолвилась нѣсколькими искренними словами о своихъ собственныхъ затрудненіяхъ, только что пережитыхъ ею. «Повѣрьте мнѣ, я не основывала своей надежды на успѣхъ на какомъ-либо *одномъ* средствѣ дѣйствія. Есть моменты, когда не приходится быть слишкомъ ригористичной». И дѣйствительно, мы видимъ не одну, а нѣсколько Екатеринъ, борящихся съ приливомъ, готовымъ ее захлеснуть. Она осыпаетъ золотомъ перваго встрѣчнаго шарлатана, явившагося съ Поволжья съ предложеніемъ выдать или убить Пугачева; и она же обращаетъ всю пугачевщину въ шутку въ своей литературно-дипломатической болтовнѣ съ Вольтеромъ, Гриммомъ и мадамъ Бьельке. Она отдаляетъ вѣрныхъ друзей, привыкшихъ дѣлить съ ней власть, и дѣлаетъ будирующаго противъ нея, но безопаснаго честолюбца Панина—усмирителемъ пугачевщины. Она отмѣняетъ, послѣ трудной и дорогой войны, рядъ податей, чтобы доказать, что русскіе финансы въ блестящемъ положеніи; и она выбираетъ Москву, средоточіе оппозиціи, ареной своихъ блестящихъ празднествъ по поводу заключенія мира. Напрасно близорукіе партизаны, въ родѣ Сиверса, всѣми силами отговариваютъ ее отъ этого путешествія въ Москву. Екатерина лучше ихъ понимаетъ значеніе политической mise en scène, и съ той же демонстративностью, съ какой она устраивала въ Москвѣ открытіе своей Комиссіи, она выбираетъ это же самое мѣсто для продолженія своихъ законодательныхъ трудовъ. Да, она, наконецъ, будетъ продолжать эти труды: не только потому, что всѣ этого ждутъ отъ нея въ Европѣ, что сама жизнь требуетъ реформъ, сколько потому, что теперь—это козырь въ ея рукахъ, одинъ изъ «инструментовъ царствованія»; потому что, какъ она хорошо понимаетъ сама, даже и безъ совѣтовъ Бибикова, однихъ паллiативовъ и зрѣлищъ мало, чтобы побороть общее недовольство; потому наконецъ, что это ея профессія и ея спеціальность «дѣлать людей довольными»,—тѣхъ людей, которые ей нужны,—и потому что для

этой цѣли у нея есть, какъ она увѣрена, большой запасъ рецептовъ и средствъ.

Изъ этого запаса она, конечно, пуститъ въ дѣло тѣ средства, которыя требуются данной минутой. Всмотримся внимательнѣе въ главный фактъ, послужившій психологическимъ толчкомъ для новаго прилива екатерининской «легисломаніи», и мы легко поймемъ, что и почему поставлено было на ближайшую очередь.

Главнымъ толчкомъ было, конечно, то положеніе вещей, которое съ особенной ясностью было обнаружено пугачевщиной. Пугачевщина, какъ *фактъ*, могла быть устранена смѣлой операціей. Пугачевщина, какъ *симптомъ*, требовала систематическаго и продолжительнаго леченія.

Въ своемъ происхожденіи, пугачевщина была однимъ изъ давно знакомыхъ Москвѣ проявленій борьбы между рядовымъ казачествомъ и казацкой аристократіей Въ этой соціальной борьбѣ московская политика постоянно стремились дать перевѣсъ казацкой старшинѣ надъ казачествомъ, казачеству надъ посполъствомъ (крестьянствомъ). Но иногда правительству поневолѣ приходилось поддерживать демократическіе элементы, — когда болѣе вліятельныя общественныя группы слишкомъ уже открыто обнаруживали автономистскія стремленія или вступали въ сношенія съ поляками и турками. Во второй половинѣ XVIII вѣка положеніе дѣла значительно перемѣнилось. Съ одной стороны, уже не было больше основаній опасаться, что казацкая старшина *восточной* русской окраины войдетъ въ союзъ съ политическими врагами Россіи. Съ другой стороны, соціальный процессъ закрѣпощенія посполъства и присвоеніе казацкихъ земель въ частную собственность старшиной—къ этому времени почти завершился; и этотъ быстрый ростъ земельной силы новой казацкой аристократіи отлично гармонировалъ съ ростомъ шляхетскихъ тенденцій въ самой Россіи. Вотъ почему политика Петербурга на Дону и особенно на Волгѣ уже совсѣмъ не представляетъ даже тѣхъ, чисто внѣшнихъ заигрываній съ казацкой демократіей, какихъ нечужда была политика Москвы на Днѣпрѣ. Старшинская партія стала здѣсь окончательно — правительственной, а войсковая—оппозиціонной. Новорожденное казацкое дворянство и старшинская бюрократія быстро сознали свою солидарность съ дворянствомъ и бюрократіей имперіи. И еще быстрѣе простой народъ, закрѣпощаемый тѣмъ и другимъ дворянствомъ, долженъ былъ признать въ обоихъ своего общаго врага;—тѣмъ болѣе, что притокъ бѣглыхъ переселенцевъ изъ центра на окраины никогда не прерывался и приносилъ съ собой постоянно свѣжую струю соціальной вражды, обостряемой еще болѣе—крѣпостническими стремленіями мѣстной казацкой старшины Этой солидарностью чувствъ и интересовъ обѣихъ соціальныхъ группъ въ центрѣ и на окраинѣ объясняется, почему движеніе, вначалѣ специфически казацкое, антистаршинское, такъ легко и быстро

перекинулось изъ только что начавшей заселяться территоріи казаковъ и инородцевъ въ черту (тоже не особенно стараго) помѣщичьяго землевладѣнія и крѣпостного права. Пугачевскія прокламаціи не оставляли никакого сомнѣнія относительно соціальнаго характера движенія. Главная цѣль его — истребленіе «тѣхъ проклятаго рода дворянъ, которые, не насытясь Россіею, но и природныя казачьи войска хотѣли раздѣлить въ крестьянство и истребить казачій родъ». «Всему свѣту извѣстно,— заявлялось въ прокламаціи одного изъ сообщниковъ Пугачева,—сколько во изнуреніе приведена Россія. Отъ кого-жъ? Вамъ самимъ то небезызвѣстно. Дворянство обладаетъ крестьянами; но хотя въ законѣ Божіемъ и написано, чтобы они крестьянъ такъ же содержали, какъ и дѣтей, но они... хуже почитали собакъ своихъ, съ которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество заводовъ и такъ крестьянъ работой утрудили, что и въ ссылкахъ того никогда не бываетъ». Самъ Пугачевъ не упускалъ случая объяснять, что и потерпѣлъ онъ, и лишенъ былъ престола—за свою попытку улучшить положеніе крестьянъ: за то, что хотѣлъ перевести дворянство на жалованье, а земли вернуть крестьянамъ *). Конечно, есть въ прокламаціяхъ и другіе мотивы: тягости со стороны государства (подушная подать и рекрутчина) и перемѣна вѣры. Но и эти оба мотива ставятся въ самую тѣсную связь съ главнымъ, антидворянскимъ. «Отъ прописанныхъ злодѣевъ дворянъ древняго святыхъ отецъ преданія законъ христіанскій нарушенъ и поруганъ, а вмѣсто того съ ихъ зловреднаго умысла, съ нѣмецкихъ обычаевъ, введенъ въ Россію другой законъ, и самое богомерзкое брадобритіе и разныя христіанской вѣрѣ, какъ въ крестѣ, такъ и въ прочемъ, неистовства; и подвергнули, кромѣ (т.-е. вопреки) нашей монаршей власти, всю Россію себѣ въ подданство, съ наложеніемъ великихъ отягощеніевъ и доводя ее до самой и крайней гибели». Исходъ намѣчался самъ собою: замѣнить дворянское войско—казацкимъ; тогда не нужно будетъ ни помѣщичьихъ, ни государственныхъ сборовъ, ни рекрутчины. «Вѣрноподданныхъ» Пугачева ожидала «вольность, безъ всякаго требованія въ казну подушныхъ и прочихъ податей и рекрутовъ набору; войско *изъ вольножелающихъ* къ службѣ великое исчисленіе имѣть будетъ; дворянство крестьянъ своихъ великими работами и податями отягощать не будутъ, понеже каждый восчувствуетъ прописанную вольность и свободу».

Современники хорошо понимали, что сила Пугачева не въ немъ самомъ, а въ этой соціально-политической программѣ, которая съ своего рода необходимостью вытекала изъ всей вѣковой исторіи крестьянства и явилась неизбѣжнымъ, неустранимымъ выраженіемъ его классоваго самосознанія. (Ср. «Оч.», I, 138—139, 209 и слѣд.). Въ этомъ смыслѣ,

*) Ср. Очерки, I, стр. 214—215 (4 изд.).

вся крестьянская Россія была пугачевской. «Не вездѣ ль опасность одинакова? И не весь ли черный народъ вообще, когда не въявь, такъ въ сердцахъ своихъ—бунтуетъ и готовъ поднять на насъ свои руки?» Такъ спрашивалъ себя, всего въ 60-ти верстахъ отъ Москвы, помѣщикъ Болотовъ, смущенный слухами о приближеніи Пугачева. Единственной гарантіей противъ «этихъ бородачей» Болотовъ считалъ, что ему случилось быть въ тотъ моментъ *не въ своей*, а въ государственной деревнѣ. «Тамъ наши люди первые могли бы быть нашими злодѣями и врагами, а здѣшнимъ мы—сторона дѣло. *Ничѣмъ мы имъ еще не нагрубили*». И однако, и въ этихъ ожиданіяхъ Болотовъ ошибся. Обратившись къ новобранцамъ, собраннымъ противъ Пугачева, съ увѣщаніемъ «драться хорошенько», онъ услышалъ отъ одного изъ нихъ самый недвусмысленный отвѣтъ. «Да, сказалъ онъ мнѣ на сіе, злодѣйски усмѣхаясь; сталъ бы я бить свою братью! А развѣ васъ, бояръ, такъ готовъ буду десятерыхъ посадить на копье сіе!» Не мудрено, что тотъ же Болотовъ,—писатель и интеллигентъ, какъ мы знаемъ,—будучи допущенъ вмѣстѣ съ другими «дворянами и господами» къ самому эшафоту Пугачева, вынесъ изъ зрѣлища казни одно только чувство—сословнаго удовлетворенія этимъ «истиннымъ торжествомъ дворянъ надъ симъ общимъ ихъ врагомъ и злодѣемъ» *).

Политика власти, когда приходилось выбирать между противоположными интересами дворянства и крестьянства, намъ хорошо извѣстна. Мы видѣли, что уже Иванъ Грозный, впервые выставившій демократическо-монархическую программу, резумѣлъ подъ своимъ демократизмомъ собственно защиту интересовъ служилаго «воинства». То же самое «воинство», опираясь на которое Грозный «игралъ» со знатью, «какъ съ младенцами», вынесло на своихъ плечахъ смуту и посадило на престолъ новую династію. Взамѣнъ того, оно получило право свободнаго распоряженія крѣпостнымъ трудомъ и значительную долю участія въ выгодахъ установившагося бюрократическаго режима. Наконецъ, на то же «воинство» предпочиталъ опираться и Петръ Великій въ борьбѣ съ своими многочисленными врагами **). Зато, самъ того не сознавая, онъ посѣялъ зародыши сословныхъ привилегій въ западноевропейскомъ смыслѣ среди излюбленнаго имъ гвардейскаго офицерства. Теперь эти сѣмена принесли свой плодъ. Корпоративное сознаніе зародилось; не хватало только корпоративной организаціи, и эту орга-

*) Съ другимъ чувствомъ—«отвращенія», боровшагося съ любопытствомъ—ушелъ отъ того же эшафота пятнадцатилѣтній И. И. Дмитріевъ, писатель слѣдующаго, Карамзинскаго поколѣнія. «Чувствительное сердце его» (онъ говоритъ про своего брата эти слова, которыя можно отнести и къ нему самому и ко всему поколѣнію) уже «не могло выносить такого позорища».

**) См. Очерки, III, 1, стр. 65, 77—89, 147—149.

низацію предстояло дать Екатеринѣ, чтобы успокоить недовольство, вызванное въ дворянствѣ успѣхами пугачевщины.

Для начала Екатерина поспѣшила—еще во время самой борьбы и въ интересахъ ея успѣха—признать свое дѣло солидарнымъ съ дѣломъ дворянства. Когда, по вызову Бибикова, казанское дворянство постановило сформировать особый конный корпусъ, Екатерина велѣла передать дворянамъ, что она, въ виду пожертвованія ихъ, «поставляетъ себѣ тѣмъ сугубѣйшимъ долгомъ—цѣлость, благосостояніе и безопасность ихъ ничѣмъ нераздѣлимою почитать съ собственною нашею и имперіи нашей безопасностію и благосостояніемъ». Съ своей стороны, *«яко помѣщица той губерніи»*, императрица приказывала поставить въ дворянскій корпусъ рекрутъ съ дворцовыхъ волостей. Демонстрація Екатерины вызвала высокопарный отвѣтъ дворянства, написанный Державинымъ. По старинному дворяне умилялись, что императрица «пріемлетъ на себя рабье названіе», и, переходя въ новый тонъ, восклицали: «признаемъ тебя своею помѣщицею: принимаемъ тебя въ свое товарищество; когда угодно тебѣ, равняемъ тебя съ собою. Но за сіе и ты ходатайствуй за насъ у престола величества твоего».

Эту роль—ходатая передъ самой собой за дворянство—Екатеринѣ не трудно было выполнить послѣ всего того, что было сказано и сдѣлано депутатами ея Комиссіи отъ собственнаго имени дворянства. Насущныя потребности и корпоративныя тенденціи дворянъ были ей хорошо извѣстны изъ наказовъ и рѣчей, изъ преній и баллотировокъ по вопросу «о правахъ благородныхъ». Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ тому, что Екатерина взяла изъ этого источника, намъ надо познакомиться съ идеологическими источниками сословнаго законодательства Екатерины.

Источники эти были такъ же не похожи на прежнихъ вдохновителей Екатерины, какъ не похожъ былъ и ея новый пріемъ подготовки законопроектовъ—наединѣ съ собой, въ собственномъ кабинетѣ, иногда съ однимъ - двумя экспертами, призываемыми ad hoc, — на старую форму шумныхъ преній въ Комиссіи. Провозвѣстниковъ новыхъ абстрактныхъ идей, теоретиковъ «общаго блага», «благодѣтелей человѣчества» смѣняютъ на ея рабочемъ столѣ тяжеловѣсныя историко-юридическія изслѣдованія и монографіи по спеціальнымъ вопросамъ. Екатерина никогда не любила политическаго абсолютизма Руссо; но и въ политическомъ релятивизмѣ Монтескье было еще черезчуръ достаточно абсолютныхъ элементовъ, которые она принимала на вѣру. Теперь Екатерина беретъ въ руководители писателя-юриста той страны, гдѣ особенно силенъ юридическій консерватизмъ. Вмѣстѣ съ нимъ она готова подчинить всякую теорію существующему факту: въ этомъ фактѣ, въ существующемъ, вѣками сложившемся общественномъ строѣ, въ историческихъ прецедентахъ она ищетъ единственной твердой опоры—если не для теоріи, то для законодательства. Блэкстонъ зани-

маетъ мѣсто Монтескье. И какъ различенъ отъ прежняго способъ пользованія новымъ авторитетомъ! Цѣлыми страницами Екатерина переписывала когда-то «президента Монтескье» въ свой Наказъ и спѣшила выставить на показъ всему свѣту свой безцеремонный литературный плагіатъ. Теперь, изъ Блэкстона она ничего не беретъ прямо: это ея «нить, которую она разматываетъ на свой манеръ». И она совсѣмъ не читаетъ больше «экономистовъ» и всякихъ другихъ «—истовъ», которые въ изобиліи шлютъ ей свои сочиненія, стараясь подѣйствовать на ея умъ и волю. Она занимается теперь не «болтовнею», а «дѣломъ». Плоды ея новыхъ работъ въ ея глазахъ, конечно, гораздо выше Наказа; но своимъ корреспондентамъ, Вольтеру или Гримму, она вовсе не спѣшитъ теперь посылать свои работы. Почему? О, конечно, не потому, чтобы эти «указы» не были краснорѣчивы или не принесли бы великой пользы «человѣчеству». Но дѣло въ томъ, что... «ихъ переведутъ плохо: въ нихъ больше идей, чѣмъ фразъ, а у переводчиковъ больше фразъ, чѣмъ идей»... Наконецъ,—это Екатерина пишетъ послѣ настойчивыхъ упрашиваній не въ мѣру льстивыхъ корреспондентовъ,—«это слишкомъ скучное чтеніе; это очень хорошо, быть можетъ очень красиво, но ужасно скучно».

Дѣйствительно, скучное, дѣловое чтеніе; но мы не можемъ освободить себя отъ него, какъ освобождала Екатерина своихъ корреспондентовъ. Послѣдуемъ за ней въ ея московское уединеніе; посидимъ надъ разгонистымъ почеркомъ ея черновиковъ, въ которыхъ пять мѣсяцевъ подрядъ, упорно марая, зачеркивая и переписывая, она вырабатывала текстъ перваго своего капитальнаго законодательнаго акта, «Учрежденія о губерніяхъ». Что взяла она здѣсь изъ дворянскихъ просьбъ и желаній? Въ чемъ можно усмотрѣть идеологическое вліяніе Блэкстона?

Въ сущности, оба эти источника сходились ближе, чѣмъ можно было бы ожидать отъ такихъ полярныхъ повидимому, явленій, какъ русская жизнь и англійская теорія XVIII-го вѣка. Мы знаемъ, что самое единодушное желаніе дворянскихъ депутатовъ заключалось въ томъ, чтобы въ русской провинціи созданы были близкія къ населенію судебно-полицейскія учрежденія и чтобы въ составъ этихъ учрежденій, цѣликомъ или отчасти, введены были выборные отъ дворянства. Но въ Англіи XVIII-й вѣкъ былъ какъ разъ вѣкомъ расцвѣта областныхъ судебно-полицейскихъ учрежденій, отдавшихъ деревенское населеніе всецѣло въ распоряженіе класса помѣстныхъ землевладѣльцевъ. Къ этому именно классу—лордовъ и сквайровъ, полновластныхъ хозяевъ сельской Англіи,—обращается Блэкстонъ съ своими «Комментаріями на англійскіе законы». Прирожденные законодатели и судьи, они должны знать законы страны, какъ долженъ былъ знать римское право римскій патрицій. Понятно, что здѣсь была бы неумѣстна демократическая теорія общественнаго договора. Блэкстонъ рѣшительно

признаетъ ее «абсурдной» и оставляетъ «теоретикамъ». Оставаясь сыномъ своего вѣка, онъ не можетъ, конечно, не признавать теоріи «естественнаго права» вообще; но онъ весьма предусмотрительно отдѣляетъ сферу дѣйствія естественнаго права отъ сферы дѣйствія положительнаго закона. Санкцію закона (поскольку онъ не противорѣчитъ «здравому разсудку»), Блэкстонъ ищетъ исключительно въ правительственномъ распоряженіи. Въ своемъ уваженіи къ существующему, онъ даже идетъ еще дальше. «Хотя бы разумъ, диктовавшій законы, и не былъ ясенъ съ перваго взгляда, мы обязаны слишкомъ большимъ уваженіемъ къ нашимъ предкамъ, чтобы предположить, что они дѣйствовали вовсе безъ всякаго разсужденія». Такому руководителю Екатерина смѣлѣе могла ввѣриться, чѣмъ разнымъ «вралямъ» — «экономистамъ». И мы можемъ легко предположить, что роль, отведенная «джентри» въ публичномъ и частномъ правѣ Англіи, въ частности же и въ мѣстномъ управленіи англійскаго графства, очень помогла Екатеринѣ помириться съ сословно-автономистскими стремленіями русскаго дворянства.

Былъ впрочемъ еще одинъ ближайшій источникъ, который могъ послужить и послужилъ нагляднымъ образцомъ тѣхъ же сословныхъ мѣстныхъ учрежденій, какихъ добивалось наше дворянство и какія въ такой полнотѣ осуществлены были въ отечествѣ Блэкстона. Въ остзейскомъ краѣ, подъ покровомъ шведскихъ бюрократическихъ формъ, «рыцарство», въ сущности, держало въ своихъ рукахъ все управленіе краемъ. Правда, остзейскіе порядки вызывали какъ разъ тѣ же самыя жалобы, которыя такъ часто слышатся въ дворянскихъ наказахъ. До суда и расправы и здѣсь было далеко простому, не привиллегированному обывателю; за отсутствіемъ на мѣстѣ представителей законной власти, и здѣсь самоуправство было въ порядкѣ вещей; помѣщикъ и здѣсь фактически былъ высшей властью и неограниченно господствовалъ въ предѣлахъ, а частью и за предѣлами собственнаго имѣнія. Но даже и такое несовершенное въ юридическомъ отношеніи состояніе остзейскихъ провинцій все-таки оставалось идеаломъ для страны, гдѣ, послѣ неудачной попытки Петра (см. выше), *воевода* оставался единственнымъ и полновластнымъ хозяиномъ цѣлой территоріи уѣзда, гдѣ «въ одной воеводской канцеляріи совокуплены» были «дѣла всякаго рода и званія».

Теперь эти дѣла должны были распредѣлиться по принадлежности. Финансы, полиція и судъ получали свои отдѣльные органы въ уѣздѣ и въ губерніи; въ судѣ и полиціи получали значительное участіе выборные представители дворянства. Ближайшее мѣсто по отношенію къ населенію занялъ при этомъ судебно-полицейскій органъ, соотвѣтствовавшій лифляндскому «орднунгсгерихту». Согласно желаніямъ наказовъ этотъ органъ былъ *цѣликомъ* составленъ изъ выборныхъ: во главѣ его «земскій капитанъ-исправникъ» избираемый дворянствомъ; при немъ 2—3 «засѣдателя», выбранныхъ отъ дворянъ и двое отъ государствен-

ныхъ крестьянъ, гдѣ они были. Но Екатерина хотѣла *отдѣлить* судъ отъ управленія и организовать судебныя мѣста согласно идеѣ, усвоенной ею еще въ Наказѣ: именно такъ, чтобы «всякаго человѣка судити черезъ равныхъ ему». Поэтому рядомъ съ названнымъ органомъ («нижнимъ земскимъ судомъ»), получившимъ преимущественно полицейское значеніе (хотя и сохранившимъ до 1889 года свою коллегіальную форму), она поставила чисто судебный органъ *первой* инстанціи для дворянъ («уѣздный судъ»), въ соотвѣтствіе такимъ же органамъ для горожанъ (городовой магистратъ) и не помѣщичьихъ крестьянъ (нижняя *народная* расправа—такъ назывался этотъ органъ въ первоначальномъ текстѣ). Затѣмъ суды *средней* инстанціи (уничтоженные вскорѣ, въ 1796 г.) тоже устраивались по сословіямъ: дворяне получили въ этой инстанціи «верхній земскій судъ» (остзейскій оберландгерихтъ), въ соотвѣтствіе «губернскому магистрату» и «верхней народной расправѣ» для горожанъ и крестьянъ. Весь составъ дворянскаго уѣзднаго суда былъ выборный отъ дворянства; въ верхнемъ же судѣ только два председателя были назначенные отъ короны. Напротивъ, въ крестьянскихъ судахъ обѣихъ инстанцій председателями были лица назначенные правительствомъ, т.-е. опять-таки служащіе дворяне; «не запрещалось» и крестьянскихъ засѣдателей выбирать «изъ дворянъ или ученыхъ, или чиновныхъ людей». Суды *высшей* инстанціи въ губерніи (гражданская и уголовная палата) были уже вполнѣ коронными по составу.

«Сей порядокъ сходственъ съ порядкомъ нашихъ остзейскихъ провинцій», признавала сама Екатерина. Принимаясь за его осуществленіе, она и пригласила поэтому, въ качествѣ экспертовъ, одного ландрата изъ Эстляндіи, имя котораго осталось неизвѣстнымъ, и лифляндца Сиверса, которому предоставлено было произвести первый опытъ введенія новыхъ учрежденій—въ Тверской и Новгородской губерніяхъ. Сиверсъ, несомнѣнно, преувеличиваетъ свою роль при самой разработкѣ проекта. Безспорно только одно, что по его совѣту исключена изъ черновиковъ Екатерины промежуточная инстанція между уѣздомъ и губерніей: *провинція*. Она и дѣйствительно являлась лишней, послѣ того какъ сами губерніи были уменьшены до размѣровъ прежней провинціи *).

Напротивъ, самая существенная черта, *отличающая* «Учрежденіе» отъ его остзейскаго образца,—именно, проведеніе болѣе стройной, чѣмъ практичной,—и никогда не осуществившейся вполнѣ—системы сословныхъ «судовъ пэровъ» для крестьянъ, горожанъ и дворянства—есть, конечно, личное дѣло самой Екатерины. Въ этой идеѣ нельзя не видѣть центральнаго зерна, около котораго кристаллизовалось все остальное идейное содержаніе «Учрежденія о губерніяхъ.

*) Прямымъ послѣдствіемъ этой перемѣны въ первоначальномъ проектѣ и было накопленіе въ губернскомъ городѣ судебныхъ мѣстъ двухъ высшихъ инстанцій («палаты» и «верхніе» сословные суды, скоро отмѣненные).

Устройствомъ «судовъ равныхъ», дѣйствительно, не ограничиваются идеологическіе элементы «Учрежденія». Въ первоначальный проектъ закона, при самомъ началѣ его разработки, императрица вставила еще три характерныхъ органа, почерпнутые изъ другихъ источниковъ и, несомнѣнно, представляющіе то, что Екатерина считала своимъ особенно важнымъ идейнымъ вкладомъ въ Учрежденіе о губерніяхъ. Всѣ три прибавлены на поляхъ къ первоначальному тексту, разрываютъ стройность системы, и Екатерина тщетно ищетъ у Сиверса указаній, какъ бы возстановить эту стройность. Новые органы эти: 1) сиротскіе суды, дворянскій (опека) и городской; 2) приказъ общественнаго призрѣнія и 3) совѣстный судъ. Что касается опеки, указанія на это Екатерина могла найти въ наказахъ, въ томъ числѣ въ имѣвшемъ особое вліяніе на нее наказѣ сената, изъ котораго усвоены ею многія частности. Но устройство приказа общественнаго призрѣнія—этого предшественника теперешнихъ земствъ, предназначеннаго вѣдать мѣстную благотворительность, медицину и народное образованіе,—стоитъ въ несомнѣнной связи съ ея личными просвѣтительными тенденціями. Объ этомъ приказѣ Екатерина особенно заботится: ставитъ его рядомъ съ высшими мѣстами въ губерніи,—съ губернскимъ правленіемъ и судебными палатами; даетъ ему безвозвратно капиталъ въ 15.000 для начала его дѣятельности. Еще интереснѣе происхожденіе совѣстнаго суда: самое названіе этого учрежденія — cour de l'équité указываетъ на заимствованіе изъ Блэкстона. Назначеніе совѣстнаго суда — смягчать жесткость закона въ примѣненіи къ отдѣльнымъ случаямъ и восполнять недостатокъ законовъ: совѣстный судъ долженъ дѣйствовать тамъ, гдѣ законы молчатъ. Въ такой постановкѣ нельзя не видѣть результатовъ чтенія Блэкстона. Уже самыя вступительныя слова этой главы «Учрежденія»: «Понеже личная безопасность каждаго вѣрноподданнаго весьма драгоцѣнна есть человѣколюбивому монаршему сердцу» и т. д., а также дальнѣйшій параграфъ (401: «Буде кто пришлетъ прошеніе въ совѣстный судъ, что онъ содержится въ тюрьмѣ болѣе 3 дней, и въ тѣ три дни ему не объявлено, за что онъ содержится въ тюрьмѣ или что онъ въ тѣ 3 дни не допрашиванъ, тогда с. с., не выходя изъ присутствія, долженствуетъ послать повелѣніе» и т. д.) — показываютъ, что глава «Комментаріевъ» о habeas corpus произвела на императрицу сильное впечатлѣніе. Своимъ совѣстнымъ судомъ Екатерина особенно гордилась и ожидала отъ него важныхъ послѣдствій. Въ своей перепискѣ она не разъ повторяетъ, что это будетъ «могила ябеды». Въ порядкѣ губернскихъ учрежденій совѣстный судъ поставленъ еще независимѣе, чѣмъ приказъ общественнаго призрѣнія. Въ обоихъ учрежденіяхъ засѣдаютъ, подъ предсѣдательствомъ коронраго судьи и губернатора, выборные представители всѣхъ трехъ сословій поровну.

Если даже оставить въ сторонѣ только что перечисленные органы, необходимо будетъ все-таки признать, что Учрежденіе о губерніяхъ

вводило въ наше государственное право совершенно новыя начала. Въ виду этого, Екатерина сочла даже нужнымъ теоретически оправдать необходимость подобныхъ нововведеній. Въ предисловіи къ Учрежденію она ссылается на «многіе примѣры» «въ доказательство истины сей, что распространеніе предѣловъ государства, умноженіе въ овомъ народа и происшедшее изобиліе въ способахъ ко внутреннему и извнѣ текущему обогащенію (обыкновенно и повсюду) перемѣняли какъ образъ ихъ управленія, такъ часто и заставляли дополнять самыя законоположенія, учинившіяся напослѣдокъ или неудобными или недостаточными, коихъ довлѣло (т.-е. которыя были достаточны), при основаніи державы и въ первомъ ея состояніи» *). И этотъ аргументъ далеко не былъ лишнимъ. Новыя учрежденія, прежде всего, предполагали существованіе корпоративно-организованныхъ общественныхъ группъ, выбиравшихъ своихъ представителей въ новыя общественныя и правительственныя должности. Но самое понятіе корпораціи, какъ юридическаго лица, настолько чуждо было нашему праву, что Екатеринѣ пришлось объяснять это правовое понятіе выписками изъ Блэкстона и Делольма.

Не мудрено, что и для власти, и для дворянства далеко не сразу стало ясно все значеніе введенныхъ правительствомъ выборовъ и сословнаго представительства. Фактически у дворянства явились «предводители» уже тогда, когда надобно было устроить выборы въ Комиссію уложенія. Но манифестъ 14-го декабря 1766 г. создавалъ эту должность лишь на два года—«для лучшаго между собой порядка» при выборѣ депутата и на «случай, если даны будутъ отъ верховной власти ка-

*) Въ черновыхъ текстахъ выработкѣ этого интереснаго мѣста предшествовала довольно продолжительная работа, очень характерная для исторіи екатерининскихъ идей о естественномъ правѣ. Указавъ на недостаточность историческихъ свѣдѣній оначалѣ человѣческихъ обществъ (Блэкстонъ въ этомъ случаѣ ищетъ указаній въ Библіи), Екатерина ссылается, какъ на единственный остающійся источникъ, на «здравый разсудокъ», который «заставляетъ думать, что во всякомъ народѣ управленіе его» ... «сходствовало съ народнымъ», пишетъ она сперва привычную мысль, но тотчасъ же оговаривается: «или заимствовало чего ни на есть отъ народнаго». Но и эта оговорка кажется Екатеринѣ недостаточной: она надписываетъ надъ строкой фразу, выражающую совершенно противоположную мысль (эти слова мы ставимъ въ скобки): «сходствовало съ народнымъ (или надъ нимъ власть имѣющихъ) умоначертаніемъ». Далѣе исправленный текстъ читается (зачеркнутое Екатериной въ скобкахъ): «или же, по крайней мѣрѣ, заимствовало много или мало отъ onaro, установляемо же было или (вдругъ силою) исподволя по общему желанію (согласіемъ общимъ, надобностямъ) или силою. Перемѣны же происходили по положенію дѣлъ и разнообразныхъ военныхъ и мирныхъ обстоятельствъ внутреннихъ и внѣшнихъ, или же по умноженію или умаленію людей или земли ими занятыми. Краткое сіе описаніе замыкаетъ въ себѣ безъ изъятія лѣтописанія всѣхъ государствъ». Мы видимъ, какъ мысль императрицы колеблется, отвыкая отъ «абсурдной» теоріи общественнаго договора и приноровляя старые термины къ новому пониманію, вытекающему изъ чтенія Блэкстона.

кія особыя повелѣнія» относительно «всѣхъ живущихъ въ уѣздѣ дворянъ». На второе двухлѣтіе (1769) выборы были опять назначены особымъ указомъ, и только при третьихъ выборахъ (1771) сдѣлано было распоряженіе повторять ихъ впредь, не дожидаясь особыхъ указовъ. Часть дворянства, правда, уже въ наказахъ обнаружила стремленіе къ постоянной корпоративной организаціи дворянства, потребовавъ отъ правительства не только права выбора въ судебно-полицейскія должности, но также и права періодическаго созыва дворянскихъ собраній—для выслушанія отчетовъ выборныхъ лицъ, для обсужденій сословныхъ нуждъ дворянства и даже для представленія петицій. Однако, «Учрежденіе о губерніяхъ» признавало лишь *выборныя* собранія дворянства, и только на прямой запросъ Безбородко о правѣ обсужденія нуждъ и петицій (1778: «кромѣ выборовъ, ежели общее собраніе дворянства или нѣкоторые уѣзды будутъ имѣть надобность или пожелаютъ собраться для совѣта съ собратіями своими о нуждахъ и пользахъ взаимныхъ... можно ли дозволить имъ о томъ совѣтовать и дѣлать представленія или жалобы именемъ общества чрезъ депутатовъ?») Екатерина лаконически отвѣчала: «дозволить», введя затѣмъ это дозволеніе и въ текстъ жалованной грамоты дворянству 1785 года.

Такимъ образомъ, лишь мало-по-малу дѣло, начатое въ рамкахъ прежнихъ законодательныхъ комиссій XVII—XVIII вѣковъ, разрослось до предѣловъ настоящаго дворянскаго самоуправленія, гораздо болѣе напоминавшаго средневѣковыя сословныя учрежденія Запада, чѣмъ губныя учрежденія Грознаго или «всеуѣздныя избы» московскаго черносошнаго сѣвера.

Но, отставъ отъ одного берега, пристали ли новые порядки къ другому? Конечно, нѣтъ,—и этимъ объясняются колебанія теоретиковъ государственнаго права, слѣдуетъ ли признать дворянскія учрежденія Екатерины за самоуправленіе вообще. Стоитъ взглянуть на сосѣднюю Лифляндію, послужившую ближайшимъ источникомъ этихъ учрежденій, чтобы замѣтить и оцѣнить всю разницу. Въ Лифляндіи даже коронныя должности, замѣщаемыя мѣстнымъ дворянствомъ, пріобрѣтали земскій характеръ. Напротивъ, у насъ, какъ сейчасъ увидимъ, земскія должности стремились пріобрѣсти коронный характеръ. Средоточіемъ дворянской силы въ Лифляндіи была та самая «коллегія ландратовъ», которую когда-то Петръ тщетно старался привить Россіи. И эта коллегія настолько стояла въ разрѣзъ съ духомъ екатерининскихъ учрежденій, что, къ великому огорченію Сиверса и раздраженію мѣстнаго дворянства, она была первая уничтожена, когда Екатерина рѣшилась навязать краю свои новыя учрежденія. Такимъ образомъ, введеніе губернскихъ учрежденій, бывшее торжествомъ дворянскихъ тенденцій у насъ, явилось въ остзейскихъ губерніяхъ первымъ симптомомъ ихъ паденія. Такъ велико было различіе между сословными

учрежденіями, вводимыми искусственно, и тѣми же учрежденіями, сложившимися исторически *).

Въ чемъ же корень различія? Мы это поймемъ сразу, если скажемъ, что съ самаго начала дѣйствія новыхъ учрежденій и власть, и дворянство смотрѣло на нихъ, какъ на новаго рода службу, повинность, и что общественную дѣятельность очень скоро пришлось свести къ масштабу такого единственнаго тогда и всемогущаго соціальнаго мѣрила, какимъ былъ чинъ (ср. выше).

Отъ службы,—единственной, какую дворянство до тѣхъ поръ знало, т.-е. военной,—дворянство было, правда, только что уволено. Но оно такъ сроднилось съ мыслью, что только служба и даетъ ему его соціальное положеніе въ государствѣ, что никакъ не могло понять своего освобожденія и, въ массѣ, отнеслось къ освобожденію отъ службы недовѣрчиво и подозрительно. Въ самой Комиссіи вопросъ этотъ не разъ становился предметомъ горячихъ споровъ, и самые ретроградные элементы дворянства оригинальнымъ образомъ сходились съ самыми передовыми во мнѣніи, что освобождать дворянство отъ службы не слѣдуетъ. Иначе оно теряетъ право владѣть крестьянами: такова была задняя мысль у всѣхъ, въ томъ числѣ и у самихъ крестьянъ, какъ мы знаемъ («Оч.», I, стр. 214). Эта задняя мысль и явилась источникомъ всѣхъ возраженій: какъ крѣпостниковъ, въ родѣ Выродова, находившихъ, что дворянинъ долженъ служить «изъ благодарности» «за предпочтеніе передъ прочими», такъ и радикаловъ, въ родѣ Урсинуса или городского депутата Антонова, утверждавшихъ, что каждый дворянинъ долженъ «собственными заслугами» возобновлять предпочтеніе, оказанное предкамъ. Общее мнѣніе было, что, предоставленное самому себѣ, дворянство предастся праздности и бездѣлью въ своихъ имѣніяхъ. Противовѣсомъ противъ всѣхъ этихъ опасеній и явилось созданіе новыхъ коронныхъ и выборныхъ должностей по мѣстному управленію. Даже такіе близкіе къ губернской реформѣ люди, какъ Сиверсъ, видѣли въ ней, главнымъ образомъ, поправку къ указу о вольности отъ службы. Служба на мѣстѣ являлась лучшимъ средствомъ примирить интересы дворянства съ нуждами правительства: сельскую жизнь съ государственной службой. По остроумному выраженію одного изслѣдователя, дворянство переводилось только изъ министерства военнаго въ

*) Первоначально Екатерина не имѣла въ виду дѣлать свои губернскія учрежденія орудіемъ руссификаціи окраинъ. Въ черновомъ текстѣ находимъ прямую оговорку въ этомъ смыслѣ: «Все сіе не касается до тѣхъ губерній, кои имѣютъ особыя конфирмованныя привилегіи, какъ-то Малороссія, Лифляндія и прочія;—и не до Сибири». И далѣе: «изъключая изъ сего новаго учрежденія всѣ тѣ области, земли и княженія нашего государства, коими особыми привилегіями и жалованными грамотами отъ предковъ нашихъ и насъ самихъ снабжены или нашими конфирмаціями подтверждены». Ср. стр. 275—276, пренія въ Комиссіи. Какъ извѣстно, губернскія учрежденія были распространены на Малороссію въ 1782 г. и на Лифляндію и Эстляндію въ 1783 г.

министерство внутреннихъ дѣлъ. И раньше, чѣмъ имп. Николай I рельефно выразилъ эту мысль, одѣвши всѣхъ дворянъ безъ различія въ одинъ мундиръ министерства внутреннихъ дѣлъ, екатерининскіе цвѣтные мундиры дворянъ по губерніямъ уже намѣчали такой исходъ, хотя ближайшей ихъ цѣлью и было символизировать корпоративность и привилегированность сословія, имѣвшаго входъ ко двору.

Наиболѣе интеллигентные изъ дворянъ такъ и поняли съ самаго начала новыя права дворянства, какъ новый видъ службы. «Учрежденіе собраній дворянскихъ есть истинное право», замѣчалъ, напр., Щербатовъ, «если бы оно зависѣло отъ собственнаго согласія или отъ тѣхъ, кого они сами начальниками себѣ изберутъ; но какъ сего нѣтъ, то они собираются не для сужденія о своихъ дѣлахъ, не для разсмотрѣнія общей и частной пользы, но токмо какъ нѣкоторыя орудія, которыя сносятъ, для угнетенія самихъ же ихъ». Это доказывалось, по мнѣнію Щербатова самой постановкой дворянскаго представительства въ законѣ, который «уподлялъ чинъ губернскаго предводителя» и ставилъ его въ полную зависимость отъ намѣстника и губернатора. Какъ извѣстно, «хозяинъ губерніи» по Учрежденію былъ, дѣйствительно, единственнымъ и безконтрольнымъ посредникомъ между областью и верховной властью: положеніе, которое одинаково вызывало оппозицію новому закону какъ среди придворныхъ временщиковъ, такъ и среди вліятельныхъ элементовъ провинціи. По замѣчанію Щербатова, намѣстники и губернаторы, «бывъ деспоты въ губерніяхъ, всегда могутъ имѣть нѣкоторую партію для избранія, кого пожелаютъ... а потому всѣ судьи и будутъ по ихъ волѣ выбираться» *). Щербатовъ забывалъ только прибавить, что огромное большинство рядового дворянства не видѣло въ такой постановкѣ ничего обиднаго для своего корпоративнаго достоинства. Дворянство, какъ это мы знаемъ изъ сообщеній Сиверса, на перебой бросилось занимать губернскія должности, не различая выборныхъ отъ невыборныхъ и видя въ тѣхъ и другихъ лишь новый путь для службы и выслуги.

Необходимымъ послѣдствіемъ такого взгляда власти и самого дворянства на выборныя должности, какъ на новый типъ государственной службы, было включеніе ихъ въ рамки табели о рангахъ. «Учре-

*) Предсказанія Щербатова подтверждаются наблюденіями надъ петербургскими выборами двухъ пріѣзжихъ французовъ (1792), въ отзывѣ которыхъ, конечно, отражаются и тогдашніе толки *столичнаго* дворянства: «Читая указъ объ этихъ собраніяхъ, видишь, что не можетъ быть лучшихъ правилъ и большаго простора для корпоративнаго обсужденія общественныхъ и государственныхъ дѣлъ. Но до сихъ поръ власть ставила столько препятствій предположеніямъ собраній, генералъ-губернаторы такъ сильно вліяли на рѣшеніе ихъ, что результаты этихъ собраній можно считать совершенно сведенными къ нулю. Извѣстно заранѣе, кого выберутъ, потому что кандидаты указаны свыше, и власть охотно жертвуетъ формой (назначенія), разъ дворянство этимъ удовлетворяется, только бы остаться по существу полновластнымъ господиномъ».

жденіе о губерніяхъ» сочло должность предводителя и дворянскихъ засѣдателей совѣстнаго и верхняго земскаго суда въ 7 классѣ. капитана-исправника и уѣздныхъ засѣдателей—въ 9-мъ, засѣдателей при исправникѣ—въ 10-мъ. Но дворянство этимъ не ограничилось. Тотчасъ же возникъ дальнѣйшій вопросъ о томъ, какъ устроить свободный переходъ съ одной «службы» на другую, съ коронной на земскую и наоборотъ. Рѣшить вопросъ полнымъ приравненіемъ «обѣихъ государственныхъ службъ» Екатерина, однако, не рѣшилась. Она ограничилась установленіемъ правила, что губернскую должность извѣстнаго ранга могъ получить только тотъ, кто по своей предыдущей службѣ дослужился до ближайшаго низшаго ранга табели *). Для дворянъ, конечно, важнѣе было добиться обратнаго, т.-е., чтобы на государственную службу дворянинъ принимался въ рангѣ, какой занималъ по выборной (и вообще губернской) должности. Практика сената, который систематически игнорировалъ ранги низшихъ должностей (заполняемыхъ по назначенію губернскаго правленія) вызывала сильное недовольство дворянъ.

Дальнѣйшее развитіе законодательства, хотя и не оправдало ожиданій дворянъ относительно губернской службы, тѣмъ не менѣе совершалось именно въ направленіи бюрократизаціи земской службы. Предводитель, также какъ исправникъ, превратились, въ концѣ-концовъ въ чиновниковъ, отягощенныхъ изобиліемъ правительственныхъ порученій. Не давая желаемыхъ правъ по службѣ, правительство не стѣснялось усложнять обязанности губернскихъ учрежденій. Въ результатѣ, послѣ перваго увлеченія мѣстной службой, дворянство быстро отхлынуло отъ нея **). Умственный и нравственный цензъ избирае-

*) Тотъ, кто вовсе не служилъ, не могъ совсѣмъ участвовать въ самоуправленіи: дворяне, не имѣвшіе оберъ-офицерскаго ранга, по жалованной грамотѣ 1785 г. могли присутствовать въ собраніи, но безъ права голоса и, тѣмъ болѣе, безъ права быть выбранными въ какую-либо должность.

**) Объ этомъ имѣется любопытное свидѣтельство В. Н. Каразина (1801): онъ жалуется на случайность и произволъ коронныхъ назначеній въ *высшія* губернскія должности, важныя для службы, но отнятыя у мѣстнаго общества; наоборотъ, *низшія* должности, не представлявшія служебнаго интереса, предоставлялись общественному выбору и скоро стали пренебрегаться дворянами. «Отъ сего произошло, что со времени открытія намѣстничествъ, мало-по-малу важность дворянскихъ выборовъ упала до того, что напослѣдокъ стали производить ихъ съ пренебреженіемъ. Никто изъ людей достойныхъ не хотѣлъ быть выбраннымъ въ уѣздные чины или въ верхній земскій судъ, и сіи мѣста предоставляли, какъ милостыню, дворянамъ, не имѣющимъ другихъ способовъ къ жизни. Вообще примѣчено, что первые выборы въ губерніяхъ были и самые лучшіе: *тогда не успѣли еще разсмотрѣть* всѣхъ сихъ послѣдствій, и намѣренія монархини произвели всеобщій энтузіазмъ къ добру; простылъ сей жаръ, когда увидѣли, что безпристрастіе выбирающихъ и безкорыстіе избранныхъ были равно посмѣяны... что *уѣздныя* присутственныя мѣста суть пустая инстанція», а дѣло вершится въ губерніи, въ коронныхъ палатахъ.

мыхъ сильно упалъ, какъ только обнаружилось, что мѣстная служба не можетъ служить предварительнымъ стажемъ для государственной. И тутъ-то выяснился вполнѣ обязательно-служебный характеръ выборной службы. «Уклоненіе» отъ выборовъ и отъ выборныхъ должностей стало трактоваться властями, какъ преступленіе; уже въ XVIII в. и въ началѣ XIX-го законъ опредѣляетъ наказаніе за такое уклоненіе, потомъ пробуетъ повысить цензъ избирателей, ранги избираемыхъ, сроки ихъ службы (1831),—и все напрасно. Создавъ нѣсколько несомнѣнно полезныхъ для государства и общества учрежденій, законъ Екатерины не создалъ самоуправленія въ Россіи.

Это не значитъ, однако же, чтобы губернскія учрежденія не имѣли значенія для дворянскаго сословія. Совершенно напротивъ. Отдавъ полицію, судъ и частью управленіе въ губерніи въ руки дворянства, «Учрежденіе о губерніяхъ» послужило началомъ огромной перемѣны въ жизни русской провинціи. Служба по выборамъ все-таки закрѣпила дворянское общество на мѣстахъ, установила связи между его членами, соединила ихъ съ городомъ, куда до сихъ поръ дворяне ѣздили только въ лавки къ купцамъ и въ канцеляріи къ приказнымъ крючкамъ, помогавшимъ имъ оттягать у сосѣда имѣніе. «Дворянство входитъ мало-по-малу во вкусъ—собираться въ городѣ и строиться тамъ», пишетъ Сиверсъ о Твери и Новгородѣ. «Начало знатное дворянство не токмо въ губернскомъ городѣ часто съѣзжаться, но и строить порядочные дома для ихъ всегдашняго житья», повторяетъ почти тѣми же словами Державинъ о Тамбовѣ. «Эпоха сія,—подтверждаетъ Болотовъ,—была по всей справедливости самая достопамятная во всей новѣйшей исторіи нашего отечества и послѣдствіями своими произвела во всемъ великія перемѣны...» «Такое хорошее и веселое житье было въ особенности въ первыя 3 или 6 лѣтъ (т.-е. на первыхъ двухъ выборахъ) по открытіи намѣстничества (Тульскаго, 1777) и было намъ столь пріятно, что на вѣкъ осталось для насъ незабвенно». Послѣднія слова, которыя могли бы повторить тысячи тогдашнихъ дворянъ, показываютъ намъ, гдѣ мы должны искать сущности «великой перемѣны», совершившейся въ жизни нашего провинціальнаго дворянства со введеніемъ губернскихъ учрежденій. Это были не дворянскія привилегіи сами по себѣ: законъ ничего или очень мало могъ бы прибавить въ этомъ отношеніи къ тому, что уже существовало фактически. Не было это и торжество порядка и законности, такъ какъ, надо признаться, губернскія учрежденія не составили и въ этомъ отношеніи какой-либо особой эры: для низшихъ слоевъ населенія бо́льшая близость власти отозвалась на первыхъ порахъ лишь бо́льшимъ количествомъ приказныхъ и чиновныхъ насилій, а также бо́льшими расходами на новыя земскія власти. «Незабвенны» были для средняго дворянства годы устройства намѣстничествъ, какъ годы окончательнаго насажденія въ провинціи той дворянской культуры, начало которой мы имѣли случай прослѣ-

дить въ первой половинѣ XVIII столѣтія. Подъ культурой мы разумѣемъ тутъ отнюдь не какія-либо новыя явленія умственной и нравственной жизни: это просто пріобщеніе провинціи къ тѣмъ новымъ формамъ общественности, которыя вырабатывались съ начала вѣка вблизи двора и среди привилегированнаго населенія столицы (стр. 187—196).

Екатерина и тутъ первая подаетъ знакъ для общаго подражанія. Въ дни московскихъ празднествъ по поводу Кучукъ-Кайнарджійскаго мира (1775) она развертываетъ въ грандіозныхъ размѣрахъ ту самую програму, которая въ миніатюрѣ будетъ выполняться, на личный или на казенный счетъ, ея намѣстниками при открытіи учрежденій въ губернскихъ городахъ. «Я здѣсь четыре недѣли,—пишетъ Екатерина мадамъ Бьельке изъ Москвы, въ ожиданіи торжествъ,—два раза въ недѣлю у меня пріемы, и ни разу не было меньше 400—500 дамъ; я дала три маскарада, куда допускалось только дворянство, и ни на одинъ не было роздано меньше 6—7.000 билетовъ». Въ дни торжествъ, въ іюлѣ 1775 г. Москва еще больше переполняется провинціальнымъ дворянствомъ; и даже такія простыя души, какъ семья Болотова, удостоиваются взглянуть, въ первый разъ въ жизни, на настоящій балъ-маскарадъ, театръ и въ довершеніе всего, великолѣпный фейерверкъ. Черезъ два года у себя въ Тулѣ они будутъ показывать все это, и балъ, и маскарадъ, и театръ, и фейерверкъ, еще болѣе простымъ душамъ, чѣмъ онѣ сами. Еще черезъ десятокъ лѣтъ, проѣзжая черезъ Смоленскъ, Екатерина будетъ имѣть удовольствіе видѣть себя окруженной цѣлымъ цвѣтникомъ дамъ и дѣвицъ, въ великолѣпныхъ столичныхъ костюмахъ, и съ самыми изысканными манерами, которыя только въ ея скептическомъ спутникѣ, Сегюрѣ, вызываютъ подозрѣніе, что истинная культура отсутствуетъ подъ этой маской цивилизаціи. Но дѣло, конечно, не въ томъ,—не въ этой «истинной культурѣ». Дѣло въ томъ, что дворянство довольно; что «вранье» въ провинціи на время прекращается и уступаетъ мѣсто славословію.

Екатерина, декламировавшая и издавшая строгіе законы противъ роскоши и расточительности,—хотѣла ли одного только этого результата, сочиняя въ то же самое время, между куртагами и маскарадами, свое «Учрежденіе о губерніяхъ»? Разумѣется, она мѣтила дальше и думала захватить глубже. «Учрежденіе», по ея мысли, было только обломкомъ, отдѣльнымъ кускомъ большого цѣлаго; и если она издавала его первымъ, то лишь для того—какъ она сама выразилась въ предисловіи,—чтобъ «приготовить тѣмъ самымъ и облегчить лучшее и точнѣйшее исполненіе полезнѣйшихъ впредь издаваемыхъ узаконеній». Послѣдующія обстоятельства—и особенно увлеченіе внѣшней политикой такъ и свели все зданіе законодательства Екатерины къ обломкамъ. Но это не мѣшаетъ намъ попытаться возстановить изъ намековъ и набросковъ, по крайней мѣрѣ, его общіе контуры.

Ближайшій свидѣтель второго періода екатерининской «легисло-

маніи», Сиверсъ, нѣсколько лѣтъ спустя (1779), уѣзжая изъ Петербурга, напоминаетъ императрицѣ обо всемъ, что такъ недавно еще она имѣла намѣреніе создать тотчасъ же вслѣдъ за «Учрежденіемъ о губерніяхъ». «Если ваше величество меня спросите, какой отдѣлъ я считаю важнѣе,—мнѣ будетъ трудно отвѣтить. Все одинаково необходимо: судебные уставы, уголовное и гражданское уложеніе, вексельный уставъ, инструкція казначействамъ, директорамъ экономіи (государственныхъ имуществъ), городовое положеніе, глава о дворянствѣ, преобразованіе столичныхъ учрежденій, наконецъ, прибавлю съ стѣсненнымъ сердцемъ,—сельскій законъ,—законъ человѣчности». Къ этому послѣднему, «закону человѣчности», Сиверсъ много разъ возвращается въ своей перепискѣ съ Екатериной, напоминая ей постоянно, что «въ основѣ смутъ оренбургскихъ, казанскихъ и поволжскихъ лежало невыносимое иго рабства»; что «приверженцы Пугачева состояли исключительно изъ крѣпостныхъ, недовольныхъ своими господами», что «источникъ броженія всегда будетъ оставаться одинъ и тотъ же, пока не будетъ издано закона о сельскомъ хозяйствѣ». Но съ другой стороны тотъ же Сиверсъ оговаривался, что «пока такого закона нѣтъ, необходимо поддерживать положеніе дворянства какъ оно есть; если позволить крѣпостнымъ хотя бы самомалѣйшій протестъ или разсужденіе, то, зная человѣческое сердце, нельзя ручаться за послѣдствія». Исходя изъ такого же «знанія человѣческаго сердца» и пониманія пугачевщины, Екатерина, какъ мы знаемъ, уже сдѣлала свой выборъ. «Законъ человѣчности» къ этому времени уже не представлялся ей—не только *легко* осуществимымъ, но даже и осуществимымъ вообще. Она молчаливо вычеркнула его изъ списка своихъ будущихъ преобразованій. Хорошо еще, что «знаніе человѣческаго сердца» не позволило ей искать рѣшенія крестьянскаго вопроса въ томъ, въ чемъ искали его многіе современники,—и въ томъ числѣ Сиверсъ: въ систематической раздачѣ всѣхъ государственныхъ крестьянъ во владѣніе дворянству. Это не помѣшало, правда, усиленной раздачѣ этихъ же крестьянъ фаворитамъ и усиленной продажѣ дворянамъ государственныхъ земель; не помѣшало и юридическому укрѣпленію дворянской власти надъ крѣпостными на основахъ *частнаго* права. Въ итогѣ, по заключенію современнаго спеціалиста, «въ царствованіе Екатерины было сдѣлано гораздо болѣе для усиленія и даже для распространенія крѣпостнаго права, чѣмъ для его ограниченія».

Словомъ, «законъ человѣчности» надо исключить изъ перечня, сдѣланнаго Сиверсомъ. Остаются основныя права сословій и кодификація матеріальнаго и процессуальнаго права. Послѣднее осталось не только не выполненнымъ, но почти и не начатымъ,—если не считать подготовительныхъ выписокъ изъ старыхъ законовъ, сдѣланныхъ въ Комиссіи и, можетъ быть, подобныхъ же выписокъ, представленныхъ Екатеринѣ Соймоновымъ въ восьмидесятыхъ годахъ, съ распредѣленіемъ

ихъ на этотъ разъ «по блэкстоновымъ заглавіямъ». Главный интересъ Екатерины сосредоточился на болѣе легкой и благодарной задачѣ, на составленіи жалованныхъ грамотъ разнымъ сословіямъ. Для этого матеріалъ въ значительной степени былъ заготовленъ частными комиссіями. Наибольшаго вниманія удостоились, конечно, матеріалы для жалованной грамоты дворянству: здѣсь приняты были Екатериной во вниманіе не только проектъ и докладъ частной комиссіи, но и пренія «о правахъ благородныхъ» въ большой Комиссіи, гдѣ эти пренія заняли, какъ мы знаемъ (стр. 277) не мало засѣданій. Однако, текстъ грамоты, выработанный Екатериной, остается оригинальнымъ: главное его отличіе отъ матеріаловъ состоитъ въ томъ, что особенно разработаннымъ оказывается у Екатерины отдѣлъ о *корпоративныхъ* правахъ дворянскихъ обществъ (въ матеріалахъ онъ едва намѣченъ въ главныхъ чертахъ), тогда какъ перечисленіе отдѣльныхъ *личныхъ* правъ, требовавшихся депутатами, значительно сокращено или представлено въ болѣе обобщенной, юридически-систематизированной формѣ. Эту разницу нельзя не поставить въ связь съ изученіемъ заинтересовавшихъ Екатерину образцовъ европейскаго государственнаго права. Та же разница между проектами и составленнымъ Екатериной текстомъ въ еще болѣе рѣзкой формѣ замѣчается въ Городовомъ положеніи, черновикъ котораго составленъ былъ Екатериной уже въ 1779 году. Матеріальныя особенности и условія русской городской жизни отходятъ здѣсь еще болѣе на второй планъ передъ чисто формальными вопросами корпоративнаго городского устройства. Вниманіе императрицы какъ будто устремлено, главнымъ образомъ, на то, чтобы выдержать, насколько возможно больше, симметрію между городскимъ и дворянскимъ корпоративнымъ устройствомъ. Идеологія разошлась здѣсь еще дальше съ практикой—уже въ самой формулировкѣ закона. Какъ мы говорили въ другомъ мѣстѣ («Оч.» I, стр. 201, изд. 4-е), городская автономія явилась гораздо въ большей степени, чѣмъ дворянская, мертворожденнымъ плодомъ. Органы самоуправленія здѣсь еще скорѣе и безпрепятственнѣе приняли характеръ правительственныхъ административныхъ органовъ, чѣмъ это было съ дворянской службой по выборамъ. Въ третьей жалованной грамотѣ, «сельской» (предназначавшейся конечно только для свободныхъ крестьянъ вѣдомства директора экономіи)—формальные вопросы получили еще больше преобладанія, и интересъ къ симметріи окончательно возобладалъ надъ интересомъ къ матеріальному содержанію сельской жизни. Вся эта грамота есть не больше, какъ отдѣлъ городской грамоты о ремесленной управѣ, съ замѣной только термина «городской» терминомъ «сельскій». Не мудрено, что въ результатѣ получилось нѣчто совершенно не примѣнимое къ сельскому быту вообще и къ русскому быту, съ его своеобразностями, съ его общиннымъ землевладѣніемъ,—въ особенности. Крестьянинъ трактовался какъ цеховой, за его работой устанавливался самый мелочной надзоръ; для полученія

права на веденіе самостоятельнаго хозяйства онъ подвергался экзамену и т. п. Естественно, что этотъ проектъ такъ и остался въ бумагахъ Екатерины, не получивъ дальнѣйшаго движенія. Онъ не оказалъ даже никакого вліянія на позднѣйшее киселевское устройство казенныхъ селеній, проникнутое отчасти сходныхъ духомъ детальной правительственной опеки.

Необходимо остановиться еще на одной чертѣ екатерининскаго плана реформы, не обратившей на себя должнаго вниманія изслѣдователей. Во главѣ реформированнаго государства она хотѣла поставить реформированныя центральныя учрежденія. Разсказывая о своихъ намѣреніяхъ московскому главнокомандующему кн. М. Н. Волконскому, она представляетъ свой планъ (1775) въ слѣдующихъ чертахъ: «Окромѣ трехъ государственныхъ коллегій, прочія исчезнутъ (ср. «Оч»., I, 171). Сенатъ останется. При немъ будетъ палата, дабы сенатъ имѣлъ, гдѣ отослать тѣхъ людей и дѣла, кои разбора требуютъ. *Въ палату оборотить я намѣрена Коммиссію уложенія*». Только сопоставляя эти торопливыя слова съ извѣстнымъ намъ совѣтомъ, поданнымъ Екатеринѣ Дидро, мы можемъ понять полное значеніе ея намѣренія. Что это намѣреніе не было случайнымъ, только мелькнувшимъ въ ея головѣ и тотчасъ же оставленнымъ, видно изъ дальнѣйшей судьбы его. Къ своей идеѣ о переустройствѣ сената Екатерина вернулась въ 1787 г., т.-е. накануне второй турецкой войны и французскихъ замѣшательствъ. Въ это время былъ составленъ ею проектъ указа о сенатской реформѣ. Текстъ указа пока неизвѣстенъ, но о содержаніи его можно заключать съ большой вѣроятностью, если сопоставить то, что говоритъ о немъ секретарь Екатерины, Храповицкій,—съ одной позднѣйшей запиской Безбородко (1799), очевидно, основанной на томъ же указѣ и частью передающей подлинныя выраженія его. Здѣсь, послѣ несомнѣнно екатерининскихъ замѣчаній объ устройствѣ высшихъ судовъ, совѣстнаго и уголовнаго, находимъ фразу: «все собраніе депутатовъ, подъ предсѣдательствомъ канцлера юстиціи, составляетъ надзираніе правъ государственныхъ... Когда издается новый законъ, то проектъ онаго посылается на разсмотрѣніе въ сіе собраніе, потомъ на ревизію въ общее сената собраніе и, наконецъ, утверждается самодержавною властію». По прямому смыслу этого мѣста, подъ «всѣмъ собраніемъ депутатовъ» приходится разумѣть собраніе однихъ только сословныхъ депутатовъ двухъ упомянутыхъ высшихъ судовъ. Но, даже при такомъ пониманіи остается несомнѣннымъ, что въ этой ограниченной формѣ собранія депутатовъ сохранился здѣсь слѣдъ той «палаты» при сенатѣ, въ которую Екатерина хотѣла еще въ 1775 г. превратить свою Комиссію уложенія *).

*) Еще ближе былъ бы смыслъ этой фразы къ первоначальному намѣренію императрицы, если бы оказалось, что она цѣликомъ переписана Безбородкомъ изъ первоначальнаго проекта, безъ соображенія съ другими частями его черновика.

Когда же совершилась эта замѣна болѣе широкаго плана болѣе узкимъ? Десять дней спустя послѣ цитированной выше замѣтки Храповицкаго, подъ 26 апр. 1787 г. встрѣчаемъ въ его дневникѣ сравненіе, сдѣланное Екатериной между ея «собраніемъ депутатовъ» и Assemblée des Notables, созванной Людовикомъ XVI, въ видѣ неизбѣжной уступки общественному мнѣнію Франціи. Вынужденный характеръ такой уступки Екатерина очень хорошо понимала. Въ январѣ 1788 г. Храповицкій заноситъ въ дневникъ: «разговоръ о обстоятельствахъ Франціи, и что ей должно войти въ войну, дабы избѣгнуть сдѣланнаго королемъ обѣщанія о собраніи чиновъ государственныхъ». Екатерина, конечно, не нуждалась въ такомъ героическомъ средствѣ, «дабы избѣгнуть» того, что Дидро считалъ ея «обѣщаніемъ», торжественно даннымъ передъ всей страной. Тѣмъ не менѣе въ положеніи была извѣстная аналогія, и тонкая проницательность Екатерины относительно положенія Людовика XVI, несомнѣнно, имѣла источникомъ ея личный тяжелый опытъ. Въ своемъ предисловіи къ Учрежденію о губерніяхъ она не даромъ нашла нужнымъ оправдываться войной въ пріостановкѣ своей законодательной дѣятельности. «Свѣту извѣстно, что въ 1766 г. уже приступили мы къ созыву депутатовъ со всей имперіи, и уже оставалось намъ ожидать отъ трудовъ Комиссіи уложенія плодовъ, соотвѣтствующихъ нашему попеченію о благѣ общемъ и частномъ, какъ объявленіе съ турецкой стороны въ 1768 году войны Россіи и шестилѣтнее продолженіе оной, отвлекая людей и возможности отъ продолжительнаго сочиненія цѣлаго узаконенія, и умножая собою бремя, заняло время и мысли упражненіемъ не менѣе важнымъ» и т. д. Теперь, послѣ десяти лѣтъ мира, Екатерина опять поднимала нить своей завоевательной политики. Подобно первой турецкой войнѣ, и вторая должна была отнять у ней «время упражняться пріятнѣйшимъ сердцу трудомъ — снабдить имперію нужными и полезными учрежденіями». Прошло еще два съ половиной мѣсяца послѣ послѣдней замѣтки Храповицкаго, и секретарь Екатерины вноситъ въ журналъ, между извѣстіями о заграничной почтѣ, о спѣшномъ письмѣ къ Потемкину и о сочиненіи новой комедіи Екатериной,—ея замѣтку по поводу новаго разговора о реформѣ сената: «не время теперь дѣлать реформы». И вопросъ опять откладывается, пока уже въ послѣдній годъ царствованія мы не встрѣчаемъ Екатерину вновь за сочиненіемъ «Устава о сенатѣ». На этотъ разъ, вѣроятно, и явилось ограниченіе первоначальнаго плана, о которомъ свидѣтельствуетъ записка Безбородки *).

*) Можетъ быть, съ цѣлью замѣнить отброшенную идею контроля черезъ депутатовъ, Екатерина прибѣгла тогда же къ идеѣ контроля *при помощи сенаторскихъ ревизій*, встрѣчаемой въ запискѣ Безбородки. «Государь не можетъ объять своимъ собственнымъ осмотромъ столь обширную имперію, обзираетъ оную по губерніямъ, чрезъ довѣренныхъ его особъ, и именно, одного сенатора, двухъ дворянскихъ, двухъ мѣщанскихъ и двухъ поселянскихъ депутатовъ, которые всѣ раз-

«Не время для реформъ»—это не значитъ, конечно, чтобы не было времени сочинять реформы, когда есть время для писанія комедій. Это симптомъ новаго направленія внутренней политики, признакъ наступленія третьяго и послѣдняго періода царствованія Екатерины. Къ настроенію императрицы за этотъ періодъ мы еще вернемся. Теперь намъ нужно ознакомиться предварительно съ развитіемъ русскаго общественнаго мнѣнія за время, соотвѣтствующее главнымъ екатерининскимъ реформамъ.

Донесенія Гуннинга см. въ «Сборникѣ Ист. Общ.», т. XIX. Новѣйшая архивная работа о пугачевщинѣ принадлежитъ *Н. Ө. Дубровину*: «Пугачевъ и его сообщники», три тома, Спб. 1884. Объ обращеніи Екатерины къ казанскому дворянству см. «Записки о жизни и службѣ А. И. Бибикова», М. 1865. Сочиненіемъ Блэкстона Екатерина пользовалась во французскомъ переводѣ: «Commentaires sur les loix anglaises», de M. Blackstone, Bruxelles, 1774—76, шесть томовъ. Объ остзейскихъ мѣстныхъ учрежденіяхъ XVIII вѣка см. *Julius Eckardt*, Livland im achtzehnten Jahrhundert, I, Lpz., 1876. Черновики Екатерины, относящіеся къ выработкѣ текста Учрежденія о губерніяхъ и Городоваго положенія, хранятся въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ X отдѣлѣ; тамъ же матеріалы для жалованной грамоты дворянству и перебѣленныя рукописи сельскихъ положеній съ замѣтками Екатерины. Послѣднія изданы *В. И. Вешняковымъ* въ Сб. Ист. Об., т. XX. Сношенія Екатерины съ Сиверсомъ см. въ соч. *K. Blum*: Ein russischer Staatsmann, т. II, Lpz. и Heidelberg, 1857. Общія свѣдѣнія о губернскихъ реформахъ Екатерины см. въ соч. *Лохвицкаго*, Губернія, Спб. 1865; въ курсахъ государственнаго права *Градовскаго* и *Коркунова*. О роли дворянства см. *Романовича-Славатинскаго*, Дворянство въ Россіи, Спб., 1870, мемуары Державина, Болотова, сочиненія Щербатова и др. Оцѣнка дѣятельности губернскихъ учрежденій см. въ докладѣ Балугьянскаго для коммиссіи 1826 г. въ Сб. И. Об., т. XC. Проекты правъ сословій, выработанные частными коммиссіями, напечатаны въ Сб. И. О. т. XXXII и XXXVI. Переписка Екатерины съ Волконскимъ издана въ «Осьмнадцатомъ вѣкѣ», П. Бартенева, т. I. Записка Волконскаго о преобразованіи учрежденій въ Сб. И. О. т. V. Наказъ сената см. въ Сб. И. О. т. LXIII. О реформѣ сената см. богатую библіографическими указаніями статью *В. С. Иконникова*, Сенатъ въ царствованіе Екатерины II, Русскій Архивъ 1888, № 11. Записка Безбородко «О потребностяхъ имперіи Россійской» напечатана въ Сб. Ист. Общ. т. XXIX. Записка Каразина см. въ Чтеніяхъ О. И. и Др. 1863, кн. III.

дѣляются такъ, чтобы каждые три года всякая губернія осмотрѣна была въ подробности».

VII.

Статистика книгоиздательства XVIII в., какъ симптомъ роста читающей публики.—Характеръ популярнаго чтенія: романъ, какъ средство культурной пропаганды среди провинціи и мѣщанства.—Главныя теченія въ высшемъ культурномъ слоѣ.—Вольтеріанство; пониманіе его Екатериной; ея отношеніе къ религіи.—Вольтеріанство въ высшемъ общественномъ слоѣ. Критическое отношеніе къ *этому* вольтеріанству передовой интеллигенціи.—Отношеніе ея къ подлинному вольтеріанству: увлеченіе и раскаяніе.—Значеніе масонства, идейное и общественное.—Тайныя ученія масонства.—Безъидейный и клубный характеръ первоначальнаго масонства.—Подъемъ масонства со вступленіемъ въ него воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній (конецъ 50-хъ и начало 60-хъ гг.).—Новое охлажденіе.—Отношеніе Новикова къ масонству.—Его идея о книгоиздательствѣ и книжной торговлѣ, какъ важнѣйшей просвѣтительной миссіи интеллигенціи. — Отношеніе Екатерины къ иниціативѣ Новикова.—Переѣздъ его въ Москву; настроеніе Москвы и направленіе «Московскаго изданія».—Роль Шварца въ масонствѣ.—Его просвѣтительный планъ, профессорская и кружковая дѣятельность.—Постепенное усвоеніе новаго міровоззрѣнія въ журналахъ Новикова.—Источникъ этого міровоззрѣнія—въ популярной нѣмецкой философіи.—Высшая точка—въ трактатѣ Шварца.—Новый фазисъ дѣятельности кружка по смерти Шварца.—Книгопродавческія и издательскія предпріятія Новикова.—Помощь голодающимъ.—Отношенія Екатерины къ масонству въ трехъ фазисахъ его.—Литературная полемика ея противъ масонства. — Административныя мѣры.

Семидесятые и восьмидесятые годы XVIII-го столѣтія были тѣмъ моментомъ, съ котораго начинается непрерывная исторія интеллигентнаго общественнаго мнѣнія въ Россіи. Этотъ моментъ, какъ мы видѣли, былъ подготовленъ двумя предыдущими десятилѣтіями—пятидесятыми и шестидесятыми годами. Но тогдашнее поколѣніе—первое поколѣніе русской интеллигенціи—мы можемъ пересчитать по пальцамъ: это была, какъ мы знаемъ, учащаяся молодежь высшихъ учебныхъ заведеній обѣихъ столицъ. Она писала и печатала для самой себя,—авторы хвалили и критиковали другъ друга, сами себя утѣшали своими возвышенными чувствами и тонкими ощущеніями. Теперь впервые появляется среда, могущая служить объектомъ культурнаго воздѣйствія: читающая, болѣе или менѣе интеллигентная публика въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ.

Чрезвычайно наглядно покажетъ намъ это *особое* положеніе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ—простая справка съ цифрами,—съ количествомъ печатавшихся въ это время книгъ. Всего за XVIII-е столѣтіе библіографамъ извѣстно около девяти съ половиной тысячъ печатныхъ изданій (не считая церковно-служебныхъ книгъ, газетъ и журналовъ). По четвертямъ вѣка эта цифра распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

1698—1724:	561 (6%)
1725—1750:	357 (4%)
1751—1775:	2.010 (21%)
1776—1800:	6.585 (69%)
Всего. . .	9.513 *).

Какъ видимъ, послѣ нѣкоторой задержки во второй четверти вѣка число изданныхъ книгъ быстро растетъ, составляя за вторую половину вѣка 90% всей суммы. Еще ярче выступитъ значеніе интересующаго насъ теперь момента, если мы распредѣлимъ изданія по десятилѣтіямъ (и, гдѣ нужно, по пятилѣтіямъ):

1698—1710	149		въ годъ по	12	книгъ.
1711—1720	248		»	25	»
1721—1725	215	182	»	36	»
1726—1730		33	»	7	»
1731—1740	140		»	14	»
1741—1750	149		»	15	»
1751—1760	233		»	23	»
1761—1770	1.050		»	105	»
1771—1775	1.466	633	»	126	»
1776—1780		833	»	166	»
1781—1785	2.685	986	»	197	»
1786—1790		1.699	»	366	»
1791—1795	2.660	1.494	»	299	»
1796—1800		1.166	»	233	»

Книгоиздательство оказывается очень чувствительнымъ барометромъ общественныхъ настроеній и культурныхъ вѣяній.. Таблица начинается энергично прогрессирующими цифрами петровскаго книгоиздательства; но мы знаемъ, что это были за книги и какъ мало они повліяли на созданіе читающей публики (стр. 227). Затѣмъ издательство сразу падаетъ до ничтожной цифры (7), которая медленно возра-

*) Въ эту цифру я включилъ 553 книги, точная дата которыхъ неизвѣстна, распредѣливъ ихъ, пропорціонально количеству датированныхъ книгъ, между послѣдними тремя четвертями вѣка.

стаетъ къ воцаренію Екатерины II *). Тотчасъ послѣ вступленія Екатерины на престолъ цифра дѣлаетъ рѣзкій скачокъ вверхъ (почти въ пять разъ). Далѣе начинается быстрый и постоянный ростъ книгоиздательства, достигающій кульминаціоннаго пункта въ пятилѣтіе 1786—1790 (въ $3^1/_2$ раза больше сравнительно съ началомъ царствованія). Скоро увидимъ, что эта высшая точка достигнута исключительно дѣятельностью *частныхъ* типографій,—точнѣе, вмѣшательствомъ энергической общественной инициативы (предпріятія новиковскаго кружка). Съ устраненіемъ этой инициативы падаетъ и издательская дѣятельность, особенно послѣ воцаренія имп. Павла. Но главное дѣло уже сдѣлано; читающая публика создана, и въ самые мрачные годы цифры все же не падаютъ до стараго уровня.

На какую публику разсчитывалъ весь этотъ печатный матеріалъ и какого рода почву онъ могъ создать для дѣятельности интеллигентныхъ кружковъ? Большая часть печатавшихся книгъ удовлетворяла, конечно, исключительно, дѣловымъ потребностямъ (правительственныя распоряженія), нуждамъ школы (учебники) или стариннымъ вкусамъ къ духовно-нравственному чтенію (поученія, житія и т. п.). Но цѣлые 40% книгъ обращались прямо къ новому, быстро возраставшему въ числѣ классу любителей свѣтскаго занимательнаго чтенія. Это были романы, повѣсти, стихотворенія, драматическія пьесы и т. п. Въ продажѣ этотъ беллетристическій матеріалъ преобладалъ, такъ какъ на него былъ наибольшій спросъ. Это видно уже изъ того, что именно беллетристическія произведенія чаще всего доживали до новыхъ изданій. Изъ 839 переводныхъ романовъ XVIII в. 336 были переизданы; изъ 104 оригинальныхъ русскихъ романовъ еще большій процентъ: цѣлыхъ 55. Противъ увлеченія романами уже и въ то время горячо протестовали представители верхняго слоя интеллигенціи. Они утверждали, что романы развиваютъ чувственность и создаютъ міръ воображаемыхъ чувствъ, заслоняющихъ дѣйствительную жизнь. Эти упреки не были лишены основанія; но они нисколько не мѣшали многочисленнымъ читателямъ и читательницамъ беллетристики приносить «жертвы благодарности и любви» на алтарь романистовъ, открывавшихъ для нихъ неотразимо-обаятельный міръ «нѣжныхъ» и «сладостныхъ» ощущеній,—міръ «тайностей человѣческаго сердца». О культурномъ значеніи этого открытія мы уже говорили (стр. 229—31). Прибавимъ теперь, что культурная роль романа не кончилась завоеваніемъ столичнаго дворянина-интеллигента. Сдѣлавъ въ серединѣ вѣка свое дѣло въ столицѣ, романъ продолжалъ создавать новаго читателя въ провинціи. Пріучивъ благородное шляхетство «къ нѣкоторой изящности нравовъ, къ нѣкото-

*) Надо, однако, замѣтить, что тутъ мы не имѣемъ такого тщательнаго библіографическаго изслѣдованія, какое сдѣлано Пекарскимъ относительно книгъ Петровскаго времени; слѣдовательно, въ дѣйствительности надо предположить цифры послѣ Петра нѣсколько выше.

рой нѣжности чувствованій», онъ и для «подлаго» мѣщанства долженъ былъ сдѣлаться источникомъ «изрядныхъ и благородныхъ» чувствъ. Вотъ почему гораздо правѣе интеллигентныхъ противниковъ беллетристики былъ Карамзинъ, принявъ на себя защиту романа. По его справедливому замѣчанію, тотъ, «кто плѣняется «Никаноромъ злосчастнымъ двоűяниномъ»,—тотъ на лѣстницѣ умственнаго образованія стоитъ еще ниже его автора, — и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо безъ всякаго сомнѣнія чему-нибудь научается».

Разумѣется, для высшаго слоя русской интеллигенціи въ семидесятыхъ или восьмидесятыхъ годахъ уже прошло время, когда мы могли бы характеризовать ихъ положеніе «на лѣстницѣ умственнаго образованія» однимъ только чтеніемъ романовъ. Для *этого* слоя—болѣе обширный кругъ читателей романовъ представлялъ только почву, на которую должны были падать ихъ сѣмена. Наоборотъ, для обширнаго круга обыкновенныхъ читателей представители передовой интеллигенціи были «вольтерьянцами» и «фармазонами». Въ этихъ двухъ терминахъ характернымъ образомъ закрѣпилось воспоминаніе о двухъ важнѣйшихъ умственныхъ теченіяхъ среди тогдашней высшей интеллигенціи. Оба теченія были діаметрально противоположны и враждебны другъ другу. Тѣмъ характернѣе, что въ представленіи широкихъ круговъ оба термина сливались, какъ что-то родственное, что-то одинаково крайнее и, стало быть, одинаково опасное для обывателя, еретическое передъ судомъ его рутины. Одной этой популярной терминологіи достаточно, чтобы показать намъ, что передовая русская мысль текла еще очень узкой и тонкой струей, углубляя свое русло среди едва разрыхленной поверхности культурной пустыни. Даже сама Екатерина, помогавшая пролагать это русло, настолько мало различала оттѣнки среди одинаково непріятныхъ ей передовыхъ теченій, что смѣшала впослѣдствіи «мартинизмъ» съ направленіемъ Радищева.

Дѣло въ томъ, что время слишкомъ уже шибко шло впередъ, обостряя вопросы, радикализируя настроеніе и отодвигая на задній планъ воззрѣнія, только что казавшіяся передовыми. Екатерина называла себя «вольтеріанкой»; но ея вольтеріанство скорѣе отзывало фривольной эпохой регентства, чѣмъ эпохой Людовика XVI-го. Самъ Вольтеръ долженъ былъ къ концу жизни сдѣлать надъ собой усиліе, чтобъ остаться «вольтеріанцемъ». Вольтеріанство—это былъ теперь боевой кличъ, означавшій борьбу и торжество свободной мысли противъ государственной церкви, противъ догмы, защищаемой силами инквизиціи и іезуитизма. Рядомъ съ вольтеріанствомъ стояли и опережали его радикальныя, философскія и политическія ученія. Не только эти ученія остались внѣ кругозора Екатерины, но и «вольтеріянство» она продолжала понимать въ болѣе узкомъ и низменномъ смыслѣ эпохи своего дѣтства: въ смыслѣ побѣды «здраваго смысла» надъ «суевѣріемъ»,— въ смыслѣ легкой чистки человѣческихъ мозговъ, а не упорной борьбы

за реформу человѣческихъ учрежденій и вѣрованій. Это была, какъ мы говорили раньше, полная свобода отъ какой-бы то ни было доктрины, отожествляемой съ «педантствомъ»,—а вовсе не подчиненіе какой-нибудь передовой доктринѣ. Такое пониманіе ни къ чему не обязывало и даже могло повести къ довольно неожиданнымъ послѣдствіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же болѣе іезуитовъ былъ свободенъ отъ «суевѣрій»? И развѣ не торжествовали они побѣду «здраваго смысла» надъ богословской метафизикой янсенистовъ? Сознаніе умственной близости съ этими сторонниками «здраваго смысла» слишкомъ сильно чувствуется въ добродушныхъ насмѣшкахъ Екатерины надъ mes chers coquins de jésuites. Вотъ почему, когда Европа XVIII вѣка изгнала іезуитовъ,—Екатерина ихъ пріютила; и вотъ почему впослѣдствіи, когда французское дворянство отказалось въ ночь на 4 августа 1789 г. отъ своихъ привилегій, Екатерина увидала въ этомъ только послѣдствія «дурнаго воспитанія», какое стали получать дворяне послѣ закрытія іезуитскихъ школъ.

Въ началѣ царствованія (стр. 289) Екатерина, впрочемъ, поняла было серьезно свою роль вольтеріанки по отношенію къ русскому духовенству. Въ 1767 г. Мелиссино представилъ синоду, въ качествѣ оберъ-прокурора, «пункты», долженствовавшіе служить руководствомъ при составленіи депутатскаго наказа отъ синода. Въ пунктахъ указывалось, что синодальные члены могли бы предложить въ Наказѣ: разрѣшить раскольникамъ публично совершать богослуженіе, ослабить и сократить православные посты, очистить церковь отъ «суевѣрія» и всѣхъ «притворныхъ чудесъ», не носить по домамъ иконы, отмѣнить лишніе праздники и убавить что-нибудь изъ «продолжительныхъ церковныхъ обрядовъ»; установить чтеніе краткихъ молитвъ съ поученіемъ — вмѣсто всенощныхъ и вечеренъ, дозволить епископамъ жениться, а всѣмъ вообще духовнымъ—носить болѣе приличное платье; смягчить правила о разводѣ, о запрещеніи браковъ между родственниками и о бракахъ съ иновѣрцами; отмѣнить обычай поминовенія усопшихъ. Синодъ предпочелъ отмолчаться отъ этихъ странныхъ предложеній, и Екатерина не настаивала. Ея modus vivendi съ русскимъ духовенствомъ скоро выработался. Въ перепискѣ съ оффиціальными вольнодумцами, въ родѣ Гримма, она позволяла себѣ шутить надъ saintes huiles fricassées en ma présence, qui sont devenues puantes et que... Potemkine a fait jeter dans la rivière. Но когда Вольтеръ намекалъ ей, что недурно бы было вывести изъ употребленія цѣлованіе руки духовнымъ лицамъ, она съ насмѣшливой ироніей предлагала ему предоставить это дѣло времени. Таинство можно было сдѣлать предметомъ интимной шутки, но никакъ нельзя было касаться церковнаго обычая. «Il faut profiter des opinions populaires»—таково было политическое правило, передъ которымъ умолкало «вольтеріанство» Екатерины.

Дворъ и высшее общество пошли по тому же пути и такъ

же недалеко ушли по нему. Мы знаемъ (стр. 218), до какой степени условія дворянскаго воспитанія и «свѣтскаго житія» не благопріятствовали выработкѣ какихъ бы то ни было, въ томъ числѣ и религіозныхъ убѣжденій. Новыя идеи, при этихъ условіяхъ, не встрѣтили въ высшей дворянской средѣ никакого противодѣйствія, но и никакой серьезной подготовки къ ихъ дѣйствительному усвоенію. Это была просто—новая мода, новый дополнительный элементъ для отличія «благороднаго» состоянія отъ «подлаго», наравнѣ съ покроемъ платья и французской рѣчью. Новыя идеи служили доказательствомъ утонченнаго образованія въ высшихъ кругахъ свѣтскаго общества. Какой-нибудь князь X. или графъ У. сообщалъ въ кружкѣ гостей самую послѣднюю парижскую новость, привезенную съ только-что полученной почтой или лично услышанную за границей. Бога, оказывалось, вовсе нѣтъ, а попы и монахи—простые шарлатаны. Эти самоновѣйшія открытія «философовъ» разносились сливками петербургскаго общества съ такимъ же усердіемъ, съ какимъ они привыкли разносить городскіе сплетни и слухи. Князь X., залучивъ въ свою компанію «вольтеріанцевъ» новичка изъ Москвы (въ данномъ случаѣ Фонвизина), спѣшитъ свозить его къ графу У., единомышленнику или, можетъ быть, первоисточнику моды. И графъ У. тотчасъ же, при первомъ визитѣ, принимается за обращеніе новичка въ свою вѣру. Самъ оберъ-прокуроръ синода, встрѣтившись въ гостиномъ дворѣ съ мало знакомымъ ему молодымъ дворяниномъ, въ чинѣ простого унтеръ-офицера гвардіи, забываетъ свое званіе и рангъ своего собесѣдника и не можетъ удержаться, чтобы не внушить ему тутъ же, на улицѣ, здравыя понятія о бытіи Божіемъ.

Немудрено, что, вмѣстѣ съ другими признаками дворянской моды, *такого рода* «вольтеріанство» сдѣлалось скоро мишенью сатирическихъ нападеній со стороны настоящей интеллигенціи. Для этого даже не понадобилось особенно много прибавлять къ тому старому клише, которое уже съ полвѣка служило русской сатирѣ для изображенія свѣтскаго модника. Нѣсколько штриховъ, взятыхъ изъ области ходячей теоріи; нѣсколько жизненныхъ чертъ для болѣе реальной, сознательной характеристики соціальнаго положенія модника,—и «петиметръ» Елизаветинской сатиры легко превратился подъ перомъ сатириковъ въ Екатерининскаго «вольтеріанца».

Не бывши просвѣщенъ нравоученьемъ моднымъ,
Не можешь въ публикѣ казаться благороднымъ...
По модѣ ты чешись, по модѣ одѣвайся...
Приборной, щегольской имѣй ты экипажъ...
Гони, дави людей, и тѣмъ превозносися;
Французскимъ языкомъ и въ русскомъ щеголяй...
Всѣ знанія и всѣ науки отметай...
Люби лишь оперы, комедіи, романы...
Изъ философскихъ книгъ ты развѣ тѣ имѣй,

Что душу съ вѣчностью глотают у людей...
Въ военную одну ты службу лишь вступай...
Будь вѣчно холостымъ, женись лишь на богатствѣ;
Съ женою разведись, какъ водится въ дворянствѣ...
Крестьянъ ты разоривъ, продай иль заложи,
И деньги взявъ за нихъ, на карту положи...
И, словомъ, ты во всемъ по модному живи.
Еще-жъ знать всякому потребно офицеру
Оспорить въ полчаса и опорочить вѣру...
Все дѣлай тлѣннымъ, все ты дѣлай безконечнымъ,
Сей міръ ты признавай то временнымъ, то вѣчнымъ;
То тѣломъ иногда ты душу называй,
То духа имя ей изъ милости давай...
Въ послѣдокъ истреби совсѣмъ ты свой разсудокъ,
Скажи: произвела натура весь сей свѣтъ;
Превыше умудрись,—скажи, что Бога нѣтъ,
Что вѣра есть обманъ, лукавое притворство.
Вотъ въ семъ-то состоитъ прямое благородство...
Похвально, если ты обиды не прощаешь,
Безчестенъ будучи, честь шпагой защищаешь.
Ты смѣло безъ вины соперника рази,
За грубыя слова и друга жизнь пронзи...

Вотъ въ какой обстановкѣ, вотъ съ какими ассоціаціями — бреттера, кутилы и юнкера—представляетъ себѣ русскій сатирикъ («Вечерняя Заря», 1782) современное ему *русское* вольтеріанство. Разумѣется, не слѣдуетъ думать, что эта критика распространяется *и на оригиналъ* русской каррикатуры. Когда изъ другого реакціоннаго лагеря слышатся проклятія противъ Вольтера, тотъ же интеллигентный журналистъ спѣшитъ взять Вольтера подъ свою защиту и произноситъ диѳирамбъ XVIII-му вѣку. «О вѣкъ просвѣщеннѣйшій, въ которомъ удалена вся сила мнимыя набожности! Всѣ страны свѣта, всѣ народы одолжены тебѣ всѣмъ, что ни имѣютъ они священнѣйшаго. Твоимъ неусыпнымъ бдѣніемъ всѣмъ возвращена свобода, похищенная пустою набожностью человѣческаго рода»; благодаря тебѣ, «явилось человѣколюбіе ко всѣмъ»; «твой плодъ есть нынѣшнее распространеніе наукъ, которому величайшею препоною было пустосвятство». И, «кто бы ни былъ Вольтеръ,—хотя, впрочемъ, и онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ неизвинителенъ,—при всемъ томъ онъ одинъ гораздо былъ полезнѣе для общества, нежели все полчище пустосвятовъ».

Во всякомъ случаѣ, и по отношенію къ подлинному вольтеріанству *) передовая русская интеллигенція заняла совершенно иную позицію, чѣмъ высшее дворянское общество. На людей, менѣе затронутыхъ придворной культурой, проповѣдь новыхъ идей производила совсѣмъ не то впечатлѣніе. Конечно, и въ этомъ общественномъ слоѣ многіе

*) Къ направленіямъ болѣе лѣвымъ, чѣмъ собственно «вольтеріанство», мы еще вернемся впослѣдствіи. Здѣсь мы пока не различаемъ рѣзко этихъ теченій, какъ не различались они и въ русскомъ обществѣ.

изъ юныхъ адептовъ новой философіи принимали ее на вѣру и спѣшили даже превзойти учителей смѣлостью сужденій. Молодымъ дворянамъ изъ провинціи, пріѣхавшимъ въ Петербургъ на службу, не могла не импонировать пропаганда великосвѣтскихъ атеистовъ. Но зато большинство изъ нихъ въ одинъ прекрасный день безъ церемоніи и безъ компромиссовъ возвращались къ вѣрѣ или къ идейному индифферентизму отцовъ, полагая, очевидно, какъ московскій главнокомандующій Брюсъ, что «въ нѣкоторыхъ чинахъ и лѣтахъ уже непристойно симъ заниматься», и смѣясь надъ своими старыми сужденіями, какъ надъ проказами молодости. Совершенно другое значеніе получали новыя идеи для болѣе глубокихъ и болѣе подготовленныхъ натуръ изъ этой же дворянской молодежи. Первое впечатлѣніе было обыкновенно ошеломляющее. Подъ этимъ впечатлѣніемъ и наиболѣе вдумчивые принимали часто цѣликомъ новую вѣру. Но переходъ отъ старой вѣры совершался слишкомъ быстро, чтобы быть прочнымъ и окончательнымъ. Скоро заговаривала совѣсть, и при добросовѣстномъ анализѣ своихъ мыслей и чувствъ молодое поколѣніе приходило къ тяжелому сознанію полнаго внутренняго разлада. Послѣ болѣе или менѣе усерднаго изученія самыхъ сочиненій новыхъ философовъ, оно оказывалось не въ состояніи ни принять ихъ міровоззрѣнія, ни вернуться всецѣло къ простодушному міровоззрѣнію дней своей юности.

Для петровскаго поколѣнія этого внутренняго противорѣчія не существовало. Тѣ люди (ихъ образчикъ мы видѣли въ Татищевѣ) еще твердо вѣрили въ возможность согласить дѣдовскіе взгляды съ духомъ просвѣщенія. Отсюда происходитъ та своеобразная цѣльность, эпическое спокойствіе и ясность души, которыя отличаютъ выдающихся русскихъ людей первой половины XVIII-го вѣка. Поколѣніе 50-хъ—60-хъ годовъ, какъ мы видѣли, уже должно было вступать въ болѣе или менѣе сознательные компромиссы между теоріей и жизнью. Но теорія въ то время еще не приняла такого остраго, вызывающаго оттѣнка по отношенію къ жизни, который могъ бы затруднить компромиссъ и отравить душу сознаніемъ его внутренней несостоятельности. Совсѣмъ другое положеніе занимало поколѣніе 70-хъ—80-хъ годовъ. Вопросы здѣсь стояли ребромъ, обостренные французскимъ умственнымъ движеніемъ послѣ 1750 года. Дремлющія русскія души были окончательно разбужены этимъ толчкомъ, рѣзко поставившимъ другъ противъ друга два противоположныя міровоззрѣнія. Такимъ образомъ, молодежь интересующаго насъ поколѣнія впервые очутилась на распутьѣ между старой и новой вѣрой, принужденная выбирать между той и другой. Она впервые почувствовала, что критическая мысль можетъ поколебать самыя коренныя основы старой вѣры. Можно себѣ представить то душевное смятеніе, ту панику, которая овладѣвала серьезнымъ и добросовѣстнымъ юношей, когда ему приходилось дѣлать рѣшительный выборъ и когда при этомъ выборѣ онъ чувствовалъ себя предоставлен

нымъ исключительно своимъ собственнымъ силамъ. Что-нибудь подобное должны были чувствовать тѣ средневѣковые студенты медицины, которые въ полночный часъ отправлялись на кладбище отрывать мертвецовъ, чтобы изучить на трупахъ человѣка тайны жизни. Немногіе могли преодолѣть въ себѣ священный ужасъ и рѣшались переступить черезъ порогъ святилища, въ школу послѣдовательнаго философскаго мышленія. Менѣе рѣшительные спѣшили уцѣпиться за обломки, уцѣлѣвшіе отъ стараго багажа, и принимались усердно идеализировать старину,—только бы можно было вернуться подъ ея защиту. Даже и наиболѣе смѣлые — все-таки кончили компромиссомъ, стараясь скрыть отъ самихъ себя, какъ велики уступки, уже сдѣланныя ими новому міровоззрѣнію. Фонвизинъ, одинъ изъ такихъ юношей, затронутыхъ новой модой, въ Петербургѣ поддался было общему настроенію и принялся, въ тонъ веселой компаніи, вышучивать старую вѣру. Но достаточно было ему побывать въ патріархальной Москвѣ, чтобы съ него вольтеріанское настроеніе какъ рукой сняло. Встревоженная совѣсть требовала, однако же, публичнаго покаянія, и Фонвизинъ обратился за духовнымъ утѣшеніемъ къ одному изъ людей стараго поколѣнія. Г. Н. Тепловъ укрѣпилъ его въ истинахъ вѣры и посовѣтовалъ перевести изъ книги Кларка отрывки о «доказательствахъ бытія Божія и истинѣ христіанской вѣры». Покаяніе передъ свѣтскимъ духовникомъ, литературная эпитимія и отпущеніе грѣховъ потомствомъ—это, какъ видимъ, совсѣмъ уже не тѣ средства, къ которымъ прибѣгли бы люди предыдущихъ поколѣній, если бы они могли очутиться въ подобномъ положеніи. Разница не менѣе велика, чѣмъ тотъ контрастъ, который существовалъ между неприкрашенной московской стариной и той идеализаціей ея, въ какую ударился Фонвизинъ послѣ своего душевнаго кризиса.

Совершенно тотъ же внутренній процессъ, но съ инымъ, болѣе положительнымъ результатомъ, мы можемъ наблюдать у другого представителя тогдашней интеллигентной молодежи, Лопухина. Лопухинъ пошелъ дальше, чѣмъ Фонвизинъ, и въ отрицательномъ, и въ положительномъ фазисѣ своихъ убѣжденій. Онъ не удовлетворился «вольтеровыми насмѣшками надъ религіей» въ благородной компаніи. Онъ засѣлъ за самое евангеліе французскаго матеріализма, «Système de la Nature» барона Гольбаха, перевелъ ея заключительное резюме («Côde de la Nature»), «любовался своимъ переводомъ» и даже «расположился разсѣевать его въ рукописяхъ». «Но только что дописали первую (копію) красивымъ письмомъ», разсказываетъ намъ самъ онъ, «какъ вдругъ почувствовалъ я неописанное раскаяніе. Не могъ заснуть ночью прежде, нежели сжегъ я и красивую мою тетрадку, и черную. Но все я не былъ спокоенъ, пока не написалъ, какъ бы въ очищеніе себя, разсужденія: О злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями». Однако же, и литературной эпидеміей на этотъ разъ дѣло не

ограничилось. Противъ «злоупотребленія разумомъ» Лопухинъ искалъ спасенія въ вѣрѣ; но это не была уже патріархальная вѣра отцовъ. Идейная молодежь стремилась къ очищенному, одухотворенному пониманію вѣры. Отвергнувъ знамя «вольтеріанства», она не переходила, какъ Фонвизинъ, въ ряды «стародумовъ», а становилась подъ знамя *франкъ - масонства.*

Для нашего времени масонство кажется обыкновенно чѣмъ-то далекимъ, чуждымъ, немножко страннымъ и смѣшнымъ. Мы вспоминаемъ о немъ развѣ по поводу архаической формулы присяги—о непринадлежности къ масонскимъ ложамъ. Намъ трудно представить себѣ, какую огромную роль сыграло это теченіе въ исторіи нашего общественнаго развитія и какимъ путемъ оно попало въ эту присягу. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда масонство, уже слишкомъ очевидно, является въ связи съ общественнымъ движеніемъ, какъ, напр., у Новикова,—изслѣдователи часто стараются умалить значеніе масонскаго элемента въ развитіи дѣятельнаго идеализма передовой ителлигенціи. Это совершенно неправильно. Вліяніе масонства слѣдовало бы признать весьма значительнымъ, даже если бы оно ограничивалось чисто теоретическимъ ученіемъ масоновъ. Въ смыслѣ теоріи или, лучше сказать, въ смыслѣ цѣльнаго міровоззрѣнія, масонство было какъ разъ самымъ подходящимъ выходомъ для всего того молодого поколѣнія, которое остановилось въ колебаніи между старой и новой вѣрой. Когда молодой писатель того времени рисуетъ себѣ полный контрастъ съ выше изображенной сатирой на вольтеріанца, когда онъ стремится надѣлить свой идеалъ всѣми возможными «достоинствами», у него самъ собой выходитъ изъ-подъ пера житейскій кодексъ масона (см. ту же «Вечернюю Зарю»). Вотъ почему далеко не одинъ Новиковъ «попалъ въ общество (масоновъ) потому, что находился на распутьи между вольтеріанствомъ и религіей и не имѣлъ точки опоры или краеугольнаго камня, на которомъ могъ бы основать душевное спокойствіе». Это былъ общій и типическій случай для болѣе глубокихъ и отзывчивыхъ натуръ его поколѣнія. Масонство являлось для нихъ желаннымъ исходомъ, прежде всего, потому, что оно представлялось имъ вполнѣ совмѣстнымъ съ самыми строгими требованіями православія. На запросъ нѣмецкихъ масоновъ московскіе братья одинъ разъ заявили формально, что «обряды греко-россійской церкви такъ сходны съ масонскими, что нельзя сомнѣваться въ томъ, что они имѣютъ одинъ источникъ». И митрополитъ Платонъ нисколько не кривилъ душой, когда далъ свой извѣстный отзывъ (см. ниже 369) о православіи Новикова,—дѣйствительно искренно вѣровавшаго и не менѣе искренняго масона. Католическое пониманіе масонства, какъ церкви антихриста (раздѣлявшееся еще покойнымъ Влад. Соловьевымъ) было нашей интеллигенціи XVIII вѣка совершенно чуждо и приходило на умъ развѣ только такимъ богобоязненнымъ старушкамъ, какъ тетка Державина, — да

авторамъ лубочнаго пасквиля на масонство 1765 года. Интеллигенція же видѣла въ масонствѣ *вѣру*, но только вѣру просвѣтленную разумомъ. Масонство было для нея своего рода *духовнымъ* христіанствомъ,—и это было другой причиной, почему переходъ въ масонство являлся такимъ желаннымъ исходомъ изъ тяжелой борьбы двухъ крайнихъ міровоззрѣній. Центральная идея масоновъ, какъ и духовнаго христіанства, есть «моральное перерожденіе», въ противоположность идеямъ французскихъ «философовъ» о перерожденіи людей путемъ раціональнаго законодательства. Вмѣсто борьбы за реформу масонство ставило человѣку задачу внутренняго самопознанія и работы надъ самимъ собой. Изъ этой основной идеи выводилось все соціальное ученіе масонства. Нельзя сказать, что бы оно было, однако, слишкомъ узко или индивидуалистично, чтобы оно ставило человѣку однѣ только личныя цѣли. По нѣсколько болѣе позднему опредѣленію одного опытнаго масона, «масонство видитъ во всѣхъ людяхъ братьевъ, которымъ оно открываетъ свой храмъ, чтобы освободить ихъ отъ предразсудковъ ихъ родины и религіозныхъ заблужденій ихъ предковъ, побуждая людей къ взаимной любви и помощи. Оно никого не ненавидитъ и не преслѣдуетъ, и цѣль его можетъ опредѣлиться такъ: изгонять между людьми предразсудки кастъ, условныхъ различій происхожденія, мнѣній и національностей, уничтожить фанатизмъ и суевѣріе, искоренить международныя вражды и бѣдствія войны; посредствомъ свободнаго и мирнаго прогресса достигнуть закрѣпленія вѣчнаго и всеобщаго права, на основаніи котораго человѣкъ призванъ къ свободному и полному развитію всѣхъ своихъ способностей; споспѣшествовать всѣми силами общему благу и сдѣлать такимъ образомъ изъ всего человѣческаго рода одно семейство братьевъ, связанныхъ узами любви, познаній и труда» *).

Словомъ, масонство — это своего рода толстовство своего времени. Не даромъ Толстой сдѣлалъ масономъ (въ «Войнѣ и мирѣ») родоначальника любимаго типа своихъ романовъ. Онъ заразъ былъ вѣренъ и исторіи, и собственному настроенію. Отмѣтимъ особенно—демократическую тенденцію масонской идеи. Въ самый разгаръ увлеченія русскихъ аристократовъ вольтеріанствомъ масонство провозглашаетъ уничтоженіе «предразсудковъ кастъ и условныхъ различій происхожденія». Конечно, этотъ принципъ не проводится на практикѣ, и Елагину, напр., очень не нравится, когда его братьями по ложѣ оказываются два повара-француза. Но не надо забывать, что скоро духовными вождями русскаго масонства сдѣлались, вмѣсто этого вельможи,

*) Конечно, не всѣ масоны вполнѣ усвоили такое возвышенное пониманіе масонства, но по частямъ эта характеристика повторяется во множествѣ масонскихъ произведеній. Мало того, среди этихъ произведеній мы укажемъ ниже одно, которое представляетъ еще болѣе глубокое пониманіе, потому что обосновываетъ приведенную въ текстѣ формулировку—философской аргументаціей.

такой защитникъ «подлости» и мѣщанства, какъ Новиковъ, и такой выходецъ безъ соціальнаго положенія, годившійся по обычному представленію развѣ въ «гофмейстеры», какъ Шварцъ.

Однимъ теоретическимъ вліяніемъ, во всякомъ случаѣ, далеко еще не исчерпывается значеніе масонства для русской общественной исторіи XVIII вѣка. Въ моментъ, когда русская ителлигенція выростала изъ рамокъ частныхъ дружескихъ кружковъ, масонство дало ей готовую форму для болѣе широкой группировки на основаніи общей идейной связи. Въ масонствѣ, какъ средствѣ организаціи, всегда заключалась огромная соціальная сила. Чтобы понять это, стоитъ познакомиться съ прошлымъ и настоящимъ масонства на Западѣ, особенно во Франціи. Какъ использована была эта черта масонства интеллигенціей екатерининскаго времени, мы скоро увидимъ.

Итакъ, какъ извѣстное морализирующее міровоззрѣніе, какъ средство объединенія интеллигентныхъ силъ, массонство имѣло очень важное значеніе въ исторіи общественнаго развитія Россіи. Изслѣдователи, отрицающіе это значеніе, представляютъ иногда себѣ масонство съ третьей стороны, которая, дѣйствительно, не играла почти никакой роли въ русскомъ интеллигентномъ масонствѣ. Рѣчь идетъ о тайныхъ ученіяхъ масонства, открывавшихся только тѣмъ, кто доходилъ до высшихъ степеней масонской іерархіи. На этихъ высшихъ степеняхъ масонство расходится въ своихъ ученіяхъ и дѣлится на нѣсколько системъ. Французское масонство чрезвычайно увеличило количество ступеней и ввело множество обрядовъ и церемоній. Нѣмецкое масонство увлеклось натурфилософіей и погрузилось въ изученіе секретовъ природы, надѣясь этимъ путемъ дойти до познанія Божества въ природѣ (см. ниже 359—63). Наконецъ, одна отрасль масонства задумала воспользоваться масонской организаціей, какъ средствомъ для политическихъ цѣлей. Первой изъ названныхъ трехъ системъ, съ ея развѣтвленіями, лучшіе изъ русскихъ масоновъ не сочувствовали: она имѣла сторонниковъ, главнымъ образомъ, среди «знатныхъ господъ», привыкшихъ къ іерархіи, чинамъ и знакамъ отличія *). Послѣдней системы, т.-е. политической, такъ называемыхъ «иллюминатовъ», въ Россіи вовсе не существовало: подозрѣнія Екатерины въ этомъ отношеніи были совершенно неосновательны. Только вторая, мистическая, система («розенкрейцеры и мартинисты») получила одно время значеніе въ русскомъ идейномъ масонствѣ. Но мы сейчасъ увидимъ, что это значеніе свелось на практикѣ къ усиленію тѣхъ же двухъ элементовъ, важность которыхъ мы только что подчеркнули: идейнаго одушевленія и идейныхъ связей.

---

*) Наблюденіе это приведено самими русскими масонами, въ ихъ донесеніи заграничному съѣзду, какъ доказательство пользы внѣшнихъ знаковъ и церемоній для успѣха масонской пропаганды.

Масонство занесено было въ Россію иностранцами еще при Аннѣ, одновременно съ распространеніемъ его въ Германіи. Но первыя извѣстія о *русскихъ* адептахъ масонства мы имѣемъ лишь отъ пятидесятыхъ, самое большое—отъ конца сороковыхъ годовъ. Эти извѣстія рисуютъ намъ масоновъ елизаветинскаго времени въ такихъ чертахъ, которыя мало соотвѣтствуютъ только-что сдѣланной характеристикѣ. При Елизаветѣ масонство распространялось въ томъ же самомъ знатномъ кругу, который потомъ, при Екатеринѣ, смѣнилъ его на новую моду, вольтеріанство. Для этого круга масонство было простой забавой, дѣломъ моды, суетности и тщеславія. Въ это именно время, въ 50-хъ годахъ, вступилъ въ орденъ И. П. Елагинъ, первый «возстановитель на твердую степень» масонства въ Россіи. По его собственному признанію, этотъ оффиціальный глава позднѣйшаго масонства руководился тогда, главнымъ образомъ, побужденіями «любопытства и тщеславія»: любопытства—узнать сокровенныя тайны масонства и тщеславія — побыть «хотя минуту въ равенствѣ съ такими людьми, кои въ обществѣ знамениты,—и чинами, и достоинствами, и знаками отъ меня удалены суть». «Содѣйствовала тому и лестная надежда, не могу ли чрезъ братство достать въ вельможахъ покровителей и друзей, могущихъ споспѣшествовать счастію моему». Но скоро Елагинъ убѣдился, что «вельможи» вовсе не смотрятъ серьезно на «братскій» союзъ. И самъ Елагинъ «работы» въ масонскихъ собраніяхъ «почиталъ совершенно игрушкою, для препровожденія празднаго времени вымышленною». Дѣйствительно, собранія масоновъ приняли въ этотъ періодъ характеръ клуба, съ обычными клубными занятіями: билліардомъ, карточной игрой и веселыми ужинами. О масонствѣ напоминали развѣ только торжественные пріемы новичковъ и посвященія изъ степени въ степень, обставленныя церемоніями и символической обстановкой, предназначенной дѣйствовать на воображеніе, но скорѣе возбуждавшей смѣшливость. Естественно, что такое масонство не давало пищи ни уму, ни сердцу. «Не пріобрѣлъ я изъ тогдашнихъ работъ нашихъ», признается Елагинъ, «ни тѣни какого-либо ученія, ниже преподаяній нравственныхъ, а видѣлъ токмо одни предметы неудобь достижимые, обряды странные, дѣйствія почти безразсудныя; и слышалъ символы неразсудительные, объясненія религіи здравому разсудку противныя. Въ такомъ безплодномъ упражненіи открылась мнѣ только та истина, что ни я, ни начальники масоновъ иного таинства не знаютъ, какъ развѣ со степеннымъ видомъ въ открытой ложѣ шутить и при торжественной вечери за трапезой неистовымъ воплемъ непонятныя ревѣть пѣсни, и насчетъ ближняго хорошимъ упиваться виномъ, да начатое Минервѣ служеніе окончится празднествомъ Вакху».

Такъ стояло дѣло, когда въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ начали примыкать къ масонству представители учащейся молодежи въ Петербургѣ и Москвѣ, воспитанники шляхетскаго

корпуса и университета. Прямыхъ извѣстій объ этомъ моментѣ въ исторіи масонства мы почти не имѣемъ, такъ какъ принадлежность къ масонству хранилась тогда въ глубокой тайнѣ; масонскія собранія ютились на чердакахъ, и «братья» скрывали свою принадлежность къ ордену, боясь правительственнаго преслѣдованія. Только гораздо позже, въ рядахъ екатерининскихъ масоновъ 80-хъ годовъ мы встрѣчаемъ представителей этого поколѣнія молодежи. О времени ихъ вступленія въ орденъ обыкновенно не имѣется никакихъ свѣдѣній, но среди «братьевъ» они часто считаются старыми и опытными масонами и занимаютъ иногда видное мѣсто въ іерархіи ордена. Здѣсь встрѣчаемъ самыхъ видныхъ участниковъ журналистики начала 60-хъ гг. (Херасковъ, Ржевскій, Нартовъ) и ихъ менѣе видныхъ друзей, державшихся плотной группой *) въ Комиссіи уложенія (Всеволожскій, графъ А. Строгоновъ), наконецъ, сыновей или родственниковъ этой депутатской группы (Лодыженскій А. Ѳ., Загряжскій Б. А., Трубецкіе, можетъ быть Лопухинъ). Это, конечно, только остатки интеллигентныхъ кружковъ и группъ 60-хъ годовъ; но ихъ совершенно достаточно, чтобы поднять нить интеллигентнаго развитія, ускользающую отъ нашего прямого наблюденія. Къ тому же, намъ хорошо извѣстно настроеніе и складъ убѣжденій молодыхъ литераторовъ начала 60-хъ годовъ. Ихъ взгляды совершенно совпадаютъ съ приведенной только что характеристикой масонской идеи: мы принуждены были назвать эти взгляды масонскими по существу, по самому содержанію ихъ, прежде чѣмъ заговорили о внѣшней исторіи русскаго масонства (см. выше 244—45).

Несомнѣнно, присоединеніе къ масонству интеллигентной молодежи обѣихъ столицъ сразу подняло тонъ движенія и дало ему серьезное содержаніе. И однако же, мы ничего не знали бы объ этомъ подъемѣ, если бы не знали о немъ изъ юношескихъ журнальныхъ произведеній этого поколѣнія молодежи. Почему же, спрашивается, эта масонская традиція 60-хъ годовъ, столь сходная по существу съ идеями 80-хъ годовъ, оказалась такъ слаба, что самое существованіе ея намъ приходится доказывать косвенными соображеніями и сопоставленіями мелкихъ фактовъ, совершенно ускользнувшихъ отъ вниманія изслѣдователей? Оскудѣніе традиціи есть тоже историческій фактъ, весьма любопытный для исторіи нашего общественнаго развитія. Фактъ этотъ подтверждаетъ наши предыдущія наблюденія надъ первымъ поколѣніемъ интеллигентовъ и находитъ себѣ въ нихъ полное объясненіе. Юношеское одушевленіе, очевидно, не пережило юныхъ годовъ. Мы знаемъ, какъ охладѣло поколѣніе 60-хъ годовъ къ идейнымъ основамъ своей общественной дѣятельности (см. 263, 273—4). Необходимо только прибавить, что увлеченіе *масонствомъ*, даже независимо отъ возраста и опытности,

*) Дружныя дѣйствія этой группы въ Комиссіи (см. выше, стр. 277) не должны-ли быть тоже объясняемы отчасти ихъ масонскими связями?

должно было подвергнуться серьезному *идейному* испытанію. Тѣхъ, кого не охладилъ жизненный опытъ, могло отвлечь отъ масонства новое увлеченіе французскими философами. Показанія Елагина и въ этомъ случаѣ оказываются драгоцѣнными. Совершенно разочаровавшись, какъ мы видѣли, въ масонствѣ, онъ «спознался съ аѳеистами и деистами» и «сталъ искать просвѣщенія разума» въ книгахъ «такъ называемыхъ новыхъ философовъ и ансиклопедистовъ... въ славѣ тогда находившихся». Но и для Елагина, какъ для другихъ интеллигентовъ екатерининскаго времени, это увлеченіе «вольтеріанствомъ» послужило только переходной ступенью къ составленію собственнаго міровоззрѣнія, болѣе подходившаго къ старымъ привычкамъ мысли и чувства. И онъ, какъ другіе, проникся сердечнымъ трепетомъ при сознаніи того, что «дерзнулъ забыть вѣру, въ которой родился и страхъ Божій, и ученіе, которое при воспитаніи въ училищахъ преподаваемо было». И онъ искалъ успокоенія встревоженной совѣсти въ бесѣдахъ съ «просвѣщенными и учеными» руководителями. Къ его величайшему удивленію, эти руководители оказались масонами. Масонами были, какъ онъ зналъ, и самъ Вольтеръ и «ему сообразные». По необходимости Елагину пришлось заключить, что въ масонствѣ есть что-то такое, что осталось ему неизвѣстнымъ. Онъ набросился тогда на изученіе масонской литературы, «за безумно истраченныя деньги собралъ громады писаній», искалъ высшихъ степеней масонства, чтобы проникнуть въ его сокровенныя тайны, входилъ въ сношенія съ заграничными масонами. Но во всемъ этомъ онъ не могъ «удовлетворительнаго ничего почерпнуть, а единственно увидѣлъ токмо разныя человѣческія умствованія, иныя острыя и разумныя, другія нелѣпыя и весьма глупыя»,—и сверхъ всего этого очень много шарлатанства, эксплуатировавшаго простодушіе и любопытство искателей масонскихъ тайнъ для простого выманиванія денегъ. Истинная тайна масонства, которой съ такимъ трудомъ и расходами добивался Елагинъ, оказалась гораздо ближе и гораздо доступнѣе.

Простому человѣку, какъ Новиковъ, богатому только своимъ здравымъ смысломъ, эта тайна видна была сразу. Новиковъ съ самаго начала отнесся враждебно къ китайскимъ церемоніямъ французскаго «храмоваго» масонства, а къ чернокнижническимъ тайнамъ розенкрейцеровъ остался довольно равнодушнымъ. Но онъ быстро понялъ значеніе масонства, какъ нравственной теоріи, и оцѣнилъ вліяніе масонства, какъ общественной силы. Для того, чтобы заниматься нравственнымъ самоусовершенствованіемъ и чтобы воспользоваться организаціонными средствами масонства для цѣлей общественной дѣятельности, — для этого не нужно было гоняться ни за какими тайнами, нечего было разыскивать ключей къ масонству въ Швеціи, Англіи или Германіи. Ключъ этотъ,—«ключъ дружелюбія и братства», какъ опредѣлялъ его одинъ доносъ на масоновъ, найденъ былъ въ собственномъ сердцѣ и

собственной волѣ. Въ этой находкѣ и заключается все значеніе Новикова для русскаго масонства. Этимъ же объясняется и то, какимъ образомъ человѣкъ, «безъ воспитанія, безъ ученія», не посвященный въ секреты ни «герметической философіи» розенкрейцеровъ, ни «храмовыхъ» церемоній, «шотландскихъ» и «рыцарскихъ» степеней системы «строгаго соблюденія» и родственныхъ съ нею,—какимъ образомъ такой человѣкъ могъ сдѣлаться однимъ изъ главныхъ реформаторовъ русскаго масонства.

Зерно той идеи, которая толкнула Новикова въ масонство и которая покорила масонство Новикову, — зрѣло въ умѣ Новикова исподволь и давно. Еще въ «Живописцѣ» онъ говоритъ о только что учрежденномъ императрицею «Обществѣ, старающемся о напечатаніи книгъ», какъ о «наипохвальнѣйшемъ и наиполезнѣйшемъ учрежденіи, о какомъ только *частнымъ* людямъ помышлять дозволяется». Но мало *издать* книгу; надо *дать ее въ руки читателю*. Только при такомъ расширеніи дѣло книгоиздательства явится дѣйствительно живымъ дѣломъ, способнымъ принести неисчислимыя культурныя послѣдствія. Мало и этого: надо пустить книгу *въ провинцію*, гдѣ ея ждетъ, не дождется самый главный читатель и покупатель *русскихъ* книгъ, алчущій духовной пищи и не имѣющій чѣмъ удовлетворить ее. «Петербургъ и Москва имѣютъ способы покупать книги, заводить книгохранительницы и употреблять ихъ въ свою пользу, лишь только бы была у покупающихъ охота. Но позвольте сказать, петербургскіе и московскіе жители много имѣютъ увеселеній. Есть у нихъ различныя зрѣлища, забавы и собранія; слѣдовательно весьма не у великаго числа людей остается время для чтенія книгъ. А сверхъ того и просвѣщеніе наше, или, такъ сказать, слѣпое пристрастіе къ французскимъ книгамъ, не позволяетъ покупать россійскихъ. Въ россійской типографіи напечатанное рѣдко молодыми нашими *господчиками* пріемлется за посредственное, а за хорошее—почти никогда. Напротивъ того, живущіе въ отдаленныхъ провинціяхъ *дворяне и купцы* лишены способовъ покупать книги и употреблять ихъ въ свою пользу. Напечатанная въ Петербургѣ книга черезъ трои или четверо руки дойдетъ, напримѣръ, въ Малую Россію; всякой накладываетъ неумѣренный барышъ, для того, что производитъ сію торговлю весьма малымъ числомъ денегъ; и такъ книга, продающаяся въ Петербургѣ по рублю, приходитъ туда почти всегда въ три рубля, а иногда и больше. Чрезъ сіе охотники покупать книги уменьшаются книгъ расходится меньше, а печатающіе оныя, вмѣсто награжденія за свои труды, часто терпятъ убытокъ. *Вотъ* государь мой, *куда должно стремиться намѣреніе сего общества..; но не у пріиде часъ*».

Часъ этотъ пришелъ, какъ увидимъ, двѣнадцать лѣтъ спустя: Новиковъ осуществилъ въ грандіозныхъ размѣрахъ свою идею и своимъ «Обществомъ» дѣйствительно «привелъ торговлю книжную въ цвѣтущее состояніе». Но, какъ это ни важно само по себѣ, для насъ въ данную

минуту дѣло Новикова имѣетъ совсѣмъ особый интересъ и значеніе. Это было первое широкое практическое предпріятіе, осуществленное коллективно русской интеллигенціей, обществомъ частныхъ людей, по собственной инціативѣ. И главный иниціаторъ, выносившій эту идею въ своемъ умѣ, шелъ къ ея осуществленію цѣлый рядъ лѣтъ, медленно и упорно, соединяя идейное увлеченіе съ практической смѣтливостью, заражая своей энергіей цѣлую группу близкихъ людей, вербуя по всей Россіи цѣлую сѣть единомышленниковъ, связывая ихъ идейными узами братства и сообщая такимъ образомъ отвлеченнымъ филантропическимъ стремленіямъ масонства самое реальное, самое жизненное содержаніе.

Начало этого изумительнаго для того времени предпріятія было очень скромно. Но это начало уже показало, что для Новикова, при всей его практической дѣловитости, дѣло будетъ идти объ *общественномъ* интересѣ, а не объ одной только коммерческой выгодѣ. Точнѣе говоря, выгода должна была служить расширенію того же общественнаго интереса.

На очереди для «частныхъ людей» стоялъ вопросъ просвѣщенія. Новиковъ затѣваетъ для начала два параллельныхъ просвѣтительныхъ предпріятія, изъ которыхъ одно должно было питать другое. Онъ подбираетъ небольшую компанію молодежи и открываетъ (1777) въ Петербургѣ двѣ школы для мѣщанства. Эти школы будутъ содержаться доходами съ журнала, который компанія начинаетъ издавать одновременно съ открытіемъ школъ («Утренній Свѣтъ»). Типъ журнала Новиковъ взялъ готовый—тотъ самый, который созданъ былъ въ началѣ 60-хъ годовъ учащейся молодежью и меньше всего вызывалъ цензурныхъ опасеній. Матеріалъ журнала остался по преимуществу переводнымъ, направленіе—моралистическимъ (см. ниже). Но журналъ велся гораздо живѣе и серьезнѣе журналовъ Хераскова. Въ первый же годъ онъ имѣлъ 800 подписчиковъ. Кромѣ Москвы и Петербурга онъ расходился въ 26 теперешнихъ губернскихъ городахъ, 24 уѣздныхъ и 7 мѣстечкахъ. Такимъ образомъ завязались у Новикова связи съ провинціей.

Вся эта дѣятельность уже совершалась отчасти на почвѣ масонскихъ отношеній. Въ серединѣ 1770-хъ годовъ въ Петербургѣ сложился кружокъ, тяготившійся обрядовой и мистической стороной масонства. Настроеніе Новикова совпадало съ настроеніемъ кружка. Онъ сдѣлался масономъ (1775) съ спеціальнымъ условіемъ—не считать себя связаннымъ содержаніемъ тайнъ масонства. Тогда же кружокъ добился открытія собственной ложи въ Петербургѣ, работавшей по особой программѣ. «Тутъ все было обращено на нравственность и самопознаніе; говоренныя же (въ собраніяхъ) рѣчи и изъясненія произвели великое уваженіе и привязанность». Такъ характеризуетъ цѣли и средства новаго масонскаго кружка самъ Новиковъ.

Однако же Петербургъ оказался неудобнымъ мѣстомъ для свобод-

наго и широкаго развитія идейно-филантропической дѣятельности новиковскаго кружка. Екатерина отнеслась съ самаго начала болѣе чѣмъ холодно къ новому почину своего литературнаго антагониста, грозившаго опередить его уже на второмъ поприщѣ общественной дѣятельности,—и опять на такомъ, которое она считала *своимъ* по преимуществу. Конечно, ея энтузіазмъ къ созданію «новой расы людей» очень значительно остылъ къ этому времени; но вопросъ о народномъ просвѣщеніи и народной школѣ стоялъ на ближайшей очереди, поставленный еще разъ Учрежденіемъ о губерніяхъ. Однако когда первыя дворянскія собранія, думая откликнуться на призывъ императрицы, начали дѣлать постановленія объ открытіи школъ, Екатерина поспѣшила охладить ихъ рвеніе. Калужскій и тверской губернаторы получили (1779) внушенія, что усердіе дворянства «преждевременно» и что слѣдуетъ ожидать отъ императрицы общихъ правилъ и инструкцій объ открытіи школъ. «Никогда не принудятъ меня бояться образованнаго народа,—писала Екатерина къ Гримму въ слѣдующемъ году (1780); *но когда-то еще онъ сдѣлается такимъ* и когда между образованными людьми переведутся негодяи (des gredins) съ ложнымъ направленіемъ и кривыми взглядами, люди способные скорѣе все испортить, чѣмъ принести пользу?» Болѣе чѣмъ вѣроятно, что во второй половинѣ этой любопытной тирады Екатерина имѣла въ виду инціативу Новикова. Какъ бы то ни было, эта инціатива заставила ее, наконецъ, поторопиться съ распространеніемъ образованія сверху. Въ томъ же году заведены были переговоры съ австрійскими педагогами, и въ 1782 г. началась дѣятельность коммиссіи народныхъ училищъ (см. «Оч.» II, 321 и слѣд.).

Въ 1777 г. Екатерина демонстративно устранилась отъ участія въ школахъ, созданныхъ Новиковымъ, и такъ же демонстративно не подписалась на его журналъ, несмотря на его обычные авансы. Очевидно перспектива для дальнѣйшей дѣятельности, при этихъ условіяхъ, складывалась неблагопріятно. Тогда Новиковъ рѣшился перенести все дѣло въ Москву, гдѣ атмосфера, какъ мы отчасти уже знаемъ, была совершенно иная. Здѣсь, прежде всего, такое направленіе, какъ масонство, могло развиваться гораздо свободнѣе, не оттѣсняемое модной «философіей» придворнаго круга. Для патріархальной Москвы эта «философія» и по существу своему была черезчуръ уже крайней: здѣсь настроеніе интеллигентныхъ круговъ скорѣе походило на нѣмецкое стародумство, чѣмъ на французское свободомысліе. Какъ сейчасъ увидимъ, въ Москвѣ нѣмецкое культурное вліяніе тотчасъ и побѣдило французское. Затѣмъ, отсутствіе двора имѣло еще и другія послѣдствія. Въ Москвѣ не было ни высшаго чиновничества, обязаннаго сообразоваться со взглядами власти, ни той житейской сутолоки, которая неизбѣжно связана съ повседневнымъ ходомъ громаднаго государственнаго механизма. Петербургъ суетился, поглощенный злобой дня и ме-

лочами жизни. Москва утопала въ роскоши и въ праздности. Петербургъ дѣйствовалъ, Москва критиковала. Петербургъ создавалъ баловней счастья; въ немъ дѣлали карьеру. Въ Москвѣ доживали свои дни всѣ падшія звѣзды и угасшія свѣтила сѣверной столицы. Здѣсь они по-барски прожигали шальныя состоянія, нажитыя въ болѣе счастливые дни; сюда уносили горечь и раздраженіе, копившіяся годами невольной или добровольной ссылки и находившія себѣ единственный исходъ въ томъ, что на языкѣ Екатерины называлось «враньемъ».

Въ этой атмосферѣ сановнаго брюжжанья,—мало, конечно, походившаго на политическую оппозицію,—жилось спокойнѣе и независимѣе и представителямъ интеллигентнаго русскаго общественнаго мнѣнія. За спиной главнокомандующаго, графа Захара Чернышева, не забывшаго еще, что и самъ онъ когда-то, въ дни Елизаветы, былъ однимъ изъ первыхъ русскихъ масоновъ, родовитые и богатые представители молодого масонства чувствовали себя въ сравнительной безопасности,—внѣ непосредственнаго дѣйствія петербургской власти. У нихъ было довольно вліянія и денежныхъ средствъ; талантъ и энергію вложили въ движеніе приглашенные ими идейные руководители.

Съ помощью дружескихъ масонскихъ связей (черезъ Хераскова) Новиковъ уже въ 1779 году перебрался окончательно въ Москву изъ Петербурга. Тогда же онъ взялъ въ аренду московскую университетскую типографію и принялся за осуществленіе любимой своей мысли, идейнаго издательства. Какъ отразилось переселеніе въ Москву на настроеніи Новикова, видно всего лучше изъ его «Московскаго изданія», замѣнившаго въ 1781 году «Утренній Свѣтъ». Въ самомъ предисловіи къ новому журналу публицистъ поднимаетъ забрало и рѣшительно объявляетъ, что прямая цѣль журнала есть борьба съ людьми, «отъ природы великими способностями одаренными, въ воспитаніи ученостью украшенными, и между людьми почтенными», которые, однако, «хулятъ съ надменнымъ и увѣрительнымъ видомъ законъ, ко спасенію рода человѣческаго первыми людьми свыше полученный» (такъ опредѣлялась, между прочимъ, и основная тайна масонства), и готовы уже думать, что искоренили «всѣ народные предразсудки и низкое суевѣріе». Слова эти прямо мѣтили на Екатерину и ея придворный кругъ: ихъ можно только сопоставить съ отвѣтомъ Платона, когда ему пришлось выбирать между «христіанствомъ» масоновъ и «философіей» императрицы (см. ниже 369). Не даромъ архіереи явились усердными подписчиками журнала, на который не подписалась Екатерина. Но Новиковъ пошелъ еще дальше этихъ общихъ намековъ. Въ немъ просыпается издатель «Трутня» и «Живописца»; и въ журналъ, предназначенный для благотворительности и моральнаго назиданія, скоро врывается бурной струей негодованіе публициста и обличительный смѣхъ сатирика. Въ промежутокъ между двумя пароксизмами націоналистической и завоевательной политики Екатерины.—«Московское изданіе» поднимаетъ

голосъ противъ наступательныхъ войнъ. Не честолюбіе и любовь къ славѣ, а только любовь къ общественному благу и отечеству должна побуждать къ войнѣ. Война—если она не оборонительная—есть просто кровопролитіе и должна вызывать одинъ ужасъ. Безсмертіе государь можетъ заслужить скорѣе правосудіемъ и справедливостью, чѣмъ «завоеваніемъ многихъ государствъ, разореніемъ ста городовъ и истребленіемъ ста тысячъ человѣкъ». Всякій, «утверждающій власть свою на неправосудіи, скрываетъ пропасть, которою онъ или его преемники поглощены будутъ. Самыя великія и жесточайшія возмущенія не отъ чего иного произошли, какъ отъ своенравія и жестокостей государей». Государь долженъ остерегаться страстей. «Всякое государство лучше управляемо быть можетъ празднымъ государемъ, нежели страстнымъ. Ежели первый будетъ имѣть искуснаго министра, тогда праздность его можетъ обратиться въ пользу народа; страстный же... повинуется волѣ любовницы... Какъ скоро государь отдается любви, то... временщики, министры, придворные... показываютъ нѣжное сердце... Любовницы государя, министровъ и временщиковъ, сдѣлавъ союзъ, станутъ раздавать чины и всѣ дѣла расположатъ по своимъ прихотямъ». И какъ бы боясь, что всѣ эти прозрачные намеки не будутъ поняты, авторъ прибавляетъ: «Такое правленіе бывало при государяхъ, которые великую надежду подавали въ началѣ своего владѣнія».

Горячій публицистъ, превосходный практикъ и организаторъ, трезвая, дѣловая натура,—Новиковъ не годился, однако, въ вожди чисто идейнаго движенія, какимъ было въ основѣ своей масонство, хотя и могъ лучше всякаго другого использовать движеніе для общественныхъ цѣлей. Идейнымъ руководителемъ, душой движенія съ его теоретической стороны явился другой человѣкъ, глубокій энтузіастъ, готовый самого себя цѣликомъ отдать на служеніе своему идеалу. Въ 1776 году пріѣхалъ въ Россію—и одновременно съ Новиковымъ поселился въ Москвѣ нѣкто Шварцъ, нѣмецъ изъ Трансильваніи. Вліяніе этого человѣка въ Московскомъ университетѣ, гдѣ онъ тогда же сдѣлался профессоромъ (1779), сравнивали съ вліяніемъ Грановскаго. Но еще сильнѣе, чѣмъ вліяніе Шварца на университетскую аудиторію, было дѣйствіе его дружескихъ бесѣдъ, если, впрочемъ, забыть, что онъ владѣлъ несомнѣннымъ даромъ—дружескую бесѣду превращать въ профессорскую лекцію, а изъ лекціи дѣлать дружескую бесѣду. И въ этомъ-то тѣсномъ кружкѣ друзей, который постепенно расширялся въ болѣе широкій кругъ поклонниковъ и послѣдователей, скорѣе можно бы было сравнить вліяніе Шварца съ вліяніемъ другого знаменитаго представителя тридцатыхъ годовъ, Станкевича. Столь же тонко организованная и благородная, но несомнѣнно болѣе пылкая натура, чѣмъ Станкевичъ, Шварцъ былъ такимъ же идейнымъ и нравственнымъ оракуломъ своего кружка, среди котораго гораздо рѣзче выдавался своими знаніями и образованіемъ. Обоихъ рано подкосила смерть, но оба оставили неизгладимый

слѣдъ въ сердцахъ и умахъ своихъ почитателей. Шварцу дано только было еще то, чего не дано было Станкевичу,—натурѣ болѣе созерцательной, чѣмъ дѣятельной. Шварцу суждено было самому осуществить въ жизни то «идеальное царство Платона», которое наполняло душу молодого энтузіаста «райскими ощущеніями». «Колумбъ, впервые завидѣвшій землю», выражался самъ Шварцъ, «не могъ радоваться болѣе меня, когда въ рукахъ моихъ очутился значительный капиталъ для осуществленія моей платоновской идеи». Но что же это была за утопія, за «новая Атлантида», которая заставляла Шварца и его друзей вспоминать о Колумбѣ и Платонѣ при одной мысли о возможности ея осуществленія? Въ пониманіи *ближайшей цѣли* для достиженія своей мечты Шварцъ очень близко сошелся съ Новиковымъ: именно, онъ мечталъ составить въ Россіи общество для распространенія истиннаго просвѣщенія. Для этого нужно было, по его мнѣнію: 1) популяризировать правила хорошаго воспитанія, 2) издавать полезныя книги, поддерживая тѣмъ и предпріятіе Новикова, и 3) выписать способныхъ педагоговъ изъ-за границы, а еще лучше—приготовить своихъ русскихъ преподавателей къ роли распространителей просвѣщенія. Для какой *дальнѣйшей,* можно сказать, міровой задачи все это было нужно, можно понять только тогда, когда познакомимся ближе съ философскимъ міровоззрѣніемъ Шварца. Мы увидимъ, что, по широтѣ размаха, его «утопія»—первая утопія русскаго общественнаго дѣятеля, ничуть не уступаетъ утопіямъ нашего времени.

Чтобы осуществить свою идею,—которую Шварцъ повсюду пропагандировалъ со всѣмъ жаромъ убѣжденія, не останавливаясь передъ скептицизмомъ своихъ болѣе практическихъ собесѣдниковъ, онъ не дожидался, пока счастливый случай дастъ ему въ руки «значительный капиталъ». Бывшій домашній учитель, только-что ставшій профессоромъ, бѣднякъ, оставившій послѣ своей смерти безъ копѣйки денегъ свою семью, Шварцъ пожертвовалъ въ университетъ 5.000 рублей (не меньше 25.000 на наши деньги), чтобы положить первый камень въ основу будущаго своего зданія. На эти деньги должны были подготовляться при университетѣ по особой системѣ будущіе учителя. Чтобы подобрать составъ воспитанниковъ этой «педагогической семинаріи», кружокъ друзей вошелъ немедленно въ сношенія съ начальствомъ единственныхъ тогда сколько-нибудь сносно поставленныхъ среднеучебныхъ заведеній,—именно духовныхъ семинарій и академій. Количество стипендіатовъ дружескаго кружка, присланныхъ изъ этихъ заведеній, доходило въ послѣдующіе годы до 30-ти слишкомъ; расходъ на стипендіи превышалъ 3.000 ежегодно; для помѣщенія стипендіатовъ кружокъ купилъ собственный домъ на имя Шварца.

Но учрежденіемъ «педагогической семинаріи» намѣренія Шварца, разумѣется, не ограничивались. За первымъ шагомъ послѣдовали два другіе, логически вытекавшіе изъ перваго. Свои отношенія къ собран-

нымъ отовсюду семинаристамъ Шварцъ не ограничилъ инспекторскимъ надзоромъ и профессорскими лекціями. Онъ вступилъ съ ними въ личныя и непосредственныя отношенія, старался развить въ нихъ нравственную и умственную самодѣятельность. Для этого черезъ два года послѣ открытія «педагогической семинаріи» онъ основалъ студенческое общество подъ названіемъ «собранія университетскихъ питомцевъ» (1781). Цѣлью общества было образованіе ума и вкуса членовъ, собиравшихся для совмѣстнаго обсужденія своихъ литературныхъ опытовъ. Въ началѣ засѣданій члены по очереди читали рѣчи моральнаго содержанія. Предполагалось пріучать членовъ и къ прямой филантропической дѣятельности, для которой средства добывались, по принципу уже намѣченному Новиковымъ, самими членами посредствомъ изданія ихъ сочиненій. Какъ велико было вліяніе Шварца на «университетскихъ питомцевъ», видно уже изъ того, что долго послѣ смерти учителя среди нихъ сохранялся настоящій культъ его памяти.

Наконецъ, третій шагъ на томъ же пути сдѣланъ былъ Шварцемъ въ слѣдующемъ 1782 году. Прошедшіе указанную школу питомцы, а также и вызванные вновь изъ семинарій студенты получили возможность приложить свои знанія и вмѣстѣ добыть средства къ существованію во вновь устроенной «переводческой семинаріи»—путемъ переводовъ лучшихъ авторовъ и моральныхъ сочиненій. Такимъ образомъ, цѣль, которую намѣтилъ себѣ Шварцъ, мало-по-малу осуществлялась. Его энергичными усиліями созданъ былъ цѣлый кружокъ молодыхъ интеллигентовъ, педагоговъ и переводчиковъ, оставившихъ по себѣ очень замѣтный слѣдъ въ дѣятельности русской школы и печати конца XVIII вѣка. Какія же идеи они проводили въ своей дѣятельности?

Прежде чѣмъ отвѣтимъ на этотъ вопросъ, намъ надо познакомиться съ дѣятельностью Шварца въ ближайшемъ дружескомъ кружкѣ. Здѣсь онъ взялъ на себя, какъ Новиковъ, роль чернорабочаго для «знатныхъ господъ» и увлекъ за собой кружокъ своей неутомимой дѣятельностью. Самое сплоченіе кружка, одушевленіе его одной просвѣтительной идеей—есть въ очень значительной степени дѣло Шварца. Началось это сплоченіе на почвѣ теоретическаго согласія во взглядахъ, на почвѣ извѣстнаго пониманія масонства. Закрѣпилось же оно окончательно на почвѣ активной общественной дѣятельности. Мы знаемъ, какія идеи одушевляли масоновъ до появленія среди нихъ Шварца. Шварцъ, со своими поисками масонскихъ тайнъ, съ своимъ знаніемъ масонскихъ формъ—казался подозрительнымъ русскимъ реформаторамъ масонства. Въ первый годъ знакомства со Шварцемъ Новиковъ тщательно избѣгалъ заводить съ нимъ разговоръ о масонствѣ. Но потомъ дѣло объяснилось, и московскіе представители масонства согласились, отложивъ въ сторону все таинственное и формальное, соединиться въ одной нейтральной ложѣ съ цѣлями нравственнаго самосовершенствованія. Какъ мы говорили раньше, Новиковъ былъ главнымъ сторонникомъ этого про-

стого, исключительно моральнаго пониманія масонства, и онъ перетянулъ на свою сторону другихъ. Но передъ знаніями и убѣжденностью Шварца самъ Новиковъ пасовалъ, и въ концѣ концовъ весь кружокъ подчинился вліянію молодого профессора. Шварцъ былъ мистикомъ; онъ вѣрилъ, что масонство можетъ открыть тайну сліянія Божества съ природой путемъ изученія секретовъ природы въ ея сокровеннѣйшей сущности. Хотя методы и цѣли масонства противорѣчили наукѣ, но не надо забывать, что сама наука въ то время какъ разъ нападала на путь, который, казалось, велъ туда же, куда стремилась проникнуть и натурфилософія. Ученой новинкой, поразившей воображеніе тогдашней публики, были первыя открытія химіи. Вещества, повидимому, простыя, какъ воздухъ, вода, оказались сложными. Являлась надежда открыть еще болѣе первичные элементы, въ которыхъ и ожидали найти начало всѣхъ началъ и ключъ къ превращенію однихъ веществъ въ другія. Этихъ-то тайнъ природы, въ которыя обѣщала проникнуть нарождавшаяся химія, доискивался и Шварцъ. Но это была только одна сторона его взглядовъ, которая притомъ играла подчиненную, служебную роль въ общемъ міросозерцаніи Шварца (см. ниже 360--64).

Посланный друзьями за границу для отысканія истиннаго масонства, Шварцъ вернулся оттуда послѣдователемъ системы «розенкрейцеровъ», занимавшихся изслѣдованіемъ «Божества въ натурѣ». Съ своимъ вліяніемъ онъ легко превратилъ въ розенкрейцеровъ и своихъ ближайшихъ друзей. Они остались, правда, совершенно чуждыми его «практическимъ работамъ». Однако, общая мистическая идея Шварца объ «истинномъ просвѣщеніи» должна была повліять и на нихъ. Изъ этой идеи вытекала вся дѣятельность Шварца; *она* придавала этой дѣятельности цѣльность и внутреннюю силу. Не будучи въ состояніи вполнѣ понять своего руководителя и послѣдовать за нимъ до конца, друзья-масоны вѣрили, однако, что существуетъ дѣйствительно какая-то таинственная цѣль познанія, какая-то высшая задача дѣятельности, которыя все объясняютъ и объединяютъ. Стремленіе къ этой цѣли выдѣляло кружокъ изъ остального общества; званіе «розенкрейцера» сближало ихъ въ своего рода конспиративный союзъ внутри самого масонства. При такой завлекательной обстановкѣ ставились и выполнялись общія задачи дѣятельности кружка. Примѣръ Шварца (стр. 355) увлекъ нѣсколькихъ членовъ кружка къ значительнымъ денежнымъ пожертвованіямъ. Собравъ такимъ образомъ нѣкоторыя средства, кружокъ друзей рѣшился выступить формально и открыто подъ названіемъ «Дружескаго ученаго общества», преслѣдующаго филантропическія и ученыя цѣли. «Дружеское ученое общество» было торжественно открыто въ ноябрѣ 1782 года, въ присутствіи приглашенныхъ властей. Черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ Шварцъ, послѣ многочисленныхъ непріятностей и столкновеній съ университетскимъ начальствомъ, принужденъ былъ выйти въ отставку. Въ 1783 году

онъ продолжалъ еще читать свой приватный курсъ исторіи философіи въ мистическомъ духѣ, руководилъ филантропической дѣятельностью «Дружескаго общества». Но слабый организмъ, надломленный непосильнымъ трудомъ и душевными огорченіями, наконецъ, не выдержалъ. Осенью 1783 года Шварцъ заболѣлъ и въ февралѣ 1784 года умеръ.

Чтобы оцѣнить значеніе профессорской дѣятельности Шварца, надо сравнить содержаніе новиковскихъ журналовъ, издававшихся для поддержанія двухъ петербургскихъ училищъ (стр. 351) *до* и *послѣ* того, какъ приняли въ нихъ участіе «университетскіе питомцы», вышедшіе изъ педагогической семинаріи Шварца. Кружокъ, начавшій издавать въ 1777 году «Утренній Свѣтъ», стоялъ почти на уровнѣ сотрудниковъ журналовъ 1759—61 гг. Какъ тамъ, такъ и здѣсь идеи «естественнаго закона» сохраняются рядомъ съ новыми идеями самосовершенствованія, безъ всякой попытки согласить то и другое, хотя оба ряда идей въ сущности были плодомъ двухъ противоположныхъ и боровшихся между собой міровоззрѣній, философско-раціоналистическаго и религіозно-сентиментальнаго. Стремленіе къ счастью и наслажденію, эпикурейская и утилитарная система морали мирно уживаются въ журналѣ съ моралью «самопознанія», которая скоро будетъ развита Шварцемъ въ цѣлую систему теософіи и теургіи. Переводы изъ древнихъ авторовъ по вопросамъ любви, морали, безсмертія души наполняютъ первые томы «Утренняго Свѣта». Во второмъ году изданія начинается въ журналѣ «бореніе между вѣрой и разумомъ», въ лицѣ классическаго героя этой борьбы, Паскаля, «Мысли» котораго переводятся въ «Утреннемъ Свѣтѣ». Результатъ борьбы предрѣшенъ, кромѣ этого выбора, напечатаніемъ тутъ же другого произведенія, нашумѣвшаго въ Европѣ въ 70-хъ годахъ и бывшаго тамъ предвѣстникомъ торжества «чувствительности» надъ раціонализмомъ. Это былъ «Плачъ или ночныя думы» Юнга, воспѣвавшаго смерть «по ночамъ, при тускломъ свѣтѣ лампады, теплившейся въ человѣческомъ черепѣ» и патетически призывавшаго къ жалости, къ состраданію, къ заботѣ о душѣ и о будущей жизни. Третій годъ изданія (1780) представляетъ еще шагъ дальше, на пути къ усвоенію новаго міровоззрѣнія. Вмѣсто переводовъ изъ древнихъ являются статьи по философіи и психологіи; въ научныхъ статьяхъ проводятся новыя мысли (напр., что миѳы-не басни, а аллегоріи, скрывавшія высокія истины). Въ концѣ редакція помѣщаетъ статью Гисмана, въ которой отрицается аксіома всего XVIII-го столѣтія,—существованіе естественнаго права и теорія естественнаго состоянія людей до образованія государства. Въ противоположность Руссо (и Юнгу), здѣсь доказывается что «попавшись въ состояніе сходное съ природою», люди сдѣлались бы не счастливыми и блаженными, а «плутами и негодяями». Въ связи съ этимъ, журналъ рѣшительно отрицаетъ и другую мысль Руссо, получившую

широкое употребленіе у насъ, особенно въ рукахъ противниковъ раціонализма изъ *реакціоннаго*, «стародумческаго» лагеря,—мысль, что просвѣщеніе вредитъ нравственности. Скоро мы увидимъ, почему эти идеи о вредѣ культуры и блаженствѣ «естественнаго состоянія» оказались несовмѣстимыми съ новымъ міровоззрѣніемъ редакціоннаго кружка.

«Московское изданіе» еще не обнаруживаетъ рѣзкаго шага впередъ въ смыслѣ развитія общаго міровоззрѣнія: его особенность, какъ мы видѣли, заключается въ той публицистической и сатирической струѣ, которую внесъ въ него переселившійся въ Москву Новиковъ. На новомъ мѣстѣ старый кружокъ сотрудниковъ, повидимому, порѣдѣлъ, а новый еще не подобрался въ этомъ году (1781),—и этимъ, можетъ быть, объясняется болѣе близкое участіе самого Новикова въ этомъ журналѣ. Зато въ слѣдующемъ году (1782) подоспѣлъ первый выпускъ «питомцевъ» Шварца, составившихъ въ томъ же году «переводческую семинарію» (см. выше). Въ руки этого-то молодого кружка*) и передалъ теперь Новиковъ веденіе своего ежемѣсячнаго изданія (выходившаго въ этомъ году подъ названіемъ «Вечерней Зари», мистическій смыслъ котораго Новиковъ подчеркнулъ въ своемъ «предувѣдомленіи»).

Главный интересъ «Вечерней Зари» заключается въ рядѣ философскихъ статей, которыя на этотъ разъ уже совершенно сознательно формулируютъ общее міровоззрѣніе, какое вырабатывалось въ московскомъ интеллигентномъ кружкѣ подъ вліяніемъ лекцій Шварца. Не нужно, конечно, ожидать отъ этого міровоззрѣнія чего-нибудь очень крупнаго и оригинальнаго. Содержаніе философскихъ статей «Вечерней Зари» довольно точно соотвѣтствуетъ среднему уровню тогдашней нѣмецкой популярной философіи. Богъ, міръ и душа—таковы основные вопросы міровоззрѣнія, около которыхъ сосредоточилась философская борьба XVIII вѣка. Въ описываемое время Кантъ уже сдѣлалъ всѣ эти вопросы предметомъ разрушительной гносеологической критики. Но «Критика чистаго разума» только что появилась тогда (1781); ея роль была еще вся въ будущемъ. Другія, болѣе раннія *цѣльныя* міровоззрѣнія, монизмъ Спинозы и монизмъ французскихъ матеріалистовъ казались слишкомъ подозрительными и были не по плечу тогдашнему среднему интеллигенту. Шварцъ разбиралъ Спинозу, Гельвеція, Ламеттри на лекціяхъ; и, естественно, профессорская критика не могла внушить слушателямъ желанія познакомиться со всѣми этими системами ближе. Нѣмецкая университетская философія, правда, тоже ставила цѣлью борьбу противъ теологіи и схоластики. Но здѣсь борьба эта шла на совсѣмъ другой почвѣ, гораздо болѣе умѣренной, чѣмъ философскія системы пантеизма и матеріализма. Это была система Вольфа,—очень передовая

*) Имена «трудившихся въ изданіи журнала студентовъ» перечислены Новиковымъ въ количествѣ 18 лицъ: здѣсь видимъ дѣтей иностранцевъ и духовныхъ и ни одного аристократическаго имени.

и даже преслѣдовавшаяся въ первой трети XVIII вѣка, но заключавшая въ себѣ еще достаточно теологическихъ и схоластическихъ элементовъ, чтобы сдѣлаться во второй трети вѣка общепризнанной университетской системой. Дальнѣйшій прогрессъ философіи въ Германіи, послѣ Вольфа, заключался въ усвоеніи идей англійскихъ философовъ и моралистовъ,—хотя и «свободомыслящихъ», но все еще не рѣшавшихся сойти съ почвы самаго благонамѣреннаго деизма. Такъ какъ при этомъ усвоеніи англійскихъ идей преслѣдовались болѣе моральныя, чѣмъ методологическія задачи, то естественно, что въ результатѣ заимствованій получился рядъ эклектическихъ философскихъ системъ, имѣвшихъ въ лучшемъ случаѣ лишь временное культурное значеніе. Это и была та стихія, въ которую ввелъ Шварцъ своихъ «питомцевъ». То, что было достаточно для средняго интеллигента въ Германіи, конечно, оказалось болѣе чѣмъ достаточно для Россіи, гдѣ философское преподаваніе (въ академіяхъ) стояло еще на уровнѣ Аристотеля и Ѳомы Аквинскаго, гдѣ даже Декартъ и Лейбницъ были еще контрабандой и только въ 1777 г. окончательно введенъ учебникъ философіи ученика Вольфа, Баумейстера. При такомъ уровнѣ философскихъ знаній, направленіе философскихъ статей «Вечерней Зари» было несомнѣннымъ и значительнымъ шагомъ впередъ, но при этомъ все же настолько скромнымъ, чтобы привлечь интересъ и симпатіи посланныхъ Шварцу академистовъ и семинаристовъ, не испугавъ ихъ начальства.

Каждая книжка «Вечерней Зари» начиналась одной или нѣсколькими статьями по философіи. Не трудно замѣтить, что статьи первыхъ восьми книжекъ составляютъ цѣлый философскій трактатъ, переведенный съ нѣмецкаго, причемъ, переводчикъ не понималъ основныхъ идей системы и потому часто путалъ термины («разумъ» и «разсудокъ»; «духъ» и «душа»). Мы предполагаемъ, что эти статьи принадлежатъ Шварцу; какъ бы то ни было, стоитъ остановиться подробнѣе на ихъ содержаніи, такъ какъ здѣсь мы встрѣчаемся съ цѣлымъ міровоззрѣніемъ, на которомъ могъ успокоиться русскій интеллигентъ, послѣ того, какъ старое міровоззрѣніе «естественнаго закона» (см. выше, систему Татищева) устарѣло въ его глазахъ. Авторъ статей начинаетъ съ доказательствъ безсмертія души, характернымъ образомъ обходя первую по порядку тогдашнюю тему, о существованіи Бога (двѣ статьи объ этомъ, одна компилятивная, другая изъ Локка — помѣщены въ журналѣ по окончаніи трактата). *Человѣкъ*, его психика и мораль—таковъ центральный пунктъ философіи автора. Въ доказательствахъ безсмертія нѣтъ ничего новаго; ихъ выборъ сдѣланъ по Мозесу Мендельсону; добавлено только въ концѣ любопытное соображеніе, что *выгоднѣе* вѣрить въ безсмертіе, даже если его нѣтъ, чѣмъ не вѣрить, если оно есть. Далѣе слѣдуютъ общія замѣчанія «о душѣ», въ которыхъ намѣчается точка зрѣнія и темы послѣдующаго изложенія. Эта точка зрѣнія окончательно выясняется въ двухъ дальнѣйшихъ статьяхъ.

Въ первой душа трактуется, какъ своего рода химическій, продуктъ явившійся результатомъ соединенія «духа» и «тѣла». Продуктъ соединенія есть нѣчто третье, новое: такъ: «сѣра и ртуть, будучи смѣшаны, производятъ нѣчто третье, а именно киноварь, имѣющую такія свойства, которыя не принадлежатъ ни къ одной киновари, ни къ одной ртути». Это «нѣчто новое» есть «натуральная жизнь» души со всѣми ея свойствами, какихъ не находилось ни въ «матеріи тѣлесной», ни въ «духѣ». Смотря по свойству матеріи, вошедшей въ составъ («огненной», «водяной» или «соляной»), варьируется и «естественный» характеръ души или «темпераментъ» (ср. «Оч.» II, стр. 279, изд. 3). По смерти человѣка «духъ» и «персть» возвращаются къ первобытной чистотѣ и отдѣльности; гибнетъ при этомъ только ихъ смѣсь—«тѣ свойства, которыя духъ заимствовалъ отъ матеріальной части», «подобно какъ ртуть по разрушеніи киноваря дѣлается опять чистою и настоящею ртутью». Однако, сдѣлать отсюда выводъ о гибели «души», т. е. противъ *личнаго* безсмертія авторъ, не рѣшается. Вопросъ о дальнѣйшемъ существованіи «души» по смерти онъ прямо признаетъ открытымъ.

Итакъ, «человѣкъ состоитъ не изъ двухъ токмо существенныхъ частей, а изъ трехъ: тѣла, души и духа» *). Авторъ напрасно, конечно, считаетъ эту свою точку зрѣнія оригинальной. Таковъ былъ взглядъ Аристотеля и нѣкоторыхъ схоластиковъ. Дальнѣйшія доказательства взяты изъ Мендельсонова «Федона». Первое изъ нихъ «можно назвать аналогическимъ или почерпнутымъ изъ сходства вещей» въ разныхъ царствахъ природы. «Восходя по степенямъ тварей снизу кверху», мы найдемъ, что Творецъ «даровалъ каждому послѣдующему царству тварей не токмо матерію и основное вещество предыдущаго, но и всегда еще въ прибавленіе новую часть, собственно и существенно ему принадлежащую». Такъ, въ царствѣ растеній является сравнительно съ минералами новый элементъ «жизнь», а въ царствѣ животныхъ «*душа*» или «самопроизвольное движеніе». Впрочемъ, «вообще царство животныхъ въ толь тѣсномъ находится союзѣ съ царствомъ растеній, что испытатели естества спорятъ, гдѣ одно царство кончится, а другое начинается». Напримѣръ, «нельзя почти распознать» относительно полипа, «животное ли то, или растеніе». Человѣкъ «*долженъ* стоять на высшей степени: ему надлежитъ составлять совсѣмъ новый классъ и совсѣмъ новое царство тварей». Слѣдовательно, въ немъ должно заключаться и новое начало: *духъ* разумный и безсмертный. «Итакъ, человѣкъ принадлежитъ къ царству духовъ». «Какъ въ царствѣ животныхъ полипъ соединяетъ между собой царства животныхъ и растеній, такъ и человѣкъ соединяетъ царства животныхъ и духовъ. Въ царствѣ животныхъ находятся гораздо совершеннѣйшія животныя

*) Принадлежность Шварцу этой основной мысли всего трактата доказывается его собственными записями.

нежели полипы; а въ царствѣ духовъ гораздо совершеннѣйшіе духи, нежели человѣкъ». Такимъ образомъ, «религія посредствомъ сего положенія не только не приходитъ въ упадокъ, но паче въ большую силу и уваженіе». Другое доказательство троичности началъ въ человѣкѣ почерпывается изъ «Божественнаго откровенія», именно изъ сотворенія человѣка по образу и подобію Божію (т.-е. Св. Троицы).

Опредѣливъ такимъ образомъ душу, какъ смѣсь духа и вещества, временнаго и вѣчнаго, какъ «одушевленную матерію» (конечно, не въ смыслѣ матеріализма), авторъ пріобрѣтаетъ чрезвычайно удобную позицію для своего эклектизма. «Душа» является для него эмпирической сферой, къ которой онъ примѣняетъ генетическую точку зрѣнія новыхъ философовъ, а «духъ»—сферой транцендентальной, своего рода «интеллигибельнымъ характеромъ». Все условное, измѣняющееся, развивающееся принадлежитъ болѣе узкой сферѣ «души». Въ этой сферѣ «духъ дѣйствуетъ *только* черезъ посредство чувственнаго опыта»; безъ него онъ «вовсе не показываетъ своего дѣйствія въ человѣкѣ». Опытъ, слѣдовательно, необходимъ, чтобы «духъ» могъ проявить себя въ «душѣ». Такимъ образомъ, авторъ можетъ цѣликомъ принять возраженія Локка противъ схоластическаго и картезіанскаго ученія о врожденныхъ идеяхъ. Содержимое «души» пусто, пока не наполнитъ ее опытъ и наблюденіе. Вслѣдъ за Локкомъ и сенсуалистами авторъ посредствомъ наблюденій надъ глухонѣмыми и надъ «людьми, кои взросли между животными», доказываетъ, что «размышленіе не необходимо сопряжено съ духомъ».

Болѣе широкая и *безусловная* сфера «духа» въ человѣкѣ есть «разумъ». Болѣе узкая *эмпирическая* сфера «души» есть «разсудокъ». «При разлученіи души съ тѣломъ и разсудокъ, какъ вещь происходящая изъ соединенія оныхъ, исчезаетъ; разумъ же съ душою (надо бы: «съ духомъ», такъ какъ вопросъ о безсмертіи «души» раньше оставленъ открытымъ) навсегда пребудетъ». Такимъ образомъ, разсудокъ подчиненъ законамъ «естественной жизни» и имѣетъ свою «естественную исторію», которую и изслѣдуетъ авторъ. Разсудокъ «не можетъ далѣе проникнуть, какъ только куда поведутъ чувства тѣлесныя». «Будучи оставленъ чувствами», онъ «странствуетъ одинъ въ весьма глубокой темнотѣ и доходитъ до границъ духовныхъ вещей, а пришедъ туда, либо совсѣмъ останавливается, или когда далѣе отваживается подходить, то заходитъ въ опасный лабиринтъ, гдѣ не имѣя ничего, что бы могло его остановить, нисладаетъ въ пропасть, изъ которой выйти и попасть на истинный путь уже не можетъ, если не просвѣтится и не исправится чрезъестественнымъ свѣтомъ духа премудрости и откровенія».

Здѣсь, какъ видимъ, авторъ довольно близко подходитъ къ Канту, но только для того, чтобы тотчасъ же уйти отъ него очень далеко. Доказать несовершенство эмпирической сферы «души», постепенно эволюціонирующей въ своемъ развитіи, ему нужно только для того, чтобы

сдѣлать отсюда *моральные* выводы, приводящіе читателя постепенно къ практической философіи масонства. Первое звено этихъ выводовъ состоитъ въ признаніи *необходимости несовершенства* и въ примиреніи его съ идеей божественнаго всемогущества. Такъ какъ естественная исторія души доказала, что «никакое конечное существо безъ достаточнаго времени не можетъ пріобрѣсти твердыхъ и сколько-нибудь обширныхъ познаній», и такъ какъ «совершенное блаженство предполагаетъ весьма пространныя знанія и великій навыкъ къ размышленію», то, «слѣдовательно, невозможно было Богу создать разумныхъ конечныхъ тварей, одаренныхъ всѣми познаніями, нужными къ совершенному блаженству». Этимъ же объясняется необходимость зла и страданій на землѣ, такъ какъ конечное существо не можетъ *сразу* согласить своихъ желаній съ законами вселенной и потому должно быть жертвой этого несоотвѣтствія. «Чѣмъ болѣе разумное существо успѣваетъ въ познаніи міра, тѣмъ менѣе оно подвергается обману въ ожиданіи того, что должно случаться, и менѣе желаетъ невозможныхъ вещей. Неудовольствія должны уменьшаться съ той же соразмѣрностью». Отсюда прямо вытекаетъ сократовскій выводъ, который авторъ противопоставляетъ Руссо и русскимъ «стародумамъ». Не только просвѣщеніе не вредитъ нравственности, но нравственность и состоитъ въ «истинномъ» просвѣщеніи. Достаточно *знать* пользу нравственности, чтобы практиковать ее и понять необходимость нравственнаго самосовершенствованія. Этотъ выводъ открываетъ человѣчеству тѣ безконечныя перспективы, которыя и составляли «утопію» Шварца. «Ежели міръ сей не безконеченъ, то возможно конечному существу дойти до такого совершенства, чтобы имѣть подробное понятіе о цѣломъ мірѣ (о «законахъ нравственнаго порядка, честности и доброты»), и тогда неудовольствія его должны совершенно исчезнуть». «Восхитительное зрѣлище, внушающее всякому мыслящему существу желаніе безсмертія!»

Мы понимаемъ теперь, почему уже «Московское изданіе» протестовало противъ того перенесенія золотого вѣка въ самое начало историческаго процесса, которое вытекало изъ понятія Руссо о «естественномъ состояніи». Золотой вѣкъ есть не начало, а цѣль и конечный пунктъ человѣческаго прогресса. Понятно также, какое огромное значеніе должна была имѣть въ глазахъ Шварца идея о постепенномъ воспитаніи человѣчества, уже пущенная въ литературный оборотъ Лессингомъ. Въ дальнѣйшихъ статьяхъ Шварцъ и обращается къ изученію *дѣйственныхъ* началъ въ человѣкѣ: воли и совѣсти, какъ главныхъ пружинъ самосовершенствованія и прогресса. Онъ и тутъ подчеркиваетъ, что велѣнія воли и совѣсти вовсе не категоричны и не ясны сами собой: та и другая могутъ и должны быть развиваемы и воспитываемы. «*Воля* сама по себѣ есть слѣпая сила», не могущая дѣйствовать цѣлесообразно безъ вмѣшательства «разсудка». *Совѣсть*, какъ «способность *судить* о нравственности дѣйствій», также не составляетъ чего-либо врожден-

наго, а пріобрѣтается «опытомъ и размышленіемъ»; какъ способность *дѣлать* добро, она есть продуктъ усилія, т.-е воспитанія воли, безъ котораго не было бы ни заслуги, ни награды. Самое понятіе *добра* есть результатъ воспитанія воли и мысли. Только «физическое благо, общее человѣку съ животными, не требуетъ разсужденія»; «нравственнаго же добра хотимъ мы не по необходимости, но по свободному выбору». Какъ видимъ, идея свободы, въ противоположность Канту и Шопенгауэру, торжествуетъ у нашего автора *не* въ мірѣ умопостигаемомъ, а, наоборотъ, именно въ самой сферѣ явленій эмпирическаго сознанія, т.-е. тамъ, гдѣ она имѣетъ непосредственное практическое значеніе для религіи и морали. При этомъ условіи, ясно, какое значеніе имѣло для автора «познаніе самого себя». Разсужденіемъ объ этомъ основномъ догматѣ масонства онъ и заканчиваетъ свой замѣчательный трактатъ. Понятно также значеніе воспитанія юношества, о которомъ Шварцъ такъ заботился во всѣхъ своихъ учрежденіяхъ и которому посвятилъ особый трактатъ, напечатанный Новиковымъ уже послѣ его смерти (1783).

Мы не будемъ далѣе слѣдить за московской журналистикой. Только въ ближайшіе два года по смерти Шварца она еще держалась на высотѣ, достигнутой «Вечерней Зарей». «Прибавленія къ Московскимъ Вѣдомостямъ» живутъ матеріалами Шварца. «Покоящійся Трудолюбецъ», послѣднее въ серіи этихъ изданій (1784), прибѣгаетъ къ усиленію сатирическаго элемента. Затѣмъ, Новиковъ бросаетъ изданіе журналовъ, а въ рукахъ однихъ «питомцевъ» они сразу падаютъ, вызывая со стороны пріученныхъ уже къ нимъ читателей горькія жалобы на отсутствіе серьезныхъ статей.

Покойнаго энтузіаста замѣнить было некому. Послѣ его кончины, если не душой, то правой рукой кружка остался Новиковъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ вся дѣятельность кружка принимаетъ совершенно иное направленіе. Новиковъ былъ полной противоположностью Шварцу по всему умственному складу. Соединенные не только единствомъ стремленій, но и тѣсной дружбой, оба эти вожака московской интеллигенціи не могли, однако, смотрѣть одними глазами на вещи и часто сталкивались во взглядахъ. Горячій и увлекающійся Шварцъ упрекалъ Новикова въ недостаткѣ энтузіазма. Практическій Новиковъ отвѣчалъ на это упреками въ излишней горячности. «Онъ подозрѣвалъ меня въ холодности къ масонству и ордену, потому что я, бывъ совершенно занятъ типографскими дѣлами, упражнялся въ томъ урывками; а я, вѣдая пылкость его характера и скорость, удерживалъ его, опасаясь, чтобы въ чемъ не проступиться, и съ великою осторожностью смотрѣлъ на все, что онъ дѣлалъ». Такъ говоритъ самъ Новиковъ. Въ результатѣ, между друзьями, по словамъ того же Новикова, «произошла нѣкоторая холодность и недовѣрчивость», продолжавшаяся до самой смерти Шварца. Легко было предвидѣть, какія перемѣны произойдутъ въ кружкѣ, когда

первая роль снова перейдетъ къ Новикову. Мистическія и химическія занятія, и прежде недоступныя друзьямъ, теперь были совершенно брошены. Вмѣстѣ съ тѣмъ, отошли на второй планъ и совмѣстныя практическія упражненія въ филантропіи, съ цѣлью нравственнаго самоусовершенствованія. Сношенія съ иностранными масонами, на которыя и при Шварцѣ кружокъ смотрѣлъ косо и соглашался неохотно, стали еще рѣже, а вскорѣ и вовсе прекратились. Подобно Новикову, друзья очень недовѣрчиво относились къ высшимъ степенямъ масонства и сильно опасались, нѣтъ ли въ орденѣ чего-нибудь противнаго христіанскому ученію и государственной власти. Опасенія эти особенно усилились, когда въ 1785 году баварское правительство оффиціально закрыло тайное общество иллюминатовъ, преслѣдовавшее, въ формахъ масонства, политическія цѣли. Московскіе масоны давно были предупреждены заграничными братьями о существованіи иллюминатовъ и получили совѣтъ избѣгать сношеній съ ними. Теперь, «по причинѣ великаго распространенія и пронырствъ иллюминатовъ», на все масонство наложено было (съ 1787) «молчаніе» или «бездѣйствіе». Надо сказать, что уже въ 1783 году масонскія собранія въ кружкѣ фактически прекратились, а лично Новиковъ «по типографскимъ дѣламъ и заботамъ» давно уже не собиралъ порученныхъ его наблюденію братьевъ. Съ 1786 года дѣятельность масонства была и формально пріостановлена. Въ этомъ году масонскія ложи въ Москвѣ были «разорены», по приказанію императрицы. Все это, вмѣстѣ взятое, совершенно остановило собственно масонскую дѣятельность кружка. Зато Новиковъ направилъ «работы» кружка на новую и гораздо болѣе плодотворную дорогу.

За мѣсяцъ до смерти Шварца (15-го января 1782 г.) появился знаменитый указъ, разрѣшавшій всякому желающему заводить частныя типографіи. Теперь ,наконецъ, «пришелъ часъ» для Новикова— пустить полнымъ ходомъ задуманное еще въ «Живописцѣ» (см. выше) предпріятіе. Для выполненія своей идеи, какъ мы знаемъ, онъ уже не мало сдѣлалъ. Число подписчиковъ «Московскихъ Вѣдомостей» поднялось за время его завѣдованія университетской типографіей съ 800 до 4.000. Масса книгъ была уже напечатана, завязаны сношенія съ книгопродавцами, заведены коммиссіонеры и въ провинціи. Расширеніе всѣхъ этихъ предпріятій съ помощью вольныхъ типографій обѣщало, не говоря уже объ идейномъ значеніи дѣла, вѣрную коммерческую выгоду. Новиковъ убѣдилъ друзей широко воспользоваться правительственнымъ указомъ. Такимъ образомъ, кружокъ московскихъ розенкрейцеровъ перешелъ къ издательской дѣятельности въ широкихъ, до тѣхъ поръ небывалыхъ размѣрахъ. Каждый изъ членовъ кружка внесъ болѣе или менѣе значительный пай, и «Дружеское ученое общество» превратилось въ 1784 г. въ акціонерную «Типографскую ком-

панію». Капиталъ компаніи считался теперь уже не десятками, а сотнями тысячъ; компанія пріобрѣла нѣсколько домовъ, имѣла свою аптеку. Масонскій характеръ кружка сохранился въ выборѣ для изданія книгъ преимущественно нравоучительнаго содержанія. Но собственно масонскія, мистическія книги издавались компаніей въ очень ограниченномъ количествѣ и предназначались не для продажи, а для тѣснаго круга посвященныхъ. Зато уже изъ чисто коммерческихъ соображеній типографіи Новикова и компаніи печатали также и книги, не имѣвшія ни малѣйшаго отношенія ни къ масонству, ни къ нравственному просвѣщенію въ масонскомъ смыслѣ. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше предпріятіе компаніи принимало общій просвѣтительный характеръ. Общее количество книгъ, выпущенныхъ Новиковымъ на книжный рынокъ, достигло цифры около 440. Чтобы понять значеніе этой цифры, надо припомнить, что въ единственной московской книжной лавкѣ 1768 г. (при университетѣ) продавалось (по каталогу) всего 168 названій книгъ; въ книжной лавкѣ Миллера передъ переходомъ университетской типографіи въ аренду къ Новикову (1776 г.), 438 названій, а передъ началомъ дѣятельности «типографической компаніи» (1782 г.) въ университетской лавкѣ—576 книгъ. Такимъ образомъ, Новиковъ болѣе чѣмъ удвоилъ количество находившихся до него въ продажѣ книгъ, не говоря уже о лучшемъ качествѣ книжнаго товара пущеннаго имъ въ оборотъ. Организаторомъ же книжной торговли въ провинціи онъ явился первый. Въ основу для книжнаго комиссіонерства въ провинціи были положены связи съ провинціальными масонскими ложами, какъ совершенно вѣрно замѣтила Екатерина—говоря, что «братья» развозятъ новиковскія книги по Россіи. Но Новиковъ и помимо масонскихъ связей не упускалъ случая завести себѣ новаго комиссіонера, какъ это испыталъ на себѣ Болотовъ. Въ Ярославлѣ, Смоленскѣ, Вологдѣ, Твери, Казани, Тулѣ, Богородицкѣ, Глуховѣ, Кіевѣ можно было получить книги новиковскаго изданія; а, «если кому угодно будетъ продажу сихъ книгъ учредить и въ другихъ городахъ Россійской имперіи», объявлялъ онъ, «таковые могутъ адресоваться письменно или самолично въ книжную лавку, гдѣ всевозможное къ тому вспомоществованіе оказано будетъ, ибо въ оной принято намѣреніе доставить почтеннымъ любителямъ россійской литературы всевозможную способность въ сообщеніи и всевозможныя выгоды въ цѣнахъ книгъ».

Наиболѣе эффектный актъ общественной дѣятельности московскаго кружка былъ, однако, еще впереди. Это было въ голодный 1787 г. Нарисованная Новиковымъ картина народнаго бѣдствія вызвала щедрую помощь друзей (въ томъ числѣ около 50.000 тогдашнихъ рублей со стороны одного московскаго богача, Походяшина). Новиковъ на эти деньги организовалъ въ широкихъ размѣрахъ раздачу хлѣба въ Москвѣ

и въ окрестностяхъ своей подмосковной деревни. Помощью воспользовались тамъ до 100 казенныхъ и помѣщичьихъ селеній. Возвращаемый крестьянами хлѣбъ и деньги рѣшено было употребить на устройство постояннаго хлѣбнаго магазина, къ чему и приступилъ немедленно Новиковъ. Этотъ случай показалъ, что можетъ сдѣлать нравственное вліяніе Новикова, въ связи съ дѣловой организаціей, какую принялъ кружокъ по смерти Шварца. Помощь голодающимъ въ 1787 г. уже не походила на тѣ добровольные сборы въ кружку, какіе дѣлались на засѣданіяхъ «Дружескаго общества» въ началѣ 1780-хъ гг., и организація помощи не походила на тѣ розыски отдѣльныхъ бѣдняковъ, которые предпринимались друзьями для упражненія въ филантропіи и для цѣлей личнаго совершенствованія. На частномъ примѣрѣ теперь стало ясно для всѣхъ, какое значеніе имѣла въ Москвѣ «шайка» Новикова.

Голодъ 1787 г. былъ высшей точкой дѣятельности московскихъ мартинистовъ; но онъ же сдѣлался и началомъ ихъ бѣдствій. Масонство было терпимо, пока высокопоставленныя лица занимались имъ для собственнаго развлеченія и забавлялись имъ, «какъ игрушкой». На масонство не обращали особеннаго вниманія и тогда, когда оно обратилось къ работѣ внутренняго самоусовершенствованія и къ таинственнымъ алхимическимъ занятіямъ. Но масонство, какъ частное общество съ задачами общественнаго характера, какъ организованная общественная сила, располагавшая крупными денежными средствами, распространявшая черезъ своихъ членовъ «сокровенныя книги отъ Риги до донскихъ станицъ», сильная своимъ вліяніемъ на общество и крѣпкая внутренними убѣжденіями,—это масонство было явленіемъ неслыханнымъ въ русской жизни. Оно занимало слишкомъ видную позицію, чтобы можно было дольше его игнорировать.

Императрица попыталась сперва бороться съ новымъ общественнымъ движеніемъ старыми средствами. Въ 1780 г. поступила въ продажу анонимная брошюрка, осмѣивавшая масоновъ («Тайна противонелѣпаго общества»). Авторомъ брошюры, вѣроятно, была императрица. Согласно рецепту, данному еще во «Всякой Всячинѣ», Екатерина пробуетъ здѣсь побѣдить общественное мнѣніе смѣхомъ. Масонство для нея просто «болтанье и дѣтскія игрушки»; противъ него, какъ противъ дѣтскихъ шалостей, нужна лишь розга. Возможно, что Екатерина въ этотъ моментъ добросовѣстно заблуждалась, видя въ масонствѣ одно шарлатанство, игру въ обряды и не замѣчая его моралистическаго міросозерцанія. Масонскаго мистицизма она просто не могла понять: для ученицы Вольтера это было оскорбленіемъ философіи и здраваго смысла. Часто справляясь съ «Энциклопедіей», она нашла тамъ мѣсто, гдѣ говорилось, что «теософамъ удалось бы потушить духъ изслѣдованія и открытій и снова погрузить насъ въ варварство, если бы пра-

вительство ихъ поддерживало, какъ они того желаютъ». Отсюда, конечно, далеко еще было до *преслѣдованія* масонства, какъ и намекалъ Екатеринѣ философъ Циммерманъ, одинъ изъ ея корреспондентовъ. Однако, когда организовалась «Типографическая компанія» и когда на Западѣ иллюминаты были оффиціально признаны вредной политической организаціей, Екатерина рѣшилась выступить открыто противъ масонства. Въ это время были, какъ мы видѣли, «разорены» по ея приказанію московскія ложи. Но въ то же время Екатерина не теряла еще надежды настроить противъ масонства само общественное мнѣніе. Въ январѣ, февралѣ и іюлѣ 1786 г. на эрмитажномъ театрѣ были поставлены три комедіи императрицы, грубовато осмѣивавшія «мартышекъ» и извѣстнаго шарлатана Каліостро («Обманщикъ», «Обольщенный» и «Шаманъ Сибирскій»). Двѣнадцать лѣтъ Екатерина не писала комедій; и три комедіи заразъ, послѣ такого долгаго промежутка, свидѣтельствуютъ о сильномъ впечатлѣніи, произведенномъ на Екатерину дѣятельностью московскихъ мартинистовъ. «Надо было помять бока ясновидцамъ, которые очень ужъ стали задирать носъ», признается она въ письмѣ къ Гримму. Разсчетъ императрицы, однако, оказался ошибочнымъ. Побѣда въ литературномъ состязаніи, какъ мы знаемъ, и въ 60-хъ гг. осталась не за ней. Теперь конечно, на оффиціальную сатиру уже нельзя было отвѣчать неоффиціальной. Но скоро Екатерина должна была убѣдиться, что съ «политическими вѣтряными мельницами» бороться не такъ легко и что она не только въ Россіи, но и въ Европѣ идетъ противъ теченія. Безполезно было стараться остановить время и ссылаться на то, что когда-то, въ 1740 году, въ годы ея воспитанія, даже «наименѣе философскія головы считали нужнымъ притворяться философами» и что ея пьесы построены на статьѣ «Энциклопедіи» (резюме которой, приведенное выше, она дѣйствительно выписала въ своихъ набросках для «Шамана Сибирскаго»). Дворъ, конечно, рукоплескалъ автору комедій, и Екатерина въ своихъ письмахъ трубила о ихъ огромномъ успѣхѣ. Петербургская пресса по данному сигналу принялась осыпать мартинистовъ насмѣшками и порицаніями. Но въ Москвѣ печать угрюмо отмалчивалась. Можетъ быть, не безъ вліянія этой пассивной оппозиціи нервныя нотки прорываются все чаще и рѣзче въ пьесахъ Екатерины. Она начинаетъ наконецъ признавать, что шарлатанство и мода не исчерпываютъ всего смысла движенія; что масонская литература оказываетъ сильное умственное вліяніе, которое Екатерина не можетъ не считать вреднымъ. Но и нападками на это умственное вліяніе, на тарабарщину мистическихъ книгъ, ея сатира не ограничивается. У ней прорывается въ концѣ концовъ, настоящій и главный мотивъ: раздраженіе противъ общественной дѣятельности московскаго кружка. «Они въ намѣреніи имѣютъ потаенно заводить благотворительныя разныя заведенія, какъ-то: школы,

больницы и т. п., и для того стараются привлекать къ себѣ людей богатыхъ...; дѣла такого рода на что производить сокровенно, когда благимъ узаконеніемъ открыты всевозможныя у насъ къ такимъ установленіямъ удобства?»

Вотъ гдѣ основная причина недовольства Екатерины. Масонство есть независимая отъ ея контроля и вліянія просвѣтительная сила. Такая сила есть врагъ, съ которымъ необходимо бороться серьезно. Циммерманъ спѣшилъ напередъ похвалить Екатерину за то, что въ этой борьбѣ она останется исключительно на почвѣ литературной, что «вмѣсто всякаго законодательства она противопоставитъ заблуждающимся хорошую труппу комедіантовъ». Очевидно, при чтеніи посланныхъ ему пьесъ онъ уже замѣтилъ, что этимъ дѣло можетъ не ограничиться. Въ послѣдней изъ нихъ, отъ безсильнаго смѣха и вышучиванія Екатерина прямо перешла къ угрозамъ. «Какъ свѣдаютъ доподлинно, колико его ученіе не сходствуетъ съ общимъ установленіемъ, то достанется и тому, кто привезъ лжеучителя»... «совѣтую тебѣ дружески: поѣзжай, братъ, въ деревню... хотя на время».

Послѣ разоренія московскихъ ложъ, кружокъ друзей буквально послѣдовалъ совѣту Екатерины. По донесенію московскаго главнокомандующаго, съ этихъ поръ «партія Новикова собирается приватно, чего и запретить невозможно, въ видѣ пріятельскаго посѣщенія, внѣ Москвы, у кн. Н. Н. Трубецкого въ деревнѣ, называемой Очакова». Запретить это, дѣйствительно, было трудно. *Лицъ* Екатерина пока оставила въ покоѣ, но на ихъ *дѣло* уже въ 1787 года она наложила свою руку. Старый покровитель масоновъ, гр. Зах. Чернышевъ, въ то время уже нѣсколько лѣтъ какъ умеръ (1784); его замѣнилъ нарочно выбранный Екатериной суровый, надменный графъ Брюсъ. Екатерина, очевидно хотѣла смирить строптивую Москву. Идя ей навстрѣчу, такіе видные масоны, какъ Тургеневъ, Гамалѣя, Лопухинъ оставили государственную службу. Вслѣдъ затѣмъ Брюсу предписано было обревизовать московскія школы и обратить особое вниманіе на направленіе, въ какомъ преподается Законъ Божій. Черезъ два съ половиной мѣсяца Брюсъ долженъ былъ составить описи «странныхъ» книгъ, печатавшихся у Новикова, и отправить ихъ для разсмотрѣнія Платону, который долженъ былъ также испытать Новикова въ Законѣ Божіемъ. Извѣстно, что и здѣсь Екатерина не встрѣтила поддержки. Отвѣтъ Платона былъ прямо тенденціозенъ. Онъ отвѣчалъ императрицѣ,—какъ отвѣтилъ бы и самъ Новиковъ,—что онъ знаетъ только однѣ книги, развращающія нравы и подрывающія религіозныя чувствованія—это «гнусныя и юродивыя порожденія энциклопедистовъ», которыя, дѣйствительно, «слѣдуетъ исторгать, какъ пагубныя плевела». Еще разъ императрица должна была убѣдиться, что она имѣетъ противъ себя серьезную, тѣсно сплоченную и независимую группу

людей. Между тѣмъ, обстоятельства складывались такъ, что все, что было враждебнаго Екатеринѣ въ Россіи и за границей,—все это принимало печать масонства. Съ началомъ второй турецкой войны (1787) испортились наши отношенія къ Пруссіи и Швеціи. Но государи обѣихъ странъ сильно покровительствовали масонамъ, и съ масонами прусскими и шведскими у русскихъ масоновъ въ разное время существовали прямыя сношенія. Внутри самой страны имя наслѣдника Павла постоянно связывалось съ оппозиціонными толками; между тѣмъ, у масоновъ съ наслѣдникомъ тоже завязались сношенія, положимъ довольно невинныя. Какъ бы то ни было, Потемкинъ, по словамъ Лопухина, воспользовался слухами объ этихъ сношеніяхъ, чтобы окончательно погубить масоновъ, а себя представить въ роли спасителя престола. По вѣрному замѣчанію Лопухина, держать постоянно въ страхѣ императрицу прямо входило въ интересы Потемкина, для поддержанія личнаго положенія. На этотъ разъ, впрочемъ, явилось и объективное основаніе для всевозможныхъ опасеній. Этимъ основаніемъ послужила конспиративная дѣятельность иллюминатовъ, съ которыми смѣшивали намѣренно или ненамѣренно русскихъ масоновъ. Всего этого было болѣе чѣмъ достаточно, чтобы подготовить императрицу къ самымъ крайнимъ мѣрамъ противъ масонства. Остальное додѣлали слухи, одинъ другого нелѣпѣе. Благотворительная дѣятельность мартинистовъ во время голода 1787 какъ разъ совпала съ блестящей поѣздкой Екатерины въ Крымъ, долженствовавшей служить выставкой всеобщаго благополучія въ имперіи. Контрастъ былъ слишкомъ разителенъ. Недоброжелателямъ мартинистовъ легко было установить мнѣніе, что Новиковъ дѣйствуетъ съ намѣреніемъ и, очевидно, хочетъ привлечь на свою сторону низшіе классы народа. Павла сдѣлаютъ главой русскаго масонства и помогутъ ему, опираясь на общее недовольство, взойти на престолъ. Екатерину устранятъ, какъ устранила она Петра III. Откуда возьмутъ средства для всего этого? И тутъ отвѣтъ былъ готовый. Очевидно, масоны дѣлаютъ фальшивыя ассигнаціи.

Какъ видимъ, тучи сгустились надъ кружкомъ, и гроза готова была разразиться. Запрещеніемъ печатать духовныя книги и наблюденіемъ за продажей книгъ по городамъ на ярмаркахъ дѣло не могло ограничиться. Таково было общее положеніе, когда началась французская революція. Ея послѣдствія по отношенію къ общественному движенію въ Россіи мы увидимъ въ слѣдующей главѣ.

Статистическія данныя о книгоиздательствѣ XVIII вѣка см. въ книгѣ *Пекарскаго*, Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ, т. II, Спб. 1862, и въ брошюрѣ *В. В. Сиповскаго*. Изъ исторіи русской литературы XVIII вѣка, I—II, Спб. 1901 (изъ Извѣстій Отд. русск. яз. и слов. Им. Ак. Наукъ, т. VI, кн. 1). О

докладѣ Мелиссино см. *Ө. В. Благовидова*, Оберъ-прокуроры св. Синода въ XVIII в., Казань, 1900. Важнѣйшія сочиненія о масонствѣ: *М. Н. Лонгиновъ*, Новиковъ и московскіе мартинисты, Мск. 1867. *С. В. Ешевскій*, «Нѣсколько замѣчаній о Новиковѣ» и «Московскіе масоны» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», 1857 и 1864—1865; въ Собраніи сочиненій, изд. 1870, т. III и въ «Сочиненіяхъ по русской исторіи». Мск. 1900. *Н. С. Тихонравовъ*, біографіи Новикова и Шварца и «Новыя свѣдѣнія о Новиковѣ» въ Сочиненіяхъ, т. III, ч. 1 и 2, Мск. 1898. *А. Н. Пыпинъ*, Русское масонство, «Вѣстн. Евр.», 1867, т. II—IV; Русское масонство до Новикова, «В. Е.». 1868, іюнь и іюль; Матеріалы для исторіи масонскихъ ложъ, «В. Е.» 1872, январь. *П. Пекарскій*, Дополненія къ исторіи масонства въ Россіи въ Сбор. рус. отд. Ак. Наукъ, т. VII, № 4, Спб. 1869. (Здѣсь также хронологическій перечень фактовъ и библіографія). «Повѣсть о самомъ себѣ» Елагина напечатана въ «Русск. Архивѣ». 1864. Записки И. В. Лопухина въ Чтеніяхъ О. И. и Др. Росс. 1860 и въ Русскомъ Архивѣ, 1884. О журналахъ Новикова см. *А. Незеленова*, Н. И. Новиковъ, Спб. 1875: книга, интересная выписками, но почти всегда неудачная по выводамъ. О философскомъ преподаваніи въ академіяхъ см. *С. Смирнова*, Исторія московской славяно-греко-латинской академіи, Мск. 1855, и Біографія А. И. Кошелева (Колюпанова), т. 1, кн. 1, Мск. 1889. О параллельныхъ явленіяхъ западной литературы см. *Геттнера*, Исторія литературы XVIII столѣтія, т. III и *М. Н. Розанова*. Поэтъ періода бурныхъ стремленій Яковъ Ленцъ, Мск. 1901. Объ отношеніи Екатерины къ мартинистамъ, см. брошюру *А. В. Семеки*: русскіе розенкрейцеры и сочиненія имп. Е. противъ масонства, Спб. 1902. Здѣсь также свѣдѣнія о рукописяхъ Шварца, подтверждающія нашъ выводъ о принадлежности ему статей въ «Вечерней Зарѣ». Ср. также выписки въ книгѣ *Незеленова*, Литературныя направленія Екатерининской эпохи, Спб. 1889. Тексты пьесъ Екатерины см. въ Сочиненіяхъ имп. Екатерины II съ примѣчаніями А. Н. Пыпина, академическое изданіе, т. I, Спб. 1901.

VII.

Градація предреволюціоннаго настроенія во Франціи.—Отраженіе его въ различныхъ кругахъ русскаго общества.—Отношеніе молодежи и читающей публики.—Философскія и политическія идеи лейпцигскаго кружка.—Вліяніе нѣмецкой университетской философіи и французскаго матеріализма и сенсуализма. Эклектицизмъ кружка.—Источники трактата о смертности и безсмертія и неодинаковое отношеніе къ нимъ Радищева.—Вліяніе политической жизни Запада; первая борьба.—Отношеніе къ Мабли.—Настроеніе при возвращеніи домой и послѣ.—Связь Путешествія Радищева съ настроеніемъ 80-хъ годовъ.—«Законность»—основной критерій «Путешествія»; безправіе—главное зло русской жизни.—Обращеніе къ престолу. Царь и «истина» (сонъ). Свобода слова.—Проектъ соціальной реформы (крестьянство и чины), вложенный въ уста потомка Екатерины.—Отдаленныя перспективы и ода.—Пріемъ книги публикой и отношеніе Екатерины.—Отношеніе Екатерины къ Франціи, двору до революціи; ея первые сужденія о волненіи умовъ во Франціи.—Перемѣна тона послѣ 14-го іюля.—Тревога по поводу радищевской книги, какъ проявленія московскаго оппозиціоннаго духа.—Приговоръ и произведенное имъ впечатлѣніе.—Новыя впечатлѣнія революціи; попытки воздѣйствовать на нее и эксплуатировать въ свою пользу.—Нервное настроеніе; слухи объ атентатахъ; разгромъ московскихъ мартинистовъ.—Мѣры противъ «французской заразы».—Ода Карамзина; новое настроеніе.—Русская сцена, какъ выраженіе настроенія средней публики.—Народный элементъ пьесъ: отношеніе театра къ народу.—Националистическіе элементы въ комедіи.—Отрицательные типы комедіи и ихъ отношеніе къ типамъ сатиры и къ дѣйствительной жизни.—Положительные типы: отсутствіе между ними представителей передовыхъ теченій; разница передовыхъ взглядовъ и резонерской морали.—Взглядъ на заграничное путешествіе.—Попытки националистической теоріи.—«Антидотъ» Екатерины.—Колебанія Щербатова.—Теорія Болтина и ея преимущества передъ націонализмомъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ «философамъ» просвѣтительнаго вѣка удалось добиться первой крупной общественной побѣды,—отмѣны ордена іезуитовъ во Франціи (1762), *религіозная* цѣль поднятаго ими движенія казалась въ главномъ достигнутой. Общественный интересъ обратился окончательно отъ вопросовъ терпимости и свободы мысли—къ вопросамъ *соціальнымъ* и *политическимъ*. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и вліяніе на общественное мнѣніе перешло въ другія руки. Мы говорили раньше, какъ уже съ середины XVIII вѣка на помощь Вольтеру явились *энциклопедисты*, значительно поднявшіе тонъ движенія и увлекшіе за собой самого Вольтера и «вольтеріанцевъ», включая и Екатерину II.

Съ 1767 года на смѣну «энциклопедистовъ» являются *экономисты*, теоретики новаго, болѣе справедливаго распредѣленія общественныхъ тягостей. По установившейся традиціи, эти новые вожди общественнаго мнѣнія еще посылали Екатеринѣ свои сочиненія, но ихъ она уже рѣшительно не любила и читала только по особой рекомендаціи. Однако, и на этой стадіи—движеніе не остановилось. Послѣ принципіальнаго столкновенія короля съ парламентомъ (1771) и «экономисты» были отодвинуты на второй планъ. Общественнымъ мнѣніемъ завладѣли *патріоты*. Это было новое наводненіе брошюръ и памфлетовъ—на этотъ разъ вовсе не могшихъ расчитывать на одобреніе и сочувствіе Екатерины и оставшихся ей совершенно неизвѣстными. Въ противоположность теоріи божественнаго права, выдвинутой королемъ въ его законодательномъ эдиктѣ, эти памфлеты дѣлали новые выводы изъ старой теоріи естественнаго права,—выводы Руссо и Contrat social. Верховенство принадлежитъ не одному человѣку, а цѣлой націи,—не только *до* созданія государства, но и *послѣ* избранія народомъ властей,—для контроля надъ ними. Законодательная власть не можетъ принадлежать *одному* королю, а принадлежитъ ему *вмѣстѣ* съ народными представителями. Если акты королевской воли нарушаютъ основные законы государства, то эти акты не могутъ имѣть юридической силы. Противъ нихъ нація имѣетъ «право сопротивленія»,—право, примѣненное уже англичанами въ ихъ «мирной» революціи 1688 г. и съ тѣхъ поръ поставленное въ правовомъ сознаніи Европы прочно и незыблемо на мѣсто всѣхъ «ложныхъ идей о пассивномъ повиновеніи, о божественномъ правѣ» и т. д.

Такимъ образомъ, общее настроеніе умовъ сдѣлалось «революціоннымъ до революціи». Уже въ 1768 году близкій впослѣдствіи къ Екатеринѣ писатель, Гриммъ характеризовалъ это настроеніе, какъ безпокойное броженіе, напоминающее эпоху реформаціи и «предвѣщающее неизбѣжное наступленіе революціи», очагомъ которой будетъ Франція и которая «будетъ имѣть передъ прежними то преимущество, что осуществится безъ пролитія крови». Въ первые мѣсяцы Людовика XVI (августъ, 1774) тотъ же Гриммъ, уже не столько съ сочувствіемъ, сколько съ ироніей замѣчаетъ, что «теперь нѣтъ такого школьника, который бы не проектировалъ, едва сойдя со школьной скамейки, новой системы государственнаго устройства; нѣтъ писателя, который бы не считалъ себя обязаннымъ внушить земнымъ властямъ, какъ имъ лучше всего управлять своимъ государствомъ».

Гриммъ не ошибался, сравнивъ съ реформаціей новое движеніе, «очагомъ котораго была Франція», но которое уже въ подготовительной своей стадіи сдѣлалось такимъ же космополитичнымъ, какъ французскій языкъ и французскія моды. Не было, казалось, такого захолустнаго уголка въ Европѣ, гдѣ изумительныя событія, начавшіяся въ Парижѣ въ 1789 году, не всколыхнули бы умовъ, не вызвали бы го-

рячаго отклика въ сердцахъ. Но не было также въ Европѣ страны, которая была бы лучше застрахована отъ дѣйствительнаго вліянія революціонныхъ идей на жизнь, чѣмъ Россія,—Россія, только что достигшая кульминаціоннаго пункта въ развитіи тѣхъ самыхъ рабовладѣльческихъ отношеній и сословныхъ привилегій, которымъ былъ нанесенъ этими идеями такой рѣшительный ударъ.

Императрица и русскіе дипломаты не упускали случая указать заграницей на это особенное положеніе Россіи. «Одни мы, изъ всѣхъ державъ, можемъ не бояться французской революціи и не бороться съ ней по отношенію къ нашимъ подданнымъ», говорилъ Марковъ прусскому посланнику. И сама Екатерина, еще послѣ казни короля (апрѣль, 1793), доказывала англійскому королю безкорыстіе своей политики тѣмъ, что Россія, отдаленная отъ Франціи огромнымъ разстояніемъ, не можетъ быть охвачена этой заразой. Сами про себя, однако, и императрица, и дипломаты думали совершенно иначе. Вотъ, напр., полугнѣвная, полуиспуганная тирада нашего посла въ Лондонѣ, Семена Воронцова, въ интимномъ письмѣ къ брату Александру (2-го дек. 1792 г.): «Я вамъ говорилъ: это борьба не на животъ, а на смерть между имущими классами и тѣми, кто ничего не имѣетъ. И такъ какъ первыхъ гораздо меньше, то, въ концѣ концовъ, они должны быть побѣждены. Зараза будетъ повсемѣстной. Наша отдаленность насъ предохранитъ на нѣкоторое время: мы будемъ послѣдніе,—но и мы будемъ жертвами этой эпидеміи. Вы и я, мы ея не увидимъ; но мой сынъ увидитъ. Я рѣшилъ научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному что ли или столярному: когда его вассалы ему скажутъ, что онъ имъ больше не нуженъ и что они хотятъ подѣлить между собой его земли,—пусть онъ, по крайней мѣрѣ будетъ въ состояніи зарабатывать хлѣбъ собственнымъ трудомъ и имѣть честь сдѣлаться членомъ будущаго муниципалитета въ Пензѣ или въ Дмитровѣ. Эти ремесла ему больше пригодятся, чѣмъ греческій, латинскій и математика!»

Мы скоро увидимъ, что и Екатерина далеко не спокойно относилась къ возможности вліянія революціонныхъ идей на Россію. Но какія же реальныя, объективныя основанія были для всѣхъ подобныхъ опасеній?

Здѣсь нельзя, прежде всего, не вспомнить знаменитаго мѣста мемуаровъ Сегюра, которое такъ часто цитировалось и толковалось историками. Рѣчь идетъ о впечатлѣніи, произведенномъ въ Петербургѣ взятіемъ Бастиліи. «Новость быстро распространилась, и была принята различно, смотря по положенію и настроенію каждаго. При дворѣ она вызвала сильное волненіе и общее неудовольствіе. Въ городѣ впечатлѣніе было совершенно обратное, и хотя Бастилія не грозила никому изъ жителей Петербурга, я не могу передать энтузіазма, вызваннаго среди негоціантовъ, купцовъ, мѣщанъ (les bourgeois) и нѣсколькихъ молодыхъ людей изъ болѣе высокаго класса паденіемъ этой государственной

тюрьмы, этимъ первымъ тріумфомъ бурной свободы. Французы, русскіе датчане, нѣмцы, англичане, голландцы, всѣ, посреди улицы, поздравляли другъ друга, обнимались, точно ихъ избавили отъ тяжелой цѣпи, сковывавшей ихъ самихъ. Это увлеченіе (folie), которому я самъ едва вѣрю теперь, разсказывая это, продолжалось очень недолго. Страхъ скоро погасилъ первую вспышку. Петербургъ не былъ ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобныя чувства».

Должны ли мы вѣрить тому, чему почти отказывается вѣрить очевидецъ этихъ событій,—очевидецъ сильно предубѣжденный въ пользу того впечатлѣнія, о которомъ разсказываетъ? Мы думаемъ, что скептицизмъ историковъ по отношенію къ свидѣтельству Сегюра едва ли былъ вполнѣ основательнымъ. Конечно, по словамъ самого Сегюра, радовались, прежде всего, *иностранцы*. Мы знаемъ, что ихъ было не мало въ Петербургѣ: когда Екатерина заставила впослѣдствіи французовъ принести антиреволюціонную присягу (стр. 406), ихъ однихъ оказалось до полутора тысячъ. Но, разумѣется, не изъ однихъ иностранцевъ состояла та группа *горожанъ и купечества*, объ особомъ интересѣ которой къ парижскимъ событіямъ Сегюръ считаетъ нужнымъ спеціально упомянуть. Изъ того, что мы уже знаемъ, мы можемъ извлечь не мало подтвержденій въ пользу того же самаго наблюденія. Припомнимъ оппозиціонную роль городскихъ депутатовъ въ Комиссіи. Припомнимъ, что сама Екатерина характеризовала ихъ настроеніе, какъ стремленіе къ «свободѣ». Припомнимъ, что именно въ *эту* среду направлены были всѣ просвѣтительныя усилія маленькаго ядра нашей тогдашней интеллигенціи. Что эти усилія не остались безъ результатовъ,—объ этомъ можетъ свидѣтельствовать одно любопытное показаніе «Почты Духовъ», сатирическаго журнала, выходившаго какъ разъ въ одинъ годъ съ началомъ революціи (1789). «Какъ,—спросилъ я,—кто-жъ у васъ читаетъ Платоновы сочиненія о должностяхъ: Наставленіе политикамъ, О состояніи земледѣльцевъ и О званіи вельможъ? Купцы и мѣщане,—отвѣчалъ авторъ; а вельможи читаютъ веселыя сказки, дѣтскія выдумки и шутливыя басни» *). Пусть это свидѣтельство нѣсколько тенденціозно,—можетъ быть даже неоригинально; во всякомъ случаѣ, характерна самая тенденція. Мы знаемъ и отъ Новикова, что «господчики» изъ *высшаго* класса предпочитали французскія книги русскимъ (см. выше), и мы можемъ предположить, какого рода книги это были. Исключеніе, конечно, надо сдѣлать,—для очень небольшого числа высокопоставленныхъ фамилій, дѣти которыхъ воспитывались на серьезной французской литературѣ хорошими педагогами. Въ этой тѣсной общественной группѣ иногда тоже воспитывалось чувство сво-

*) Цитата взята какъ разъ изъ статьи, отъ которой потомъ косвенно отрекся Крыловъ, напечатавъ противъ нея возраженіе: такимъ образомъ, если участіе Радищева въ журналѣ будетъ доказано, статья можетъ оказаться принадлежащей ему (не переводной ли?).

боды; они тоже иногда негодовали на произволъ: но ихъ негодованіе было совсѣмъ особаго свойства. Маленькая бытовая сценка изъ жизни этой золотой молодежи Петербурга намъ это покажетъ лучше длиннаго разсужденія. Le charmant prince Boris Golitsine ввелъ новую моду на галстухи выше подбородка и шляпы конической формы. Это былъ «якобинскій» покрой, и императрица его строго запретила. «Но наши молодые люди, несмотря на (вторичное) запрещеніе, одѣваются по прежнему, и когда, въ послѣднее воскресенье, графиня Салтыкова хотѣла призвать своего племянника къ благоразумію, онъ такъ громко сталъ кричать о свободѣ, что она убѣжала со всѣхъ ногъ,—со страху не кроется ли въ семьѣ Голицыныхъ зерно какой-нибудь революціи»

Если даже воспитательное вліяніе западной литературы шло иногда глубже у членовъ этой правящей группы, то результаты его рѣдко оказывались благопріятными для самыхъ идей запада. Здѣсь, въ этомъ общественномъ слоѣ, привыкшемъ стоять близко къ власти, чаще всего и прочнѣе всего прививались идеи національнаго самовозвеличенія, такъ тѣсно связанныя съ направленіемъ внѣшней политики Екатерины. Отсюда выходили такіе типичные націоналисты и враги запада, какъ Ростопчинъ или Семенъ Воронцовъ. Конечно, парижскія событія лицамъ этого типа были извѣстны ближе и лучше, чѣмъ большинству петербургскихъ «буржуа»; но они вызывали здѣсь настроеніе, далекое отъ всякаго сочувствія. «Увлекаться» примѣромъ Франціи способны были здѣсь развѣ отдѣльные юноши, вродѣ сына извѣстнаго намъ масона Строгонова, воспитаннаго будущимъ монтаньяромъ, Роммомъ, и введеннаго имъ въ члены якобинскаго клуба. Любопытно, однако, что и въ этомъ единственномъ извѣстномъ намъ исключеніи изъ общаго настроенія высшей дворянской молодежи мы можемъ предположить культурную семейную традицію.

Указаніе Сегюра на «нѣсколькихъ молодыхъ людей изъ болѣе высокаго класса» (d'une classe plus élevée), какъ на средоточіе интеллигентныхъ симпатій къ французской революціи, очень цѣнно и мѣтко: но этотъ «болѣе высокій» классъ ихъ не есть самый высокій. Мы имѣемъ дѣло, очевидно, опять съ тѣмъ среднимъ дворянствомъ *), въ средѣ котораго развивались и другія, уже извѣстныя намъ движенія русской интеллигентной мысли. Такъ, правдивый разсказъ Сегюра приводитъ насъ къ тому же пункту въ исторіи русской общественности, на которомъ мы остановились раньше.

*) Есть и прямое подтвержденіе свидѣтельства Сегюра о симпатіи къ революціи въ этихъ кругахъ. Секретарь императрицы Соймоновъ—тотъ самый, который дѣлалъ для нея выписки изъ законовъ по Блэкстоновскимъ рубрикамъ, вернувшись однажды домой осенью 1789 г., т.-е. мѣсяца два послѣ взятія Бастиліи, засталъ у себя цѣлую иллюминацію,—множество зажженныхъ свѣчей. Семилѣтняя дѣвочка, его дочь (впослѣдствіи г-жа Свѣчина), на вопросъ отца, зачѣмъ она зажгла свѣчи,—отвѣчала: «но, папа, развѣ не нужно было отпраздновать взятіе Бастиліи и освобожденіе этихъ бѣдныхъ французскихъ арестантовъ?»

Настроеніе большинства этой интеллигентной молодежи намъ уже достаточно ясно. Мы знаемъ, что по отношенію къ общему міровоззрѣнію эта молодежь отшатнулась отъ крайнихъ выводовъ французскаго философскаго радикализма и искала нравственнаго успокоенія въ примиреніи своихъ религіозныхъ запросовъ съ прогрессивными теченіями вѣка. Отъ политическаго радикализма это молодое поколѣніе было еще дальше, чѣмъ отъ философскаго. Когда изъ его среды одинъ (Радищевъ) увлекся политическимъ радикализмомъ, то ближайшій другъ его, сторонникъ извѣстнаго намъ религіозно-моралистическаго направленія, посланный масонами за границу Кутузовъ счелъ своимъ долгомъ провести самую рѣзкую границу между своими взглядами и взглядами пріятеля, съ которымъ связывала его двадцатилѣтняя дружба. «Вы знаете мои правила», пишетъ онъ одному изъ главныхъ членовъ новиковскаго кружка, кн. Н. И. Трубецкому: «извѣстно вамъ, что я великій врагъ всякаго возмущенія и что я не престану никогда твердить, что критика настоящаго правленія есть непозволенное дѣло и нимало не принадлежитъ къ литературѣ». И другой членъ того же кружка, извѣстный намъ И. В. Лопухинъ пишетъ Кутузову: «я слыву очень мартинистомъ, отъ природы очень нелюбостяжателенъ и охотно соглашусь не имѣть ни одного крѣпостнаго. Но притомъ молю и желаю, чтобы никогда въ отечество наше не проникъ тотъ духъ ложнаго свободолюбія, который сокрушаетъ многія въ Европѣ страны и который, по мнѣнію моему, вездѣ губителенъ». И мы увидимъ, что, при всемъ своемъ радикализмѣ, въ сущности и самъ Радищевъ не разрываетъ принципіально съ тѣми понятіями о предѣлахъ дозволеннаго въ литературной и общественной дѣятельности, которыя приняты въ кружкѣ.

Какъ бы то ни было, мы должны теперь ближе познакомиться съ источниками и характеромъ этого *другого* направленія въ исторіи русской общественной мысли конца XVIII-го столѣтія. Фактъ существованія его былъ бы самъ по себѣ характеренъ,—даже въ томъ случаѣ, если бы вѣрно было заявленіе, сдѣланное Радищевымъ на допросѣ,—что онъ «общниковъ не имѣетъ» и что напечатанная имъ книга, по трудности слога и отвлеченности содержанія, не можетъ найти себѣ читателей, ибо «народъ нашъ книгъ не читаетъ». Въ буквальномъ смыслѣ это, конечно, было совершенно вѣрно. Но мы только что слышали, и, можетъ быть, изъ устъ самого Радищева, нѣсколько иное утвержденіе—объ интересѣ «купцовъ и мѣщанъ» къ сочиненіямъ на подобныя философскія и общественныя темы. Если бы мы даже не имѣли этого свидѣтельства или не повѣрили ему,—факты могли бы дать намъ дополнительныя подтвержденія. Мы знаемъ, что та самая книга Радищева, о которой идетъ рѣчь, сразу «начала входить въ моду у многой шали»; «по счастью, скоро ее узнали (т.-е. власти)», прибавляетъ сообщившій намъ этотъ фактъ канцлеръ Безбородко. И когда «узнали» книгу и остановили продажу, то, по другому извѣ-

стію, «купцы» (опять купцы!) готовы были платить по 25 руб. (впятеро болѣе на наши деньги) за то только, чтобы получить книгу на самый короткій срокъ. Черезъ три года, другая «пропавшая книга», извѣстная трагедія Княжнина («Вадимъ»), цѣлый десятокъ дней мирно покоившаяся на полкахъ книжныхъ магазиновъ, сразу была расхватана въ сотняхъ экземпляровъ, какъ только въ публикѣ узнали, что она пропадетъ. Но мало того, что мы, такимъ образомъ, достовѣрно узнаемъ, что у Радищева *были* «общники» и была симпатизировавшая ему аудиторія, довольно значительная по тому времени. У него было еще *потомство*, къ которому онъ не напрасно апеллировалъ: его книга явилась первымъ звеномъ въ длинной цѣпи—непрерывной и богатой фактами традиціи, и уже поэтому заслуживаетъ самаго пристальнаго вниманія въ исторіи русской культуры.

Радищевъ былъ не одинъ также и въ томъ смыслѣ, что онъ былъ членомъ тѣснаго кружка товарищей, вкусы и взгляды которыхъ развились въ одинаковомъ съ нимъ направленіи, благодаря особенно благопріятнымъ условіямъ. Этотъ небольшой кружокъ молодежи волей Екатерины былъ поселенъ на нѣсколько лѣтъ въ культурной германской средѣ,—въ Лейпцигѣ. Екатерина хотѣла создать изъ нихъ себѣ образованныхъ юристовъ, способныхъ исполнять ея законодательные проекты, которыми она тогда увлекалась. Радищевъ пробылъ въ лейпцигскомъ университетѣ цѣлыхъ пять лѣтъ (1767—1771) и испыталъ цѣлый рядъ просвѣтительныхъ вліяній, которыхъ не могла дать тогдашняя Россія. Главой кружка, впрочемъ, былъ не онъ, а старшій товарищъ Ѳ. В. Ушаковъ, добровольно бросившій хорошо начатую службу и карьеру и, изъ чисто идейныхъ побужденій, вернувшійся на школьную скамью. Ушаковъ лучше младшихъ своихъ товарищей владѣлъ и языками (нѣмецкимъ и латинскимъ), такъ что, само собою, сдѣлался ихъ руководителемъ въ университетскихъ занятіяхъ и въ самообразовательномъ чтеніи. Первые шаги будущаго писателя подъ этимъ руководствомъ особенно интересно прослѣдить, такъ какъ ими опредѣлилось все его дальнѣйшее направленіе.

«Всѣ почти юноши, мыслить начинающіе, любятъ *метафизику*; съ другой же стороны, всѣ, чувствовать начинающіе, придерживаются правилъ, *народнымъ правленіямъ* приличныхъ». Въ этихъ словахъ самъ Радищевъ чрезвычайно мѣтко резюмировалъ философскія и общественныя симпатіи своего кружка. Послѣдуемъ его указаніямъ въ томъ и другомъ направленіи.

Въ философскомъ отношеніи Радищевъ попалъ въ ту самую атмосферу, которую мы характеризовали выше (стр. 359). Это была атмосфера университетскаго преподаванія, умѣреннаго и эклектическаго. Вліяніе германской университетской философіи и было первымъ сильнымъ вліяніемъ, которое легло въ основу его будущаго міровоззрѣнія. Одинъ новѣйшій изслѣдователь опредѣлилъ усвоенный Радищевымъ

философскій идеализмъ, какъ ученіе Лейбница. Этотъ выводъ приходится, однако, нѣсколько исправить при болѣе близкомъ изученіи вопроса. Нѣтъ никакихъ основаній думать, чтобы Радищевъ былъ знакомъ съ сочиненіями самого Лейбница. Конечно, идеи Лейбница вошли въ составъ философскихъ воззрѣній Радищева, — но не въ большей степени, чѣмъ онѣ вообще входили въ составъ тогдашнихъ эклектическихъ университетскихъ системъ. Извѣстный запасъ философскихъ идей успѣлъ сдѣлаться *общимъ мѣстомъ* университетскаго философскаго преподаванія: и эти-то идеи усвоены были, прежде всего, кружкомъ Ушакова и Радищева. Лейбниціанскіе элементы были въ томъ числѣ, — и наши студенты *должны* были съ ними столкнуться, слушали ли они лекціи своего профессора Платнера, или учили рекомендованный имъ учебникъ («введеніе въ философію») выдающагося голландскаго математика 'с Гравесанда, или читали только-что тогда выходившія и производившія фуроръ произведенія Мозеса Мендельсона, Бонне или Галлера. Самыя плодотворныя и глубокія идеи системы Лейбница (какъ идея непрерывности, отрицаніе картезіанскаго дуализма духа и матеріи, лѣстница постепенно совершенствующихся психо-физическихъ организацій) во всѣхъ этихъ книгахъ уже успѣли получить дальнѣйшую обработку и циркулировали большею частью безъ имени автора. А специфически-лейбницевскія идеи, наиболѣе популярныя и сомнительныя (какъ «предустановленная гармонія» или «наилучшій изъ міровъ»), фигурировали уже въ роли историческихъ пережитковъ и никого изъ молодежи особенно заинтересовать не могли.

Гораздо привлекательнѣе для нея были философскія произведенія другого типа,—французскія матеріалистическія и сенсуалистическія системы. Въ университетскихъ сферахъ на эти произведенія смотрѣли свысока; зато ими зачитывались въ большомъ свѣтѣ. Отсюда, изъ этого большого свѣта, и притомъ изъ русскаго, и посчастливилось нашей молодежи въ Лейпцигѣ получить толчокъ къ изученію французскихъ философовъ. Какой-то заѣзжій важный баринъ познакомилъ Ушакова съ Гельвеціемъ. Книга Гельвеція («De l'Esprit») сразу перевернула все направленіе интересовъ кружка. Ушаковъ первый прочелъ ее подрядъ четыре раза и почувствовалъ въ себѣ «неутомимое рвеніе къ изслѣдованію всѣхъ полезныхъ истинъ и отвращеніе непреоборимое ко всѣмъ системамъ, имѣющимъ основаніе въ необузданномъ воображеніи ихъ творцовъ». Другими словами, Ушаковъ измѣнилъ метафизикѣ и всевозможнымъ теоріямъ «influxus physicus» и «causae occasionales», чтобы всей душой предаться эмпиризму. Надо думать, этотъ же переворотъ толкнулъ Радищева къ изученію физіологіи и медицины.

Однако же, и занятія надъ учебникомъ 'с Гравесанда не пропали даромъ. При всемъ увлеченіи Гельвеціемъ, Ушаковъ на первыхъ же страницахъ «De l'Esprit» почувствовалъ, что не все обстоитъ благополучно въ сенсуализмѣ новаго учителя. Онъ принялся писать возраже-

нія на Гельвеція, и хотя его работа не пошла дальше первыхъ шестнадцати страницъ «De l'Esprit», но для насъ и этого совершенно достаточно, чтобы опредѣлить общій смыслъ разногласія и характеръ ушаковскихъ возраженій. Гельвецій выводитъ зданіе своей психологіи исключительно на фундаментѣ «*тѣлесной* чувствительности», причемъ роль этой чувствительности является совершенно пассивной. Она или «принимаетъ ударенія внѣшнихъ предметовъ», или «хранитъ сдѣланное на чувства удареніе». Ушаковъ старается доказать,—по 'с Гравесанду,—что, напротивъ, роль психики *активная*; что *идея* предмета отнюдь не похожа на самый предметъ, т.-е. *не матеріальна*; что работа разума заключается въ активныхъ чисто-психическихъ и сознательныхъ операціяхъ: *сравненіи* и дальнѣйшей (логической) обработкѣ матеріала, доставленнаго чувствами. Это, однако, не мѣшаетъ Ушакову,—какъ не мѣшаетъ и 'с Гравесанду,—оставаться вѣрнымъ главнѣйшимъ пріобрѣтеніямъ англійской эмпирической психологіи. Онъ сомнѣвается въ существованіи врожденныхъ идей и отрицаетъ свободу воли, какъ «дѣйствіе безъ причины», во имя детерминизма. Онъ, повидимому, не признаетъ также и безсмертія души, и «нисходя въ гробъ *), за онымъ ничего не видитъ».

Какъ видимъ, опустошенія, произведенныя философіей въ традиціонныхъ «понятіяхъ о священныхъ вещахъ», были у вождя лейпцигскаго кружка гораздо значительнѣе, чѣмъ у молодежи, увлекавшейся въ Россіи французскими теоріями. Но и у Ушакова дѣло не обошлось безъ компромисса съ идеализмомъ, правда, компромисса, тоже основаннаго на философскомъ изученіи. Какъ далеко пошелъ въ этомъ отношеніи Радищевъ?

Для отвѣта мы позволимъ себѣ перенестись къ 1792 году, когда Радищевъ писалъ (въ Сибири) свой философскій трактатъ: «О человѣкѣ, о его смертности и безсмертіи». Несмотря на четверть вѣка, которая отдѣляетъ этотъ трактатъ отъ первыхъ впечатлѣній семнадцатилѣтняго Радищева въ Лейпцигѣ, въ трактатѣ сохранились самые живые слѣды лейпцигскихъ занятій и чтеній.

«Смертность» и «безсмертіе»—въ борьбѣ этихъ двухъ противоположныхъ понятій заключается біографическій и культурный интересъ трактата. На Радищева, какъ и на Ушакова, французскій сенсуализмъ и нѣмецкій идеализмъ произвели *почти* одинаково сильное впечатлѣніе,—но въ послѣднюю минуту идеализмъ перевѣшиваетъ, по соображеніямъ моральнымъ. «Возвѣся по силѣ нашей обѣ противоположности, я вамъ оставлю выбирать, любезные мои, тѣ (доводы), кои наиболѣе имѣютъ правдоподобія или ясности, *буде не очевидности*. А я, лишенный васъ, о друзья мои, послѣдую мнѣнію, *утѣшеніе* вливающему въ душу скорбящую» (т.-е. мнѣнію, что душа безсмертна).

*) Ушаковъ умеръ 23-хъ лѣтъ, еще въ Лейпцигѣ.

Обѣ половины аргументаціи въ трактатѣ Радищева—и за «смертность», и за «безсмертіе»—не оригинальны. Своимъ руководителемъ при доказательствѣ «смертности» человѣка Радищевъ избираетъ Гольбаха («Systême de la Nature»). При доказательствѣ безсмертія онъ пользуется знаменитыми «разговорами» Мендельсона, повліявшими, какъ мы упоминали выше, и на трактатъ Шварца («Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele»). Но степень зависимости въ обоихъ случаяхъ—разная. Рѣшеніе въ пользу «смертности», очевидно, приковывало вниманіе Радищева въ гораздо большей степени, чѣмъ рѣшеніе въ пользу «безсмертія». И разобраться въ доказательствахъ «смертности» было для него важнѣе. Поэтому здѣсь, хотя основная нить разсужденія, всѣ главныя мысли и многія отдѣльныя мѣста прямо взяты изъ Гольбаха, тѣмъ не менѣе видны и постоянные слѣды личныхъ усилій мысли. Для доказательства и развитія положеній Гольбаха Радищевъ часто прибѣгаетъ къ упоминавшейся раньше нѣмецкой философской литературѣ. Надо замѣтить, что, вообще, Радищеву бросалось въ глаза не столько коренное различіе между Гольбахомъ и лебниціанцами, сколько общее тому и другимъ стремленіе къ философскому монизму. У самого Гольбаха Радищевъ находитъ главное возраженіе Лейбница противъ картезіанскаго дуализма матеріи и духа: то возраженіе, что матерія не можетъ считаться инертной и мертвой — и на *этомъ* основаніи противополагаться «духу»; что между матеріей и духомъ есть промежуточное, соединяющее ихъ понятіе *силы*. Радищеву этотъ основной аргументъ Гольбаха извѣстенъ и отъ нѣмецкихъ лейбниціанцевъ,—и это помогаетъ ему усвоить и развить идею о матеріи-силѣ, которую готовъ былъ отвергать еще Ушаковъ, столкнувшись съ ней у Гельвеція. У Гольбаха Радищевъ могъ найти и дальнѣйшій—уже чисто матеріалистическій выводъ изъ понятія о матеріи-силѣ: тотъ выводъ, что и сама «чувствительность» есть лишь одно изъ неизвѣстныхъ пока *свойствъ матеріи.* Но *это* положеніе Гольбаха Радищевъ уже прямо видоизмѣняетъ по своему: чаще всего онъ формулируетъ его такъ, что «чувствительность» оказывается *не* свойствомъ матеріи, а *функціей организаціи*—чего не отрицаютъ и его нѣмецкіе авторитеты: 'с Гравесандъ, Платнеръ, даже Бонне. Пойдемъ дальше: слѣдующая основная мысль системы—та, что *функція* неразрывно связана съ органомъ, психика съ физіологіей. Эта мысль, опять-таки очень сильно подчеркивается и Гольбахомъ. Гольбахъ показываетъ и то, какъ психика растетъ и разрушается вмѣстѣ съ органомъ, въ какой тѣсной зависимости она находится отъ среды и внѣшнихъ условій. Но и тутъ Радищевъ вноситъ въ аргументацію Гольбаха еще болѣе замѣтный нѣмецкій оттѣнокъ. Гольбахъ настаиваетъ на *тожественности матеріала,* изъ котораго одинаково созданы какъ высшія, такъ и низшія организаціи и въ природѣ. Радищевъ подчеркиваетъ различіе и постепенное *совершенствованіе структуры* по мѣрѣ перехода отъ

низшихъ къ высшимъ формамъ. Гольбахъ старается обнаружить во всемъ разнообразіи явленій одни и тѣ же *элементарныя* стихіи и силы—только все съ большимъ и большимъ участіемъ «огня», какъ животворящаго элемента. «Огонь», «электрическая» и «магнетическая» сила и у Радищева играютъ роль; но ему мало для объясненія міровой жизни этихъ оживляющихъ и усложняющихъ элементовъ. Онъ интересуется, прежде всего, самымъ *процессомъ* міровой жизни,—и набрасываетъ такую картину *развитія* непрерывной цѣпи существъ, начиная съ минераловъ и кончая человѣкомъ, которая, въ *тогдашней* литературѣ, ближе всего напоминаетъ «Contemplation de la Nature и Considérations sur les corps organisés» Бонне *). Онъ преслѣдуетъ, такимъ образомъ, скорѣе идею психофизіологическаго параллелизма, чѣмъ матеріальнаго тожества между духовной и матеріальной стороной явленій природы. Подчеркивая всѣ эти оттѣнки, въ которыхъ сказывается его личное пониманіе теоріи «смертности» души, Радищевъ всюду старается пополнить Гольбаха онтогеническими и филогеническими данными тогдашнихъ экспериментальныхъ наукъ. Замѣтимъ, что въ одномъ случаѣ онъ, характернымъ образомъ, охотнѣе ухватывается за мнѣніе Гольбаха (въ противоположность Гельвецію): это тамъ, гдѣ Гольбахъ отрицаетъ первоначальное равенство и одинаковость психическаго склада всѣхъ людей. Люди являются на свѣтъ съ *различными* задатками; это, конечно, еще не предполагаетъ вѣры во *врожденность* идей, но прямо только вытекаетъ изъ факта различія человѣческихъ организацій. Первоначальное *неравенство* признавалъ уже Ушаковъ (у Гольбаха, какъ извѣстно, изъ неравенства людей выводится потребность людей другъ въ другѣ и, слѣдовательно, происхожденіе общества ср. ниже, стр. 387). Наконецъ, съ той же цѣлью, какъ Ушаковъ (380),—т.-е. съ цѣлью показать *активность* разума,—Радищевъ обогащаетъ свой трактатъ элементарными психологическими и логическими свѣдѣніями, какія онъ могъ получить изъ университетскихъ руководствъ,—«Введенія» Гравесанда такъ же, какъ изъ «Философскихъ афоризмовъ» Платнера.

Такимъ образомъ, отдѣлъ о «смертности» въ редакціи Радищева является, несмотря на всю близость къ Гольбаху, значительно и какъ

---

*) При живомъ и сильномъ взаимодѣйствіи главныхъ представителей философской и научной мысли XVIII в., нелегко было бы указать, чѣмъ Радищевъ обязанъ *именно* Бонне, но, если вообще Бонне имѣлъ на него вліяніе, то, конечно этими двумя, наиболѣе знаменитыми своими произведеніями, въ которыхъ онъ старается держаться на почвѣ психофизіологіи. Любопытно, что новиковскій кружокъ предпочиталъ, повидимому, позднѣйшее и болѣе слабое, по мнѣнію самого Бонне, произведеніе: Palingénésie philosophique,—которое Карамзинъ даже принялся переводить по-русски въ присутствіи самого Бонне. Причина предпочтенія понятна: въ «Палингенезіи» Бонне особенно внимательно остановился на идеѣ совершенствованія живыхъ существъ въ будущей жизни ср. слѣд. страницу.

бы невольно смягченнымъ подъ вліяніемъ привычекъ мысли, пріобрѣтенныхъ на нѣмецкой философской литературѣ. Невѣрующій у Радищева не есть, строго говоря, ни матеріалистъ, ни атеистъ *); и несмотря на матеріалистическіе аргументы, которые онъ выдвигаетъ, между строкъ можно прочесть—а въ концѣ отдѣла это сказано и прямо—что, собственно, онъ не вѣритъ не столько въ существованіе и вѣчность духовной субстанціи вообще, сколько въ то, что эта субстанція по смерти тѣла можетъ сохранить свою сознательность и человѣческую индивидуальность. Другими словами, онъ сомнѣвается только въ *личномъ* безсмертіи.

Переходимъ къ отдѣлу о «безсмертіи». Здѣсь Радищевъ гораздо больше полагается на своего руководителя, Мозеса Мендельсона и передаетъ основное содержаніе «Федона» отчасти въ сокращенномъ пересказѣ, отчасти въ буквальномъ переводѣ. Діалогическую форму онъ отбрасываетъ, но сохраняетъ сократическій пріемъ Мендельсона—развивать мысль путемъ ряда альтернативъ. Въ подлинникѣ—двѣ существенныхъ части: Сократъ сперва доказываетъ безсмертіе духа вообще, потомъ безсмертіе *личнаго* духа человѣческаго. Радищевъ, характернымъ образомъ, стушевываетъ этотъ переходъ, подчеркивая только, что первые аргументы обращаются къ уму, тогда какъ послѣдніе—*къ чувству и къ сердцу*. Для ума остается аргументъ, что въ природѣ ничто не уничтожается, а слѣдовательно и духовная субстанція; что измѣняться, т.-е. слагаться и разлагаться, можетъ только *сложное*, но духъ нельзя представлять ни сложнымъ, ни продуктомъ или функціей сложнаго. Самое понятіе сложнаго (напр., гармоніи, пропорцій и т. п.) въ природѣ не существуетъ и предполагаетъ существованіе мыслящаго и сравнивающаго разума, слѣдовательно, есть послѣдствіе, а не причина существованія духа. Продуктомъ сложнаго дѣйствія болѣе элементарныхъ (матеріальныхъ) силъ,—духъ тоже не можетъ быть, такъ какъ психическое не можетъ создаться изъ суммы непсихическихъ ингредіентовъ: равнодѣйствующая не можетъ быть *качественно* различна отъ создающихъ ее отдѣльныхъ силъ. Для *чувства и сердца*—предлагается другое соображеніе. Непрерывная цѣпь безконечно совершенствующихся существъ въ мірѣ само по себѣ заставляетъ предполагать, что міръ подготовляется, *воспитывается* для какой-то высшей цѣли: если такъ, то безсмысленно было бы допустить смертность высшаго типа, достигнутаго природой въ ея развитіи, это было бы крупнымъ паденіемъ внизъ, съ достигнутой высоты. Мы знаемъ, что именно эта часть діалога Мендельсона особенно пригодилась для Шварца, и что онъ охотно принялъ неизбѣжный выводъ—дальнѣйшее совершен-

---

*) Съ классическимъ образцомъ тогдашняго матеріализма, сочиненіями Ламеттри, повидимому, Радищевъ не былъ знакомъ непосредственно, хотя и упоминаетъ о нихъ. Вѣроятно, онъ зналъ рѣзкіе отзывы о Ламеттри своего учителя Галлера. Бонне пользовался Ламеттри, по возможности не упоминая о немъ.

ствованіе человѣка въ мірѣ высшихъ духовъ. Выводъ этотъ принимаетъ и Радищевъ. Надо вообще замѣтить, что Ридищевъ вмѣстѣ съ Бонне, понимаетъ лѣстницу постепенно совершенствующихся типовъ и организацій не въ смыслѣ современной намъ науки,—т.-е. не какъ продуктъ ихъ міровой *эволюціи*, а какъ продуктъ *преформаціи* (т.-е. заранѣе, предвѣчно установленной смѣны формъ въ извѣстной послѣдовательности). Но въ этомъ «царствѣ неиспытаннаго», гдѣ такъ привольно чувствовалъ себя Шварцъ, — и, вѣроятно, другъ Радищева Кутузовъ, — Радищевъ чувствуетъ себя какъ-то неловко Это—«область догадокъ», а не «дѣйствительности»; область «стихотворческаго воображенія», а не «остроумнаго размышленія»; и Радищевъ спѣшитъ опуститься на твердую почву. Вмѣсто того, чтобы послѣдовать за Мендельсономъ въ его «полетѣ» и кончить трактатъ на самыхъ высокихъ нотахъ, Радищевъ вдругъ вспоминаетъ, что у него есть еще третій рядъ аргументовъ въ пользу самостоятельности духа—извѣстные уже намъ аргументы Гравесанда и Ушакова; и онъ прибавляетъ ихъ наблюденія надъ активностью духа въ психологическихъ и логическихъ операціяхъ. Далѣе, онъ спускается еще ниже: онъ возвращается къ своей любимой психофизіологіи, которою и раньше не упускалъ воспользоваться для амплификацій на темы Мендельсона. Онъ заговариваетъ о снѣ, о лунатикахъ, о психическихъ болѣзняхъ—въ доказательство господства духа надъ тѣломъ! Такимъ образомъ, и въ этой части трактата, съ противоположнаго конца, Радищевъ приходитъ къ тому же центру тяжести своей мысли, къ которому отклонялась его матеріалистическая аргументація. Религіозный трансцендентализмъ Мендельсона и матеріалистическій сенсуализмъ Гольбаха примиряются у него въ своего рода критическомъ эмпиризмѣ.

Не менѣе обильнымъ источникомъ возбужденія послужила для лейпцигскаго кружка *политическая* жизнь и теорія Запада. Радищевъ съ товарищами попалъ за границу какъ разъ въ характеризованное выше время, когда настроеніе просвѣтительнаго вѣка, подъ вліяніемъ текущихъ событій, быстро превращалось въ революціонное. И уроки жизни не прошли даромъ для кружка. Отголосокъ того, какое впечатлѣніе произвели на кружокъ событія текущей общественной борьбы, можно видѣть въ тѣхъ полушутливыхъ, полусерьезныхъ выраженіяхъ, въ какихъ Радищевъ изобразилъ намъ собственную борьбу—свою и своихъ пріятелей съ оффиціальнымъ ихъ начальникомъ, взяточникомъ, глупцомъ и невѣждой Бокумомъ. «Имѣя власть въ рукѣ своей и деньги, забылъ гофмейстеръ нашъ умѣренность и, подобно правителямъ народовъ, возмнилъ, что онъ не для насъ съ нами; что власть ему данная надъ нами и опредѣленныя деньги—не на нашу были пользу, но на его...» «Тѣ, кои изъ насъ были постарѣе... дѣлали ему весьма кроткія представленія—гораздо кротче, нежели когда-либо парижскій парламентъ дѣлывалъ французскому королю. Но какъ таковыя представ-

ленія были частныя,—какъ то бываютъ и парламентскія,—а не отъ всѣхъ, то Бокумъ отвергалъ ихъ толико же самовластно, какъ и король французскій, говоря своему народу: въ томъ состоитъ наше удовольствіе (tel est notre plaisir). Наскучивъ представленіями, Бокумъ захотѣлъ ихъ пресѣчь вдругъ, показавъ пространство своей власти (Радищеву, очевидно, рисуется тутъ lit de justice)...» «Подобно, какъ въ обществахъ, гдѣ удрученіе начинаетъ превышать предѣлы терпѣнія и возникаетъ отчаяніе, такъ и въ нашемъ обществѣ начинались сходбища, частыя совѣтованія, предпріятія, и все, что при заговорахъ бываетъ, взаимныя о вспомоществованіи обѣщанія, неумѣренность въ изреченіяхъ; тутъ отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомысліе протекло всѣхъ души, и отчаяніе ждало на воспаленіе случая».

Какъ видимъ, студенческія волненія лейпцигской молодежи очень помогали ей понять предреволюціонное настроеніе Парижа *). Англійскіе политическіе перевороты XVII-го вѣка, и особенно второй изъ нихъ— «мирная» революція 1688 года,—вызывали у нашихъ студентовъ особый интересъ, очевидно, не безъ вліянія тогдашней памфлетной литературы. «Если бы смерть тебя (Ушакова) не возхитила изъ среды друзей твоихъ», предполагаетъ Радищевъ, «ты, конечно, о божественная душа, прилѣпился бы къ языку сихъ гордыхъ островитянъ, кои нѣкогда, прельщенные наихитрѣйшимъ изъ властителей (Кромвелемъ), царю своему жизнь отъяти покусилися судебнымъ порядкомъ; кои для утвержденія благосостоянія общественнаго изгнали наслѣдственнаго своего царя (Якова II), избравъ на управленіе посторонняго; кои, при наивеличайшей развратности нравовъ, возмѣряя вся на вѣсахъ корысти,— и нынѣ нерѣдко за величайшую честь себѣ вмѣняютъ противуборствовати державной власти и оную *побѣждать законно*».

Для боевого настроенія этихъ годовъ Руссо уже казался слишкомъ отвлеченнымъ, а Монтескьё—слишкомъ оппортюнистскимъ. Нуженъ былъ писатель, который соединилъ бы принципіальность перваго съ практичностью второго. Этой потребности момента какъ нельзя лучше удовлетворилъ Мабли. Онъ съумѣлъ выставить такую теорію народнаго верховенства, которая не требовала постояннаго присутствія верховнаго народа en permanence при выполненіи народной воли; и онъ съумѣлъ быть практичнымъ, не опускаясь до восхваленія англійской аристократической конституціи. Онъ удовлетворялся представительствомъ, но требовалъ, чтобы представительство было демократично и чтобы передъ нимъ преклонялись его исполнительные органы. Мабли-теоретикъ представительныхъ собраній будущей революціи былъ настоящимъ человѣкомъ положенія. Этимъ объясняется его огромное значеніе и слава въ то время и его забвеніе слѣдующими поколѣніями.

*) «Житіе Ушакова», изъ котораго взяты эти цитаты, напечатано было въ Петербургѣ, въ 1789 году.

Если въ философіи нѣмецкіе авторитеты успѣшно соперничали съ французскими въ умахъ лейпцигской молодежи, то въ политикѣ французское вліяніе господствовало безраздѣльно, а Мабли былъ послѣднимъ словомъ французской политической науки. Русскіе студенты рѣшительно отказались слушать курсъ нѣмецкаго профессора Бёме по международному праву, заявивъ, что будутъ лучше читать «Droit public de l'Europe» Мабли,—сочиненіе, признанное классическимъ «по мнѣнію всего свѣта», и, «конечно, болѣе содержательное, чѣмъ какія бы то ни были лекціи». Одно изъ сочиненій Мабли Радищевъ самъ перевелъ для «Общества, старающагося о напечатаніи книгъ», которому покровительствовала Екатерина. Это были «Размышленія о греческой исторіи»,—далеко не самое яркое, но все же весьма характерное для Мабли произведеніе. Соотвѣтственно своимъ теоріямъ о равенствѣ имуществъ и національзаціи земли, Мабли идеализируетъ здѣсь Спарту и Ликурга, аѳинскую демократію обвиняетъ въ изнѣженности и распущенности, какъ результатахъ соціальнаго неравенства; искусную политику Филиппа Македонскаго осуждаетъ, потому что она была направлена не на возстановленіе греческой федераціи, а на удовлетвореніе личнаго эгоизма и тщеславія; завоеванія Александра считаетъ безумствомъ, заранѣе обреченнымъ на неудачу и заслуживающимъ ненависть человѣчества. Къ тексту Мабли Радищевъ прибавилъ свои примѣчанія, въ которыхъ вполнѣ принимаетъ его точку зрѣнія на первенство избирателей надъ избранными и законодательной власти надъ исполнительной *).

Однако же, въ нѣсколькихъ существенныхъ пунктахъ лейпцигскій кружокъ не раздѣлялъ ученій Мабли. Русская молодежь осталась вѣрна Гельвецію и Гольбаху въ вопросѣ о происхожденіи морали, которую матеріалистическій сенсуализмъ выводилъ исключительно изъ закона самосохраненія и изъ «физическихъ» потребностей человѣка. «Любовь самого себя или своего благосостоянія есть основаніе всѣхъ человѣческихъ дѣяній...» Воля есть потребность «избирать состояніе, счастливѣйшимъ почитаемое...» «Добродѣтелію я называю навыкъ дѣйствій, *полезныхъ* общественному благу». Создать этотъ навыкъ—дѣло общества и законодателя, который для того и получаетъ отъ общества «верховную власть», чтобы «направлять всѣ отдѣльныя воли

---

*) По поводу слова despotisme Радищевъ замѣчаетъ, что это «наипротивнѣйшее человѣческому естеству состояніе. Мы не токмо не можемъ дать надъ собою неограниченной власти, но ниже законъ—извѣтъ общія воли — не имѣетъ другого права наказывать преступниковъ, опричь права собственныя сохранности. Если мы живемъ подъ властію законовъ, то сіе не для того, что мы оное дѣлать долженствуемъ неотмѣнно; но для того, что мы находимъ въ ономъ выгоды. Если мы удѣляемъ закону часть нашихъ правъ и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была въ нашу пользу: о семъ мы дѣлаемъ съ обществомъ безмолвный договоръ. Государь есть первый гражданинъ народнаго общества». Конечно, эти идеи Радищевъ могъ взять также изъ Гольбаха и Руссо.

и силы—къ общественному благу». Средство для этого—«учрежденіе наказаній и награжденій». Всѣ эти характерныя для французскаго «натурализма» утвержденія мы встрѣчаемъ уже въ сочиненіяхъ Ушакова. Какъ извѣстно, со стороны Мабли всѣ они вызвали рѣшительныя возраженія, направленныя противъ «экономистовъ», какъ сторонниковъ тѣхъ же «натуралистическихъ» ученій. Мабли не призналъ также и того, чтобы въ теоріи общественнаго строя, созданной «экономистами», найденъ былъ ключъ къ гармоническому примиренію личныхъ инстинктовъ съ общественнымъ благомъ. Онъ, напротивъ, утверждалъ, что ихъ основной принципъ, признаніе земельной собственности и вытекающаго отсюда неравенства, есть источникъ всѣхъ антиобщественныхъ инстинктовъ, что «культура земли» не есть культура людей и производство наибольшаго числа цѣнностей—не тожественно съ созданіемъ наибольшаго количества счастья. Лейпцигской молодежи, повидимому, коммунистическія ученія Мабли казались утопіей. «Образъ *всякаго* правленія»,—говоритъ Ушаковъ,—«влечетъ за собою неравенство имѣній. Монархическое тѣмъ и существуетъ, аристократическое онаго отвергнуть не можетъ, въ демократическомъ, *хотя бы надлежало* быть равенству имѣній, но, судя съ точностію, не можетъ быть истинной демократіи, и сіе правленіе, приличествуя токмо весьма малымъ и бѣднымъ государствамъ, не можетъ, и по мнѣнію г. Руссо, сдѣлать народа счастливымъ, по склонности своей къ возмущеніямъ. Опытъ всѣхъ вѣковъ и настоящее государствъ состояніе доказываютъ невозможность равенства имѣній. А неравенство онаго производитъ, съ одной стороны нищету, а съ другой—роскошь».

Такимъ образомъ, русскіе студенты остановились въ нерѣшительности передъ крайними выводами европейскаго политическаго (такъ же какъ и философскаго) радикализма. Въ сущности, сами ихъ авторитеты еще не стояли твердо на этой крайней точкѣ зрѣнія. У того же Гольбаха они могли найти не мало мѣстъ, возвращавшихъ ихъ въ политикѣ къ любимой идеѣ XVIII-го вѣка, къ идеѣ «философа на престолѣ», который придетъ и все устроитъ. «Государи часто потому лишь управляютъ произвольно, что они не знаютъ истины; они ненавидятъ истину, потому что они не знаютъ ея неоцѣненныхъ преимуществъ». Мудрый государь «никогда не станетъ ревниво оберегать свой безграничный авторитетъ: онъ пожертвуетъ частью его, чтобы вѣрнѣе сохранить то, что ему останется» (Гольбахъ).

Мы опять вернулись съ этими словами на точку зрѣнія разговоровъ Дидро съ Екатериной. Возвращаясь въ Россію, въ 1771 году, лейпцигскіе юноши имѣли полное основаніе стоять на этой точкѣ зрѣнія. Они ѣхали домой, полные энтузіазма, полные надеждъ и ожиданій. Радищевъ намъ живо изобразилъ это настроеніе. «Воспомни», обращается онъ къ Кутузову, «нетерпѣніе наше—видѣть себя паки на мѣстѣ рожденія нашего, воспомни о восторгѣ нашемъ, когда мы узрѣли

межу, Россію отъ Курляндіи отдѣляющую. Если кто, безстрастный, ничего иного въ восторгѣ не видитъ, какъ неумѣренность или иногда дурачество,—для того не хочу я марать бумаги. Но если кто, понимая что̀ есть изступленіе, скажетъ, что не было въ насъ таковаго, и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнію для пользы отечества—тотъ, скажу, не знаетъ сердца человѣческаго».

Что нашли они по возвращеніи? Мы знаемъ,—это былъ еще періодъ «недоразумѣнія»; но на эффектной декораціи, долженствовавшей изображать «блаженство всѣхъ и каждаго», уже начинали обнаруживаться швы и бѣлыя нитки. Своя, не ѣздившая заграницу, молодежь не унывала и не складывала рукъ. Потерявъ надежду на журналистику, она обратилась къ просвѣтительной и благотворительной дѣятельности. Перспективы съузились, но зато выиграли въ наглядности, въ осязательности: притомъ же новая работа такъ хорошо совпадала съ новымъ религіозно-моралистическимъ міровоззрѣніемъ, осмысливавшимъ цѣли этой работы, поддерживавшимъ одушевленіе. Пріѣхавшей изъ-за границы молодежи всего этого было мало. Недаромъ же открылись ей на Западѣ такіе широкіе горизонты, недаромъ она чувствовала себя такой сильной, такой способной принести настоящую пользу. Понятно, что и разочарованіе ея было гораздо сильнѣе. Ея готовность на подвиги самопожертвованія никому не понадобилась; а передъ муравьиной работой, которую дѣлали ея сверстники, у ней опускались руки. «Признаюсь», продолжаетъ Радищевъ въ только-что цитированномъ мѣстѣ, «и ты, мой другъ, въ томъ же признаешься,—что послѣдовавшее по возвращеніи нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умѣрило. О вы, управляющіе умами и волею народовъ властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, колико кратно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквасъ, воздымающій сердце юности. Единожды смиривъ его, нерѣдко навѣки содѣлаете калѣкою».

Большинство товарищей, дѣйствительно, замолкло «навѣки» послѣ возвращенія на родину. Замолкъ и Радищевъ на полтора десятка лѣтъ. Но онъ не «смирился» и «калѣкой» не сдѣлался. Съ середины 80-хъ годовъ онъ «воспрянулъ отъ унынія», «почувствовалъ, что возможно *всякому* (т.-е. во всякомъ общественномъ положеніи) быть соучастникомъ въ благоденствіи себѣ подобныхъ», дѣйствуя на разумъ людей путемъ печатнаго слова; онъ ощутилъ въ себѣ довольно силъ, чтобы противиться «*заблужденію*»,—которое философами XVIII-го в. всегда считалось главной причиной «страданій человѣческихъ». И онъ принялся за составленіе своей знаменитой книги, причинившей автору столько бѣдствій при жизни и обезсмертившей его въ потомствѣ. «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» было готово въ 1788 г. и вышло въ свѣтъ въ 1790, когда еще не успѣли остыть первые восторги, вызванные среди петербургской интеллигенціи событіями въ Парижѣ.

Что же такъ подняло настроеніе Радищева, что вызвало въ немъ

то активное общественное настроеніе, ту готовность на литературную борьбу и пропаганду своихъ мнѣній, о которыхъ свидѣтельствуетъ каждая строка его книги?

«Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя *страданіями* человѣческими уязвлена стала; обратилъ взоры во внутренность мою, и узрѣлъ, что бѣдствія человѣка происходятъ *отъ человѣка*, часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы». Другими словами, два мотива руководили Радищевымъ: сознаніе того страшнаго противорѣчія, въ которомъ находилась русская дѣйствительность, съ идеалами вѣка, императрицы и его самого; и глубокая увѣренность въ томъ, что тутъ есть какое-то нелѣпое недоразумѣніе, которое надо во что бы то ни стало разсѣять. Это было мучительное чувство человѣка, который стоитъ въ толпѣ и видитъ, что люди на платформѣ говорятъ совсѣмъ не о томъ и не то, что нужно и необходимо и что для него такъ ясно и просто. Стоитъ только крикнуть громко, чтобы эти люди поняли свое «заблужденіе» и прониклись разумными соображеніями. Такимъ отчаяннымъ крикомъ была книга Радищева.

Это настроеніе Радищева въ 80-хъ годахъ вовсе не было его личнымъ. Противорѣчіе между идеаломъ и жизнью, прежде всего, отразилось на самой императрицѣ—полнымъ крушеніемъ той самоувѣренности, съ какою она вступила на путь своей «легисломаніи». Она могла, сколько угодно, утѣшать себя тѣмъ, что противорѣчія есть признакъ хорошихъ мозговъ (grande caboche): фактъ былъ тотъ, что цѣльность плана во внутренней политикѣ была совершенно утрачена,—gänzlich verloren, какъ писала сама она Гримму. И это признаніе пришлось ей сдѣлать тогда, когда наступало время подводить итоги царствованія. Въ интимной перепискѣ она могла сознаться, что никакого итога еще нельзя подвести всѣмъ этимъ разрозненнымъ попыткамъ, этимъ началамъ безъ концовъ, этой дѣятельности à batons rompus (стр. 303). Но признать это публично не позволяла ни политика, ни самолюбіе. Отсюда—необходимость декораціи, которою Екатерина все сознательнѣе закрывала современную ей дѣйствительность. Отсюда же эта потребность похвалы и это быстро растущее нетерпѣніе при малѣйшей попыткѣ постороннихъ заглянуть въ ея игру, проникнуть за кулисы. Что пороки и недостатки русскаго общества «*скоро* исправятся» при помощи новыхъ законовъ,—этимъ Екатерина не могла уже теперь утѣшать ни себя, ни другихъ. Слѣдовательно, оставался одинъ исходъ, если она хотѣла перейти въ исторію съ именемъ «Великой»: отрицать самое существованіе пороковъ и недостатковъ.

Люди, близкіе къ сценѣ, на которой давался спектакль,—такіе какъ, напр., кн. Щербатовъ,—очень хорошо видѣли истинный характеръ и причины настроенія Екатерины. Щербатовъ и далъ очень яркое изображеніе этого настроенія. Люди, стоявшіе въ отдаленіи,—а такими было огромное большинство русской интеллигенціи,—дольше

сохранили иллюзію: иллюзію не относительно русской дѣйствительности, а относительно взгляда на нее Екатерины. Многіе изъ нихъ были увѣрены, что Екатерина просто не знаетъ, не видитъ этой дѣйствительности, и негодованіе ихъ обращалось противъ двора и приближенныхъ, противъ того «средостѣнія», которое заслоняло, по ихъ мнѣнію, жизнь отъ императрицы. Даже начатое правительствомъ преслѣдованіе масоновъ не измѣнило ихъ взгляда. По поводу самого этого преслѣдованія Кутузовъ написалъ Лопухину письмо, которое лучше всего можетъ ввести насъ въ настроеніе, вызвавшее появленіе въ свѣтъ радищевскаго «Путешествія». Письмо это можно принять за одну изъ страницъ самаго «Путешествія»: такое совпаденіе настроенія тѣмъ болѣе знаментально, что и Радищевъ, и Кутузовъ одинаково свидѣтельствуютъ *о различіи* своихъ политическихъ взглядовъ.

«Извѣстно мнѣ», пишетъ Кутузовъ, «что, окрестивъ насъ многихъ именемъ мартинистовъ, самымъ тѣмъ думаютъ имѣть право—поступать съ нами, какъ угодно, и считаютъ за позволенное отнимать у насъ подпору законовъ. Но, сердечный мой другъ, приличны ли таковые поступки въ благоучрежденномъ государствѣ? Согласуются ли оные съ начертаніемъ нашей монархини? Все сіе заставляетъ меня воззывать: горе землѣ, въ которой подчиненные, начальники и судьи, а не законы управляютъ гражданами и дѣлами!.. Всякій изъ нихъ считаетъ себя мудрецомъ высшей степени... и отъ сего... у семи нянекъ дитя безъ глазу. Коль скоро позволяется человѣку судить о намѣреніяхъ человѣка и догадки свои равнять дѣйствительному дѣянію, толь скоро исчезаетъ личная безопасность, ослабѣваетъ довѣренность законовъ, да и сами законы теряютъ свою силу. Граждане содѣлываются нерѣшительными, твердость и мужество уступаютъ мѣсто робости и ползающему духу; правда и прамодушіе отступаютъ отъ сердецъ нашихъ; коварство, хитрость и лукавство воздымаютъ смѣло главу свою..; отечество наше становится намъ чуждо, ибо содѣлывается жилищемъ нашего душевнаго мученія... О мой другъ, сердце мое содрогается при начертаніи сей легко токмо начертанной картины. Ежели бы наша монархиня могла видѣть все то, что опредѣленные ею дѣлаютъ, вострепетало бы ея нѣжное человѣколюбивое сердце; гнѣвъ ея, справедливый гнѣвъ, постигъ бы сихъ нечеловѣковъ, злоупотребляющихъ ея довѣренность. Я всегда скажу, безъ всякаго лицемѣрія: не монархиня причиною нашего притѣсненія, но одовѣренные частицею ея власти. Скажу и то, что *частію мы сами причиною сего*. Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ. *Для чего не прибѣгаемъ къ самой ней* и не стараемся *пробиться* сквозь лицемѣріе, ласкательство и ложь, окружающія ея престолъ? Она человѣколюбива, она правосудна; безъ сомнѣнія, подала бы намъ руку помощи. Собственная ея польза требуетъ сего: ея благоденствіе находится въ благоденствіи ея подданныхъ... Ежели бы знали истинныя наши расположенія, перестали бы

насъ гнать и нашли бы насъ послушнѣйшими и вѣрнѣйшими гражданами, нежели тѣ, которые противу насъ наущаютъ... Смѣло можно сказать, что изъ среды насъ не выдетъ никогда Мирабо и ему подобные чудища... Христіанинъ и возмутитель противъ власти, отъ Бога установленныя, есть совершенное противорѣчіе». Кутузовъ, можно думать, разсчитывалъ прямо на то, что съ этими письмами изъ-за границы онъ дѣйствительно «пробьется» къ престолу при помощи cabinet noir императрицы Екатерины *). Онъ очень настойчиво старался въ нихъ очистить себя отъ подозрѣнія въ соучастіи съ Радищевымъ при составленіи посвященнаго ему же «Путешествія». Но, во всякомъ случаѣ, набрасывая свою «легко начертанную картину», Кутузовъ не подозрѣвалъ, что та же самая картина, только въ детальныхъ и конкретныхъ чертахъ, составляетъ главное содержаніе инкриминированной книги Радищева, и что главной мечтой Радищева было при этомъ тоже «пробиться» къ престолу--только болѣе прямымъ, открытымъ путемъ, при помощи вольныхъ типографій,—и такимъ образомъ снять съ себя падавшую на него «часть» вины въ безмолвіи подданныхъ.

Съ этой двойной точки зрѣнія,—какъ первый въ русской исторіи вполнѣ открытый и сознательный примѣръ публицистической критики, и какъ произведеніе, адресованное не только къ общественному мнѣнію, но—и главнымъ образомъ—къ «философу на престолѣ», мы и должны разсматривать здѣсь «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Мы могли бы, конечно, также найти въ «Путешествіи» не мало новыхъ чертъ для общаго міровоззрѣнія Радищева, поискать еще разъ его иностранныхъ источниковъ; но послѣ сказаннаго раньше нѣтъ надобности вновь возвращаться къ этимъ сторонамъ дѣла. Продуманное міровоззрѣніе и обширная начитанность служатъ здѣсь вполнѣ опредѣленной цѣли: дать идейное освѣщеніе фактамъ русской дѣйствительности, связать одной мыслью и однимъ чувствомъ случайныя, разрозненныя впечатлѣнія жизни; заставить людей, привыкшихъ проходить мимо этихъ жизненныхъ мелочей, подумать надъ ними и почувствовать весь ужасный смыслъ обыденныхъ сценъ на большой дорогѣ.

Основная мысль публицистической критики Радищева одна: это та самая мысль, которую мы встрѣтили въ письмѣ его друга, Кутузова. Послѣ «добродѣтели» больше всего надо руководствоваться «закономъ». «Законъ, какъ ни худъ, есть связь обществу». Поэтому, повиновеніе закону и защита его отъ произвола есть первѣйшая обязанность гражданина. Если даже сама власть захочетъ нарушить законъ,—повиноваться ей не слѣдуетъ. Пусть сперва законъ будетъ измѣненъ или

*) Несомнѣнно, московскіе мартинисты знали, что ихъ письма прочитываются на почтѣ. Относительно Екатерины они употребляли ту же уловку, какую она сама употребляла относительно прусскаго короля. Ср. ниже, стр. 400—401.

уничтоженъ той властью, которая въ правѣ это сдѣлать («*въ Россіи* государь—источникъ законовъ»).

«Законность»—основной принципъ Радищева; полное отсутствіе чувства законности въ тогдашней общественной жизни—это та главная черта, противъ которой направлены всѣ его обличенія. Безправіе русской общественной жизни—вотъ то «чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй», которое Радищевъ избралъ темой своихъ нападеній въ самомъ эпиграфѣ къ своему произведенію.

За соблюденіе или нарушеніе закона отвѣчаетъ администрація: противъ этого «средостѣнія», отдѣляющаго власть отъ народа, и направляются, прежде всего, удары Радищева. Произволъ администраціи, зависимость управляемыхъ отъ ея каприза—къ этой темѣ онъ постоянно возвращается въ «Путешествіи». Передъ нами проходитъ цѣлая галлерея типовъ тогдашнихъ администраторовъ, начиная съ того мелкаго начальника береговой команды, сладкій сонъ котораго чуть не стоитъ жизни двадцати человѣкамъ, и кончая государевымъ намѣстникомъ, который за тысячу верстъ шлетъ въ Петербургъ на казенныя деньги курьеровъ за устрицами, и производитъ ихъ за это въ чины за служебное усердіе. Еще опаснѣе судья въ роли нарушителя закона: и еще чаще мелькаютъ въ «Путешествіи» образы пристрастныхъ судей, неправыхъ рѣшеній, честныхъ людей, принужденныхъ бросить службу въ судѣ, потому что отчаялись въ возможности бороться противъ протекціи, подкупа и всяческихъ несправедливостей. Но особенно сильно обрушивается Радищевъ на коренное явленіе безправія въ русской общественности,—на крѣпостное право. Картины и сцены, рисуемыя здѣсь, становятся прямо ужасающими, и «чувствительность» читателя подвергается самому серьезному испытанію, вслѣдъ за чувствительностью самого разсказчика. Мы видимъ варварскую семью помѣщиковъ, выведшую изъ терпѣнія своихъ мужиковъ и убитую ими въ стихійномъ порывѣ озлобленія и самозащиты; видимъ крестьянъ, работающихъ на себя только по ночамъ и по праздникамъ, видимъ дѣвушекъ, судьба которыхъ подвергается всѣмъ случайностямъ барской прихоти, видимъ насильственные браки, незаконную торговлю рекрутами, продажу людей по одиночкѣ,—и притомъ людей, связанныхъ личными и кровными узами съ бариномъ, униженіе раба, получившаго одинаковое воспитаніе съ сыномъ своего господина, нищенскую и антигигіеническую обстановку крестьянской избы и т. под. изображенія, одно реальнѣе и мрачнѣе другого. «Я размышлялъ, какимъ бы образомъ сіе происшествіе могло достигнуть до слуха верховной власти, ибо справедливо думалъ, что въ самодержавномъ правленіи одна она въ отношеніи другихъ можетъ быть безпристрастна», замѣчаетъ Радищевъ по поводу одного такого эпизода. «Возможно ли, что бы въ толь мягкосердое правленіе, каково нынѣ у насъ, производились толикія жестокости?» Эта мысль руководитъ Радищевымъ и во многихъ

другихъ случаяхъ, особенно когда онъ указываетъ на незаконность совершающихся фактовъ, когда подчеркиваетъ, что разсказываемые имъ эпизоды не выдуманы, а дѣйствительно были. Его жажда поскорѣе просвѣтить власть, показать ей обратную сторону медали, скрываемую «средостѣніемъ», особенно ярко высказывается въ его «снѣ», составляющемъ кульминаціонную точку всего «Путешествія». Автору снится, что онъ царь, что онъ сидитъ на блестящемъ тронѣ въ раззолоченныхъ чертогахъ, наполненныхъ толпой раболѣпныхъ придворныхъ. Окружающіе льстецы превозносятъ до небесъ его военные успѣхи, его законодательную мудрость, его широкую благотворительность и покровительство, которое онъ оказываетъ наукамъ и искусствамъ. Царь отдаетъ новыя приказанія въ томъ же смыслѣ и готовится уже наслаждаться плодами своихъ трудовъ, когда его повелительно останавливаетъ женщина въ рубищѣ, забравшаяся, вопреки стражѣ, въ его палаты. Эта женщина—Истина; она снимаетъ бѣльмы съ глазъ царя и показываетъ ему вещи «въ естественномъ ихъ видѣ». И царь видитъ, что «военачальникъ, посланный на завоеванія, утопалъ въ роскоши и веселіи; въ войскахъ не было подчиненности», солдатамъ не платили жалованья и не кормили ихъ; рекрута наполовину умирали; казна употреблялась на увеселенія, а чины и ордена «доставались не храбрости, но подлому раболѣпію». «Милосердіе сдѣлалось торговлею, и кто давалъ больше, тому стучалъ молотъ жалости и великодушія». «Въ созиданіи городовъ» царь видѣлъ теперь «одно расточеніе государственной казны, омытое нерѣдко кровію и слезами подданныхъ» «Щедроты» его «изливались на богача, на льстеца, на вѣроломнаго друга, на тайнаго убійцу, на предателя и нарушителя общественной довѣренности, на уловившаго (его) пристрастіе, на жену, кичащуюся своимъ безстыдствомъ; едва досягали (они до) застѣнчиваго достоинства и стыдливой заслуги». И Истина вѣщала царю: «Если изъ среды народной возникнетъ мужъ, порицающій дѣла твои,—вѣдай, что онъ есть другъ твой искренній, чуждый надежды мзды, чуждый рабскаго трепета; онъ твердымъ голосомъ возвѣститъ тебѣ обо мнѣ. Блюдись, и не дерзай его казнить, яко общаго возмутителя. Призови его, угости, яко странника,—ибо всякій, порицающій царя въ самовластіи, есть странникъ земли, гдѣ передъ нимъ все трепещетъ». И ужъ отъ себя Радищевъ прибавляетъ въ заключеніе: «Властитель міра, если, читая сонъ мой, ты улыбнешься съ насмѣшкою или нахмуришь чело,—вѣдай, что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и гнушается твоихъ чертоговъ».

Но нѣтъ, Радищевъ не хочетъ вѣрить этому. Онъ твердо увѣренъ, что истина должна и можетъ говорить свободно въ Россіи. Только при этомъ условіи литература и можетъ сыграть свою великую общественную роль. «Если свободно всякому—мыслить и мысли свои объявлять всѣмъ невозбранно, то естественно, что все придуманное и изобрѣтен-

ное будетъ извѣстно; великое будетъ велико, и истина не затмится. Правители народовъ не дерзнутъ удалиться отъ стези правды и убоятся: ибо пути ихъ злости и ухищренія обнажатся. Вострепещетъ судія, подписывая неправедный приговоръ, и раздеретъ его. Устыдится имѣющій власть управлять ею только на удовлетвореніе своихъ прихотей. Тайный грабежъ назовется грабежемъ; прикрытое убійство—убійствомъ... Спокойствіе будетъ *дѣйствительное*, ибо не будетъ въ немъ заквасу. Нынѣ поверхность только гладка; но илъ, на днѣ лежащій, мутится и тмитъ прозрачность воды». Во имя этихъ благодѣтельныхъ послѣдствій Радищевъ требуетъ для печати полной гласности и отмѣны цензуры, ссылаясь при этомъ на взгляды самой императрицы. «Пускай печатаютъ все, кому что на умъ ни взойдетъ. Кто найдетъ себя въ печати обиженнымъ, тому да дастся судъ по формѣ... Слова не всегда суть дѣянія; размышленія-жъ—не преступленія: это правила Наказа о новомъ уложеніи» *).

Руководясь этими соображеніями, Радищевъ не ограничился въ «Путешествіи» тѣмъ, что нарисовалъ мрачную картину русской дѣйствительности. Онъ рѣшился указать и на средства помочь злу, перенеся, впрочемъ, свои указанія въ болѣе или менѣе отдаленное будущее. «Блаженъ живущій иногда въ будущемъ! блаженъ живущій въ мечтаніи», восклицаетъ онъ въ самомъ началѣ книги. «Не мечта это», говоритъ онъ въ концѣ,—«но взоръ проницаетъ густую завѣсу времени, скрывающую отъ очей нашихъ будущее; я зрю черезъ цѣлое столѣтіе...» И отъ имени «гражданина будущихъ временъ» Радищевъ предлагаетъ свой «проектъ въ будущемъ», яко бы найденный имъ на дорогѣ. Форма проекта — та самая, какую употребилъ когда-то Крижаничъ: это рѣчь царя къ народу или, лучше сказать, къ правящему сословію государства. Цѣль проекта — «постепенное введеніе нарушеннаго въ обществѣ естественнаго и гражданскаго равенства». Средства—двоякія. Съ одной стороны, это — освобожденіе крестьянъ (съ землей); съ другой — «умаленіе правъ дворянства». «Извѣстно вамъ изъ нашихъ лѣтописей», говоритъ у Радищева будущій государь гражданамъ будущихъ временъ, «что мудрые правители нашего народа, подвизаемы истиннымъ человѣколюбіемъ, познавъ естественную

*) Радищевъ, очевидно, разумѣетъ здѣсь слѣдующее мѣсто Наказа Екатерины: «Законы не обязаны наказывать внѣшнихъ или наружныхъ дѣйствій; *слова* не вмѣняются никогда въ преступленіе, развѣ оныя пріуготовляютъ или соединяются, или послѣдуютъ дѣйствію беззаконному. Все превращаетъ (тотъ), кто дѣлаетъ изъ словъ преступленіе смертной казни достойное... Человѣку снилося, что онъ умертвилъ царя: сей царь приказываетъ казнить его смертію, говоря, что не приснилось бы сіе ему ночью, если бы онъ о томъ днемъ наяву не думалъ. Сей поступокъ былъ великое тиранство, ибо, если бы онъ то и думалъ, однако-жъ на исполненіе мысли своей еще не поступилъ».

связь общественнаго союза, старалась положить предѣлъ сему стоглавому злу (т.-е. крѣпостному праву). Но державные ихъ подвиги утщетились извѣстнымъ тогда своими гордыми преимуществами въ государствѣ нашемъ чиностояніемъ, но нынѣ обвѣтшалымъ и въ презрѣніе впадшимъ наслѣдственнымъ дворянствомъ. Державные предки наши среди могущества силъ своихъ немощны были разрушить оковы гражданской неволи. Не токмо не могли они исполнить благихъ своихъ намѣреній, но ухищреніемъ помянутаго въ государствѣ чиностоянія подвигнуты были на противныя разсудку и сердцу ихъ правила». Радищевъ увѣренъ, что государь будущаго будетъ счастливѣе въ своихъ попыткахъ освободить крестьянъ, но и онъ заставляетъ этого государя обратиться не съ приказаніемъ, а съ убѣжденіемъ къ потомкамъ современныхъ Радищеву рабовладѣльцевъ, чтобы они «познали свое заблужденіе». Не только они грѣшатъ противъ права и справедливости, противъ «природы и сердца своего», но они просто поступаютъ неразсчетливо, сохраняя крѣпостное право. Рабство *невыгодно* для государства и для отдѣльныхъ лицъ, такъ какъ «принужденная работа даетъ меньше плода», а уменьшеніе количества «земныхъ произведеній столько же препятствуетъ размноженію народа». И если даже въ отдѣльныхъ случаяхъ удастся увеличить производительность имѣнія насиліемъ надъ рабами, то, конечно, это не аргументъ въ пользу рабства. «Какая польза государству, что нѣсколько тысячъ четвертей въ годъ болѣе родится хлѣба, если тѣ, кои его производятъ, питаются наравнѣ съ воломъ, опредѣленнымъ вздирать тяжкую борозду? Или блаженство гражданъ въ томъ почитаемъ, чтобы житницы были полны хлѣба, а желудки пусты?» Всѣ эти аргументы можно найти у Мабли, но и Радищевъ не идетъ за Мабли до конца. Онъ не хочетъ ни національзаціи земли, ни коллективной собственности на землю. Крестьянская свобода въ будущемъ рисуется ему, какъ режимъ частной земельной собственности. Постепенный переходъ къ этому режиму и составляетъ главное содержаніе его проекта. Сперва помѣщики должны лишиться права переводить крестьянъ во дворъ, права судить крестьянина и распоряжаться крестьянскими браками и имуществомъ. Наличный надѣлъ, который крестьянинъ пашетъ, долженъ сдѣлаться его собственностью. Затѣмъ, крестьянинъ получаетъ право выкупиться на волю и купить себѣ землю. «Засимъ слѣдуетъ совершенное уничтоженіе рабства».

На случай, если убѣжденія не окажутъ вліяніе на рабовладѣльцевъ, у будущаго государя есть болѣе сильный аргументъ,—тотъ самый, который дѣйствительно употребляли и Екатерина II, и Николай I, и Александръ II: лучше освободить крестьянъ сверху, нежели дождаться, чтобы они сами освободились снизу. Радищевъ напоминаетъ дворянамъ пугачевщину,—какъ напоминалъ (см. выше) Екатеринѣ

Сиверсъ. «Вотъ что намъ предстоитъ, вотъ чего ожидать намъ должно. Гибель приближается постепенно, и опасность уже надъ главами нашими», говоритъ его будущій государь. «Уже время, вознесши косу, ждетъ удобнаго часа; и первый льстецъ или любитель человѣчества, рожденный для пробужденія несчастныхъ, ускоритъ его махъ. Блюдитеся!»

Но это пока—только угроза, только отдаленная перспектива *). Будущій государь кончаетъ совѣтомъ — предупредить ее, — не изъ одного страха или разсчета, а также и изъ чувства человѣколюбія. «Зная расположеніе сердецъ вашихъ», обращается онъ къ «гражданамъ будущаго времени», «пріятнѣе имъ убѣдиться доводами, въ человѣческомъ *сердцѣ* почерпнутыми, нежели исчисленіями корыстолюбиваго благоразумія, а менѣе еще опасностію. Идите, возлюбленные мои, идите въ жилище братіи вашей и возвѣстите имъ о премѣнѣ ихъ жребія... Да не скончаемъ жизни нашей, возымѣвъ столь благую мысль и не возмогши ея исполнить. Да не воспользуется тѣмъ потомство наше, да не пожелаетъ вѣнца нашего и съ презрѣніемъ о насъ да не скажетъ: они были его недостойны!»

Увы, всѣ сильныя и горячія слова не могли сдѣлать «будущаго» настоящимъ. Но въ будущемъ они должны были принести свой плодъ.

Другая часть «проекта въ будущемъ» предлагаетъ отмѣнить придворные чины или, по крайней мѣрѣ, не равнять ихъ съ дѣйствительной заслугой,—съ чинами военными и гражданскими. Рѣчь идетъ и здѣсь отъ имени государя, который этимъ способомъ хочетъ оградить себя отъ лести, дѣлающей «глухими, слѣпыми и неосязательными» даже «наилучшихъ между нами». Не похожій на обычныхъ властителей, идеальный государь Радищева «соблюлъ сердце свое» отъ этой заразы и «будетъ примѣромъ позднѣйшему потомству, какъ должно на взаимную пользу соединять власть со свободой».

Впрочемъ, въ *такое* отдаленное будущее и «проектъ» Радищева не заглядываетъ. Проза для такой утопіи не годится, и Радищевъ начинаетъ говорить стихами. Онъ пишетъ оду, въ которой развиваетъ упоминавшіяся выше теоріи Мабли и французской памфлетной литературы, Гольбаха и собственнаго своего примѣчанія къ переводу Мабли (см. выше стр. 373, 386).

Какъ мы уже говорили, книга Радищева сразу вызвала «великое любопытство» публики въ Петербургѣ. О ней «говорили по всему городу». Это было не мудрено. Все, что только крупицами, по частямъ, въ формѣ намековъ и иносказаній высказывалось до сихъ поръ въ новиковскихъ журналахъ,—все это было здѣсь сведено въ одинъ фо-

*) Ни Екатерина, ни послѣдующіе изслѣдователи не обратили вниманія на *форму*, въ которой изложенъ радищевскій проектъ, и въ которой эта угроза аграрной революціей, конечно, не можетъ быть истолкована, какъ подстрекательство къ бунту.

кусъ, сказано прямо и сильно и освѣщено опредѣленной общей теоріей. И все это было сказано въ тотъ моментъ, когда одушевленіе, вызванное взятіемъ Бастиліи, еще не успѣло охладѣть въ интеллигентныхъ кружкахъ столицы, но уже ясно было, что настроеніе императрицы мало соотвѣтствуетъ этому одушевленію.

Екатерина была одной изъ первыхъ читательницъ «Путешествія», и въ этомъ отношеніи надежды Радищева «пробиться» къ престолу совершенно исполнились. Но впечатлѣніе получилось обратное тому, на какое разсчитывалъ Радищевъ. Въ его книгѣ Екатерина, прежде всего, увидѣла личную обиду себѣ, а затѣмъ, «разсѣяніе заразы французской». Перваго она никогда не прощала, а второго имѣла особенные поводы не простить въ 1790 году. «Ничто ей не можетъ быть досаднѣе, какъ-то, когда докладывая ей по какимъ дѣламъ, въ сопротивленіе воли ея, законы поставляютъ; и тотчасъ отвѣтъ отъ нея вылетаетъ: а развѣ я не могу, не взирая на законы, сего учинить? Но не нашли никого», прибавляетъ Щербатовъ къ только что приведеннымъ его словамъ, «кто бы осмѣлился отвѣтствовать ей, что *можетъ*—яко деспотъ, но съ поврежденіемъ своей славы и повѣренности народной». Самъ Щербатовъ набросалъ картину русской дѣйствительности въ концѣ царствованія Екатерины, и эта картина,—«черная», но «непристрастная», до поразительнаго сходна съ картиной Радищева и съ жалобами Кутузова. Но картина Щербатова, также какъ и злыя письма Ростопчина, и мемуары иностранцевъ, подтверждающіе ее, оставались въ рукописи при жизни Екатерины. «Не нашли никого, кто бы осмѣлился» сказать ей правду въ лицо: никого, за исключеніемъ Радищева, который смѣло поставилъ соблюденіе «закона» и водвореніе законности, какъ conditio sine qua non для сохраненія «славы и народной повѣренности» Екатериной.

Такимъ образомъ, личныхъ мотивовъ было бы уже достаточно для объясненія того, какъ отнеслась Екатерина къ книгѣ Радищева. Характерно, что и у писателя она, прежде всего, предположила личные мотивы. Прочтя «сонъ» Радищева и основательно заключивъ, что въ немъ обнаруживается «намѣреніе, для чего вся книга писана», Екатерина затѣмъ истолковала это намѣреніе такъ: «объ закладъ биться можно», что поводъ къ написанію «есть тотъ: для чего входъ не имѣетъ въ чертоги. Можетъ быть, что имѣлъ когда ни на есть, а нынѣ, не имѣя, съ дурнымъ и, слѣдовательно, неблагодарнымъ сердцемъ подвизается перомъ». Но скоро императрица догадывается, что имѣетъ дѣло не съ представителемъ придворной оппозиціи, а съ кѣмъ-нибудь изъ учившихся «въ Лейпцигѣ». Тогда ея объясненіе мѣняется, сохраняя однако прежній характеръ. Авторъ «родился въ необузданной амбиціи и, готовясь къ высшимъ степенямъ, донынѣ еще не дошедъ, желчи нетерпѣніе разлилось на все установленное». «Скажите сочинителю», приказываетъ она въ концѣ концовъ, «что я читала его книгу отъ

доски до доски и, прочтя, усумнилась, не сдѣлано ли ему мною какой обиды». Такъ далеки и несоизмѣримы оказались точки зрѣнія императрицы и автора,—и такъ невозможно было, при этомъ условіи, установить то взаимное пониманіе, на которое разсчитывалъ Радищевъ.

Какъ бы то ни было, и самыя теоріи «Путешествія» оказались, на взглядъ Екатерины, «криминальнаго намѣренія». Это намѣреніе, по ея словамъ, «на всякомъ листѣ видно; сочинитель наполненъ и зараженъ французскимъ заблужденіемъ, ищетъ всячески и защищаетъ все возможное къ умаленію почтенія къ власти и властямъ, къ приведенію народа въ негодованіе противъ начальниковъ и начальства». Радищевъ могъ, сколько угодно, приводить въ свое оправданіе, что книгу свою «писалъ онъ прежде, нежели въ Франціи было возмущеніе». Онъ не могъ отрицать, что «знаніе имѣетъ довольно и многихъ книгъ читалъ»; между ними опытный глазъ Екатерины различилъ Руссо и Рейналя *). Несомнѣнно было и то, что усвоенныя имъ теоріи «совершенно тѣ, отъ которыхъ Франція вверхъ дномъ поставлена», что онъ «любитъ распространять гипохондрическія и унылыя мысли», которыхъ такъ не любила императрица. Екатерина вывела, наконецъ, общее заключеніе, что авторъ «себя опредѣлилъ начальникомъ, книгою ли или инако, исторгнуть скипетры изъ рукъ царей; но какъ сіе исполнить одинъ не могъ, и оказываются уже слѣды, что нѣсколько сообщниковъ имѣлъ, то надлежитъ его допросить». Такимъ образомъ, изъ литературнаго произведенія выросъ политическій процессъ; и какъ бы ни была лично обижена Екатерина, очевидно, что къ *такому* результату могло привести только сопоставленіе «системы» Радищева съ «французскимъ развратнымъ нынѣшнимъ примѣромъ». Въ отношеніи Екатерины къ французской революціи надо искать ключа къ тѣмъ экстреннымъ мѣрамъ государственной безопасности, которыя приняты были ею въ послѣдніе годы царствованія и для которыхъ, казалось, такъ мало былъ реальныхъ основаній во внутреннемъ положеніи Россіи.

По отношенію къ французской націи Екатерина всегда питала чувства истинной нѣмки. «Божусь вамъ, что я никогда не любила и не полюблю французовъ», говорила она англійскому посланнику. Относительно французскаго правительства это враждебное чувство подкрѣплялось соображеніями внѣшней политики. Екатерина привыкла съ самаго начала царствованія встрѣчать французскихъ дипломатовъ вездѣ на своемъ пути, будь то въ Турціи или въ Швеціи или въ Польшѣ. Но какъ разъ къ правительству Людовика XVI она перемѣнила отношеніе, такъ какъ стала въ это время искать французскаго союза. «Я такого хорошаго мнѣнія обо всемъ, что дѣлается при Людовикѣ XVI», гово-

*) Вліяніе Рейналя призналъ и самъ Радищевъ. Помимо стиля, у Рейналя онъ нашелъ образцы и случаи дурного обращенія съ рабами, отсюда взялъ и мнѣніе о невыгодности рабства, о грозящемъ возстаніи рабовъ, о необходимости улучшить участь рабовъ и т. д.

ритъ императрица въ 1779 г., «что готова бранить всѣхъ, кто будетъ его злословить». Скоро, однако, и сама Екатерина перешла въ ряды злословящихъ. Неспособность короля, расточительность королевы не укрылись отъ вниманія Екатерины. Она знала, конечно, и о неспокойномъ состояніи умовъ во Франціи, но совѣтовала, какъ мы упоминали раньше, искать выхода въ активной внѣшней политикѣ, т.-е. въ союзѣ съ Россіей. «Бездѣйствіе двора совершенно роняетъ уваженіе къ нему», пишетъ она Гримму. «Меня никто не заподозритъ въ сочувствіи къ этому двору, но интересъ Россіи и всей Европы требуетъ, чтобы онъ вновь занялъ подобающее ему мѣсто, и притомъ какъ можно скорѣе. Французы любятъ почетъ и славу... но всякій французъ согласится, что Франція не пользуется ни тѣмъ, ни другимъ въ этомъ состояніи политическаго небытія, при которомъ растутъ и множатся внутреннія смуты. Надо спустить натянутыя струны во внѣ страны; тогда онѣ перестанутъ точить и подкапывать ее, какъ черви—корабельное дно». Екатерина давала тутъ совѣтъ, который она сама испробовала, когда одушевленіе, вызванное въ дворянствѣ ея «легисломаніей», уступило мѣсто разочарованію и когда изъ Москвы донеслись до нея первые звуки «натянутыхъ струнъ» общественнаго недовольства. Головокружительные планы Потемкина, возстановленіе греческой имперіи, потомъ чуть не дѣлежъ Европы въ проектѣ Зубова, подоспѣли какъ разъ во-время для нея, чтобы увлечь русское общество на путь, уже испробованный ею, завоевательной внѣшней политики. Не углубляясь особенно во внутренное положеніе Франціи, она мысленно ставила себя въ положеніе Людовика XVI, и только удивлялась, что онъ находитъ и создаетъ себѣ трудности тамъ, гдѣ она справилась бы такъ легко и просто. Ей совершенно чужда была мысль о неизбѣжности революціи, которую Вольтеръ и Гриммъ высказали еще въ 60-хъ годахъ и которая въ 70-хъ г. сдѣлалась уже общимъ мѣстомъ. «Я не придерживаюсь мнѣнія тѣхъ, которые полагаютъ, что мы находимся наканунѣ великой революціи», писала она Гримму еще въ апрѣлѣ 1788 г.

При такомъ настроеніи, Екатерина встрѣтила совершенно равнодушно извѣстіе о созывѣ нотаблей. «Эта идея дѣлаетъ честь добрымъ намѣреніямъ короля, но у насъ пока о ней невысокаго мнѣнія». Русская Коммиссія уложенія кажется Екатеринѣ несравненно болѣе смѣлой и удачной идеей: и она не можетъ лишить себя удовольствія—сдѣлать сравненіе въ свою пользу между этими двумя учрежденіями. Она созвала депутатовъ для блага народа; французскій король созвалъ ихъ только для того, чтобы получить деньги. Однако, отставка Калонна вызываетъ у Екатерины уже совсѣмъ иного рода сравненіе нотаблей съ Коммиссіей. Депутаты Коммиссіи не могли бы заставить ее противъ собственной воли отставить министра, замѣчаетъ императрица. Естественно, что скоро она вовсе перестаетъ одобрять созывъ нотаблей. «Богъ съ ними, съ вашими нотаблями; не знаешь дальше, чего отъ

нихъ ждать». Она не совсѣмъ довольна, разумѣется, и созывомъ генеральныхъ штатовъ; но все же еще готова съ ними мириться. Совершенно неожиданно, она даже высказываетъ одобреніе идеѣ Неккера удвоить число депутатовъ третьяго сословія,—не подозрѣвая вовсе, что логическимъ послѣдствіемъ этой мѣры будетъ превращеніе представителей tiers-état въ представителей всего французскаго народа. Она просто ожидаетъ, что, удвоивъ представительство tiers-état, король заслужитъ популярность въ народѣ и пожнетъ лавры Генриха IV. Генрихъ IV постоянно подвертывается подъ перо Екатерины въ эти безпокойные годы: ея монархическій демократизмъ не идетъ дальше Генріады Вольтера; скоро она посовѣтуетъ читать Генріаду французскому дворянству, чтобы укрѣпиться въ лойяльныхъ чувствахъ.

Сквозь эту литературно-историческую призму Екатерина плохо разбираетъ смыслъ первыхъ событій французской революціи и невнимательно слѣдитъ за ея развитіемъ. Депутаты, правда, ставятъ королю досадныя препятствія, но, конечно, король съумѣетъ съ ними справиться, и, въ союзѣ съ Россіей, онъ возстановитъ вліяніе Франціи въ Европѣ. «Если нотабли и генеральные штаты очень ужъ разгорячатся, я совѣтую угостить ихъ политической ruade противъ партіи штатгальтера въ Голландіи. Это единственное средство, чтобы примирить всѣхъ и успокоить волненіе».

При такомъ увѣренномъ и спокойномъ настроеніи, 14-е іюля 1789 г. было для Екатерины громовымъ ударомъ при безоблачномъ небѣ. Послѣ взятія Бастиліи, тонъ ея сужденій о парижскихъ событіяхъ сразу и круто мѣняется. Мѣсто преувеличенной безпечности занимаютъ теперь самыя крайнія опасенія. Франція, если бы даже захотѣла, не можетъ теперь оказать никакой услуги Россіи. Въ ней наступило господство анархіи. Король — каждый день пьянъ (!): имъ управляетъ, кто хочетъ. Депутаты—сапожники: какъ могутъ сапожники управлять государствомъ; ихъ дѣло шить сапоги. Они въ состояніи повѣсить короля на фонарѣ. Съ октябрьскихъ дней, съ самаго переѣзда короля въ Парижъ изъ Версаля, Екатерина предсказываетъ: «его ожидаетъ участь Карла I». И отношеніе Екатерины къ извѣстнымъ ей дѣятелямъ революціи рѣзко измѣняется. *Астроному* Бальи она пересылала черезъ Гримма любезности и подарки; Бальи, демократическому *меру* Парижа, она отказываетъ въ своемъ портретѣ,—«портретѣ самой аристократической императрицы въ Европѣ», по ея выраженію. Лафайэта, дѣятеля американской революціи, Екатерина приглашала еще въ 1787 г. пріѣхать въ Россію; Лафайэтъ начальникъ національной гвардіи для нея есть «tête á révolution», «Dadais le grand». Напротивъ, Мирабо, антипатичный Екатеринѣ, какъ демократъ-писатель, на нѣсколько времени располагаетъ ее въ свою пользу какъ защитникъ королевской прерогативы. Черезъ русскаго посланника въ Парижѣ Екатерина даже заводитъ съ нимъ переговоры, съ

цѣлью привлечь его—и черезъ него все собраніе—на сторону русскаго союза. Русскій оффиціозъ, «Петербургскія Вѣдомости», съ 14-го іюля метавшій громы противъ революціи, печатаетъ по смерти Мирабо довольно сочувственный отзывъ о личности великаго трибуна. Но въ частной перепискѣ Екатерина не церемонится и съ Мирабо: онъ «достоинъ уваженія Содома и Гоморры»; это преступникъ и злодѣй, котораго давно повѣсили бы во всякое другое время. Гриммъ даже подумываетъ, не переѣхать ли ему съ улицы, которую окрестили именемъ Мирабо.

Таково было настроеніе Екатерины, когда ей пришлось прочесть книгу Радищева. Мы знаемъ, что она уже нѣсколько лѣтъ, какъ слѣдила за московскими «мартинистами» и уже приняла противъ нихъ, противъ ихъ собраній, противъ печатаемыхъ ими книгъ и противъ распространенія ихъ въ провинціи рядъ полицейскихъ мѣръ. Корреспонденція «мартинистовъ» съ ихъ стипендіатами, посланными за границу, вся перлюстрировалась, и участь членовъ московскаго «сборища» висѣла на волоскѣ. Зная, что письма распечатываются, нѣкоторые изъ «мартинистовъ» (какъ Лопухинъ, можетъ быть, и Кутузовъ), попробовали было этимъ путемъ реабилитировать себя передъ правительствомъ (стр. 390); но мы видѣли, что самыя оправданія ихъ «по совѣсти» иной разъ получали видъ цитатъ изъ Радищева. Естественно, что для Екатерины и Радищевъ показался такимъ же «мартинистомъ», а книга его—проявленіемъ того самаго якобинскаго духа, который она подозрѣвала, но до сихъ поръ не могла открыть, у членовъ московской «шайки». Вотъ чѣмъ объясняется и ея вопросъ объ «общникахъ» Радищева. Надо думать, что не совсѣмъ неосновательны были и тогдашніе петербургскіе толки, связывавшіе книгу Радищева съ именами тѣхъ же самыхъ вельможныхъ оппозиціонеровъ, Воронцовыхъ, Дашковой,—которые извѣстны намъ, какъ покровители Новикова и оппозиціонной журналистики (см. выше, стр. 298, 303).

Какъ бы то ни было, Екатерина, очевидно, смотрѣла на книгу Радищева, не какъ на случайный и индивидуальный фактъ, а какъ на симптомъ, сильно ее встревожившій. Радищеву пришлось серьезно заявлять, что, хотя одно изъ инкриминированныхъ сочиненій его и «кажется (имѣющимъ цѣлью) произвести французскую революцію, но, однако жъ, по чистой совѣсти своей» онъ можетъ «увѣрить, что сего злого намѣренія не имѣлъ». Тѣмъ не менѣе, онъ былъ преданъ суду по обвиненію, для котораго не нашлось ни одной подходящей статьи въ тогдашнихъ русскихъ уголовныхъ законахъ: книга его признана «разрушающею покой общественный, умаляющею должное къ властямъ уваженіе, стремящейся къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противъ начальниковъ и начальства». Уголовная палата и сенатъ приговорили Радищева къ смертной казни посредствомъ отсѣченія головы. Екатерина отдала приговоръ на пересмотръ еще третьей,

не предусмотрѣнной закономъ инстанціи, военнаго «совѣта», и, наконецъ, замѣнила смертную казнь десятилѣтней ссылкой въ Сибирь, въ Илимскъ.

Очевидно, Екатерина хотѣла на Радищевѣ показать такой же примѣръ строгости, какой она совѣтовала въ эти самые мѣсяцы употребить съ нѣсколькими депутатами національнаго собранія, чтобы «образумить остальныхъ». Небывалая въ Россіи мѣра произвела, дѣйствительно, сильное и тяжелое впечатлѣніе, «La condamnation du pauvre Radistchef me fait une peine extréme», писалъ С. Р. Воронцовъ. «Quelle sentence et quel adoucissement—pour une étourderie... celà fait frémir». Письма московскихъ мартинистовъ тоже свидѣтельствуютъ объ угнетенномъ настроеніи, тѣмъ болѣе, что ударъ косвенно былъ направленъ на нихъ. Со дня на день они могли ждать, что и надъ ними разразится гроза, какъ ни старались они предупредить ее своими демонстративными заявленіями о несогласіи съ Радищевымъ. Дѣйствительно, уже весной 1791 г. графъ Безбородко пріѣхалъ въ Москву съ указомъ—произвести слѣдствіе надъ мартинистами. Но Безбородко находилъ подобныя мѣры «несоотвѣтствующими славѣ Екатерины» и пользуясь даннымъ ему полномочіемъ, оставилъ бумагу у себя въ карманѣ. Преслѣдованіе было отсрочено на годъ; но дальнѣйшія событія французской революціи дали ему окончательный ходъ.

Въ этихъ событіяхъ Екатерина пробуетъ принять теперь непосредственное участіе. Подавать совѣты—поздно и безполезно: со времени переселенія въ Парижъ король въ плѣну у народа и не имѣетъ собственной воли. Екатерина вполнѣ усваиваетъ этотъ взглядъ французскихъ роялистовъ; и помогая имъ проводить его, она безсознательно приближаетъ дѣло къ той самой роковой развязкѣ, которой такъ боится. Послѣ смерти Мирабо, вся ея надежда на бѣгство короля: она его совѣтуетъ и помогаетъ устроить. «Вы отлично сдѣлаете», пишетъ она Гримму (апрѣль 1791), «если возьмете съ собой или даже, по возможности, спрячете въ карманъ, удаляясь изъ Содома и Гоморры, короля французовъ, чтобы онъ добрался цѣлымъ и невредимымъ до границъ своего королевства. Тамъ вы его сдадите Буйе или какому-нибудь другому благонадежному человѣку, чтобы онъ предохранилъ его христіаннѣйшее величество отъ всѣхъ несчастій, которыя, какъ намъ кажется, ему угрожаютъ... Вотъ уже три года, какъ мы дрожимъ за жизнь» короля и его семьи. Получивъ извѣстіе, что бѣгство состоялось (не безъ участія русскаго посольства, какъ извѣстно), петербургскій дворъ ликуетъ; но тотчасъ же приходитъ новая вѣсть, что король арестованъ, и императрица сильно поражена. «Я думаю, что главное затрудненіе для бѣгства короля представлялъ самъ онъ», справедливо замѣчаетъ она. Больше всего тревожитъ ее теперь вопросъ: «подпишетъ ли христіаннѣйшій король противохристіанскую конституцію. Самой своей подписью онъ отлучитъ самого

себя». При извѣстіи, что конституція подписана королемъ, гнѣвъ императрицы не знаетъ границъ. Она выходитъ изъ себя, «топаетъ ногами» отъ раздраженія. Это уже не просто политическая ошибка; это—недостойная низость:

«Renoncer aux Dieux, que l'on croit dans son coeur,
— C'est le crime d'un lâche, et non pas une erreur».

И «можно ли помогать такому королю, который самъ своей пользы не понимаетъ». Подписавъ конституцію, онъ санкціонировалъ парижскія событія. Онъ уничтожилъ самъ себя, и логическимъ послѣдствіемъ долженъ быть разрывъ дипломатическихъ сношеній съ его правительствомъ. Уже въ августѣ 1790 года Екатерина велѣла всѣмъ русскимъ въ Парижѣ немедленно вернуться на родину. Въ августѣ 1791 года она перестала принимать при дворѣ оффиціальнаго представителя Франціи Женета, «яраго демагога», а въ началѣ слѣдующаго года въ Петербургъ явился личный повѣренный короля, Бомбелль. Но на короля Екатерина уже не надѣется болѣе; настоящимъ представителемъ Франціи становится третье лицо—посланецъ братьевъ короля и эмигрантовъ,—Эстергази. На эмигрантовъ Екатерина переноситъ всѣ надежды; Кобленцъ становится для нея истинной столицей Франціи; туда она посылаетъ своего уполномоченнаго, гр. Румянцева. «Петербургскія Вѣдомости» наполняются статьями эмигрантовъ и становятся органомъ непримиримаго роялизма. Екатерина увѣрена или дѣлаетъ видъ, что увѣрена, что эмигрантамъ не трудно будетъ оружіемъ усмирить взбунтовавшуюся страну; и она уже даетъ совѣты, какъ реорганизовать замиренную Францію. Главное—это «устранить идею полнаго равенства». Для этого надо возстановить «древніе обычаи, которые внушаютъ публикѣ уваженіе къ рангамъ... Особы высшаго ранга должны всегда показываться не иначе, какъ въ особомъ костюмѣ, съ лентами и другими отличіями. Принцы никогда не должны допускать къ себѣ иначе, какъ во фракѣ». Очень полезно возстановить парламенты; съ ихъ претензіями справиться не трудно, но они служатъ несомнѣнной поддержкой монархіи: безъ нихъ, добавляла Екатерина въ перепискѣ съ Гриммомъ, монархія превратится въ республику, или въ деспотизмъ *).

Совѣтовъ Екатерина давала, сколько угодно. На денежныя субсидіи она была значительно скупѣе. А что касается помощи войсками, она никогда серьезно о ней не думала, такъ какъ очень скоро она стала эксплуатировать революцію для цѣлей собственной внѣшней политики. Она втянула шведскій дворъ въ борьбу, старалась втянуть прусскій и австрійскій—съ совершенно опредѣленной цѣлью отвлечь ихъ вниманіе отъ ближайшей къ Россіи арены екатерининской политики: отъ Турціи и Россіи. «Есть мотивы, о которыхъ нельзя гово-

*) Эта реминисценція изъ Монтескье освѣщаетъ намъ отношеніе Екатерины къ той постоянной законодательной коммиссіи, которую она проектировала, слѣдуя совѣту Дидро.

рить: я хочу вовлечь ихъ въ дѣло, чтобы у меня были руки развязаны. У меня много предпріятій неоконченныхъ, и надобно, чтобы они были заняты и мнѣ не мѣшали». Такъ говорила Екатерина своему секретарю Храповицкому. Западнымъ дипломатамъ она, разумѣется, говорила другое. Она тоже будетъ сражаться съ «якобинцами», но не въ Парижѣ, а въ Стокгольмѣ, въ Варшавѣ и въ Константинополѣ. Въ Стокгольмѣ «одинъ изъ воспитателей молодого короля состоитъ вождемъ мистическаго движенія теософовъ, стремящихся къ ниспроверженію христіанской религіи и престоловъ» *). Польша тоже полна якобинскими клубами. Наконецъ, турокъ «демократы подстрекаютъ объявить войну обоимъ императорскимъ дворамъ».

При такомъ положеніи дѣлъ, прусскій и вѣнскій дворы, естественно, предпочитали оборачиваться назадъ, на Вислу и Черное море, вмѣсто того, чтобы спѣшить на помощь эмигрантамъ, ожидавшимъ ихъ въ Кобленцѣ. Такимъ образомъ, направивъ сторонниковъ короля на путь непримиримой борьбы съ революціей, Екатерина все сдѣлала, чтобы сдѣлать исходъ этой борьбы безнадежнымъ. Ея собственная политика на востокѣ отвлекла вниманіе Европы отъ революціи и наиболѣе способствовала торжеству революціи надъ коалиціонными силами, а слѣдовательно, и надъ королемъ.

Событія въ Парижѣ, при этихъ условіяхъ, быстро шли къ развязкѣ. И какъ ни готова была Екатерина къ этой развязкѣ, какъ часто ни предсказывала она ее, когда еще было возможно ея избѣжать, теперь, когда она стала неизбѣжна, парижскія событія подѣйствовали на нее, какъ рядъ ошеломляющихъ неожиданностей. Обстоятельства сложились такъ, что и помимо этого нервы Екатерины были сильно потрясены. Въ октябрѣ 1791 года, въ самое трудное для нашей политики время, умеръ Потемкинъ; потеря эта стоила Екатеринѣ «слезъ и отчаянія» и вызвала у ней тяжелое признаніе, что она «не успѣла приготовить людей» и что «теперь не на кого опереться». Начался зубовскій режимъ, вызывавшій негодованіе даже у такихъ людей, какъ Ростопчинъ. Не оправилась Екатерина отъ этого «страшнаго удара обухомъ», какъ пришло въ Петербургъ извѣстіе объ убійствѣ Густава III-го. «Я боюсь совсѣмъ отупѣть отъ этихъ событій, которыя бьютъ васъ по нервамъ», писала императрица Гримму (апрѣль, 1792). «Напримѣръ, внезапная смерть императора; убійство шведскаго короля; послѣдствія, которыхъ можно каждый день ждать во Франціи». Тотчасъ затѣмъ распространились слухи о готовящемся покушеніи на жизнь самой императрицы. «Якобинцы вездѣ печатаютъ, что они меня убьютъ, и что съ этой цѣлью послано трое или четверо лицъ, относительно которыхъ меня предупреждаютъ со всѣхъ сторонъ... Въ Варшавѣ Mazzey держалъ пари, что 3-го мая меня не бу-

*) Это—то самое, въ чемъ Екатерина обвиняла русскихъ «мартинистовъ» и Радищева.

детъ въ живыхъ; говорятъ, и меръ Петіонъ увѣрялъ, что 1-го іюня меня не будетъ на свѣтѣ... Когда же, наконецъ, положатъ конецъ всѣмъ этимъ преступнымъ фактамъ». Екатерина прибавляетъ, правда, что не вѣритъ слухамъ, но, однако, принимаетъ свои мѣры. 9-го апрѣля посланъ секретный указъ петербургскому губернатору, «чтобы искать француза, пріѣхавшаго черезъ Кенигсбергъ 22-го марта съ злымъ умысломъ на здравіе ея величества: взяты предосторожности на границѣ и въ городѣ. Даны указы, чтобы строго смотрѣть за пріѣзжающими въ Царское Село и Софію, а паче за иностранцами». При такомъ настроеніи, даже шутки императрицы принимаютъ особый оттѣнокъ. Она смотритъ въ окно на солдатъ и говоритъ: «У этихъ нѣтъ патріотическихъ пикъ».—«И красныхъ колпаковъ», подхватываетъ услужливый секретарь, Храповицкій.

Между тѣмъ, въ Петербургѣ зловѣщіе слухи принимаютъ новую, конкретную форму. Мартинисты хотятъ покуситься на жизнь императрицы. Они уже бросали между собой жребій и т. д. Едва ли можно считать случайностью, что въ тотъ самый день, когда въ Петербургѣ полиція искала «француза Басевиля» (13-го апр.), императрица подписала указъ Прозоровскому въ Москву объ арестѣ Новикова. Арестованный у себя въ деревнѣ, онъ въ маѣ былъ, со всевозможными предосторожностями, перевезенъ окольными путями въ Шлиссельбургъ и тамъ допрошенъ Шешковскимъ. Судебная процедура, употребленная въ дѣлѣ Радищева,—согласно убѣжденію императрицы, что c'est l'opinion publique,—на этотъ разъ была сочтена излишней и неудобной по самому характеру подозрѣній. Екатерина до конца дознанія осталась при убѣжденіи, что Новиковъ «не открылъ еще сокровенныхъ своихъ замысловъ»; между тѣмъ, всѣ наличные матеріалы для допроса были использованы. Не доводя дѣло до суда, Екатерина распорядилась, вмѣсто «тягчайшей и нещадной казни», какой заслуживалъ Новиковъ «по силѣ законовъ»,—«слѣдуя сродному намъ человѣколюбію и оставляя ему время на принесеніе въ своихъ злодѣйствахъ покаянія, запереть его на пятнадцать лѣтъ въ Шлиссельбургскую крѣпость». Для стараго и больного Новикова этотъ приговоръ, очевидно, имѣлъ смыслъ пожизненнаго тюремнаго заключенія. Вслѣдъ затѣмъ, пострадали и другіе, наиболѣе видные члены московскаго «сборища». Кн. Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургеневъ высланы на жительство въ свои деревни. Молодые стипендіаты масоновъ, Колокольниковъ и Невзоровъ, арестованы при возвращеніи изъ-за границы: первый заболѣлъ и умеръ подъ арестомъ; второй перенесъ сильное нервное потрясеніе, совершенно подломившее ту стойкость характера, которую онъ обнаружилъ при первыхъ шагахъ слѣдствія, настаивая на строгомъ соблюденіи законныхъ формъ. Неоднократно упоминавшійся Кутузовъ, другъ Радищева, вовсе не рѣшился возвращаться въ Россію и скоро умеръ за границей.

Несмотря на такой полный разгромъ подозрительныхъ для нея элементовъ, Екатерина все еще продолжала опасаться «французской заразы». Еще въ концѣ того же 1792 года она велѣла строго слѣдить за однимъ иностраннымъ выходцемъ (Милліоти), подозрѣвая, «не заводитъ ли (онъ) здѣсь (т.-е. въ Петербургѣ) якобинскаго клуба». Уже послѣ перваго прихода парижской черни въ Тюльери (20-го іюня 1792 г.) Екатерина выслала изъ Россіи окончательно французскаго посла. 10-ое августа и арестъ короля вырвалъ у ней новые крики ужаса. Казнь короля уложила Екатерину на нѣсколько дней въ постель. Всѣ сильныя выраженія ея лексикона давно уже были израсходованы. «Петербургскія Вѣдомости» теперь тоже сразу замолчали, не рѣшившись даже сообщить публикѣ о смерти Людовика XVI. Очевидно, самое сообщеніе дальнѣйшихъ свѣдѣній о революціи, хотя бы съ безусловно враждебной точки зрѣнія, считалось неудобнымъ. Едва оправившись, Екатерина приступила къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Всякія сношенія съ Франціей объявлены были прекращенными. Французскіе корабли не допускаются болѣе въ русскія гавани; поѣздки русскихъ во Францію, сношенія съ французами, даже выписка французскихъ журналовъ и ношеніе французскихъ модъ были строго воспрещены. Выгнать изъ самой Россіи всѣхъ французовъ было бы трудно; но Екатерина и тутъ приняла строгую мѣру. Она составила присягу, которою французы обязывались впредь до возстановленія порядка «прервать всякія сношенія съ своими соотечественниками, подчинившимися въ настоящее время незаконному и отвратительному правительству», осудить «преступленіе, совершенное этими чудовищами относительно личности короля» и отречься отъ «безбожныхъ и разрушительныхъ принциповъ, введенныхъ лицами, захватившими незаконно верховную власть» во Франціи. Такимъ образомъ, всѣ французы были превращены въ «ревностныхъ роялистовъ», по выраженію Екатерины. Изъ 1.500 французскихъ подданныхъ, только 43 отказались принести эту присягу, лишавшую ихъ отечества, такъ какъ имена присягнувшихъ печатались въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» и въ иностранныхъ газетахъ. Всѣ французы, допускавшіеся къ императрицѣ, подлежали съ этихъ поръ своего рода «политическому карантину», какъ выражалась сама Екатерина.

Среди всеобщаго молчанія, вызваннаго репрессіей, только одинъ голосъ въ русской журналистикѣ раздался въ пользу «милости» къ жертвамъ. Голосъ этотъ принадлежалъ Карамзину. Въ своемъ «Московскомъ журналѣ» (1792 г.) онъ напечаталъ оду «Къ милости», въ которой осторожно напоминалъ Екатеринѣ точку зрѣнія ея лучшихъ годовъ:

Доколѣ милостью пребудешь,
Доколѣ пользоваться будешь
Ты правомъ матери одной,
Доколѣ гражданинъ спокойно,
Безъ страха можетъ засыпать
И всѣмъ твоимъ подвластнымъ вольно
По мыслямъ жизнь располагать...
Доколѣ правда не страшна,
И чистый въ сердцѣ—не боится
Въ своихъ желаніяхъ открыться
Тебѣ, владычица души;
Доколѣ всѣмъ даешь свободу

свѣта не темнишь въ умахъ,
Доколь довѣренность къ народу
Видна во всѣхъ твоихъ дѣлахъ:
Дотолѣ будешь свято чтима,
Отъ подданныхъ боготворима
И славима изъ рода въ родъ.

Спокойствія твоей державы
Ничто не можетъ возмутить...
Тотъ тронъ на вѣкъ не потрясется,
Гдѣ онъ любовью бережется
И гдѣ на тронѣ *ты* сидишь.

Но самъ Карамзинъ, этотъ духовный сынъ новиковскаго кружка, былъ уже, въ сущности, человѣкомъ другого поколѣнія. Въ активѣ людей этого поколѣнія, выросшихъ и выступившихъ на общественную арену въ девяностыхъ годахъ, уже не было тѣхъ свѣтлыхъ впечатлѣній, на которыхъ выросли свидѣтели екатерининской «легисломаніи», шестидесятники и семидесятники XVIII вѣка. Въ глазахъ этихъ старшихъ товарищей Карамзинъ былъ благонамѣреннымъ, но политически-неразвитымъ юношей, и они не могли понять, какъ, съ своимъ легкимъ багажомъ, онъ рѣшался выступить на журнальное поприще. Онъ, однако же, выступилъ—и имѣлъ успѣхъ. Это значило, что его слушаетъ новое поколѣніе, которому онъ былъ понятнѣе и доступнѣе своихъ старшихъ друзей. Къ настроенію этого поколѣнія мы еще вернемся. Но теперь же необходимо замѣтить, что настроеніе это создавалось не только отрицательными, а и положительными впечатлѣніями. Когда замолкли голоса семидесятниковъ, на опустѣвшей аренѣ раздались другія рѣчи. Интеллигентное общественное мнѣніе было остановлено въ своемъ развитіи; зато тѣмъ съ большей свободой выступило подпочвенное теченіе, широкое и сильное количественно, но стушевывавшееся до тѣхъ поръ передъ общимъ духомъ времени и передъ качественными преимуществами лучшихъ представителей интеллигенціи. Очередь была за націонализмомъ и за націоналистической теоріей, слабые зародыши которой мы видѣли уже въ жизни и въ сатирической литературѣ.

Мы не упоминали до сихъ поръ объ одномъ важномъ симптомѣ націоналистическаго настроенія—о театрѣ. Изъ всѣхъ формъ интеллигентнаго общенія, театръ по самому существу своему есть наиболѣе консервативная, наиболѣе принужденная считаться съ умственными привычками и традиціями широкой публики. Если вамъ нужно составить сужденіе о степени интеллигентности средней публики, о ея симпатіяхъ и предразсудкахъ, о томъ, что у ней принято и не принято, — словомъ о всѣхъ продуктахъ соціологическаго «подражанія» въ данной средѣ,— идите въ театръ, и все это тамъ отразится для васъ, какъ въ зеркалѣ. Заговоривъ теперь о подпочвенномъ теченіи націонализма,— мы всего удобнѣе ознакомимся съ нимъ, если обратимъ вниманіе на то, какое же настроеніе средней публики выражала, къ какому настроенію приспособлялась екатерининская сцена?

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, насколько сблизилась эта сцена съ жизнью, и какъ персонажи изъ русской дѣйствительности, изъ средняго и «подлаго» класса мало-по-малу вытѣсняли классическихъ царей и героевъ. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ сцена даже дѣлалась

отголоскомъ передовыхъ взглядовъ, философскихъ и политическихъ. За такіе именно отголоски,—очень похожіе на тѣ, за которые въ 1785 г. Екатерина не хотѣла преслѣдовать Николева (стр. 237),—она въ 1791 г. запретила посмертную и не поставленную еще на сцену пьесу Княжнина («Вадимъ»), какъ только эта пьеса появилась, благодаря оппозиціонному либерализму кн. Дашковой, въ печати. Но это были одиночныя исключенія. Въ общемъ, русскій театръ сбросилъ ложноклассическую тогу лишь для того, чтобы служить выраженіемъ—и источникомъ—націоналистическихъ настроеній и взглядовъ полуинтеллигентныхъ и вовсе неинтеллигентныхъ слоевъ публики. Перечитывая многочисленныя пьесы тогдашняго «Россійскаго Ѳеатра», мы можемъ составить себѣ отчетливое представленіе о томъ запасѣ общихъ мѣстъ и сентенцій, который вошелъ въ умственный обиходъ этой публики. Далѣе мы увидимъ, что на этомъ же основномъ фундаментѣ популярныхъ общихъ мѣстъ строили свои взгляды и болѣе интеллигентные представители русскаго національзма.

Народный элементъ есть первое, что по справедливости бросается въ глаза, какъ новая особенность русскаго театра послѣдней трети или четверти XVIII-го вѣка. Но народъ же, какъ мы знаемъ, составлялъ главную, если не исключительную цѣль публицистической и общественной дѣятельности передовыхъ кружковъ интеллигенціи. «Народъ» русскаго театра—это совсѣмъ, однако, не тотъ народъ, надъ страдой котораго болѣютъ душой новиковскіе журналы и Радищевъ, недоѣданію котораго стараются помочь московскіе масоны. За немногими исключеніями, всѣ эти диссонансы деревенскихъ будней остаются за кулисами русскаго театра. На сценѣ являются веселые и довольные, по праздничному припаряженные пейзане, которые поютъ и пляшутъ, влюбляются и женятся, благословляютъ судьбу и помѣщика. Для примитивнаго театральнаго вкуса необходимо соединить музыку и танцы съ драматическимъ дѣйствіемъ; необходимъ балетъ и хоръ: мужики, мужицкіе костюмы, мужицкія пѣсни являются самымъ подходящимъ матеріаломъ,—какимъ они являлись уже на барскихъ праздникахъ, въ мало-мальски богатой помѣщичьей усадьбѣ. Ничего не стоитъ, конечно, въ мужицкую среду перенести и незатѣйливую любовную интригу: ложноклассическая пастораль уже приготовила публику къ этой идеализаціи деревенской простоты въ лицѣ какого-нибудь пастуха «Медора» или пастушки «Прелесты». Такимъ образомъ, всѣ элементы національной русской комической оперы оказываются уже готовыми и привычными для зрителя; «комическая опера» и является самой любимой театральной формой, которая заразъ и удовлетворяетъ, и воспитываетъ инстинктивный національзмъ широкой публики. Иногда этотъ театральный «народъ» говоритъ на настоящемъ народномъ языкѣ, какомъ-нибудь мѣстномъ діалектѣ (напр., Милозоръ и Прелеста); онъ сыплетъ подлинными народными пословицами, по временамъ (хотя рѣдко) поетъ и на-

стоящія народныя пѣсни. Но, въ общемъ, обстановка остается чрезвычайно условной и искусственной. Искусственность эта, помимо тогдашнихъ литературныхъ вкусовъ, вызывается обязательнымъ для сцены оптимистическимъ тономъ. Добродѣтельная любовь пьесы, конечно, должна испытывать препятствія. Препятствія эти берутся большей частью изъ реальной жизни. Но всегда дѣло кончается счастливой развязкой. По большей части, виноватъ во всемъ оказывается «приказчикъ», котораго въ концѣ пьесы наказываетъ (въ «Судьбѣ деревенской»—отпускаетъ на волю) благодѣтельный господинъ (напр. «Новое семейство», «Приказчикъ», «Милозоръ и Прелеста», «Деревенскій праздникъ», и др.). Если господинъ самъ влюбляется въ рабу, то или раба, по счастью, оказывается, въ концѣ концовъ, дворянкой («Анюта»), или онъ самъ не зналъ, когда влюблялся, что онъ дворянинъ («Милозоръ и Прелеста»), или у него оказывается счастливый соперникъ—крестьянинъ, которому онъ великодушно уступаетъ возлюбленную (Заміръ въ «Добрыхъ солдатахъ»). Только однажды авторъ пьесы рѣшается создать довольно реалистическую обстановку: помѣщикъ беретъ крестьянку силой и создаетъ этимъ настроеніе, очень напоминающее то, которое описалъ Радищевъ въ извѣстномъ разсказѣ объ убійствѣ крестьянами асессора и его сыновей. Крестьяне даже хотятъ «жаловаться царицѣ», которая имъ «тоже мать». Но въ послѣдній моментъ, и тутъ дѣло кончается благополучно: помѣщикъ уступаетъ, кается и соединяетъ влюбленную парочку (Щедровъ въ «Розанѣ и Любимѣ»). Немудрено, что чуть не всѣ эти пьесы кончаются и начинаются славословіемъ помѣщику. «Попеченіе о хозяйствѣ» для крестьянъ «одна забава» («Новое семейство»). «Жизнью мы довольны, не худъ для насъ свѣтъ» («Розанъ и Любима»). «Въ нашемъ краю не знаемъ печали, помѣщикъ не давитъ работою насъ; мы любимъ сердешно его, какъ отца; плѣнилъ себѣ вѣчно онъ наши сердца» («Матросскія шутки»). «Мы живемъ въ счастливой долѣ, работая всякій часъ; жизнь свою проводимъ въ полѣ,—и проводимъ, веселясь; мы всегда своей судьбою всѣ довольны, и тобою; лошадей, коровъ, овецъ много мы имѣемъ въ полѣ и живемъ по нашей волѣ: ты намъ баринъ и отецъ. Мы руками работáемъ—и за долгъ себѣ считаемъ быть въ работѣ таковой. Давъ оброкъ, съ насъ положенной, въ жизни мы живемъ блаженной за господской головой». Баринъ тоже поетъ: «Коль крестьяне мной довольны—самъ собой доволенъ я. Коль они богаты, вольны,—въ томъ утѣха вся моя» («Деревенскій праздникъ»). Естественно, крестьянамъ остается только припѣвать хоромъ: «Будемъ вѣчно прославляти господина своево; онъ насъ станетъ защищати; мы помремъ всѣ за него».

Такова «народность» или, лучше сказать, *этнографическое народолюбіе* тогдашняго театра, прикрывавшее красивой декораціей въ господствующемъ вкусѣ коренной соціальный вопросъ русской жизни, такъ настойчиво ставившійся на очередь только-что народившейся русской публицистикой.

*

Если перейдемъ отъ «комической оперы» къ другому національному продукту русской сцены, къ комедіи нравовъ, то и здѣсь найдемъ гораздо болѣе пунктовъ разногласія, чѣмъ точекъ соприкосновенія между сценой и передовой пубицистикой. Въ общемъ, можно сказать, что сцена овладѣваетъ давнишними темами русской сатиры; но она разрабатываетъ эти темы въ совершенно иномъ направленіи. Мы видѣли, что нападки передовой публицистики на подражаніе за-границѣ, хотя и соприкасались съ націоналистическими теченіями въ самой жизни, но тѣмъ не менѣе постоянно сопровождались особымъ оттѣнкомъ: это были нападки на тотъ соціальный слой, въ которомъ заимствованія принимали каррикатурный и уродливый характеръ. Никогда эта публицистика не позволяла себѣ указывать на темныя стороны самой западной жизни *для того, чтобы оправдать* темныя явленія у насъ или ослабить производимое ими впечатлѣніе. Стоило отбросить или затушевать эту разграничительную черту,—и критика дворянской искусственно-подражательной культуры обращалась въ злорадный смѣхъ надъ западничествомъ вообще; особенно, если къ обѣимъ отмѣченнымъ чертамъ присоединялась третья: недовѣріе къ самому источнику западнаго прогресса,—къ наукѣ. Всѣ эти типическія особенности націоналистическаго отношенія къ западной культурѣ,—особенности, совершенно отсутствующія въ передовой публицистикѣ,—мы въ изобиліи встрѣтимъ на русской сценѣ.

Персонажи русской комедіи рѣзко дѣлятся на двѣ категоріи: типы отрицательные и типы положительные. Въ категорію отрицательныхъ типовъ безусловно заносятся *всѣ* иностранцы, появляющіеся на сценѣ: это исключительно плуты, авантюристы и эксплуататоры. Оставляя ихъ въ сторонѣ, находимъ двѣ разновидности отрицательнаго типа, иногда сливающіяся между собою. Это или *злодѣй* по натурѣ, неисправимый интриганъ, котораго авторъ клеймитъ самымъ названіемъ (Злорадовъ, Злотворъ, Змѣядъ, Ядовъ и т. д.) и котораго неизмѣнно караетъ въ концѣ пьесы, часто при помощи полиціи и властей; или же это *жертва*, человѣкъ по природѣ не дурной, но испорченный «обращеніемъ съ порочными людьми». Погнавшись за модой и за свѣтскимъ лоскомъ, онъ попадаетъ въ дурную компанію, которая его обираетъ, заставляетъ продать деревни и надѣлать долговъ, а потомъ—или бросаетъ на произволъ судьбы, если онъ человѣкъ простодушный и ограниченный, или же, что гораздо рѣже, принимаетъ его въ свой кругъ ловкихъ плутовъ и пройдохъ *). Брошенный старыми пріятелями, онъ иногда находитъ въ себѣ силу раскаяться и подчиниться вліянію людей добродѣтельныхъ **).

Мы поймемъ теперь тенденцію этой комедіи, если скажемъ, что

*) Всего полнѣе и ярче эта метаморфоза описана въ комедіи «Перемѣна въ правахъ»; затѣмъ «Воспитаніе», «Свадьба г. Промоталова» и др.

**) Напр. Добросердовъ («Мотъ, любовію направленный»), Богатовъ (Перемѣна въ нравахъ), Постояновъ (Награжденіе добродѣтели).

все, что портитъ людей, все, что отличаетъ дурную компанію отъ хорошей, плута отъ честнаго человѣка и негодяя отъ героя добродѣтели—все это, за немногими исключеніями злодѣевъ отъ природы, сводится къ французскому воспитанію или вліянію французскихъ нравовъ. Въ этой галлереѣ типовъ мы встрѣчаемъ декадента-риѳмача Модстриха («Самолюбивый стихотворецъ»); копіи съ фонвизинскаго «Иванушки»: Франколюба («Русскій парижанецъ») и Махалова (отъ моднаго глагола «махаться»=волочиться, въ «Воспитаніи»); петиметра съ хлестаковскимъ оттѣнкомъ (Верхолетъ въ «Хвастунѣ»), петиметра-пижона, затверживающаго со словъ своего наставника, что «добродѣтель, вѣра, законъ суть предразсудки», и «ни добра, ни зла нѣтъ» на свѣтѣ (Пустонъ въ «Злоумномъ»); петиметра-плута, Промоталова, «придворнаго человѣка», снисходящаго до женитьбы на богатой деревенщинѣ («Свадьба г. Промоталова»); петиметровъ-parvenus, купцовъ и мѣщанъ въ дворянствѣ, улавливаемыхъ пройдохами на удочку тщеславія и безцеремонно обираемыхъ (Богатовъ въ «Перемѣнѣ въ нравахъ»; Глупонъ въ «Обманѣ за обманъ»); цѣлую серію соотвѣтствующихъ женскихъ типовъ—«щеголихъ» русской сатиры (Легкомысла, Вѣтромысла, Вѣтродумова, Жеманиха и т. д.). Передъ типами сатирическихъ журналовъ всѣ эти фигуры, несомнѣнно, представляютъ нѣкоторое преимущество жизненности, такъ какъ сцена поневолѣ переноситъ ихъ въ ихъ реальную обстановку—русской помѣщичьей жизни. Что въ этой обстановкѣ эти типы не были рѣдкостью,—это доказывается тѣмъ, что вопросъ о сыновьяхъ-мотахъ и петиметрахъ, живущихъ не по средствамъ и пускающихъ на вѣтеръ наслѣдственное состояніе, поднятъ былъ и серьезно обсуждался, какъ одинъ изъ самыхъ жизненныхъ и больныхъ вопросовъ, въ засѣданіяхъ самой екатерининской коммиссіи. Согласно съ депутатами, и русская сцена на отвѣтственность этой золотой молодежи возлагаетъ отягощеніе крестьянъ непосильными оброками и поборами: для такого важнаго случая, какъ видимъ, она даже рѣшается приподнять край завѣсы, скрывающей отъ театральной публики деревенскую дѣйствительность. Какъ бы то ни было, вся вина и тутъ падаетъ на дурное французское воспитаніе. Мы видимъ, что и въ этомъ случаѣ сцена отвлекаетъ вниманіе своей публики отъ болѣе глубокаго объясненія,—опять-таки изъ страха встрѣтиться при этомъ съ тѣмъ же грознымъ и тщательно замалчиваемымъ соціальнымъ вопросомъ.

Но взглянемъ на *положительные* типы русской комедіи. Въ ихъ ряду мы, прежде всего, тщетно стали бы искать представителей какого-нибудь изъ передовыхъ интеллигентныхъ теченій, о которыхъ шла рѣчь выше. Если комедія изображаетъ литератора, то это «самолюбивый стихотворецъ», равняющій себя съ Вольтеромъ. Если она изображаетъ «безбожника» утверждающаго, что лишь «суевѣріе мѣшаетъ намъ дать волю сердцу», то это извергъ и злодѣй, котораго въ буквальномъ смыслѣ Богъ убиваетъ громомъ въ концѣ пьесы. Если выводится на сцену масонъ, то это—по примѣру Екатерины—или обман-

щикъ Хитроумъ, или обманутый Легковѣръ; и бесѣда ихъ съ духами оказывается мошеннической продѣлкой въ стилѣ Каліостро и Калифалкжерстона («Мнимый мудрецъ»). Разъ, правда, пьеса заступается за «мартинистовъ» и обвиняетъ петиметровъ въ разнесеніи ложныхъ слуховъ о нихъ по гостинымъ: но это единственное исключеніе; притомъ же авторъ не рѣшается идти дальше общаго опроверженія.

Оставляя передовыя теченія въ сторонѣ, мы находимъ, что положительные типы комедіи относятся къ одной изъ двухъ категорій. Во-первыхъ, это *резонеръ* пьесы, старшій годами, отецъ или дядюшка; во-вторыхъ, покровительствуемые имъ молодые влюбленные, которыхъ онъ ведетъ къ благополучному браку. Связь между обоими разновидностями вполнѣ естественная, такъ какъ и всѣ разсужденія благороднаго отца или дядюшки не идутъ дальше круга личной морали,—дальше того, что способствуетъ выясненію добродѣтелей жениха и невѣсты и устанавливаетъ кодексъ ихъ жизни. Всѣ многочисленныя копіи того и другого типа, какъ бы они ни назывались *), какъ двѣ капли воды напоминаютъ хорошо извѣстныя блѣдныя фигуры благородныхъ резонеровъ и добродѣтельныхъ влюбленныхъ фонвизинскихъ комедій. Они говорятъ общими мѣстами тогдашняго просвѣщенія; но вглядываясь въ эти общія мѣста, мы не найдемъ между ними ряда такихъ, въ которыхъ привыкли видѣть общія мѣста интеллигентной публицистики; а въ томъ, что найдемъ, встрѣтимъ и кое-что несовмѣстимое съ взглядами передовыхъ круговъ. Мы неоднократно видѣли, напримѣръ, какъ всѣ передовыя теченія одинаково настаивали на значеніи разума для «истинной» морали,—морали самопознанія. «Предразсудки», съ этой точки зрѣнія, являлись главнымъ и злѣйшимъ врагомъ «добродѣтели». Нельзя сказать, чтобъ и комедія была противъ «разума» и защищала «предразсужденіе». Но фактъ тотъ, что предразсудковъ она опасается *меньше*, чѣмъ разума, и «добродѣтель» въ комедіи чаще и легче мирится съ предразсудками, чѣмъ съ разумомъ. «Искореняя предразсудки», мы «воротимъ съ корня» и добродѣтель: этотъ откровенный тезисъ фонвизинскаго резонера составляетъ заднюю мысль всѣхъ нашихъ тогдашнихъ драматурговъ. Вотъ почему такіе типы, какъ Афросинья Сысоевна въ «Такъ и должно» или Русалей въ «Русскомъ Парижанцѣ», несмотря на всѣ свои «предразсужденія», вѣру въ чертей и въ примѣты, вызываютъ симпатію авторовъ и рисуются, въ противовѣсъ всякимъ «франколюбамъ», какъ типы положительные, хотя первая при всемъ этомъ сильно смахиваетъ на Простакову, а второй—на Скотинина. Все это извиняется имъ потому, что всѣ «качества» ихъ «суть русака прямого». А суевѣріе извинительно, *потому что* оно есть и въ самыхъ просвѣщенныхъ странахъ:

*) Для типа резонера: Правдолюбовъ, Праводумъ, Добромыслъ, Прямиковъ, Чеснодумъ, Добронравовъ, Милосердовъ, Честонъ, Правомыслъ, Благоразумъ, Здравомыслъ и т. д. Для любовниковъ: Доблестинъ, Достойновъ, Благоразумовъ, Здравомысловъ, Чеснодумъ, Честанъ и т. д.

«За суевѣріе какъ дѣлать *намъ* упреки,
Когда во Франціи лились кровавы рѣки?..
Вѣрь, какъ бы ни была страна просвѣщена,
Ума народнаго—не важная цѣна.
Къ предразсужденію—во Лондонѣ, въ Парижѣ
Народъ иль болѣе, или хоть менѣ—ближе.

Выводъ получается очень близкій къ тому, какой мы встрѣчали во «Всякой Всячинѣ». Достоинства «русака» суть его собственныя, а недостатки—общія ему съ другими народами.

Естественно, что резонеръ русской комедіи ищетъ этихъ достоинствъ «прямого русака» *) тамъ, куда еще не проникли космополитическіе пороки: въ *деревнѣ*, которой противопоставляется *городъ*. Конечно, «люди деревенскіе—простого воспитанія: любятъ безъ нѣжности, изъясняются грубо, говорятъ просто». Но зато «городская жизнь помрачаетъ всѣ добродѣтели. Нѣтъ ни праводушія, ни искренности: вездѣ лукавство и обманъ». «Они (т.-е. городскіе и придворные) люди лукавые, а мы (деревенскіе дворяне) чистосердечны; они любятъ роскоши, мотовство, праздную жизнь, а мы—постоянство, умѣренность и труды, они пренебрегаютъ нами и считаютъ, что крестьянинъ самая послѣдняя тварь на свѣтѣ, крестьянинъ съ себя хоть кожу продай, да оброкъ заплати, а мы крестьянъ любимъ и считаемъ ихъ себѣ товарищами, бережемъ ихъ, какъ глаза» (Свадьба г. Промоталова). Мы знаемъ, что и передовая публицистика къ «придворнымъ господамъ» относится вовсе не сочувственно; деревенской простотой нравовъ умиляется еще и Радищевъ. Но, конечно передовой интеллигенціи не пришло бы въ голову свести вопросъ о значеніи просвѣщенія къ полемикѣ между городомъ и деревней; и еще труднѣе было бы для нея такъ фальшиво идеализировать отношеніе къ крестьянамъ мелкихъ дворянъ-хозяевъ сравнительно съ крупными помѣщиками-абсентеистами, какъ это сдѣлано, наперекоръ фактамъ, въ приведенной цитатѣ.

Расходятся съ передовыми кружками и взгляды резонеровъ комедіи на кодексъ жизненныхъ правилъ. Первое и главное, что подчеркивается въ этомъ отношеніи,—это крѣпость деревенской дворянской семьи въ противоположность какъ моднымъ взглядамъ на бракъ **), такъ и тому несомнѣнному «поврежденію нравовъ», которое такъ краснорѣчиво описано кн. Щербатовымъ. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ влюбленные не рѣшаются пойти противъ воли родителей (напр. Глафира въ Именинникахъ; Пріята въ Ненавистникѣ и т. д.). Если одинъ разъ резонеръ комедіи (Праводумъ въ «Злоумномъ») и увлекается до того, что развиваетъ передъ матерью теорію, близко напоминающую

*) Въ «Русскомъ Парижанцѣ», изъ котораго взята и приведенная въ текстѣ цитата, эти достоинства перечислены такъ: «Онъ честенъ, справедливъ, незлобивъ, милосердъ, хорошій братъ, сынъ, другъ, во обѣщаньяхъ твердъ».

**) «...Жена!.. Какъ это дроль! Жена и мужъ!.. Смѣшна... смѣшна обоихъ роль», повторяетъ Модстрихъ въ Самолюбивомъ стихотворцѣ общее мѣсто русской сатиры на петиметровъ.

радищевскую *), и предлагаетъ влюбленному жениться увозомъ, то это лишь для того, чтобы рѣзче характеризовать злонравіе матери и «добродѣтель» влюбленнаго, который стоитъ на своемъ, находитъ, что «ни честь, ни разсужденіе, ни любовь не позволяютъ сдѣлать такого поступка». Что касается общественной дѣятельности,—для резонера она сводится къ «службѣ». Общественную дѣятельность внѣ службы ему такъ же трудно представить себѣ, какъ большинству депутатовъ екатерининской Коммиссіи. Изъ «Путешествія» Радищева извѣстно, съ какой осторожностью относились къ «службѣ» своихъ дѣтей передовые люди вѣка. И если даже они принимались серьезно думать о службѣ, имъ—начиная съ Татищева—всегда рисовалось служба *гражданская*, какъ наиболѣе подходящая для интеллигентнаго человѣка. Резонеру русской комедіи Екатерина не могла бы сдѣлать тѣхъ упрековъ за подобные взгляды на службу, какіе она сдѣлала Радищеву. Конечно, резонеръ цѣнитъ въ службѣ не *чинъ,* какъ петиметры, а самую дѣятельность, возможность быть полезнымъ. Но для него самая эта возможность не подлежитъ сомнѣнію; и особенной его симпатіей, какъ «прямого русака», пользуется служба *военная*. Сообразно съ этой цѣлью жизни онъ смотритъ и на воспитаніе. Онъ нисколько не отрицаетъ значенія заграничной поѣздки для воспитательныхъ цѣлей; онъ даже начертываетъ для такой поѣздки серьезную программу: знакомство съ внутреннимъ строемъ чужой страны, съ ея производительными силами, съ бытомъ сословій, съ политикой и современными событіями. Экзаменуя вернувшагося изъ-за границы петиметра, одинъ изъ этихъ резонеровъ (Добромыслъ въ «Воспитаніи») даже ставитъ ему такой вопросъ, который впору было бы поставить Радищеву. «Какъ вы тамъ находились во время самыхъ важныхъ и знаменитыхъ происшествій, а именно, когда парламенты перемѣнены (ср. стр. 373, 384), то уже легко вамъ было открывать побудительныя тому причины и разбирать, что въ старомъ было порочнаго и что въ новомъ находится полезнаго?» Но такому «разбору» самъ же этотъ резонеръ ставитъ довольно узкія рамки. По словамъ его дочери, «дѣльныя его размышленія не суть дерзновенныя критики на дѣла правительства, коихъ причины, намѣренія и основанія и самыя обстоятельства рѣдко намъ бываютъ извѣстны; такихъ критиковъ онъ самъ ненавидитъ и отъ нихъ удаляется». Наравнѣ съ внутренней политикой интересъ резонера направленъ и къ внѣшней; спросивъ петиметра о политической борьбѣ во Франціи, онъ переходитъ къ славѣ русскаго оружія за границей, къ толкамъ о томъ «шумѣ», который надѣлало въ Парижѣ имя Румянцева, и о томъ, какъ «гремѣло» тамъ имя Орлова,—того Орлова, который «турецкій флотъ истребилъ, Константинополемъ потрясъ и россійскій флагъ даже въ египетскихъ водахъ почитать заставилъ». Мы знаемъ,

---

*) «Кто далъ право отцамъ и матерямъ требовать отъ дѣтей своихъ, чтобы они мыслили, чувствовали и желали такъ, какъ мыслятъ, чувствуютъ и желаютъ они?..» и т. д.

что русскіе интеллигенты новиковскаго и лейпцигскаго кружковъ одинаково смотрѣли на войну, какъ на убійство, и на завоевательную политику, какъ на преступленіе передъ «человѣчествомъ». Но большая публика театра была не ихъ публикой, а публикой, для которой дѣйствовала Екатерина.

Впечатлѣнія, какихъ ожидаетъ русскій резонеръ отъ заграничнаго путешествія, заранѣе опредѣляются и предрѣшаются тѣмъ скептическимъ отношеніемъ къ европейской жизни, примѣръ котораго мы уже видѣли. Русскій туристъ этого типа—себѣ на умѣ; его не проведешь. Онъ твердо помнитъ ту аксіому, «что глупость есть своя у каждаго народа»; и очутясь за границей, онъ будетъ искать тамъ, прежде всего, не ума, а этой самой «глупости», этой оборотной медали европейской жизни. Попавъ въ Лейпцигъ,—въ тотъ самый Лейпцигъ, изъ котораго Радищевъ и его товарищи вынесли такое богатство идей и впечатлѣній, онъ презрительно будетъ острить: «Я нашелъ сей городъ наполненнымъ учеными людьми. Иные изъ нихъ почитаютъ главнымъ своимъ и человѣческимъ достоинствомъ то, что умѣютъ говорить полатыни, чему, однако-жъ, во времена цицероновы умѣли и пятилѣтніе ребята; другіе, вознесясь мысленно на небеса, не смыслятъ ничего, что дѣлается на землѣ; иные весьма твердо знаютъ артифиціальную логику, имѣя крайній недостатокъ въ натуральной; словомъ, Лейпцигъ доказываетъ неоспоримо, что ученость не родитъ разума. Оставя сихъ педантовъ, поѣхалъ я во Франкфуртъ-на-Майнѣ»—и могъ бы ѣхать на конецъ свѣта и ничего не увидать, не понять и не замѣтить. Если онъ пріѣдетъ хотя бы въ самый Парижъ, гдѣ въ одно время съ нимъ Гиббонъ «въ двѣ недѣли слышалъ больше дѣльныхъ разговоровъ и видѣлъ больше просвѣщенныхъ людей, чѣмъ въ двѣ-три зимы въ Лондонѣ», то и тутъ онъ найдетъ только, что «д'Аламберты, Дидероты въ своемъ родѣ такіе же шарлатаны, какихъ видѣлъ я всякій день на бульварѣ», а литераторы, въ родѣ Мармонтеля и «еще нѣкоторыхъ» («я почти со всѣми познакомился»),—просто паразиты, которые ходятъ къ нему въ домъ, потому что онъ «ѣздитъ въ каретѣ» и кормитъ ихъ обѣдами. Нельзя не припомнить по этому поводу остроумнаго афоризма того же самаго туриста: «Кто самъ въ себѣ рессурсовъ не имѣетъ, тотъ и въ Парижѣ проживетъ, какъ въ Угличѣ». Хотя «нѣтъ ничего труднѣе, какъ чужестранцу войти въ здѣшнее общество» и хотя самъ нашъ туристъ, «по краткости времени моего здѣсь пребыванія», не могъ въ него проникнуть, тѣмъ не менѣе онъ оставляетъ Францію въ увѣренности, что «нашелъ доброе въ гораздо меньшей мѣрѣ, нежели воображалъ; а худое въ такой большой степени, которой и вообразить не могъ». Раскритиковавъ Францію по французской же книжкѣ, онъ рѣшаетъ окончательно, «что всѣ разсказы о здѣшнемъ совершенствѣ сущая ложь, что люди вездѣ люди, что прямо умный и достойный человѣкъ вездѣ рѣдокъ, что въ нашемъ

отечествѣ можно быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой землѣ», а что Парижъ для туриста «есть истинная зараза, которая, хотя молодого человѣка не умерщвляетъ физически, но дѣлаетъ его навѣки шалуномъ и ни къ чему неспособнымъ—вопреки тому, какъ его сдѣлала природа и какимъ бы онъ могъ быть, не ѣздя во Францію». Все это—уже не разсужденія резонера изъ русской комедіи: это выписки изъ заграничныхъ писемъ Фонвизина. Но большой разницы между тѣмъ и другимъ мы не найдемъ: резонеры комедіи даже выражаются обыкновенно осторожнѣе. Можно, конечно, и у нихъ натолкнуться на рѣшительные выводы, въ родѣ, напр., такого: «Весь плодъ науки есть сомнѣніе и недоумѣніе» («Матерняя любовь»). Фонвизинъ, какъ всегда, и здѣсь подаетъ реплику. «Вотъ каковы тѣ люди («нынѣшніе философы»), изъ которыхъ Европа многихъ считаетъ великими и которые, можно сказать, всей Европѣ повернули голову!» У нашего вояжера голова на мѣстѣ, а потому онъ съ этими «великими» не церемонится. «Истинно, нѣтъ никакой нужды входить съ ними въ изъясненія, почему считаютъ они религію недостойною быть основаніемъ моральныхъ человѣческихъ дѣйствій, и почему признаніе бытія Божія мѣшаетъ человѣку быть добродѣтельнымъ? Но надлежитъ только взглянуть на самихъ господъ нынѣшнихъ философовъ, чтобы увидѣть, каковъ человѣкъ безъ религіи!»

Не будемъ продолжать далѣе этихъ сопоставленій между сценическими типами, типами дѣйствительности и взглядами передовой русской интеллигенціи. Сказаннаго достаточно, чтобы характеризовать настроеніе той значительной по количеству общественной среды, къ которой обращалась театральная пьеса. Эта среда была, какъ мы видимъ, несравненно доступнѣе для распространенія націоналистическихъ тенденцій, чѣмъ новѣйшихъ идей, философскихъ и политическихъ. И однако же, передовые вожди общественнаго мнѣнія предпочитали давать эти идеи, на которыя не было спроса въ широкой публикѣ, и не давали того, что этой публикѣ требовалось: не давали націоналистической теоріи. Такъ какъ *теоретиками* только и были одни они, и такъ какъ націоналистическое теченіе, въ сущности, довольствовалось однимъ *настроеніемъ*, то довольно понятно, почему XVIII-й вѣкъ такъ и не создалъ никакой стройной теоріи русскаго націонализма. Однако же, попытки націоналистическихъ разсужденій были. Нужда въ нихъ стала особенно сильно чувствоваться, когда критическое общественное мнѣніе было принуждено умолкнуть. Необходимо, поэтому остановиться и на нихъ, чтобы исчерпать всѣ главныя теченія общественной мысли екатерининскаго времени.

Для націоналистическаго настроенія болѣе, чѣмъ для какого-либо другого,—и чѣмъ дальше, тѣмъ больше,—сама Екатерина даетъ тонъ и выраженіе. Съ самаго своего появленія въ Россіи, съ ревностью иностранки, рѣшившей во что бы то ни стало сдѣлаться русской и спѣшившей перенять для этого всѣ тонкости чуждаго ей народнаго

быта, Екатерина увлеклась тѣмъ, что мы назвали этнографическимъ народолюбіемъ. До конца жизни она писала безъ всякихъ правилъ орѳографіи и путала русскіе падежи; но русскія пословицы, русскія повѣрія, обычаи, предразсудки, она считала себя знающей въ совершенствѣ. Создавшійся такимъ образомъ интересъ къ этнографической старинѣ возрасталъ, по мѣрѣ того, какъ падало уваженіе и довѣріе къ «моднымъ философамъ». Въ самый разгаръ сильныхъ впечатлѣній французской революціи Екатерина углубилась окончательно въ русскую исторію и демонстративно заявляла, что не читаетъ больше ничего, кромѣ лѣтописей. На тотъ же путь историческаго націонализма толкала ее и внѣшняя политика. Начиная съ польскихъ раздѣловъ и кончая знаменитымъ «греческимъ проектомъ», Екатерина тутъ лишь примѣняла и развивала дальше традиціонную русскую націоналистическую теорію «панруссизма» и «панславизма». Задолго до русскихъ историковъ-націоналистовъ XIX-го вѣка она пишетъ Гримму, что «скоро докажетъ, что древніе славяне дали свои названія большинству рѣкъ, горъ, долинъ и урочищъ во Франціи, Шотландіи и въ другихъ мѣстахъ». Нѣсколько недѣль спустя она уже увѣрена, что салическій законъ есть славянскій, Хлодвигъ и Меровинги тоже славяне (Людвигъ=людъ+двигъ), Хильперикъ лишился трона потому, что хотѣлъ внести въ римскій алфавитъ три славянскихъ буквы (х, ч и пси), и недаромъ французскіе короли приносятъ въ Реймсѣ присягу надъ славянскимъ евангеліемъ. Эти смѣлыя гипотезы Екатерина оставляла, правда, про себя. Но она громко высказывала и крѣпко держалась за другой свой историческій выводъ, именно, что «въ теченіе слишкомъ семисотъ лѣтъ, т.-е. до смерти царя Ѳеодора Іоанновича, Россія управлялась, имѣла приблизительно тѣ же нравы, шла тѣмъ же путемъ и находилась почти на одномъ уровнѣ, какъ и всѣ государства Европы». Только смуты передъ воцареніемъ Петра немножко задержали ее назади; но законодательство Екатерины поможетъ быстро наверстать потерянное.

Для оффиціальнаго или оффиціознаго націонализма екатерининской эпохи очень характерна эта постановка вопроса. Екатерина не рѣшалась идти такъ далеко, какъ уже пошелъ Фонвизинъ, и утверждать, что за границей «во всемъ генерально хуже нашего», а «у насъ *все лучше*, и мы больше люди, нежели нѣмцы». Она довольствовалась защитой болѣе скромной позиціи,—что у насъ «*не хуже*», или, по крайней мѣрѣ, что за границей *такъ же* худо, какъ у насъ. Эту позицію она заняла уже въ своемъ «Антидотѣ», опроверженіи книги о Россіи аббата Шаппа (1770). Здѣсь уже формулированъ извѣстный намъ тезисъ: «въ какой странѣ люди—не люди?»; «въ Россіи люди такіе же, какъ и повсюду»; «ни вполнѣ хороши, ни вполнѣ дурны: такое среднее состояніе—въ природѣ вещей и существуетъ у всѣхъ народовъ, ибо человѣкъ всегда приблизительно одинаковъ, подъ какимъ бы небомъ

онъ ни родился». Къ этой безспорной аксіомѣ примыкаетъ далеко не безспорный уже выводъ: «русскій народъ стоитъ приблизительно въ уровень съ остальными народами Европы». Всѣ дальнѣйшія доказательства относятся не къ первому, а къ послѣднему тезису. Методъ доказательства состоитъ или въ отрицаніи фактовъ, доказывающихъ низкую степень развитія Россіи, или въ ссылкахъ на подобные же факты на Западѣ, или, наконецъ,—изрѣдка—въ утвержденіи, что хотя данный фактъ и вѣренъ, но онъ быстро отходитъ въ прошлое, подъ вліяніемъ законодательныхъ усилій Екатерины. Русскія избы воняютъ, но «поѣзжайте, г. аббатъ, въ Вестфалію: тамъ услышите и не такіе запахи». Биронъ былъ плохъ, но не лучше и «правленіе хваленаго кардинала Ришелье». Тайная канцелярія—не хороша: но она «сдѣлалась ненужной» и «упраздняется», а «Бастилія еще существуетъ». Впрочемъ, примѣры этого рода можно найти въ изобиліи на всякой страницѣ «Антидота». Не останавливаясь на нихъ, замѣтимъ еще, что Екатерина не ограничивается защитой выбранной позиціи, но изъ обороны переходитъ въ наступленіе. «Русскій крестьянинъ въ сто разъ счастливѣе и обезпеченнѣе, чѣмъ французскіе крестьяне»; «наши чиновники и на сотую долю не такіе тираны, какъ чиновники французскаго короля»; «мало есть государствъ, въ которыхъ бы законъ уважался бы такъ, какъ у насъ»; «нѣтъ страны, въ которой жизнь и имущество подданныхъ были бы ограждены бо́льшими формальностями, чѣмъ въ Россіи». «Наши законы—самые простые въ Европѣ и во многомъ самые ясные и разумные». «Граждане—наименѣе стѣснены, наименѣе подвержены мелочнымъ придиркамъ». «Какой современный народъ можетъ похвастаться, что въ цѣломъ своемъ составѣ былъ призванъ къ составленію своихъ законовъ?» «Всей Европой признано, что нѣтъ народа болѣе сильнаго и неутомимаго». «Общеизвѣстно, что нѣтъ народа, болѣе работящаго». Не признавать всего этого можетъ только «предубѣжденіе и предразсудокъ»: еще чаще Екатерина говоритъ: зависть и злоба. «Враги русской славы стараются изобразить Россію такою, какою они желали бы, чтобы была эта страна, но не такою, какою она есть, то-есть цвѣтущею и сильною». Вотъ источникъ всѣхъ «клеветъ» иностранцевъ противъ Россіи. Какъ видимъ, самъ Данилевскій не могъ бы опредѣленнѣе поставить вопроса.

Отвлекаемая другими дѣлами и мыслями,—въ томъ числѣ либеральными, Екатерина не занялась систематизаціей своихъ націоналистическихъ взглядовъ, и не пробовала привести ихъ въ согласіе съ остальнымъ составомъ своего умственнаго багажа. Но она нѣсколько разъ пробовала поставить эту задачу другимъ лицамъ, которыхъ поочередно приближала къ себѣ. Мы видѣли, что одно время она намѣчала для этой цѣли Новикова и готова была помогать ему матеріалами и деньгами, только бы онъ нашелъ въ историческихъ рукописяхъ древнія русскія добродѣтели. Мы знаемъ, что Новиковъ, послѣ первыхъ нерѣшительныхъ попытокъ, отказался отъ безнадежной и слишкомъ про-

тиворѣчившей его собственнымъ цѣлямъ и взглядамъ задачи—найти въ исторіи подтвержденіе націоналистическимъ взглядамъ. Нѣсколько раньше Новикова Екатерина обратилась для той же цѣли,—хотя и не такъ рѣзко поставленной тогда, къ кн. Щербатову. Этотъ выборъ былъ немногимъ удачнѣе. И Щербатову помѣшала создать цѣльную націоналистическую теорію—та же причина, какъ самой Екатеринѣ: онъ слишкомъ проникнутъ былъ непригодными для этой теоріи и противорѣчившими ей раціоналистическими взглядами.

Взгляды Щербатова эволюціонировали, и надо различать Щербатова въ годы приближенія къ Екатеринѣ отъ того же кн. Щербатова годовъ взаимнаго недовольства и раздраженія. Щербатовъ перваго періода держится деистическихъ взглядовъ на религію и вмѣстѣ съ Екатериной (см. тотъ же Антидотъ) раздѣляетъ теорію монархіи, ограниченной закономъ. Щербатовъ въ оппозиціи — остается, правда, деистомъ въ теоріи, но на практикѣ все больше и больше подчеркиваетъ свою приверженность къ традиціонной вѣрѣ *въ противоположность* безвѣрію и вольтеріанству Екатерины, и обнаруживаетъ все болѣе рѣзкія симпатіи къ аристократической идеѣ *въ противоположность даже* тѣмъ льготамъ, которыя Екатерина дала дворянству—и которыя кажутся ему недоста точными, а подчасъ и оскорбительными. Щербатовъ первыхъ годовъ былъ полонъ вѣры въ предстоящее «смягченіе нравовъ» путемъ раціональнаго законодательства; Щербатовъ послѣдняго времени говоритъ уже только о «поврежденіи нравовъ» и ядовито констатируетъ полное фіаско просвѣщеннаго абсолютизма. Строить систему изъ всѣхъ этихъ разнородныхъ элементовъ — значило бы идти дальше самого Щербатова. Но нельзя не указать на двѣ—три идеи, которыя онъ развилъ полнѣе своихъ предшественниковъ по теоріи націонализма.

Во первыхъ, это извѣстная намъ идея, что религія падаетъ вмѣстѣ съ предразсудками, нравственность вмѣстѣ съ религіей, и, слѣдовательно, — просвѣщеніе портитъ нравы. У Щербатова на этой идеѣ построена цѣлая историческая система. Исходный пунктъ ея—идеализація допетровской старины, въ смыслѣ цѣльности и чистоты нравовъ. Результатъ процесса—упадокъ вѣры и нравовъ, безвѣріе и развратъ,—особенно тотъ развратъ и распущенность въ семейной и личной жизни, на которые такъ часто нападала комедія. Причина процесса: вторженіе иноземной внѣшней культуры,—роскоши и изнѣженности. Описательная сторона у Щербатова, какъ мы имѣли случай видѣть, вѣрна и поучительна. Но его объясненія—почти исключительно моралистическія—поверхностны и мелки. Большею частью они не идутъ дальше самого описанія. Самое глубокое изъ его наблюденій,—наблюденіе надъ характеромъ русской вѣры (стр. 218), сдѣлано какъ бы нечаянно, и до такой степени не вяжется съ другими частями его міровоззрѣнія, что самъ онъ, вмѣсто логическаго, казалось бы, требованія—усилить самостоятельность и внутреннее значеніе вѣры—проекти-

руетъ, въ концѣ концовъ, рядъ такихъ крутыхъ, чисто государственныхъ мѣръ для установленія единства вѣры въ Россіи, которыя напоминаютъ Посошкова. Какъ онъ миритъ свой государственный взглядъ на вѣру, какъ на орудіе «здравой политики», съ своимъ же историческимъ объясненіемъ, по которому и самое «поврежденіе нравовъ» есть именно слѣдствіе такого т.-е. государственнаго характера вѣры, это остается его секретомъ. Во всякомъ случаѣ, при такомъ несогласіи съ самимъ собой, онъ очевидно, не могъ сдѣлать вѣру, т.-е. русскую форму вѣры, основой какой-либо націоналистической теоріи. Точно также, онъ не могъ положить въ основу націоналистической конструкціи и русскую форму государства; ибо тутъ отъ заимствованной изъ Монтескье вражды къ «деспотичеству» онъ сразу перешелъ къ совершенно личной ненависти къ режиму, прикрывавшемуся законностью. Его идеаломъ была вначалѣ сословно-конституціонная монархія Монтескье; позднѣе онъ переноситъ отчасти свои симпатіи на старый шведскій порядокъ, въ которомъ дворянскій элементъ былъ еще сильнѣе, аристократичнѣе и сплоченнѣе, а монархическій слабѣе, чѣмъ въ старой Франціи. Такимъ образомъ, ни «православіе», ни «самодержавіе» не могли играть роли основныхъ элементовъ въ націоналистической теоріи Щербатова: немудрено, что однихъ симпатій къ старинѣ и къ мнимой цѣльности тогдашнихъ нравовъ оказалось недостаточно, и націоналистическая теорія осталась не построенной.

Раньше, чѣмъ все это могло выясниться окончательно, Екатеринѣ стало ясно, что Щербатовъ для нея, при всѣхъ своихъ консервативныхъ тенденціяхъ, слишкомъ либераленъ. Вѣроятнѣе всего, что это и было главной причиной ея охлажденія. Любимцемъ и помощникомъ въ собственныхъ историческихъ работахъ является теперь для Екатерины Болтинъ, который начинаетъ свою литературную карьеру написаннымъ по заказу Потемкина и напечатаннымъ на средства императрицы двухтомнымъ памфлетомъ противъ новой «клеветы» на Россію француза Леклерка. Продолжаетъ онъ рѣзкой и безцеремонной полемикой противъ Щербатова, долженствовавшей окончательно убѣдить Екатерину, что у стараго ея любимца голова не совсѣмъ въ порядкѣ, а на новаго можно положиться вполнѣ.

Нападеніе на Леклерка было новымъ «Антидотомъ»; но націоналистическая теорія въ этомъ произведеніи Болтина дѣлала новый и крупный шагъ впередъ. Болтинъ вполнѣ принималъ исходную аксіому Екатерины, что люди вездѣ люди, что добродѣтели и пороки есть у всѣхъ народовъ. Онъ вполнѣ усвоилъ также и ея способъ аргументаціи: у насъ не хуже, а за границей не лучше нашего. Но другое основное ея положеніе,—что у насъ все, болѣе или менѣе, одинаково и что мы стоимъ «приблизительно» на той же ступени, какъ Европа,—это положеніе Болтинъ рѣшительно отвергнулъ. Екатерина въ «Антидотѣ» очень раздраженно полемизировала противъ замѣчанія аббата Шаппа, что «недостатокъ таланта у русскихъ есть, повидимому, дѣйствіе почвы

и климата». Болтинъ, конечно, не сомнѣвался въ талантѣ русскихъ; но онъ принялъ замѣчаніе Шаппа въ той формѣ, что русскіе *дѣйствительно* отличны отъ европейцевъ, что отличіе это *дѣйствительно* объясняется разницей дѣйствія почвы и климата. Екатерина должна была почувствовать, что съ этой уступкой націоналистическая теорія гораздо болѣе выигрываетъ, чѣмъ проигрываетъ, такъ какъ она получаетъ болѣе глубокое обоснованіе, чѣмъ когда-либо прежде,—и этимъ обоснованіемъ служатъ, въ духѣ самыхъ новѣйшихъ идей, неизмѣнные законы природы.

Теперь и защита «обычаевъ предковъ» становилась на неожиданно твердую почву. Развѣ не были эти обычаи, это старинное народное «умоначертаніе», сложившееся вѣками,—непосредственнымъ продуктомъ психофизіологическихъ вліяній, обусловленныхъ почвой и климатомъ? Измѣна этимъ нравамъ, введеніе иностранныхъ обычаевъ, оказывались не только чѣмъ-то дурнымъ и безнравственнымъ, а прямо—физически-вреднымъ. Уничтожьте баню,—ту самую баню, надъ которой такъ издѣвался Шаппъ и которую не умѣла защитить Екатерина въ «Антидотѣ»; введите французскую кухню: и вы ослабите тѣло и испортите желудокъ; то и другое не по климату. Понятно, что при такомъ взглядѣ перемѣна народныхъ «нравовъ» и «умоначертанія» вопреки законамъ природы—часто просто даже невозможны. Такія перемѣны—дѣло вѣковъ, а не результатъ усилій одного законодателя. Не законы вызываютъ перемѣну въ нравахъ, а, наоборотъ, только перемѣна въ нравахъ можетъ вызвать перемѣну въ законахъ. Этотъ тезисъ даетъ основу для оцѣнки дѣйствій отдѣльнаго законодателя, напр., реформы Петра Великаго. На немъ строитъ Болтинъ и все свое объясненіе хода русской исторіи, первое органическое объясненіе ея, хотя, конечно, черезчуръ еще схематическое и внѣшнее.

Если самое «единообразіе» законовъ природы неизбѣжно вызываетъ *разнообразіе* національнаго развитія каждаго народа, въ зависимости отъ различныхъ мѣстныхъ условій, физическихъ и историческихъ, то нѣтъ ни возможности, ни надобности гнаться за поисками *сходства* и натягивать сравненія тамъ, гдѣ ихъ быть не можетъ. Екатерина упорно отрицала утвержденія Шаппа, что Россія плохо населена и доказывала, что Россія въ собственномъ смыслѣ набита жителями, «какъ яйцо». Болтинъ могъ свободно признать слабую населенность Россіи и основать на этомъ важные выводы относительно ея своеобразія.

Понятно, какъ все это двигало впередъ созданіе націоналистической теоріи. И однако, такой теоріи не создалъ и Болтинъ, какъ онъ ни близко подходилъ иногда къ ея созданію. Почему же это такъ вышло?

Дѣло въ томъ, что Болтинъ далъ для своей теоріи слишкомъ широкое основаніе. При дальнѣйшемъ развитіи его мыслей, на его основаніи можно было построить научную теорію, но нельзя было построить націоналистической. Признавъ особенность русскаго національнаго раз-

витія, попытавшись объяснить эту особенность условіями среды, онъ, конечно, сдѣлалъ для националистической теоріи очень много,—но все-таки не все, что для нея было необходимо. Его теорія объясняла очень удовлетворительно и своеобразность, и большую или меньшую устойчивость національныхъ элементовъ быта; но она нисколько не доказывала ни ихъ полной неподвижности и неизмѣняемости, ни необходимости и возможности ихъ сохраненія при измѣнившихся условіяхъ жизни. Въ его теоріи было слишкомъ еще много эволюціоннаго элемента, чтобы основать на ней незыблемые устои; въ частности политическая форма быта, какъ ясно было и изъ его изложенія, мѣнялась, эволюціонировала на самыхъ глазахъ исторіи. Съ другой стороны, въ теоріи Болтина было слишкомъ много научнаго безразличія къ тому или другому частному національному прогрессу, чтобы основать на ней националистическую теорію превосходства какого-нибудь *одного* изъ нихъ. Она объясняла *національное* въ исторіи, не давая прямыхъ поводовъ для *националистическаго* отношенія къ этому національному. Для того, чтобы получить настоящую националистическую теорію, нужно бы было, слѣдовательно, выбросить изъ теоріи Болтина ея эволюціонные элементы и ея научную объективность. То и другое съ успѣхомъ сдѣлала впослѣдствіи метафизическая идея абсолютнаго «народнаго духа». Но это случилось полувѣкомъ позже. Мы еще увидимъ, какъ это произошло. XVIII-й вѣкъ, какъ мы окончательно убѣждаемся на этой, наиболѣе развитой и продуманной изъ тогдашнихъ националистическихъ теорій, не давалъ еще достаточныхъ матеріаловъ для созданія полной и законченной теоріи націонализма *). Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы въ то время не было и националистическаго настроенія. Настроеніе это не для того, конечно, перешло изъ инстинктивнаго въ болѣе или менѣе сознательное, чтобы сразу уничтожиться. Напротивъ, мы увидимъ въ ближайшемъ поколѣніи очень сильный ростъ этого настроенія, связанный съ новыми попытками националистическихъ построеній. Если мы разсмотрѣли отдѣльно только что характеризованныя попытки, то лишь потому, что онѣ принадлежатъ дѣятелямъ изучавшагося нами теперь поколѣнія и, какъ мы только что видѣли, носятъ на себѣ неизгладимую печать его взглядовъ, его чаяній, его

*) Терминъ «національный», «національность» употреблялся и употребляется мной въ безразличномъ смыслѣ: «относящійся къ націи, свойственный націи». Терминъ «националистическій, націонализмъ» я употребляю въ смыслѣ terminus praegnans: относящійся *сочувственно* къ національнымъ чертамъ, сочувственное отношеніе къ національнымъ особенностямъ. Думаю, что этого разъясненія достаточно, чтобы устранить тѣ возраженія противъ моей терминологіи, которыя предъявлялись мнѣ нѣкоторыми критиками. Источникъ возраженій, если не ошибаюсь, заключался въ желаніи сохранить терминъ «національный» для означенія *тѣхъ* изъ числа національныхъ особенностей, относительно которыхъ *сочувствіе законно*. Такому употребленію термина я отказываюсь слѣдовать, ибо вопросъ о предѣлахъ законнаго сочувствія не можетъ быть рѣшенъ терминологіей, а только рискуетъ быть запутанъ; самое же рѣшеніе вопроса субъективно и условно.

увлеченій современной ему литературой, наконецъ, того общественнаго положенія, которое занимали представители этихъ теорій при Екатеринѣ. Въ ближайшее послѣдующее время все это измѣнится очень радикально, какъ увидимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнится и характеръ націоналистическихъ теорій, хотя нельзя отрицать, что оживленіе этихъ теорій въ послѣдніе годы Екатерины уже предсказываетъ и намѣчаетъ путь, по которому пойдутъ ближайшіе младшіе сверстники. Но ихъ моральный и умственный обликъ принадлежитъ уже XIX столѣтію.

О градаціи предреволюціонныхъ настроеній см. *Félix Rocquain,* L'esprit révolutionnaire avant la Revolution 1715—1789. Paris, 1878 (есть русскій переводъ). Вопросъ объ отношеніи Россіи къ французской революціи разсмотрѣнъ въ рядѣ интересныхъ статей *Alfred Rambaud*, въ Revue politique et litéraire, 1) Paris et St.-Petersbourg à la veille de la Révolution, (2 série, t. XIV, p. 1221, 29 juin. 1878). 2) L'opinion russe et la Révolution (ib., t. XV, p. 249, 14 septembre 1878), 3) Un homme d'état russe (Семенъ Воронцовъ) pendant la révolution française (ib., t. XVI, p. 669, 18 janvier 1879). 4) Catherine II. et la révolution française. I. Le journal de Khrapovistki (ib., t. XIX, p. 361, 16 octobre, 1880). 5) Catherine II et la révolution française II. Les libéraux russes et la révolution (ib. 3-me série, t. I, p. 358). *Его же.* 6) La révolution française et l'aristocratie russe (Mémoire lu à l'academie des Sciences M. et P. Paris, 1878). Разсказъ о Соймоновѣ см. у *Falloux,* M-me Swetchine, Paris, 1860. Новѣйшая работа принадлежитъ Larivière'y, Catherine II et la Révolution (здѣсь и библіографія). Учебные годы лейпцигскаго кружка характеризованы самимъ Радищевымъ въ его житіи Θ. В. Ушакова (перепечатано П. Бартеневымъ въ сборникѣ «XVIII вѣкъ», т. II). Здѣсь же см. и критическія замѣчанія Ушакова на книгу Гельвеція. Трактатъ «о смертности и безсмертіи» изложенъ (по Собранію сочиненій Радищева) въ книгѣ проф. *Евгенія Боброва,* Философія въ Россіи вып. III, Казань. 1900. Переписка Кутузова съ московскими масонами издана въ «Русской Старинѣ», 1874, №№ 1—3. Важнѣйшія сочиненія и матеріалы о Радищевѣ: *Сухомлиновъ,* Изслѣдованія и статьи, т. I, Спб. Архивъ Воронцова, т. V (здѣсь критическія замѣчанія Екатерины, допросные пункты и отвѣты Радищева), *В. Е. Якушкинъ,* Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в. въ «Русской Старинѣ», 1882, № 9 и *его же*: Учебные годы Радищева въ сборникѣ «Подъ знаменемъ науки», М. 1802 и *В. А. Мякотинъ,* На зарѣ русской общественности

въ его книгѣ: Изъ исторіи русскаго общества, Спб. 1902 (тамъ же см. статью о Щербатовѣ: дворянскій публицистъ екатерининской эпохи). О разныхъ элементахъ системы Лейбница см. *Merz*, Leibnitz, въ серіи Philosophical Classics ed. by W. Knight, Lond. 1884. О иностранныхъ источникахъ Радищева, кромѣ самыхъ сочиненій, цитированныхъ въ текстѣ авторовъ ('с Гравесанда, Гельвеція, Гольбаха Мендельсона, Платнера, Бонне, Галлера, Мабли) см. *W. Guerrier*, L'abbé de Mably, moraliste et politique, Paris, 1886. *I. E. Poritzky,* Lamettrie, Berlin, 1900. *G. Plekhanow*, Beiträge zur Geschichte des Materialismus (Holbach, Helvetius, Marx), Stuttgart, 1896. *Offner*, Die Psychologie Charles Bonnet's, Leipzig, 1893, въ Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung. Объ отношеніи Екатерины къ революціи, кромѣ указанныхъ выше сочиненій, см. ея переписку съ Гриммомъ и дневникъ Храповицкаго. Значительная часть театральныхъ пьесъ екатерининскаго времени собрана въ «Россійскомъ Θеатрѣ или полномъ собраніи всѣхъ россійскихъ θеатральныхъ сочиненій», 43 тома, Спб. 1786 и слѣд. Нѣкоторыя выдержки оттуда см. въ книгѣ *Незеленова*, Литературныя направленія въ екатерининскую эпоху. «Антидотъ» Екатерины перепечатанъ въ 4-мъ томѣ «Восемнадцатаго вѣка» Бартенева.

